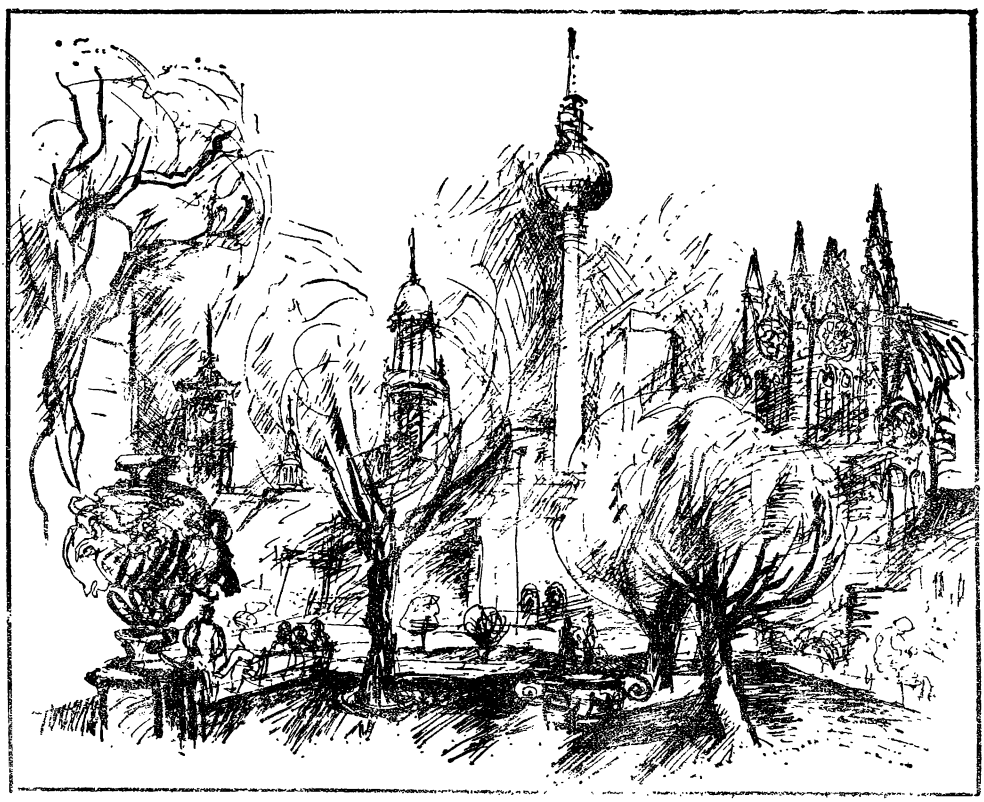
10.1974

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ — ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ



Ганс Рэде. *Весна в Берлине* (ГДР)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы писателей ГДР. ЭГОН РИХТЕР. ВОЛЬФГАНГ ЙОХО. ГЕРМАН КАНТ, ГАНС-ГЕОРГ ЛИЦ. ЮРИЙ БРЕЗАН. ГЮНТЕР ДАЙКЕ *(Переводы с немецкого Р. Гальпериной, И. Горкиной, Л. Бару, Е. Михелевич, И. Исакович. Вступление Сергея Львова)* 4

УВЕ БЕРГЕР — Стихи *(Переводы с немецкого Александра Голембы и Ирины Грицковой. Вступление Льва Гинзбурга)* 36

АЙРИС МЕРДОК — Черный принц *(Роман. Продолжение. Перевод с английского И. Бернштейн и А. Поливановой)* 41

Китайская лирика 30—40-х годов. АЙ ЦИН. ТЯНЬ ЦЗЯНЬ. ЦЗАН КЭ-ЦЗЯ. ЮАНЬ ШУЙ-ПО. ЛИ ГУАН-ТЯНЬ. БЯНЬ ЧЖИЛИНЬ. ХЭ ЦИ-ФАН *(Перевод и вступление Л. Черкасского)* 104

ЭРВЕ БАЗЕН — Крик совы *(Роман. Окончание. Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой)* 111

Из перуанской поэзии. ВАШИНГТОН ДЕЛЬГАДО. ХУАН ГОНСАЛО РОСЕ *(Переводы с испанского Бориса Слуцкого и Сергея Гончаренко. Вступление Сергея Гончаренко)* 181

Заметки писателя

Объяснения в любви и другие признания *(Перевод с немецкого Ольги Бобровой)* 188

Критика

ВЛ. ВАВИЛОВ — Новые цвета времени (Заметки об африканском романе 70-х годов) 200

И. ГОЛИК — Буржуазная критика: политика и литература 208

Культура и современность

Заметки на полях

Д. Александров — Глубина под гладью потока. Э. Баталов — Путь к вершинам 215

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10
ОКТЯБРЬ
1 9 7 4

СОДЕРЖАНИЕ

Публицистика

ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ — Северная мозаика *(Главы из книги. Перевод с немецкого Г. Косарик)* 224

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ — По следам «пропавших без вести» *(Документальная повесть. Окончание. Перевод с болгарского Л. Лихачевой)* 244

Наши гости

Радий Фиш — На языке поэзии (Метин Эльоглу — в редакции «Иностранной литературы») 255

Среди книг

Издано в СССР

Д. Игнатьев — «Многозвучье нашего столетья». Агния Барто — Совсем не рецензия. Арсений Рутько — Сабас Хауреги и его сыновья. В. Макаренко — Встреча с народным юмором 258

Издано за рубежом

Боислав Минич — Роман об одном народе и одном времени. Ф. Наркирьер — «Такой была наша любовь...» Ю. Фридштейн — Джон Осборн — раздумья и сомнения 263

Из месяца в месяц 270

Авторы этого номера 286

На обложке: картина художника ГАНСА ГРЮНДИГА (ГДР) «Молодежная демонстрация»

На цветной вкладке: работы индонезийских художников АФФАНДИ и КАРТИКИ

© «Иностранная литература», 1974.

Рассказы писателей ГДР

В октябре исполняется 25 лет Германской Демократической Республике. Четверть века первого немецкого государства рабочих и крестьян. Отмечая эту знаменательную дату, и наши немецкие друзья, и мы не можем не вспоминать о тех событиях, без которых само возникновение Германской Демократической Республики было бы невозможно — о майских днях 1945 года, когда был разгромлен гитлеровский вермахт и народы Европы, в том числе и немецкий народ, освобождены от нацизма.

Тридцатилетие этой великой победы все прогрессивное человечество будет отмечать в будущем году, но память о ней живет в нас постоянно.

В 1970 году к 25-й годовщине освобождения немецкого народа от фашизма издательство «Хинсторф» (Росток, ГДР) выпустило в свет антологию «Первый миг свободы». Ее составителем была ныне покойная Элли Шмидт, многолетний член редколлегии и ответственный секретарь журнала «Нойе дойче литератур».

Вступительное слово к антологии предельно кратко:

«В этой книге, которая посвящена 25-й годовщине освобождения от фашизма, 23 писателя ГДР рассказывают о том мгновении, когда они осознали, что наступил конец фашистской Германии и второй мировой войны, и обрели внешнюю и внутреннюю свободу».

«Первый миг свободы» — сборник ярких и поучительных человеческих документов. Ощущение этого мига к каждому пришло по-своему, и далеко не все поняли сразу его значение. Ведь в сборнике представлены люди разных поколений — от тех, кто был уже в годах и прошел к сорок пятому году немалый жизненный путь, до тех, кто был совсем молод и двенадцать лет гитлеризма составили большую часть их жизни.

Но различие в восприятии определяется не только возрастом. Одни авторы сборника — это коммунисты двадцатых-тридцатых годов. Они начали борьбу с фашизмом задолго до того, как он захватил власть, продолжали ее в подполье, прошли через ад концентрационных лагерей, каторжные тюрьмы, штрафные батальоны для политзаключенных. Другие такого активного участия в борьбе с нацизмом не принимали, хотя и были его духовными противниками. Третьи плыли по течению, не отдавая себе ясного отчета в том, что происходит вокруг.

Наконец, были и те, кто от младых ногтей не только дышал, но и надышался фашистской пропаганды, проникся ее духом. Нужны были огромные потрясения, чтобы поколебать их слепую веру.

Вот такие разные люди — а за ними стояли целые слои немецкого общества, люди со своими судьбами, мечтами, надеждами,— кто с самого первого дня, кто позже, спустя месяцы или даже годы, стали активными строителями новой жизни сначала в советской зоне оккупации, а затем в Германской Демократической Республике.

Упорно расчищали они завалы прошлого в прямом и переносном смысле слова. Они становились учителями, участниками и организаторами молодежного движения, членами СЕПГ и других партий Национального фронта демократической Германии,

активистами «Культурбунда», журналистами вновь создаваемых газет, редакторами издательств, общественными деятелями.

Путь к писательскому столу почти у каждого литератора ГДР старшего и среднего поколения длился иногда многие годы, иногда сжимался до более короткого срока. Но важнейшими вехами на этом пути, жизненном и литературном, неизменно оставались май 1945 — освобождение от фашизма и октябрь 1949 — образование ГДР.

Публикуемые нами автобиографические очерки из антологии «Первый миг свободы» отражают запечатленное в книге многообразие человеческих судеб и те позиции, на которых майские дни 1945 года застали авторов, будущих видных писателей и активных общественных деятелей ГДР.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

ЭГОН РИХТЕР

Первый миг свободы

Стоит ли говорить, сколь трудно, даже почти невозможно через двадцать пять лет, насыщенных чувствами, испытаниями, приобретением знаний и все новым познанием, перенестись назад, в положение тринадцатилетнего мальчугана, у которого тогда, в тот ясный майский день — числа уже и не припомню,— ничего этого еще не было за душой. Это могло быть не то 3, не то 5 мая, что, впрочем, как подумаешь, особой роли, конечно, не играет.

Куда более важно и заслуживает, на мой нынешний взгляд, большего внимания вопрос, существовал ли вообще в тот день некий достопамятный «миг». Для меня, разумеется. И не предполагает ли такой «миг» известной надежды на свободу — понятие мне в ту пору еще и вовсе чуждое. Взяв все это в соображение, я должен сказать: никакого точно обозначенного «мига» в тот голубой майский день для меня не существовало, ни даже часа определенного, а только нанизанные в ряд часы и мгновения самой различной значимости. Но ведь и масштабы значимости с течением лет сместились, и я отнюдь не уверен, являлось ли то, что сегодня я считаю важнейшим событием упомянутого дня, уже и тогда для меня столь важным и значительным. И не стояло ли оно для тринадцатилетнего в одном плане с такой, скажем, авантюрной возможностью, как безнаказанно разжиться во внезапно покинутом военном лагере вполне исправным военным телефоном и даже брошенной малолитражкой, чтобы, завладев этим достоянием, без малейшего толка и умения возиться с ним в ближайшей роще или тарахтеть наудачу по лесному бездорожью. Так было, по крайней мере, в утро того дня, в результате чего малолитражка окончательно стала ломом. Но я вовсе не об этом собирался рассказать. Я только хотел пояснить, до чего сложно, исходя из сегодняшних представлений, судить о том, в какой мере важным представлялось тогда ребенку то или иное событие.

Во всяком случае, утро того дня дышало свободой и миром. Свободой, потому что ни один вооруженный карабином часовой не мешал нам заимствовать в ревниво оберегаемых доселе складах любую понадобившуюся вещь,— а миром, потому что командующий корпусом, крадучись, на воровской манер, убрался из самого внушительного в нашем городке отеля, поставив крест на всех широковещательных планах обороны. Подобное обстоятельство — и об этом следует сказать

уже сейчас — сделало моего дядюшку первым лицом в городе, побудило молчаливого барона фон Г. поджечь свой дом, свою жену и самого себя, сперва облив все это для верности бензином, а у матери моей исторгло туманно-пророческое и ничего не поясняющее замечание: «Похоже, к концу идет дело. Слава тебе, господи, пронесло!» Вот и попробуйте тут что-нибудь разобрать!

Да и вообще в тот день я не понимал свою маму. До сего дня она отличалась спокойным, ровным нравом, на нее всегда можно было положиться. Вечерами она при затемненных окнах, в полной уверенности, что я сплю, слушала попеременно две иностранные радиостанции: английскую «Germany calling»[1] и немецкую «Господь, создавший железо...»[2] — и так же регулярно и украдкой делилась всем, что нам полагалось, с двумя чехами, работавшими на угольном складе против нашего дома; единственную же на моей памяти материнскую пощечину залепила мне в ответ на категорическое мое пожелание стать не кем иным, как только военно-морским офицером,— да и во всем остальном вела себя вполне нормально. Но в тот день у нее то и дело менялось настроение.

Перед обедом, когда я вернулся из своего разбойничьего похода, она сидела у радиоприемника, передававшего оглушительную духовую музыку, и отпарывала от моей юнгфольковской куртки погоны, знаки различия и серебряные пуговицы с таким видом, словно это самая естественная вещь на свете. Я, должно быть разинув рот, смотрел на эту операцию, смутно догадываясь, что мать моя, дай ей волю, готова с помощью ножниц и бритвенного лезвия вспороть весь великогерманский рейх. Это и был, очевидно, исходя из заданной темы, тот самый первый «миг». Сейчас это представляется мне тем более примечательным, что по радио как раз зазвучал прочувствованный голос военного обозревателя, призывающий всех немцев от мала до велика пасть геройской смертью в мундире фюрера. И это в тот самый момент, когда матушка с удовлетворением заметила, что в таком виде куртка моя наконец на что-нибудь сгодится. Покончив с этим делом, она собственноручно вывесила из окна спальни белую скатерть.

Позднее, после обеда, когда мы направились к дядюшке и город уже сверкал младенческой невинностью белых простынь, наши торпедные катера береговой обороны принялись обстреливать два советских разведывательных самолета, но в результате сами подверглись обстрелу и были засыпаны мелкими хлопающими осколочными бомбами. Мы бросились в лес и укрылись в бункере, где несло экскрементами. Здесь матушка начала молиться. Это было в нашем семействе столь непривычным явлением, что мать вдруг представилась мне в каком-то незнакомом и непонятном свете, отчего вся обстановка нагнала на меня тоску и страх. В темной яме под дощатым настилом, сквозь щели которого при каждом взрыве сеялись каскады пыли, я начал смутно подозревать, что из нашей жизни что-то ушло безвозвратно. И это, сказал бы я, был второй «миг».

Только в дядюшкином доме вернулась к матери обычная выдержка. Поплакав немного с присутствующими родственницами — почему они плакали, оставалось для меня загадкой,— она утерла слезы одним из больших носовых платков моего отца и спокойно спросила дядю, за что ей приниматься. «Свари нам доброго грогу»,— сказал дядя. И это в мае, при ярком солнце! Ничего тут не поймешь! Да и дядюшка, как мне показалось, был сегодня на себя не похож.

---

[1] Германия зовет *(англ.)*.

[2] «Der Gott, der Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte. . .» («Господь, создав железо, не создавал рабов ..») — начало популярного стихотворения Э.-М. Арндта, немецкого поэта эпохи освободительной войны 1813 г.

Я привык видеть его этаким незначительным чиновником, который в какой-то соседней конторе выдает жителям карточки на получение угля; незаметно, степенно курсирует по городу на своем велосипеде и, будучи, так сказать, аборигеном, ни с кем, однако, не ведет знакомства. Сегодня же он даже выделялся среди всех других — статный, энергичный. Да и волосы у него были зачесаны иначе, чем обычно,— не гладко, а вились независимо, и на лице светились отблески чего-то, что в ту пору никто бы еще не решился назвать свободой. Казалось, он исполнен ожидания чего-то необычайного, и лицо его сияло уверенным спокойствием, которое не смущали ни одиночные выстрелы торпедных катеров, ни со звоном разлетающиеся оконные стекла. Поначалу мы стояли в коридоре его дома в ожидании чего-то, что не происходило: быть может, тяжелая входная дверь сорвется с петель или в опустевших оконных рамах вдруг возникнет русское лицо — лицо, которое я при всем желании не мог себе представить. Но вот перестрелка кончилась, торпедные катера стали постепенно погружаться в воду, гудящие самолеты русских легли на обратный курс, и дядюшка сказал:

— Что это мы стоим как неприкаянные? Где же твой грог, Марта?

Однако мать мою было невозможно доискаться. В конце концов я обнаружил ее в чулане за кухней, где на большой плите уже дымился грог, и стал украдкой наблюдать, как она выдает двум молодым солдатам гражданское платье из дядюшкиного гардероба. Видно, все было заранее договорено, потому что из-за моей спины тут же вынырнул дядюшка и стал посмеиваться над тем, как болтаются на их худых ногах широченные брюки.

— Ну как, готовы?

А потом угостил всех грогом из тяжелых фаянсовых чашек, и меня тоже. Первый раз в жизни я отведал грогу. И это, как мне теперь думается, было третьим «мигом».

Спустя немного оба солдата, превратившись в штатских увальней, вкатили во двор машину. Да не первую попавшуюся, а совершенно определенную, знакомую каждому в наших местах: лимузин командующего корпусом. Мать подала им большой белый флаг, укрепленный на палке от метлы, а дядюшка вынес из угольного сарая ярко-красный деревянный щит с надписью: «Не стрелять! Привет Красной Армии!» Понизу была выведена какая-то надпись незнакомыми, округлыми, фигуристыми буквами — русскими, как пояснила мне мать. Дядя со щитом в руках уселся в обтянутый красным кузов, тогда как оба новоиспеченных штатских устроились — один за баранкой, другой — у приборной доски. Машину окружила толпа. Размышляя над тем, какими судьбами в дядюшкином сарае оказался щит с надписью на русском языке, я и не заметил, откуда набежало столько народу. Все стояли молча, и только кое-кто из местных отелевладельцев, которые какой-нибудь месяц назад не удостоили бы дядюшку и взгляда, стали ему втолковывать, как вести с русскими переговоры. Очевидно, каждому здесь было ясно, что единственно мой дядя может взять эту миссию на себя. Итак, поставив перед собой щит, он заверил собравшихся, что нечего им беспокоиться, со всеми ними обойдутся по-хорошему, кроме тех, разумеется, кто заслужил справедливого наказания. Потому что, как он пояснил, войне пришел конец. Женщины снова ударились в слезы, мать и тетка одновременно крикнули: «Будь осторожен!» — и дядюшка, высоко подняв в воздух щит, как знамя, лихо покатил за ворота. Что твой командующий корпусом. И это был четвертый «миг».

За эффектной сценой последовала сумеречная интермедия в тем-

новатой, прохладной дядюшкиной жилой комнате, куда, как мне казалось, набилась добрая половина наших горожан, топивших свой страх и тоску ожидания в нескончаемых пересудах, слезах и гроге. Мать и тетка усердно всех угощали. Я не припомню другого случая, чтобы люди с такой неутомимой жадностью накидывались на еду. Можно было подумать, что это для них последняя возможность поесть. Тем временем я услышал от матери, а также и других взрослых, которые до этого виду не подавали о своей осведомленности, из какой я семьи — кто был мой отец, мой дядя, а также их братья и сестры. Выяснилось, что дядюшка, к примеру, не всю жизнь выдавал карточки на уголь, что в ту пору, когда я родился, он преподавал в школе, откуда его в наручниках и под пистолетным дулом выдворили как заведомого красного; что отец мой был с ним одна душа, как и прочие мои дяди и тетки, и только чистая случайность избавила их от суровых последствий некоего уголовно-политического разбирательства.

— Да, да, сынок,— приговаривала мать,— так оно и было.

А тетка в который уже раз пустилась рассказывать, как, завернув в верблюжье одеяло, она укачивала меня на своих коленях и кормила размятым в молоке бананом. Тут они опять принялись все плакать, а я сидел между ними, оглушенный этой новой, точно с неба свалившейся на меня семейной историей, с которой мне предстояло теперь свыкаться. И то был пятый «миг».

Наконец вернулся дядя. Он показался мне бледным, все окружили его и стали кричать наперебой:

— Что случилось? Что случилось?

— Ах,— сказал он,— это дурачье мальчишки. Вервольфы. С пистолетами полезли на русские танки.— И вдруг, повернувшись, прикрикнул на меня: — Хорошо еще, что ты здесь!

Я ничего взять в толк не мог: все уставились на меня, точно я за все в ответе и, того и гляди, разделаюсь по-свойски с каждым из них. Только мать за меня вступилась:

— Что с него за это спрашивать?

Женщины опять немного поплакали, и тут мой дядя, повысив голос, объявил, что через полтора часа здесь будут русские: он переговорил с командиром головного танкового разведдозора; мы с ними поладим миром. А затем все высыпали во двор и стали глядеть на горящие суда и на светло-голубое небо, и тут супруга одного отелевладельца объявила громким шепотом, что русские особенно падки до одеколона марки «4711» и с ними надо быть поосторожнее. Дядя одернул ее, сказав, что нечего глупости болтать, если ей здесь не нравится, пусть идет к себе домой, соберет свою парфюмерию и спрячется с ней в угольный погреб. На такое угощение, как картошка с одеколоном «4711», русские не позарятся. Кое-кто попробовал засмеяться, но это не слишком удалось. Все со смущенным видом затрусили назад, в жилую комнату, не зная, как скоротать предстоящие томительные часы на ничейной земле.

Наконец русские появились. Они въехали во двор в своих квадратных автомобилях, на телегах и мотоциклах. Некоторые из них палили в воздух из своих неуклюжих автоматов, женщины визжали, мать кричала, что этого не вынесет, я спрятался под подоконник, а дядя вышел во двор и стал уговаривать русских успокоиться. Но те его не слушали и продолжали шуметь во дворе: топоча сапогами, они пошли за дядей в комнату, хлопая всех по плечу и громко смеясь. Я ждал, что они устремятся в спальню и выпьют все духи из флаконов, но они вместо этого внесли в кухню зеленое эмалированное ведро, полное куриных яиц, и завернутый в плащ-палатку окорок, и дядюшка объявил присутствующим, что русским не мешает подкрепиться.

Я увидел, как мать и тетка, дрожа всем телом, направились в кухню, услышал доносившийся оттуда перестук ножей, тарелок и сковородок вперемежку со смехом, чертыханьем и пеньем русских, боязливую болтовню гостей в столовой и голос моего дядюшки, у которого вдруг на рукаве появилась красная повязка, и он уже пытался наводить порядок.

Наконец русские и немцы расселись во дворе около зеленых грузовиков — кто на стульях, кто в вынесенных из дому креслах, а кто на земле. У каждого была тарелка с ветчиной и глазуньей, моя мать держала в руках необычный, четырехугольный русский хлеб и, орудуя ножом мясника, точно саблей, отхватывала от него большущие куски хлеба. Русские время от времени возглашали: «Гитлер капут, война капут!» А немцы с натянутой улыбкой приговаривали: «Ага-ага!» — и ковыряли яичницу, будто не зная, что с ней делать. Через некоторое время русские достали из своих мешковидных ранцев бутылки и, раскупорив их, пустили по кругу. Дядя и офицер в темно-синих бриджах, с множеством звякающих орденов на как-то странно стянутой ремнем гимнастерке сделали первый глоток. У дядюшки выступила на лице легкая краска, русский смеялся, а немцы вытаращились на бутылки, напрасно стараясь отыскать на них этикетку «4711». Недоверчиво прикладывались они к бутылкам, которые все быстрее и быстрее делали круг и, к сожалению, не миновали и меня — потому-то сегодня я и не могу сказать, что за речь произнес дядюшка с раскрасневшимся лицом и красной повязкой на рукаве; а также кто — матушка или один из русских — в конце концов уложил меня на кушетку в комнате. Единственное, что я еще услышал, это как во дворе кто-то наигрывает на аккордеоне незнакомую, но удивительно доходчивую мягкую мелодию.

Таков и был, как мне думается, последний «миг» того солнечного майского дня, точная дата которого не удержалась в моей памяти. Когда матушка молилась и жарила русским яичницу. Когда дядюшка извлек из угольного сарая наш диковинный щит и был произведен русским офицером в бургомистры. Когда я обзавелся полевым телефоном и впервые отведал водки. Когда моя юнгфольковская куртка лишилась погон и серебряных пуговиц, а я зато узнал совершенно новую для меня семейную историю.

И когда в лимузине командующего корпусом встречать Красную Армию и Новую Германию поехал красный учитель.

Перевод Р. ГАЛЬПЕРИНОЙ

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО

Свобода пришла не сразу...

Когда пронеслась весть о заключении мира, ударили в колокола. В разрушенных городах и сожженных селах все, кто выжил, плача обнимались, наконец-то освободившись от смертей, голода и страха...

Так было, как сказано у летописцев, без малого триста лет тому назад, когда кончилась тридцать лет длившаяся война, которая опустошила Германию и стоила ей девяти десятых ее населения. Восьмого

мая 1945 года на Родосе — Острове роз — колокола не звонили и не лились слезы умиления. Весть о мире застала меня на этом острове. Там я был одним из тысяч солдат так называемого караульного батальона 999, которые вот уже много месяцев прозябали в ожидании своего конца, питаясь главным образом кореньями, варевом из одуванчиков и скудными ломтями хлеба, в основном из отрубей. В бараке, где я жил, нас было пятеро.

Вебер, Дилленбергер и Брем, как всегда, резались в скат, Янцен сидел в углу, зажав кулаками уши и весь уйдя в книгу; я лежал на своей койке и дремал. Вдруг за дверью кто-то, пробегая мимо, крикнул: «Капитуляция!» Игравшие в карты вскинули головы.

— Что там? Капитуляция?

— Давно пора!

— Восемнадцать, двадцать, я пас...

И хлопанье картами по столу возобновилось.

Я вскочил, взглянул в угол, где сидел Янцен. Там его не было, раскрытая книга лежала на табуретке. Янцен неслышно вышел. С дрожью в коленях я несколько секунд постоял возле любителей ската. Погруженные в свои карты, они не замечали меня, я хотел что-то сказать, но передумал и тоже вышел на улицу.

Стояла теплая и ясная ночь, мерцали звезды, стрекотали цикады, а вдали монотонно билось о скалистые берега вечное море. Все было, как всегда, и все — совсем другое! Пришел конец тупому прозябанию на грани голодной смерти, лживым поучениям начальства о великом переломе в войне с помощью чудодейственного оружия и окончательной победе. Конец нацистам! С этого часа никто больше ни дома, ни вне его не умрет от пули или бомбы! Свобода, за которую мы слишком слабо боролись, о которой грезили за тюремными стенами и на отрезанном от мира острове,— она словно нежданный дар с небес ниспослана нам...

Я стоял и смотрел на сияющие звезды и ничего не предпринимал из того, что рисовалось в мечтах об этом желанном мгновении. Я не напился, чего, впрочем, при всем желании и не мог бы сделать: никто из ожесточенных местных жителей, жаждущих своего освобождения, ни за какие деньги не продал бы немцу и стакана вина или рюмочки уза. Я не проглотил сразу весь свой «неприкосновенный запас» по той простой причине, что, вопреки строжайшему запрету, он давно был съеден. Не сорвал с себя так называемые знаки различия, ибо так же, как Янцен и сотни других товарищей, давно это сделал, на что начальство смотрело сквозь пальцы. Даже распиравший меня крик радости и тот застрял в глотке. Почему — в эту минуту я не мог бы ответить.

Ответил Янцен. Некоторое время он издали незаметно следил за мной и наконец подошел. Я всегда восхищался и завидовал его быстрому уму, его умению точно формулировать свои мысли.

— Добились, значит,— сказал он, по своему обыкновению сдержанно, холодновато, словно бы с легкой иронией,— но добились не мы... — И на одном дыхании, будто желая предварить возможное возражение, продолжал: — Не будем говорить о том, что́ мы когда-то сделали или намерены были сделать, надо говорить о том, чего мы не сделали вчера, сегодня, за пять минут до того, как опустился занавес! Пытались мы хоть что-нибудь предпринять, когда наших солдат, полумертвых от голода, отправляли в лазарет, где многие умирали от полного истощения? Или отшвырнул кто-нибудь из нас винтовку и крикнул: «Все! Отвоевался!» — когда по приговору военного суда расстреляли двух итальянцев за то, что они украли кочан капусты?!

Он гневно посмотрел на меня — куда девалась его сдержанность,

он казнил себя, меня, нас всех. Он не ждал ответа, да и что мог я ему сказать? Я только опустил голову, я понял, почему из груди моей не вырвался ликующий крик, почему я не почувствовал полного счастья в этот исторический день, день восьмого мая.

На шоссе послышались шаги — смена караула. Обе караульные пары протрусили мимо; ложи карабинов «98-К» били их по ляжкам, на портупеях позвякивали противогазные сумки, шашки, патронташи — все эти потерявшие всякий смысл в день капитуляции атрибуты. Заведенная машина крутилась по инерции... Мы смотрели вслед растворившимся в темноте фигурам. И опять Янцен выразил вслух то, что было у меня на языке:

— Победу нам только теперь предстоит завоевать. Нелегко это будет...

Мы незаметно вернулись в барак. Вебер, Дилленбергер и Брем, так и не поднявшись из-за стола, по-прежнему играли в скат. Как каждый вечер.

На следующий день... Но нужно ли рассказывать о нем? Не могу ли я с чистой совестью поставить здесь точку? Ведь я, ни о чем не умалчивая и ничего не прибавляя, уже ответил на вопрос, при каких обстоятельствах встретил весть о мире и что почувствовал в первые минуты. Да, я мог бы поставить точку, если бы свобода в самом деле пришла сразу, как бы нежданно свалилась с неба. Но в том-то и дело, что она пришла не сразу, что ее нужно было, как сказал в тот вечер Янцен, еще завоевывать, завоевывать, идя от рубежа к рубежу, преодолевая сотни препятствий в умах и сердцах людей. А потому придется рассказать и о втором дне, и о многих, последовавших за ним...

На второй день у бараков стояли индийские посты, и командирам наших выстроившихся частей было объявлено без дальнейших разъяснений, что отныне мы все должны считать себя военнопленными английской армии. В тот же день произошло нечто невероятное, что мы, месяцами голодавшие, сочли скверным анекдотом: казначей отдал приказ фуражирам открыть продовольственные склады и раздать все запасы, так как с этого дня нас берут на довольствие англичане. И то, что поначалу мы восприняли как скверный анекдот, оказалось на деле нелепейшим сумасбродством и безумием: из раскрытых кладовых вылетали тысячи картонок с галетами, мясными консервами, колбасой, жирами, сыром, мешки с сахаром, даже с шоколадом и конфетами. Каждый получал столько, сколько мог унести. Все эти запасы в сказочном изобилии тайно хранились, припрятанные на некий туманный день «икс», день окончательного, победоносного сражения, который, мол, к несчастью, так и не наступил. Творились непередаваемые, для многих из нас, отвыкших от еды, смертельные жратвенные оргии. Так что день освобождения был все же отмечен, но весьма своеобразно.

В тот день, да и в последующие, произошло еще немало такого, что может показаться чудовищным. Многие из тех, кто уже ранее сорвал со своих кителей знаки различия и званий, лихорадочно шуровали на свалках, выуживая оттуда орлы, нашивки и звезды и нацепляя их снова на свои мундиры. Кто-то — и не без успеха — распустил слух, будто всех, у кого не будет знаков различия, англичане объявят бунтовщиками и заключат в тюрьму, расположенную на ближайшем острове Сими. А незадолго до погрузки на судно для отправки в Египет, где на краю пустыни нас ждал лагерь для военнопленных, была разыграна в такой же мере смехотворная, как и весьма характерная, комедия:

наш генерал пожелал проститься со «своей» воинской частью с соблюдением подобающей торжественной церемонии, на что получил разрешение англичан, этих вчерашних достойных противников и, быть может, завтрашних союзников. Часть вышла, как на поверку, и стала строем. Не хватало только надраенного до блеска оружия, в этом состоял единственный изъян. В остальном был полный набор: трескучий командирский голос генерала, приглашавшего всех, у кого появится в том потребность, по возвращении на родину посетить его в дорогой ему Силезии; и слезы умиления на глазах тех славных землячков, которые радовались, глядя на эмблемных орлов, опять украшавших их мундиры. Поражение казалось уже чем-то вроде несчастного случая на производстве, передышкой перед новыми героическими деяниями...

Во время переезда в Порт-Саид эта жуткая игра на грани смерти продолжалась. Те, кто предусмотрительно не забыл спасти, кроме своей жизни как таковой, воинские билеты и солдатские книжки, печати и штемпельные подушки, нашивки, звезды, иголки и нитки, производили друг друга в унтер-офицеры, фельдфебели, обер-фельдфебели, лейтенанты и капитаны, с занесением в солдатские книжки задним числом, лишь бы не нарушить прусский порядок. Только ли игрой это было? А может, расчетом с дальним прицелом на жирные оклады завтра и на чины и звания в блистательно воскресшей германской армии послезавтрашнего дня?

Но до тех времен, разумеется, было еще довольно далеко. В палаточных лагерях у самого края египетской пустыни они, питаясь белым хлебом с мясными консервами, уже и помнить не желали, как всего каких-нибудь три-четыре недели назад старались убедить нас, что англичане якобы не в состоянии прокормить даже собственную армию. Эти меднолобые настолько оправились от удара, нанесенного капитуляцией, так глубоко похоронили свою ненависть к «плутократам», так основательно перестроились на волну реальной обстановки, что уже на новый лад трубили о грядущем «золотом будущем». Скоро, бахвалились они, их с почетом и внушительными окладами пошлют в качестве вспомогательных английских войск в Индию, в район Персидского залива, в Палестину и Южную Африку, где они, дескать, могут быть весьма и весьма полезны. Как-никак, а ведь немецкого солдата с его превосходной выучкой сбросить со счетов-то нельзя!

Когда англичане попытались наконец — основываясь на столь же огромной, сколь и сомнительной по результатам, анкете и личных впечатлениях,— выделить в стотысячной массе немцев, обитавших на краю пустыни, антифашистов, пассивных нацистов, твердокаменных нацистов, назвав три эти группы соответственно «белые», «серые» и «черные», то оказалось, что вчерашние фанатичные горлопаны и непобедимые стратеги уже успели основательнейшим образом «перекраситься» и полностью «освободиться» от нацистской идеологии. С непринужденным видом и невиннейшей миной они заявляли спрашивающим, что демократия, по их убеждению,— единственная справедливая форма правления, а Гитлер в их глазах всегда был преступником. При этом они, как авгуры, перемигивались, а потом между собой с циничной откровенностью толковали, что за подобные признания англичане вознаградят их скорейшей репатриацией...

А я, а мы — те, кто годами томился в гитлеровских концлагерях и тюрьмах и кто составлял незначительнейшее меньшинство в этом английском лагере для немецких военнопленных на берегу маленького горько-соленого озера? Мы с гораздо большим правом могли рассчитывать на скорейшее возвращение на родину, где были очень и

очень нужны. И мы не удовлетворялись платонической надеждой, а тайно пересылали письма депутатам-лейбористам, внушавшим нам доверие, с требованием освободить нас и проставляли за подписями число лет, проведенных в гитлеровских застенках. Но вестминстерские мельницы мелют медленно, а архиконсервативная штаб-квартира в Каире была ближе и пользовалась большим влиянием, чем лейбористское правительство в Лондоне. И поэтому, когда через полтора года меня, Янцена и других товарищей включили в группу военнопленных, которую отправляли через Англию на родину, «серых» и «черных» в этой группе насчитывалось больше, чем антифашистов... До свободы было, разумеется, еще далеко, однако мы готовились к ней сами и готовили других, старались по мере возможности выполнять роль дрожжей в массе аполитичных, запутавшихся, колеблющихся, деморализованных, ищущих.

К нам в руки попадали французские, английские, немецкие газеты. И хотя коммунистической прессы мы не видели, но мы научились читать между строк и таким образом нащупывать правду. Доходили до нас и книги писателей, о которых двенадцать лет мы ничего не слышали. Чтение таких книг было тоже рубежом, ведущим к свободе. Никогда не забуду минуты, когда я — в прямом и переносном смысле слова — в пустыне прочел «Седьмой крест» Анны Зегерс, изданный в Мехико на немецком языке, книгу Абуша «Ложный путь одной нации», новые стихи Иоганнеса Бехера... Это были оазисы среди пустыни. Оружие для завоевания свободы. Шагом к ней, поневоле скромным и урезанным, была также лагерная газета: с разрешения и при поддержке англичан я организовал ее издание. Назвал газету иронически «Голос пустыни», ибо, как известно, в пустыне голосов не слышно. Все же я надеялся, что до чьих-нибудь ушей этот голос дойдет. Выступал я не только как издатель, редактор, типограф в одном лице, но и как автор бесчисленных заметок и статей. Без устали писал о свободе, которую нужно завоевать для Германии завтрашнего дня. Офицеру английской разведки не нравились прямота и четкость моих высказываний. И хотя официально цензуры не существовало, он, например, наложил «вето» на мою статью о необходимости сломать монополию на университетское образование, назвав статью «чересчур коммунистической». Не удивительно, конечно,— он был студентом Оксфордского университета.

Точно так же, как Янцен и другие товарищи, я делал еженедельно обзор печати о событиях в мире, отдаленных от нас тысячами километров, устраивал занятия по гражданскому праву, по истории, восстанавливая по памяти накопленные за два десятилетия знания, принесшие теперь свои плоды. В палатку, рассчитанную на четыреста человек, многие пришли на первое занятие с самодельными школьными ранцами на плечах, настроенные иронически, недоверчиво, и все время прерывали лекции выкриками с мест, смехом и громкими разговорами. Но раз от разу на занятиях становилось тише, воцарялось внимание, слушатели задавали вопросы уже не провокационного порядка, а продиктованные потребностью побольше узнать. Нарушителей тишины становилось все меньше, да и тех одергивали их же товарищи. Дела мои выглядели уже не так безнадежно, как вначале. Светлый луч свободы словно бы начинал рассеивать туман в задуренных головах. Одна небольшая битва была выиграна, но победа, о которой в памятный день восьмого мая говорил Янцен, все еще была далека, еще много шлака лежало на пути к освобождению...

Через год, когда мы, по-прежнему пленные, хотя и были теперь ближе к родине, сидя во вшивых бараках лагеря под Лондоном, услышали по радио многократно повторенный приговор Нюрнбергского

трибунала: «Death by hanging»[1], нас потрясла реакция окружающих: многие называли приговор позорным и несправедливым, оправдывали приговоренных к смерти, которые, мол, только выполняли свой долг... Выходило, что мы и здесь были лишь небольшой группой, противостоящей большинству. А в Хейльбронне — одиссея на пути к свободе еще не завершилась — в американском лагере для репатриантов наши соотечественники встретили нас с ненавистью, озлобленной бранью, обзывали «патентованными демократами»... То были бывшие эсэсовцы, американцы поручили им должности начальников лагеря. Не потому, однако, что им доверяли, просто не нашлись охотники на такую работу, кроме немцев, которые с полным основанием боялись возвращения к гражданской жизни и предпочитали оставаться на американских хлебах, что пришлось им больше по вкусу.

Но на этом они не успокоились. В надежде на богатый улов они безапелляционно объявили, что мы, якобы по указанию коменданта, обязаны сдать им кофе, сигареты и все прочее, привезенное с собой. Янцен, я и все остальные, убежденные, что нас хотят «взять на пушку», кинулись к американскому коменданту, честному антифашисту, какие в ту пору еще были в американской армии. Он подтвердил, что подобного указания никто не давал, и обещал проследить за тем, чтобы у нас ничего не отобрали. Слово свое он сдержал. Коричневые начальники лагеря утопили бы меня и Янцена в выгребной яме, если бы нас повсюду не сопровождали крепкие, сильные товарищи. Из пятисот военнопленных мы с Янценом покинули лагерь последними. Эту свинью землячки нам все-таки подложили.

И вот в один хмурый ноябрьский день 1946 года я наконец мог сказать себе — я свободен. Правда, мое первое впечатление на свободе нельзя было назвать вдохновляющим: сидя в углу темного, холодного вагона поезда, я стал свидетелем разговора моих попутчиков. Со злобным недоброжелательством ругали они все и вся за то, что бывшим узникам концлагерей выдают улучшенные пайки.

— А ведь в большинстве своем это были настоящие преступники,— сказал один из собеседников.

Никто не возразил ему, а я слишком устал и слишком чувствовал себя угнетенным такой встречей с родиной, чтобы вступить в разговор. Да, будет нелегко, как сказал тогда Янцен. Он не ошибся. Путь к свободе был еще долог...

...Первый час свободы? Может быть, он пробил, когда меня после трехчасового перехода по заснеженной пограничной земле, ведущей из Западной в Восточную зону, задержал военный патруль, так как у меня не было разрешения на переход в советскую зону оккупации... Патруль привел меня в местную комендатуру, и я вместо необходимых документов предъявил фотокопию повестки в суд и бумагу об освобождении из концлагеря, после чего советский комендант назвал меня по-немецки «товарищ» и тотчас отпустил. Быть может, час этот пробил позднее, в Берлине, когда я встретил на улице и заключил в объятия товарища, которого не видел со времен подполья и которого считал погибшим или пропавшим без вести. А может, он пробил в тот день, когда вышла в свет моя первая книга. Не знаю, не знаю... Вероятно, много было таких *первых часов* на пути к освобождению, которое мы сами должны были завершить, а восьмое мая 1945 года было, правда, его непременным условием, но в то же время только первым его рубежом.

Перевод И. ГОРКИНОЙ

[1] Смерть через повешение *(англ.)*.

ГЕРМАН КАНТ

Жизнеописание. Часть вторая

Я лежал под кроватью; стало быть, я лежал под кроватью. Видимо, там было пыльно. Пыль вперемешку с жиром набилась в углы рта. Я только что поел сала, поджаренного сала. Потом я, правда, пил чай, но вкус сала держится дольше, а теперь к нему присоединился еще и вкус пыли. Стало быть, я лежал под кроватью.

Я не застегнул портупею, замок затвора давил на правое бедро. Галстук развязался; один его конец прикрывал кусок пола, к которому прижималась моя левая скула. Я лежал очень спокойно, но покоя не испытывал. Я был так же спокоен, как заяц, который только что увидел охотника. Я только что заслышал охотников и вот, стало быть, лежал под кроватью.

Секунду, минуту, столетие назад я еще сидел за столом. Наевшись, напившись, отогревшись, в безопасности, уже наполовину спящий. Мы как раз говорили о том, как бы поспать. Оставалось лишь заставить себя подняться и кинуться ничком на постель. Тогда они нашли бы меня на кровати. А так придется им искать под кроватью. Уже нашли.

Я лежал под кроватью чуть южнее шоссе, идущего от Кутно в Конин, где-то повыше Коло. «Чуть», «где-то» — ведь у меня не было ни компаса, ни карты. Это произошло двадцатого января, говорю я теперь, но календаря у меня не было, равно как и часов. Часы я видел в последний раз тринадцатого января, а шестнадцатого мне в последний раз сказали, который час,— и тоже неопределенно. Трудно сказать что-нибудь точно, когда никакие законы и правила не имеют силы, если не считать того, что день по-прежнему сменяется ночью. Когда больше не обязательно утром вставать, а вечером ложиться спать, не обязательно завтракать, обедать и вечером ужинать, когда больше не обязательно с двух до четырех, или с четырнадцати до шестнадцати, заступать на пост, не обязательно идти в семь на поверку, а в полночь может не петь Лала Андерсен — когда все это становится необязательным, трудно определенно сказать, который час. И если к тому же предположить, что было воскресное утро, когда, вместо того чтобы, сидя в церкви, петь хвалу господу богу, я застрелил кашевара, и если только и помнишь, что стояло яркое зимнее утро, когда я через силу жрал снег, и если представить себе, что могут пройти еще месяцы без тепла жарко натопленной печки, тогда вовсе не важно, в котором часу ты улегся под кровать польского крестьянина, ибо только что раздался стук в дверь.

Важно одно: стук действительно был. Это оказалось достаточно важным для того, чтобы кубарем скатиться с табурета в укрытие.

Стучали гулко, словно в морскую раковину,— укрыться бы в ней, в самом дальнем ее завитке, забиться бы в самую узкую щель самой глубокой пещеры, зарыться бы в борозды рыхлой пахотной земли или хотя бы в пыль, а-а-а, в эту спасительную, все покрывающую пыль!

Все, все было против правил. Против правил, записанных в уставе и в эпосах. Во вражеском стане не садятся за вражеский стол жрать, забыв обо всем, кроме жратвы. Не думают о сне, не подумав сперва о безопасности. Крестьянина и его жену, если ты оказался с ними один на один, предварительно сунув им под нос дуло, запирают

в чулан, еще лучше заткнуть им рот кляпом, вот тогда и наверную можно: лицо к двери, дуло к двери, рука на курке и лишь другая на куске сала. Так живут по книгам, в противном случае живут недолго. А когда раздается стук в дверь, не забиваются тотчас под кровать. Сперва разведка, потом укрытие. А что можно разведать из-под кровати? Там остаются лишь одни ощущения, какая уж тут война. Так вот, если раздается стук в дверь и именно в такой ситуации, нахлобучивай шлем на голову, вскидывай ружье и кричи, словно клейстовский всадник: «Входи, коли ты не портняжка!» И если то не портняжка, а вооруженный воин, обрушивайся на него огнем и мечом, если же их много, таких вооруженных воинов, тем паче обрушивайся на них огнем и мечом и восклицай при этом, как шиллеровский гусар: «Живым я вам не дамся, собаки!» Считай выстрелы и непременно думай: «Последнюю себе, ах ты моя смуглянка!»

Но под кровать не лезут. Я же залез под кровать.

Собственно говоря, я должен был изловить их гораздо раньше, моих врагов, и вовсе не здесь — чуть южнее Коло, я должен был гораздо раньше отбросить их назад, за Урал для начала. Я нарушил устав задолго до того, как бросился под кровать.

Вместо того чтобы победить врага, я дал тягу — и лишь потому, что они стреляли в меня. Вместо того чтобы заботиться о нашем великом общем деле, я на все смотрел со своей колокольни. Я думал о собственной шкуре, вслушивался в урчанье своего желудка, разглядывал свои ступни, потому что они, видите ли, обморожены. И в кашевара-то я выстрелил лишь для того, чтобы он не выстрелил в меня. Я, мое, моя, меня. Уйдя с головой в себя, я забыл, что врагам место за Уралом, а мне не место под кроватью польского крестьянина.

Тем не менее я лежал там, вытянув вперед руки, ладонями вниз, слегка вывернув ноги, так что сапоги упирались внутренним рантом в пол. Глаза я держал открытыми; и посейчас помню торчащую из матраца пружину в светлом квадрате, его отбрасывала прикрученная более чем наполовину керосиновая лампа; я помню и эту пружину, и жир вперемешку с пылью в углах рта, и затвор, упирающийся в бедро. Еще вспоминается мне, как хорошо я все слышал. Мое здоровое ухо, левое, прижималось к галстуку, но я и другим ухом слышал очень хорошо. Женщина кричала, кричала как заводная, и все только по-польски; а я-то поначалу почел ее глухонемой. Мужчина кричал в дверь, это он орал по-польски, и орал мне что-то под кровать, это уже по-немецки. Вылезай, орал он мне, захлебываясь словами, а в дверь он орал, как я понял, что я уже вылезаю, пусть погодят стрелять, он же видит, я уже почти вылез, и это он кричал, тоже захлебываясь словами.

Не стану уверять, будто до этого он с особым доброжелательством разговаривал со мной,— и у него были на то причины: я хотел войти в его дом. Кому охота увидеть какого-то типа под собственной кроватью? Кому охота увидеть какого-то типа с ружьем на собственном пороге? А он впустил меня, без особого доброжелательства, правда, но решительно.

Должно быть, на эту решимость его толкнул мой вид: окутанный тьмой, с едва пробивающейся бородкой, выпачканной грязью, с немецкой штурмовой винтовкой. Штурмовая винтовка предназначена для штурма. Она мало весит, проста в обращении, надежна, и надежный человек весьма ловко с ней управляется. Что касается ненадежного, позабывшего и устав и правила, оттого что его вовремя не кормили, и уже много дней, то такой человек управляется с немецким автоматом еще ловчее, и кто застает его на своем пороге ровно в полночь

в войну, тот помнит устав: такого рода людей надо без промедления пускать к себе в дом.

Человек, без промедления пустивший меня к себе в дом, кричал теперь что-то в дверь; очевидно, он был готов, тоже без промедления, выпустить меня обратно и излагал мне под кровать свои доводы: их там полным-полно, и оружия у них полно, а пришли они вовсе не за ним и даже не за салом, они пришли за мной, за мной, все еще лежащим под его кроватью.

Кажется, он упомянул слово «стрелять»; те, за дверью, упомянули, как крестьянину показалось.

В этом я не усомнился. Все мы тогда весьма часто упоминали это слово. Все мы тогда редко ограничивались одним его упоминанием. И правило, повелевающее сперва выкрикнуть: «Стой! Стрелять буду!» — а уж потом выстрелить, это правило потеряло силу. Теперь просто стреляли, что предельно ускоряло процедуру; тут хочешь не хочешь остановишься.

Только вот целиться надо было хорошо. Кашевар, которого я застрелил, целился плохо. Выйдя из бункера, он меня увидел, схватился за автомат, прицелился — левая рука на стволе перед барабаном, правая на шейке приклада — и давай палить по мне. По мне, опаленному другим огнем, дым от которого наплывал на меня, волнами пробегая по отполированному солнцем снегу: бобы, о господи, бобы и жареный лук, сало и лук-порей — и это среди жестокого зимнего голода, долгого, как ночи, дни, километры, как сама дорога отступления.

И вот меня, объятого приправленным снегом голодом, атаковали запахи порея и бобов; мной завладело видение: я увидел высокую бобовую гору с громоздящейся на ней башней из лука, дольки которого лоснились от жира, но тут появляется в дверях злой кашевар, в дверях появляется солдат в белой куртке и стреляет в мое видение.

Тогда я выстрелил в его белую куртку. Мне было тогда восемнадцать лет.

Некто бежит по зимнему лесу, некто знает: тысяча кашеваров сторожат солдатскую кашу, тысяча кашеваров мстят за смерть одного кашевара, тысяча кашеваров отбрасывают половники и хватаются за оружие, когда пули свистят над плитой.

Некто бежит по лесу и не замечает в бору косулю, и не любуется единорогом, и не слышит громкого «уху» филина, и не внимает пению эльфов.

Я бежал. Как долго — не знаю. Куда — не знаю. Как — не знаю. Как бегут на седьмой день семидневного побега? Как бегут после семидневного голода? Как бегут, когда под черной грязью пальцы черны еще и от мороза?

Если на то есть причина, бегут. Мертвый кашевар за спиной — это множество причин. Мертвый кашевар здорово подгоняет. И я бежал.

Останавливался ли я? Разумеется, останавливался — по мере необходимости; в книгах это называется «у него подкашивались ноги». У меня подкосились ноги, и я остановился в канаве; подле меня из-под снега что-то торчало: надорванный мешок цемента, неразмешанного, затвердевшего цемента. И как нас сюда занесло?

Остановился я и в курятнике на колесах; там, в углу, вздымалась соломенная гора, две охапки загаженной соломы, куда я и зарылся; если кашевары займутся курами, я в безопасности.

Еще я остановился на проволоке, повис на ней, самой верхней в проволочном заграждении; правда, без колючек. А хоть бы и колючки, все равно остановился бы: выхода не было.

Я бежал по лесу до поздней ночи. От глубокого снега у меня

буквально отнимались ноги. И я останавливался — там, где меня останавливало. Меня нигде не останавливало надолго. Я нигде надолго не задерживался.

Так я добрался до хаты, до дома, до замка, до крепости. До крепости, до этой вот крепости, до стола, до тарелки. Залез под кровать. И вот я лежал внизу, а еще только что сидел наверху. На табурете, на троне. Держал вилку, как скипетр. Рыгал, точно король. Забыл о своем войске, которое и думать обо мне забыло; забыл о вражеском войске, да оно-то меня не забыло! Давал показания вопреки уставу, королевскому и армейскому.

— Немец?

— Да.

— Один?

— Да.

— И давно?

— Пожалуй, да.

— Почему так?

— Пришли те, и мы побежали; сперва нас было много, потом стало поменьше, потом опять больше, потом все меньше и меньше, и наконец я один.

— Куда же делись остальные?

— Остались на снегу, на снегу остались; выстрел пониже пупка, выстрел в селезенку навылет, выстрел в ухо. Одному всего лишь раздробило колено: рванул ручную гранату, а потом это выглядело так, будто он к ней прислушивается.

— А по врагу, когда он в вас стрелял, что же, по врагу вы уже не стреляли?

— Почему же, стреляли, как и положено. Сперва мы стреляли очень много. После уже не так много. Один раз, это когда уже все было потеряно, мы, защищаясь, еще постреляли.

— Защищаясь?

— Да, когда те в тумане взяли нас в кольцо: ну, мы и стреляли, а потом те ушли. Дальше я уже шел один.

— И часто еще приходилось тебе так защищаться?

— Случалось,— сказал я и подсунул под тарелку рукоятку автомата, а в тарелке еще были остатки сала, и хлеб еще был, и я ничего не сказал крестьянину о кашеваре.

Тогда другие пришли, чтобы сказать об этом.

Раздался стук в дверь. Словно застучали копыта. Словно бабахнул молот. Триста кашеваров барабанили тремястами скалок. Триста монгольских лошадок зацокали по брусчатке. Кто-то выпустил три тысячи лошадиных сил против крестьянских, против моих дверей. Второй Украинский фронт весь разом двинул кулаком по нашим дверям. Тогда я схватил пустую тарелку и до отказа набитый пулями автомат и швырнул тарелку, автомат и самого себя под крестьянскую кровать.

Чем погрешил против множества правил: против правила, как обращаться с тарелками, против правила, как обращаться с немецким автоматом, против правила, как обращаться с врагом и с самим собой. И было удивительно, что я недвижно лежал, чувствуя во рту вкус сала и пыли, на бедре железный затвор, прижавшись щекой к галстуку, сытый, пропуская все мимо ушей, лежал под крестьянской кроватью чуть южнее шоссе, идущего от Конина в Кутно, зимней ночью, в войну.

Но самое удивительное, что я встал, когда крестьянин крикнул мне: «Встать!»

Затем направился к двери А затем поднял вверх руки.

Перевод Л. БЛРУ

ГАНС-ГЕОРГ ЛИЦ

Граушиммель

Граушиммель заявил, что пора бросать повозки. Было часов около пяти, солнце еще не взошло, но небо у горизонта посветлело. Граушиммель уже порядком нализался. Он пил все дни напролет, да и ночи прихватывал, но все же неплохо держался на ногах, и язык у него не заплетался. Каждые двадцать километров он останавливал весь обоз и наливал себе полную флягу. Но тридцатилитровую бутыль с ромом ему так и не удалось опорожнить.

Он все пил и пил, уставясь мутным взглядом в никуда, и почти не раскрывал рта, а когда над нами на бреющем полете проносились штурмовики и все мы сломя голову кидались в кювет, он преспокойно восседал на козлах — не потому, что искал смерти или не понимал происходящего, а просто рассуждал самым естественным для себя образом. Примерно так: где лошади, там и я. Или: если уж суждено, то достанет и там, в кювете, где вы трясетесь от страха, как овечьи хвосты.

Он вливал в себя ром в таких количествах, словно хотел наверстать упущенное за долгие годы или же напиться про запас на долгие годы; но и на десятый день у него еще и руки не дрожали. Он наливал ром из большой бутыли во флягу, не проливая ни капли.

И тут Граушиммель велел взять вещмешки побольше и набить их лучшим из того, что было в повозках.

— До самого верху,— сказал он,— да поплотнее, чтобы ни грамма зря не бросать, хоть в три погибели согнетесь, а потащите. Но ерунды не брать,— добавил он,— только самое нужное: сало, галеты и консервы, не забыть соль и муку, ну, может, прихватить и килограмм-другой сахару.

Нас было пятеро на четырех обозных повозках, и только один Граушиммель пил, но лишь он один из всех нас соображал, что нам делать дальше.

— До Эльбы нам не доехать,— сказал он.

И когда мы, нагрузив на себя тяжеленные вещмешки, направились было тем же путем дальше, он заставил нас свернуть с дороги в поле, на зеленый и мягкий ковер из нежных ростков то ли ржи, то ли пшеницы, и мы потащились по нему, топча его сапогами. Тут Граушиммель произнес связную фразу — такого не случалось ни разу за все последние дни:

— Если не пойдем напрямки, кончится тем, что Иван нас все-таки сцапает.

Он здорово соображал и все видел, хоть и был пьян в стельку,— это он заметил грязно-зеленые «Т-34», грозным строем выползавшие с поля на шоссе.

Но мы не стали оглядываться; Граушиммель был нашим вожаком, которому мы вверили себя и свою судьбу, он твердо шагал по нежным стебелькам ржи (или то была пшеница?) и держался очень прямо, как, пожалуй, никогда прежде.

Наше бегство послужило сигналом для всей колонны на шоссе. Теперь поле, казавшееся мне только что пустынным и бесконечным, кишело людьми. И поэтому я не сразу заметил чужих солдат, которые словно выросли из-под земли и вдруг оказались и перед нами, и среди нас, энергично жестикулируя и ругаясь на языке, похожем на наш и

все же совершенно непонятном. Чужих солдат, которые ощупывали наши запястья и жадно осматривали наши пальцы, не выпуская из рук автоматов, явно мешавших им в этом деле,— солдат в куртках цвета хаки и касках, так непохожих на наши. И все же это были солдаты, хоть они и не кричали: «Hands up!»[1] — а только спрашивали: «Часы? Кольца?» Но вот они уже позади, и даже пистолеты остались при нас, а уж за вещмешки наши мы держались так цепко, словно намертво срослись с ними. В деревне, куда мы пришли, тоже никто не спросил про оружие. Солдаты, размещавшиеся там, хмуро глядели на нас, сдвинув каски на затылок. Безостановочно двигая челюстями, они время от времени негромко и слегка гнусавя командовали: «Two by two!»[2]

Только теперь Граушиммель оглянулся, ища нас глазами, но мы следовали за ним по пятам, точно овцы за своим бараном; поскольку Граушиммель не знал английского и не понял команды, здоровенный негр пнул его ногой в зад так, что он, сразу потеряв свою самоуверенность, заковылял и стал в строй, но не двинулся дальше, пока мы не присоединились к нему.

Так мы и потопали, two by two, навьюченные неподъемными вещмешками, слегка нервничая и изнемогая от усталости, и пришли в огромный лагерь, который производил унылое и жалкое впечатление, но в котором, как мы были наслышаны от Граушиммеля, нас ожидали сигареты «Кэмел», печенье, шоколад и говяжья тушенка; поэтому мы ничуть не испугались, увидев большие вышки с торчащими из них стволами пулеметов.

Я свалился и проспал почти до самого вечера. Проснулся в какой-то канаве между ящиками и мешками с соломой, разбитыми грузовиками и кучами тряпья; я не чувствовал ни жестких комьев под собой, ни озноба от сна на голой земле, и, проспав добрых десять или двенадцать часов кряду проснулся от приглушенных голосов людей, беседовавших о чем-то прямо над моей головой, и, уставившись спросонья в незнакомые лица, долго не мог очнуться и сообразить, где я нахожусь; но потом вдруг сразу пришел в себя.

Как-никак мне было только шестнадцать лет, я был любознателен и неопытен, для меня начиналась новая жизнь под надежной защитой Граушиммеля, нашего вожака и наставника.

Человек, на которого сразу упал мой взгляд, вовсе не смотрел в мою сторону. Он был намного старше меня, так что-нибудь под тридцать, и выглядел вконец опустившимся — оборванный, небритый, ни дать ни взять бродяга или нищий. Но что-то противоречило этому первому впечатлению. Я ощутил это чисто инстинктивно, пока растерянно оглядывал всех, столпившихся вокруг. Потом, проснувшись окончательно, я перевел взгляд с его лица, в котором не обнаружил ничего примечательного, на его руки. и тут только до меня дошло, что именно поразило меня при пробуждении.

Человек этот — по званию он был унтер-офицер, я и это только теперь заметил,— считал деньги; то есть нет, он их, собственно, не считал, а только складывал стопкой десять или двенадцать сотенных, а потом брал всю пачку и рвал пополам — вот так просто брал в руки больше тысячи марок и разрывал пополам, а потом равнодушно и безучастно отшвыривал клочки в сторону, под ноги мне и другим, и когда я изумленно уставился на него, не обратил на меня ни малейшего внимания.

---

[1] Руки вверх *(англ.)*.

[2] Разобраться по двое *(англ.)*.

Я не выдержал и спросил — хоть я уже знал, что все кончено, хоть в эту минуту и не было рядом Граушиммеля,— я спросил, и мой вопрос прозвучал, наверно, очень наивно: «Зачем вы рвете деньги? Это же целое состояние!»

В ту же секунду я понял, что слово «состояние» звучит в этой ситуации более чем неуместно и что мне не стоило лезть со своими суждениями, а еще лучше было бы вообще воздержаться от всяких вопросов. Однако унтер-офицер услышал мои слова и ответил — вяло, даже как-то лениво: «Хочешь, тебе отдам?» Тут уж я совсем растерялся и не нашелся, что сказать. Деньги? Что уж тут, мой отец зарабатывал всего семьдесят марок в месяц, мое солдатское жалованье составляло тридцать марок, мать платила за квартиру двадцать, денег у нас в семье всегда было в обрез. И вот теперь я лежал на голой земле, не ощущая ни холода, ни жесткости своего ложа. Я чувствовал только, что деньги, некогда столь желанные, вдруг потеряли в моих глазах былую ценность, и все же я не мог спокойно смотреть, как их рвут и швыряют на землю.

Я не потянулся за деньгами, и унтер-офицер криво усмехнулся.

— То-то и оно,— процедил он.— Тебе их тоже и даром не надо.

И стал складывать новую стопку, аккуратно выравнивая края, потом взглянул на меня насмешливо и выжидательно и перервал новую пачку пополам.

— Были бы размером побольше,— вяло заметил он,— так хоть для сортира сгодились бы.

В этот момент к нам подошел Граушиммель. Он уже успел облазить все углы в лагере, который назывался на их языке camp, и «организовал» массу всевозможных вещей. Он искоса посмотрел на унтер-офицера, как бы сомневаясь в его рассудке

— Чего смотришь? Хочешь — бери! — сказал унтер-офицер и протянул ему только что сложенную пачку.

Граушиммель тут же схватил ее и мгновенно сунул в карман мундира.

— И много у тебя этого добра? — спросил он.

Унтер-офицер потянулся к полевой сумке, лежавшей на земле рядом с ним, открыл ее двумя пальцами и, брезгливо поморщившись, высыпал Граушиммелю под ноги целый ворох банкнот.

— Ну как, хватит с тебя? — спросил он усмехнувшись.

Граушиммель сразу бросил наземь сверток, который до этого крепко прижимал к боку локтем, нагнулся и стал быстро-быстро подбирать банкноты, чтобы их не унесло ветром. Он запихивал бумажки в карманы мундира, а набив их до отказа, стал совать деньги в карманы брюк и делал все это быстро, но без жадности. На унтер-офицера он больше и не взглянул.

— А штаны-то у тебя поистрепались,— обернулся он ко мне. Глаза у него все еще были мутные. Он, видимо, так и не ложился спать, а вот о штанах для меня подумал. И бросил мне новенькие, с иголочки, синие брюки.

— А ну-ка, разведи руки в стороны! — велел он. И я убедился, что брюки мне в самый раз.

Уже наступил вечер, а о нас как будто и думать забыли. Весь день в лагерь прибывали пленные большими и маленькими группами, приходили и по двое, а то и поодиночке, и лишь очень немногие из них оказались такими запасливыми, как мы,— благодаря Граушиммелю. Наконец мы поставили общую палатку (Граушиммель в свое время проследил, чтобы каждый захватил с собой плащ-палатку и одеяло), улеглись поближе друг к другу и, подложив в изголовье вещмешки, заснули, но спали на этот раз плохо и видели дурные сны.

И на следующий день никто из американских солдат так и не появился в лагере, то же самое повторилось и через день. Но они не пожалели колючей проволоки, чтобы сделать ограждение повыше и погуще, и построили несколько новых вышек. А пленным милостиво разрешили брать питьевую воду из ручья. О том, чтобы помыться или постирать, нечего было и думать. Мало-помалу мы начали сомневаться в пророчествах Граушиммеля насчет печенья и тушенки, а уж о сигаретах и шоколаде и не помышляли. Солдаты, пришедшие в лагерь поодиночке, устраивались на ночлег, выкопав каждый себе небольшую нору. У большинства не было ни одеял, ни еды. На третий день мы уже хоронили первых умерших в лагере. Никто не подумал даже вынуть у них из карманов солдатские книжки. Граушиммель высказался было в том смысле, что надо бы посыпать трупы хлоркой, но достать ее было не легче, чем миску горячего супа.

На четвертый день в лагере был съеден последний стебель крапивы. Мы успели все-таки ею поживиться, поскольку Граушиммель уже на второй день погнал нас за ней, хотя наши вещмешки лопались от припасов. Теперь же мы просто слонялись по лагерю, высматривая, не найдется ли где немного хвороста или дровишек для костра.

В полдень мы со скуки завалились спать в палатке и как по команде разом высунулись из нее, услышав сквозь дремоту пистолетные выстрелы, хотя нам бы, наверно, следовало спрятаться подальше. Но мы уже пять дней не слышали ни одного выстрела, и, кроме приготовления пищи и дежурства по палатке, нам нечем было заполнить пустоту тусклого и однообразного существования. Мы увидели, что пленные толпами сбегаются к вышке, откуда доносилась стрельба. Это показалось нам странным, потому что у нас уже вошло в привычку, заслышав выстрелы, бежать куда-нибудь подальше. А пленные, наоборот, сбегались на выстрелы, и тогда мы решили сходить и посмотреть, что происходит.

Граушиммель вскочил первым. Не забыв назначить дежурного по палатке, он со всех ног бросился к ограждению, намного обставив нас всех, словно был уверен, что там будет чем разжиться. Когда мы подбежали, собралась уже такая густая толпа, что мы ничего не могли толком разглядеть, как ни вытягивали шеи. По ту сторону колючей проволоки, стоя прямо посреди поля, два любителя жевательной резинки палили как полоумные куда-то в сторону, а нам было не видно, во что же они, собственно, стреляют, и мы решили, что они просто тренируются в стрельбе по цели, избрав мишенью большие валуны метрах в пятидесяти от них.

Но потом мы заметили, что один из серых камней задергался, парни подошли к нему и подняли его, и тогда все увидели, что это заяц — да такой большой, что казалось, когда его держали вот так, на весу, будто он был никак не меньше полутора метров в длину. Американцы поднесли зайца к проволочному ограждению, ухмыляясь и не переставая жевать свою жвачку, но не говорили ни слова. Пленные, стоявшие ближе всех к забору, заволновались. Тут я наконец увидел и Граушиммеля. Он сумел протолкаться к самой проволоке, и мне показалось, что он сунул руку в карман брюк и вытащил пачку банкнот.

Остальные тоже стали рыться в карманах, и хотя деньги мало у кого нашлись, зато многие вытащили и протянули американцам кто кольцо, кто часы, кто фотоаппарат, а кто и золотые коронки или орлена и даже разные женские украшения: кулоны, браслеты, серьги — в общем, целое состояние.

Американцы подошли вплотную к проволоке, подняли зайца над головами, и он показался всем еще длиннее. А те все ухмылялись и

посматривали чуть ли не презрительно на то, что предлагали им за этого заморыша, за этого тощего и вконец загнанного майского зайца.

Тут поднялся гвалт — сперва раздались отдельные приглушенные, робкие выкрики, потом все более громкие и даже требовательные. Мы знали, что многие из пленных вот уже пять дней жили на одной воде, и нам стало как-то неловко при мысли о наших вещмешках; но, увидев, что Граушиммель вылез вперед со своей пачкой денег и кричал так же надрывно, как те, что буквально умирали от голода, я готов был сгореть со стыда.

Американцы перебросились несколькими фразами. Мы их не поняли. Говорили они тихо, почти шепотом, продолжая при этом жевать и ухмыляться.

Среди пленных вновь началась толкотня. Сзади напирали, стараясь протиснуться вперед. Кто был посильнее, бесцеремонно отпихивал в сторону более слабых. При этом некоторых свалили с ног, и толпа сомкнулась над ними. У других выбили из рук кольца и часы. Никто не обратил на это внимания. Взгляды всех были прикованы к зайцу, каждый старался пробиться поближе к нему.

Вдруг американец швырнул зайца через забор. Тощая тушка, крутясь, пролетела над частоколом протянутых рук и шмякнулась о землю где-то позади толпы. Пленные, совсем не ожидавшие такого оборота дела, на какой-то миг замерли, растерянно уставившись в довольные лица американцев, а потом рванулись назад. Мы едва успели отскочить в сторону, как на зайца набросились сразу несколько человек. Один схватил его, другой вырвал, тут подоспел третий, за ним четвертый, пятый, а потом уж все вцепились в несчастного зайца.

Борьба длилась недолго и кончилась вничью. За несколько секунд они в клочья разорвали этого жалкого заморыша и понуро потащились к своим норам, обмениваясь взглядами, полными ненависти, но в то же время и стыда.

Граушиммель тоже смущенно улыбался, когда подошел к нам, еще не остыв от схватки и не успев привести в порядок свою одежду.

— Ну, невелика потеря,— сказал он.— И слава богу, деньги целее будут.

Но было видно, как разбирает его досада из-за того, что так и не удастся отведать зайчатинки За ужином он ел без аппетита и привередничал.

— Вот бы картошки раздобыть,— ныл он.

Около нашей палатки маячили полуживые от голода и готовые на все люди, а Граушиммель требовал картошки.

Когда совсем стемнело, он опять вытащил из кармана пачку денег.

— Лучше всего, если пойдет кто-нибудь один,— глухо сказал он.

Он взглянул на меня, и мне пришли на ум и вещмешки, и новые брюки; я молча встал и сунул деньги в карман.

Граушиммель еще днем присмотрел это место. Рядом росло несколько искривленных сосен, прикрывавших кусок проволочного ограждения от света прожекторов.

И я пополз по-пластунски, как был обучен в доблестном вермахте, в полном соответствии с уставом. Под проволокой я пролез без труда, а выбравшись наружу, даже подивился, почему это другие пленные подыхают с голоду в лагере и не догадываются удрать через эту дыру. Когда луч прожектора падал на меня, я застывал на месте и как бы вжимался в землю. Только в двухстах метрах от проволочного ограждения я решился приподнять голову. Вокруг все было тихо. Я встал и зашагал по направлению к деревне, которую днем было видно из лагеря. Шел я, слегка пригнувшись и наклонясь вперед — так, чтобы в любой момент броситься на землю и замереть, превратившись в вы-

ступающий из-под земли корень, кучу гнилой соломы или большой голубовато-серый валун.

За домом, к которому я направился по задам, через огороды, меня поджидал пес — тварь подлейшей повадки. Он подпустил меня поближе, а потом бросился, пытаясь сразу тяпнуть за ногу. Он даже не лаял, только шумно дышал, и его янтарные глаза горели в лунном свете. Я пнул его сапогом в бок. Удар был точный и сильный, но пес не взвыл, только стал дышать чаще и тяжелее и немного отстал от меня.

А я мигом взлетел на крыльцо и стал спиной к двери — так удобнее было защищаться, потому что проклятая шавка опять норовила цапнуть меня за ногу. В этой позиции мне удобно было время от времени отпихивать ее морду носком сапога.

Дверь дома отворилась так неслышно, что я чуть было не упал в объятия хозяина. Псина воспользовалась этим, чтобы вонзить зубы в голенище моего сапога. Она убралась, только когда крестьянин наклонился за камнем.

Долго торговаться не пришлось. Я дал крестьянину двести марок, и он насыпал мне в мешок картошки — так килограммов пятнадцать. И только когда я спросил еще и табаку, он стал жаться. Я опять вытащил из кармана пачку денег, но это не подействовало. В конце концов пришлось снять с руки часы, но крестьянин, этот поганый хозяйчик — послушать их, так они все с хлеба на воду перебиваются,— и тут не сдался. Нацепив на нос очки, он долго разглядывал часы, держа их в вытянутой руке, потом приложил к уху, потряс немного, прочитал надпись на никелированной крышке и протянул их обратно. Мне сразу вспомнился Граушиммель, вспомнились и вещмешки, и новые брюки, всплыл, правда на миг, и заяц, но только на миг, и тогда я начал плести что-то насчет часов, что они-де швейцарской работы, на двадцати пяти камнях и будут ходить еще сто лет без ремонта, добавив, что я и на полфунта табаку согласен, только чтоб был хорошо просушен, это уж обязательно.

Может, крестьянин решил, что от меня не отвяжешься, а может, боялся американцев. Во всяком случае, он сунул руку в духовку, вынул оттуда несколько бурых листьев и протянул их мне. Я не шевельнулся; тогда он добавил еще несколько штук и стал подталкивать меня к выходу. Часы он уже успел упрятать в карман.

Я ничуть не горевал о них. Пять дней назад я нашел их в кармане тех самых штанов, что дал мне Граушиммель. Никому ни словечком о них я не обмолвился, приберегая этот сюрприз до поры до времени. Теперь это время пришло.

Та псина все еще торчала у дверей. Она не сводила с меня злобного взгляда и преследовала по пятам, пока я не перелез через ограду.

Граушиммель ждал возле сосен, он взял у меня из рук мешок с картошкой и одобрительно похлопал по плечу. Но больше всего он обрадовался при виде табака. В награду я получил за обедом добавку.

В тот день Граушиммель, беспрестанно слонявшийся по лагерю, принес очередную новость. До этого дня мы верили всем слухам, даже такому дикому: что, мол, американцы собираются объединиться с немцами и вместе пойти против русских и что уже создаются такие добровольческие корпуса,— всему, ну буквально всему мы верили; однако этот последний слух, хотя — или, вернее, именно потому, что он был наиболее правдоподобным,— показался нам сомнительным. Говорили, будто фельдмаршал Кейтель подписал в Берлине капитуляцию. Граушиммель уже разузнал и детали: фельдмаршал был в белых перчатках, ни на минуту не выпускал из рук своего маршальского жезла, держался прямо и гордо: старая прусская школа,— дескать, побежден,

но не сломлен,— чем будто бы внушил генералам противника величайшее уважение.

Не успел Граушиммель до конца расписать всю эту историю, как уже пронесся новый слух: на берегу ручья поставили три старые полевые кухни немецкого образца и теперь, на шестой день, нам впервые дадут горячего варева. У Граушиммеля тут же вылетели из головы все остальные подробности капитуляции. Он сделал мне знак, и мы зашагали к соснам у ручья, от которых к лагерю тянулись три тоненькие струйки дыма.

— Неужто это правда, насчет капитуляции? — спросил я у него.

— Ясное дело,— ответил он.— Отвоевались.

— Наконец-то мир! — воскликнул я.

— Дерьмовый мир,— бросил Граушиммель. Он сердито топал рядом со мной по тропке.— Тебе-то что за радость? Загонят теперь в лагеря и будешь вкалывать лет десять, а то и все двадцать. Ну, ты еще молодой, может, и выживешь.

— А ведь говорили, что... — начал было я.

Но Граушиммель оборвал меня на полуслове.

— Брехня все,— заявил он.— Чистая брехня.— Теперь они поступят с нами так, как мы поступали с ними.

Я был не очень-то склонен верить Граушиммелю. Ведь однажды он уже попал впросак со своими пророчествами насчет печенья и тушенки; тем не менее я чувствовал, что в его словах была логика. Мне просто не хотелось ему верить, поскольку эти двадцать лет лагерей затрагивали и меня лично.

Беседуя, мы время от времени поглядывали вперед, туда, где под соснами уже толпились пленные, но вообще-то смотрели только друг на друга, а не по сторонам. Как потом оказалось, сбоку у тропки стоял какой-то капитан, которого мы и не заметили. По всей вероятности, он замер от удивления, проводил нас взглядом и вдруг заорал — да так, что мы вздрогнули:

— А ну-ка вернитесь!

Я почти машинально повернулся кругом, чтобы выполнить приказ капитана,— въелось это в меня за время службы,— но тут Граушиммель ухватил меня за рукав. Он и не думал трогаться с места и глядел на капитана так, как прошлой ночью на меня глядел тот пес. Капитана немного смутил этот взгляд, тем не менее он подошел к нам сам. Его голос звучал уже совсем не так уверенно, чуть ли не просительно, когда он обратился к Граушиммелю:

— Штабс-ефрейтор, как вам, должно быть, известно, здесь, в лагере, тоже положено отдавать честь старшим по званию. Разве вы не понимаете, что, распускаясь до такой степени, вы бросаете тень на репутацию немецкого солдата?

Граушиммель ничего не ответил.

Тогда капитан сказал:

— Ну-ка живо — вернитесь и пройдите как следует!

Лучше бы он этого не говорил. Граушиммель резко и сильно ударил его кулаком в лицо. Удар пришелся по носу. Капитан и не пытался защищаться. Он как-то растерянно огляделся по сторонам, вытащил носовой платок и прижал его к носу. Платок вмиг пропитался кровью. Но Граушиммель опять подскочил к капитану и сорвал у него погоны с плеч. Капитан и тут не сопротивлялся. Он только грустно посмотрел на серебряные полоски, которые Граушиммель швырнул ему под ноги.

— Дерьмовый мир,— повторил Граушиммель, вновь зашагав к соснам.

— На двадцать лет? — спросил я. Никак не хотелось верить.

— А черт его знает,— ответил Граушиммель.— Может, десятью обойдется.

Это прозвучало так, как будто он хотел меня утешить.

— А что нам придется делать эти десять лет, как ты думаешь? — не унимался я.— Может, нас в цепи закуют, а?

Граушиммель взглянул на меня в раздумье. Он немного замедлил шаг, хотя не мог не видеть, что к кухням со всех сторон сбегаются пленные.

А потом сказал очень тихо:

— Что делать-то придется? А что всегда приходится делать людям, когда война кончается: сперва убрать все то, что мы разворотили за эти годы.

Перевод Е. МИХЕЛЕВИЧ

ЮРИЙ БРЕЗАН

Впечатления

1. Генерал, крестьянин и дама

У первого часа немало обличий и минут, есть чему посмеяться и над чем поплакать — смешных, трагических, неимоверных, повседневных,— попробуй тут переворошить и приладить все так, чтобы получилась картина сплошного благовеста и фанфар; а как же быть с последним убитым по чистейшему недоразумению или же с тем обстоятельством, что в нижнебаварском крестьянском доме женщина гадает на картах четырнадцати эсэсовцам,— единственное, в силу чего некоему человеку, моему тезке, удается избежать фрейзлерова топора или, на худой конец, вульгарной веревки штурмовика.

Мой тезка: ибо могу ли я утверждать, что и был тем обер-ефрейтором, коему генерал-полковник Х. на командном пункте своей дивизии — последней действующей истребительной дивизии — повелел 25 апреля к десяти утра явиться к нему на квартиру, где и показал переданный по радио приказ чрезвычайного «народного» суда об аресте и принудительной доставке к месту назначения оного обер-ефрейтора, а заодно и пояснил, что сочтет себя обязанным арестовать его и выдать властям, если оный обер-ефрейтор завтра еще будет обретаться в этих местах.

Я — если, конечно, я и был тот обер-ефрейтор — без паники уложил самое ценное свое достояние, ни много ни мало два начатых романа и черновую тетрадь со стихами, лучшими из когда-либо мною написанных, как упрямо подсказывает мне память, депонировал все это у пекаря в местечке Пфаффенхофен и двинул по направлению к Ингольштадту: мужчина в коричневых бриджах, тридцати лет, с кое-каким опытом в игре жизнью и смертью, исполненный неколебимой и необъяснимой уверенности, что путь этот ведет к жизни, а не к смерти.

Полуденный звон в деревне Рингенхайн, некий роттенфюрер берет на подозрение как коричневые бриджи, так и документ, выданный генералом обер-ефрейтору: уволен по причине открытого процесса «tbc». Смерть уже готовится схватить цивильную спортивную рубашку за ворот, но тут четырнадцать эсэсовцев в крестьянском дворе обступают сведущую в гаданье дюссельдорфскую даму, и тогда у шеи, торчащей из воротника цивильной спортивной рубашки, появляется шанс. За вторую половину этого дня и за вечер эсэсовцы самым доскональным образом переворачивают деревню вверх дном, некоторое послабление делается лишь для двора, где расквартированы те четырнадцать, а также укрытый глубоко в копне сена пятнадцатый. К утру крик и беготня удирающих, позднее — кое-какая трескотня и погромыхивание завязавшегося сражения, а к девяти крестьянин раскапывает сено, у дюссельдорфской дамы и впрямь оказывается полбутылки коньяку, она гадает мне на картах, и в благодарность за коньяк я слежу за тем, как король, дамы и валет собираются вокруг моего будущего, а десять минут спустя жующий chewing-gum [1] бледнолицый лейтенант-танкист: «Serbian, I see! Go on, go home».[2] Не вдаваясь в объяснение разницы между сербом и сорбом,[3] я go on, взяв курс на северо-восток, не имея ни малейшего представления о том, что валет, дама и король дюссельдорфской дамы доставят мне «по дальней дороге» «неожиданное богатство» в «казенный дом».

2. *Будущее на ящике из-под мыла*[4]

Начальник американского главного штаба XII корпуса помешан на чистоте, горе той былинке, о которую запнется его нога; при штабе на сей предмет целая конюшня вольнонаемных, они подметают, скребут, моют посуду, подбирают соломинки, окурки, бумагу и выдергивают травинки на территории главного штаба, размещенного в Регенсбургской артиллерийской казарме.

Я живу во владениях начальника по снабжению, здесь под лестницей в подъезде стоит овсяный ларь, на котором я сплю; доставленный из США ящик из-под мыла служит мне столом, наполовину набитый мешок с овсом заменяет табурет; стоящий перед входной дверью «джи-ай», рядовой,— мой телохранитель, собеседник и осведомитель по части взбаламученной мировой истории; статус мой весьма неясен, я не военнопленный, но и не свободное лицо.

Старший рядовой Брукс, по прозванию Дог или Дуг — я так и не удосужился узнать,— тоскует и понимает мою тоску, он скучает по дому, по своей нареченной, на фотокарточке она слегка напоминает Лилиан Харвей: чаща белокурых волос и маловато тела, он боится за свою работу — у него отменное место закройщика на обувной фабрике, тревожится за своего братишку Джо, который высадился в Палермо,— в общем, Дог или Дуг с ума сходит от беспокойства, распроклятая потаскуха-почта, как видно, уже празднует Victory-

---

[1] Жевательная резинка *(англ.)*.

[2] Серб, как я вижу! Ступайте, ступайте домой *(англ.)*.

[3] Сорбы — устаревшее немецкое слово, название лужичан, славянской народности, живущей в ГДР в верховье и по среднему течению Шпрее.

[4] Ящик из-под мыла — в США импровизированная уличная трибуна.

day, День Победы, между тем как горемыки «джи-ай» ждут не дождутся писем от невест, братьев, отцов.

Я разделяю его горе, поэтому он перетаскал мне все свои книжки из «Карманной библиотеки», иллюстрированные рассказы комического сержанта Сэда Сэка, сенсационные приключения, «сторис» о разбойниках Дикого Запада и «Седьмой крест».

Я читаю Анну Зегерс и кричу по ночам, потому что черные палачи навещают мой овсяный ларь. Дог или Дуг считает чтение книг, в особенности таких, что будят среди ночи, непоказанным для здоровья; в противовес вредным книгам, он учит меня карточным фокусам и оставляет мне в подарок свою колоду расписных карт. Я упражняюсь в преподанных мне фокусах, правда, без должной серьезности, а как-то пришло мне на ум разложить карты на ящике из-под мыла в четыре ряда, как это делывала дюссельдорфская дама, но ни о чем таком и не думал, а Догу уже что-то запало в голову, и он спрашивает, умею ли я гадать на картах. Мои только что завершившиеся восемь лет самого свободного из университетов, обширного и привольного, как сама жизнь, стоят за мной и подсказывают, что правильнее ответить «да», я и говорю «да» и раскладываю Догу карты, хоть понятия не имею, которая из них «дорога», а которая «приятное известие», даме червей поручаю быть Лилиан, это самая нерушимая верность, ни один мужской рот не касался ее вишневых губок, валет пик у меня сходит за братца Джо, здоров и невредим, стоит он под лучами южного солнца в образе десятки бубен, туз треф — это Догов «джоб», все там у него складывается как нельзя лучше, у пикового короля такой достойный вид, что я назначаю его отцом Дога, почтенный родитель тоже пышет бодростью и здоровьем,— в общем, самое отрадное будущее, и даже распроклятая потаскуха-почта готова для него расстараться и вот-вот доставит ему по дальней дороге радостные известия в казенный дом.

Дог живет на окраине Нью-Йорка, он не верит в чудеса и только смеется, бросает пачку «Кэмел» на ящик из-под мыла, где разложено его будущее, и идет обедать.

Десять минут спустя он уже снова тут, смотрит на меня сияющим и даже уважительным взглядом и сооружает передо мной форменный праздничный стол: продукты из офицерского пайка, сигареты «Кэмел» и «Кэндис», конфеты. Ему только что вручили одиннадцать писем, перед моими картами не устояла даже потаскуха-почта.

Я радуюсь за Дога и дивлюсь на свое богатство — добрых тысяча марок по спекулятивным ценам, как мне и тому же Догу вскорости становится известно. Но у меня нет времени долго дивиться, в эту ночь моя фуражная база становится храмом дельфийского оракула, а мой мешок с овсом — треножником пифии. Я предсказываю наудалую, темен смысл моих речей, но каждому слышится то счастье, которое ему желанно, а после того как я наворожил нашему старшему капитану скорейшее возвращение домой и тот состроил кислую гримасу, я обещаю младшим участникам этого великого мирового театра веселый отпуск на родине и плодотворное пребывание в Европе.

Мой овсяный ларь доверху заполнен спальными мешками и одеялами, тут и пишущая машинка, и патефон, не говоря уже о ботинках, чулках, белье, мундштуках для сигарет, и все это венчает квадратная карточка — пропуск на северо-восток. На карточке стоит, что я a displaced person — перемещенное лицо. *Первый час* вновь познает правду.

3. *Intermezzo*

Первый час еще раз превращается в *нулевой,* когда до меня доходит известие (ложное), будто семья моя погибла; дома мне, стало быть, делать нечего, я работаю мойщиком посуды в гостинице и собираюсь утвердиться в этой стране, побежденной, но не освобожденной; мне довелось познакомиться здесь с неким добропорядочным человеком; старый социал-демократ, он считает для себя позорным, что в свое время не стал нацистом, а посему не может вполне воспринять поражение Гитлера как собственное поражение и упирает на то, что новая социал-демократия должна стать националистической; правобережную Германию он зовет Сибирью.

И я вижу, что по-прежнему живу в гитлеровской Германии, что немцы так и остались немцами, они по-прежнему поют и веруют, что «Германия превыше всего». Я записываю в свой дневник: «Решено, я уезжаю отсюда, и как можно дальше от Германии».

Но тут дошло до меня письмо матери: «Мы живы».

И письмо друга: «Ты нам нужен».

Я, нимало не задерживаясь, прощаюсь с этой страной, часы мои снова показывают час первый.

4. *Пограничный камень*

Последний холмик — и передо мной моя деревня.

Тысячу раз представлявшаяся мне мысленно, она теперь совсем другая. Я не ликую, не чувствую в глазах жжения, и горло у меня не саднит, зато ноги налиты свинцом, на плечи давят тридцать-сорок лет жизни, теперь, когда от меня потребуется дело, тогда как до сих пор со мной что-то делали.

С того дня, как мне сломали в тюрьме предплечье, жила в моем сознании неистовая, рожденная ненавистью надежда повесить когда-нибудь такого вешателя; я сажусь, это пограничный камень, здесь начинаются угодья моей деревни; смешна и до абсурда невыполнима та рожденная ненавистью надежда, но все кругом заслоняет и гнетет незнание того знания, что учит, как строить и устраивать жизнь без палачей и без надежд, рожденных ненавистью.

Я чуть ли не бегом прошел десять километров, отделяющих деревню от станции, а теперь плетусь шагом или делаю вид, будто плетусь, как бы стараясь показать, что хочу вдоволь насладиться возвращением в родимый край после восьми лет страха... Здравствуйте, Большая Липа и серая шиферная кровля школы, здравствуйте, дома, соседи, гуси на речном островке; у садовой ограды за отцовским домом кончаются все мои страхи, как вынесенные из прошлого, так и новые,— пред ожидающим меня новым.

Двое узнают мой пронзительный свист — мать и старая овчарка.

Я целую мать, впервые после детских лет, собака споткнулась о ведро, она слепа. Она тихонько повизгивает, я поглаживаю ее, я тоже слеп.

Вечером возвращается отец.

— Долго же ты заставил себя ждать,— говорит он.

У него удивительно ясные, светлые глаза.

5. Иоганн Себастьян Бах

Мои друзья, из тех, кого не поглотили черные страхи коричневых лет, уже захвачены интересами дня, но в их речах попадаются слова, которые кажутся мне несбыточными замыслами, персиками в густом месиве перловой каши.

Кто-то обнимает меня — чувствительная сцена,— пять-шесть человек наблюдают со стороны, один из них — я, и я вижу, как деревенею, отрезвленный и даже отчужденный.

Один в чем-то горячо убеждает меня, я не поспеваю за его словами. Он провел в лагере восемь лет, а говорит то же самое, что и до ареста. Он так и не удосужился заметить, что прошлое умерло, погребено и не восстанет ни на третий, ни на какой-нибудь иной день.

Другому отпущено сто литров молока на тысячу детей, он смотрит на мир под этим углом зрения, угол этот обширен, но слова его, прямо сказать, мелковаты. Он дает мне для начала краюху хлеба, советует не теряя времени устроиться на учебу и, судя по всему, надеется, что молоко для детей со временем обретет для меня большую важность.

Последний забирает меня к себе, мы едим мой хлеб, запивая чаем, настоянным на каких-то травах, мы задаем вопросы и отвечаем, вопросы все больше не по существу, а ответы — осторожный, посмеивающийся круг, обведенный вокруг Сегодня. Вчера умерло, Завтра еще не родилось.

А затем мой друг нерешительно достает из кармана самую обыкновенную и в своей обыкновенности пережившую многие времена и их крушение карточку — желтоватого цвета входной билет, номер, дата, место.

«Четвертый бранденбургский концерт» Иоганна Себастьяна Баха, направленная на дирижера каталитическая лампа, на пультах лежат нераскрытыми нотные тетради, у молодой красивой солистки голодные руки. Я смотрю и слушаю, посмеивающийся круг расступается, он вбирает в себя Иоганна Себастьяна Баха, и холодный, неосвещенный зал, и голод юной красивой солистки, и женские груди, и Томаскирхе,[1] тысячу детей и сто литров молока, и в антракте я тоже вижу и слышу многое; Иоганн Себастьян Бах — это, возможно, попытка воспринять умершее и погребенное как некую пасхальную надежду.

Когда я возвращаюсь домой через свой разрушенный город, за чьим-то окном бьют стенные часы, и мне не приходит в голову, что они отбивают мой первый час. Я до странности не чувствую усталости, напротив, какую-то приподнятость и бодрость, я несу в себе все прошлые времена, и ни одно будущее без меня не обойдется — человек в точке пересечения времен, я готов к жизни. Я не обдумываю эту жизнь в деталях, и неимоверно комическим представляется мне, что когда-то я обладал тайной будущего с высоты ящика из-под мыла. Я смеюсь и чувствую, что смех мой звучит в унисон с серьезностью той юной, прекрасной солистки, мне бы вместо аплодисментов отдать ей свой хлеб,— возможно, она бы улыбнулась.

Перевод Р. ГАЛЬПЕРИНОЙ

---

[1] Церковь в Лейпциге, где И. С. Бах был в течение многих лет кантором и органистом.

ГЮНТЕР ДАЙКЕ

Путь домой

Хорошо хоть, что солома, которую они накидали для нас в этот пустовавший гараж, была чистой. Раньше здесь, вероятно, стояли военные машины. Но у русской пограничной части, которая расположилась теперь в этих местах, были только лошади и велосипеды. Патрульный на велосипеде и задержал меня, когда я собирался было пробраться в Ильзенбург, а оттуда дальше, домой.

Итак, я лежал на соломе, пытаясь разобраться в своих чувствах. Все, кто лежал со мною рядом, явно не впервые попадали в подобную переделку.

Я был еще слишком молод, чтобы долгое время чувствовать себя несчастным, и слишком молод, чтобы отчетливо понимать, чего именно я хочу. В марте 1945 года одна молодая норвежка спросила меня, что мы будем делать, если проиграем войну. Я ответил с пафосом:

— Будем сражаться до последнего патрона и этот последний патрон выпустим в собственную голову.

— Вы — страшные люди,— недоверчиво улыбнулась она.

И вот наступил уже конец июля 1946 года, а я все еще был жив. Но юность, пожалуй, кончилась, и многие грезы отошли в прошлое. Что будет, когда я вернусь домой, к матери и моим младшим братьям и сестрам, я не знал. Я научился управлять подводной лодкой, но в Тюрингии эти познания уже никак нельзя было применить. Обо всем этом я вовсе не думал. Нужно было проститься с мечтами. Правда, не навсегда, ибо мне предстояло еще поведать о них в рассказах, которые я собирался написать, но в действительности ни одна мечта не сбылась.

Излюбленная мечта моего друга Пита была такая: мы с ним совершим кругосветное путешествие на кече.[1] Стоило только наскрести сорок тысяч марок, а искатели приключений — везде желанные гости; о путешествии можно будет написать книгу — «На паруснике вокруг света», выступать с лекциями, сопровождая их диапозитивами, на вырученные деньги заново оснастить лодку, снова отправиться в море — и так далее...

Пит был старшим помощником командира на нашей подводной лодке, я — вторым. Он был человек дела, я — мечтатель, и, когда на нас находило соответствующее настроение, мы играли в Хагена из Тронье и Фолькера из Альцая.[2] Расскажи об этом кому-нибудь, разве поверят, что взрослые, хоть и молодые люди, сдавшие экзамены на офицерский чин и с капитанскими патентами в кармане, имевшие дело с дизелями, торпедами, рулями глубины и радиоприборами, перевоплощались в мечтах в героев средневековых сказаний, им грезились лагерные палатки, за которыми простирается дымно-красный горизонт, и вспоминалось: «Мчаться, мчаться, мчаться...»[3] Мешанина из Ницше, Рильке, Бёрриеса фон Мюнхгаузена, Феликса Дана...

---

[1] Небольшое двухмачтовое парусное судно. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Два друга, герои «Песни о Нибелунгах».

[3] Начальные слова произведения Райнера Марии Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке».

Рослый, белокурый, голубоглазый Пит был фактически командиром нашей подводной лодки. Правда, руководство операциями принадлежало самому командиру, мягкосердечному человеку с теплыми карими глазами, который, разумеется, обладал неограниченной командной властью. Однако наиболее важные решения принимал Пит, который презирал командира и которого тот, вероятно, ненавидел.

Все же в одном случае командир сумел настоять на своем — к нашему счастью. Это произошло в ночь с пятого на шестое мая 1945 года в бухте Рейкьявика. Мы атаковали американский морской конвой и потопили два корабля, не подозревая о том, что было уже известно американским морякам, а именно: что война, считай, почти закончилась. После того как еще одно их сторожевое судно, пройдя над самой нашей рубкой, вспороло себе брюхо нашим перископом, они, разумеется, начали нас преследовать с удвоенной яростью, они запускали в нас целыми сериями глубинные бомбы, так что нам уже казалось, будто мы воистину угодили в адово пекло.

Тут Пит предложил лечь на грунт на глубине шестидесяти метров. Его поддержал старший инженер-механик, маленький, мускулистый, который сидел в центральном посту, как обезьянка на ящике; управлял горизонтальными рулями и больше всего беспокоился о том, сколько электроэнергии мы расходуем. Однако командир принял другое решение: мы погружаемся только на двадцать метров и пытаемся уйти. Он рассчитал верно: противник предполагал, конечно, что немецкая лодка, зная, что она обнаружена, должна будет залечь на возможно большей глубине, а в этих местах такая глубина составляла от пятидесяти до ста метров.

Не исключено, что одна бомба с взрывателем, установленным на такую глубину, уже заклинилась в это время у нас на корпусе между стойкой перископа и ограждением боевой рубки и не взорвалась лишь потому, что мы погрузились всего на двадцать метров и пытались прокрасться к выходу из бухты под вспугнутой стаей сторожевых кораблей, что нам и удалось наконец через двадцать семь часов. Но перископ наш был сломан. И когда мы решили всплыть, чтобы осмотреться, бомбу качнуло, она выскочила из ловушки, упала с рубки на корпус, прогрохотала к корме, ушла на глубину и там взорвалась.

Побледнев от страха и облегченно вздохнув, мы поняли, что наш командир оказался прав.

Впрочем, Пит и после этого по-прежнему пользовался огромным авторитетом, по крайней мере среди нас, офицеров. Это вновь подтвердилось несколько дней спустя, когда нам пришлось решать, что же делать с «проклятой старой посудиной».

Мы вошли уже в Датский пролив, всплыли северо-западнее Исландии и как раз восьмого мая услышали по английскому радио, что война кончилась. Итак, первое известие о положении на фронтах, полученное нами через три недели после того, как прервалась наша радиосвязь с сушей, оказалось известием о мире.

Это последнее плавание к северу от Исландии, где к тому времени солнце уже почти не заходило, преследовало меня иногда даже во сне — не столько само это конкретное событие, сколько вызванное им странное, противоречивое чувство. Мы плыли на восток, погода стояла мягкая, спокойная, небо обложили тучи, но было очень светло, море колебала лишь величавая и неторопливая зыбь. Мы выпустили последнюю торпеду и уничтожили секретные бумаги.

При этом я тщетно искал в душе чувство отчаяния. На меня находили минуты честности, когда я признавался себе, что не было ни одной военной операции, участвуя в которой я не испытал бы стра-

ха. В школе я с пафосом провозглашал: «Германия должна жить, даже если нам придется умереть!» Однако мне всегда хотелось остаться в живых.

И вот теперь я остался в живых. Война была позади, печатями было скреплено, что отныне никто больше не будет стрелять друг в друга. Втайне я чувствовал облегчение и начал надеяться, что мне, быть может, еще удастся стать сельским учителем или журналистом.

Однако в то же время я начал прощаться и со всем тем, с чем успел сродниться,— с войной, и с подводной лодкой, и с приключениями, и с морским плаванием. Опасности? Они были мужественно преодолены. Страхи? Они были подавлены. Отныне тебе будет дорог запах дизельного масла, а шум дизельного мотора будет напоминать о боевом походе. Не забывай колеблющейся перед глазами линии горизонта, вбери в себя подъемы и спуски корабля: ты знал море!

Десятого мая мы приняли переданную открытым текстом радиограмму немецкого военно-морского командования, согласно которой всем кораблям надлежало прибыть в английские, американские или русские порты.

Тут настал час моего друга Пита. Командиру, который в это время изучал морскую карту Англии, он сунул под нос пистолет.

Впервые с тех пор, как я ступил на борт подводной лодки, я увидел задраенные на ходу переборки между офицерским помещением и остальными отсеками. Совещание офицеров. Что будет с нами, что будет с проклятой старой посудиной? Командир напомнил о приказе военно-морского командования.

— Обман! — закричал Пит. — Наш «старый лев» никогда не мог бы отдать подобный приказ, противоречащий чести немецкого военного моряка! Ясно, что эти радиограммы послал английский штаб!

Что делать? Плыть в Норвегию, предложил старший инженер-механик. Все согласились: ведь там хранились наши чемоданы и парусиновые мешки. Но мы тотчас же вспомнили, что Норвегия тоже оккупирована противником, а ее население отнюдь не питает к нам дружественных чувств.

Тут Пит и изложил нам свой план:

— Северо-восточнее Исландии мы погрузимся, возьмем курс на юг и потихоньку доползем до Немецкой бухты. У острова Амрум ночью всплывем, затопим наш корабль и на надувных лодках отправимся к берегу. А потом? Ну что ж, приближается лето. Каждый захватит с собой как можно больше провианта, а неприкосновенный запас разделим поровну. Днем будем отсыпаться в сараях, отдаленных от крестьянских домов, а ночью окольными дорогами продвигаться в родные места, разбившись на группы по провинциям.

Было это десятого мая. А ранним утром двадцать четвертого мая мы подошли к песчаному берегу Амрума и немного погодя, во время отлива, благополучно сели на мель.

Когда начался прилив, нас перевезли в спасательном катере на остров, а оттуда в Вильгельмсхафен, где некоторое время продержали под арестом.

Еще до этого, плавая в Северном море, мы побросали наши пистолеты в воду. Никто и не подумал пустить себе с отчаяния пулю в лоб.

Итак, мы были «у англичан», а это все же лучше, говорили мы себе, чем оказаться «у русских». Весь мой нехитрый багаж помещался в бывшем мешке от спасательного снаряжения. Другого имущества к содержимому этого мешка с той поры не прибавилось. Теперь я его использовал вместо подушки. Мне не спалось в этом гараже, который отнюдь не был предназначен для размещения людей. Были

бы у меня карандаш и бумага да еще свет, я, вероятно, начал бы вести дневник. А так оставалось лишь сочинять в уме разные истории о себе самом, причем концы я варьировал: то придумывал трагический исход, то «хэппи энд».

Вот, к примеру, длиннейшая история о любви в ту тяжкую пору моей жизни в Вильгельмсхафене, история о сплошных ошибках, о лжи и измене, обо всем том, о чем нельзя было думать без содрогания. Прогулка с Питом по гамбургскому порту: закат солнца, а на переднем плане — портальные краны и корабельные мачты. Верность друзей, немецкая тоска по дальним странствиям. Пит говорит:

— Нас снова гянет из дому.

Так зарождается мысль отправиться на кече в кругосветное плавание. Небольшая и несентиментальная любовная история, место действия — соседняя деревня, которая осталась теперь уже далеко, где-то за тридевять земель.

К русским тебя и на аркане не затащат, сказал я себе и решил наняться сельскохозяйственным рабочим где-нибудь в английской зоне оккупации. Наш младший матрос осел на маленьком клочке земли на севере Гарца, под Госларом, и был недоволен своим положением, но зато свободен от забот о хлебе насущном, а мой бывший командир получил в наследство солидную ферму в Вестфалии. Между ними двумя я и мотался, хлопоча о разрешении на жительство.

Да только вот что: назовите мне человека, который в те времена не пошел бы с радостью в сельскохозяйственные рабочие.

А вот на шахты Рура никому ехать не хотелось. И мне тоже.

Так что в конце концов мне пришлось снова упаковать свой мешок и отправиться туда, откуда я пришел: домой, к матери. Там я был нужен — ведь мой отец погиб в последние дни войны. Правда, в тех местах обосновались русские, но, как писала мать, слухи, будто всех бывших офицеров высылают в Сибирь, не подтвердились. Так или иначе, но там ведь тоже была Германия.

Я простился со своей мечтой о кругосветном путешествии: кеч превратился в воздушный шар, который исчез за горами, оставив после себя лишь отзвук насмешливого хохота Пита. Я простился с нашим младшим матросом, который с угрюмым видом остался в убогом доме своего отца. Я простился со своей подружкой, которая умела самозабвенно целоваться и готовить манный пудинг и которая, конечно, в следующее же воскресенье снова пошла на танцы.

После этого я смело перешел через границу и угодил под велосипед первого же русского патруля.

Женщина, которая согласилась доставить меня «на ту сторону», была уроженкой Вернигероде, и ей разрешили поехать домой. Уехала с моими часами и дневником. Мне приказали следовать за патрулем в комендатуру. В левом носке у меня было спрятано три тысячи марок, выплаченных мне из офицерского обмундировочного фонда, а в правый ботинок засунуты «Железный крест», боевой знак подводника и прочие побрякушки.

Во время обыска мне приказали разуться; я уже собрался было снять левый ботинок, но меня попросили снять правый, и когда в нем обнаружили мои жестянки, то уж конечно нашли и деньги, спрятанные в левом носке. Сержант, который немножко говорил по-немецки, обругал меня: что ж, мол, выходит, я считаю советских солдат ворами? И сунул все к себе в карман.

Я наблюдал за его действиями без особого огорчения, ибо в такие минуты радуешься, что хоть в живых-то остался. К тому же мне было не до того, так как один русский солдат принял было мою отслужившую свой век фуражку морского офицера за эсэсовскую.

Когда же он понял свою ошибку, он угостил меня, некурящего, махоркой — славным зельем, едва не сбившим меня с ног.

Вот и сейчас, лежа на соломе и подложив под голову спасательный мешок, я не горевал о пропавших деньгах, хотя мне теперь даже билет купить было не на что. Уж как-нибудь домой-то я попаду, главное, что в живых оставили... Страх у меня почему-то исчез.

Кроме того, за последние недели во мне появилось нечто новое — готовность освобождаться от предубеждений и, исходя из собственного жизненного опыта, формировать свой взгляд на мир. В Гамбурге я был на выставке картин и скульптур Марка, Кирхнера, Барлаха, Кете Кольвиц и никаких следов вырождения в этом так называемом «вырождающемся искусстве» не обнаружил. Зато теперь я узнал о концлагере Берген-Бельзен, а один адвокат, служивший прежде в полевой жандармерии, рассказал мне о пытках, применявшихся в гестапо. Нет уж, теперь я мог радоваться хотя бы тому, что служил на флоте, а не в войсках СС.

Русские тоже никак не хотели укладываться в ту схему, которая засела у меня в голове. Впрочем, я не слишком стремился познакомиться с ними поближе, а тем более изучить их досконально. Одно утешало: пусть они выиграли войну, но уж привить нам коммунизм им никогда не удастся...

И так далее, и тому подобное — мысли, которые бродят в голове, пока не заснешь. В конце концов, я был еще достаточно молод, чтобы уметь спать даже в такой ситуации.

На следующее утро пришел русский солдат и спросил, кто из нас умеет чистить лошадей. Так как я был без пяти минут сельскохозяйственным рабочим, в моей душе уже успело развиться нечто похожее на крестьянскую профессиональную гордость. Мне достались два великолепных коня, и под благосклонными взглядами старшины я их начистил до зеркального блеска.

После этого, как бы в награду за хорошую работу, мне разрешили забрать свои пожитки. Потом приказали немедленно явиться к коменданту. Это был молодой лейтенант или старший лейтенант. И он обладал властью. В уме у меня промелькнули три возможных варианта: он мог отпустить меня на волю — домой; он мог отослать меня назад — там ждали меня рурские шахты; наконец, он мог снова засадить меня, и тогда — здравствуй, Сибирь! Мне вдруг снова стало страшно.

Офицер говорил по-немецки. Он взглянул на мое свидетельство об освобождении из заключения, выданное британскими властями, и спросил, куда я собираюсь отправиться. Открыв коробку из-под папирос, он достал оттуда мои ордена, примерил «Железный крест» к своей гимнастерке, насмешливо усмехнулся и вручил мне все мои бирюльки, которые я поспешно сунул в карман.

Затем он вернул мне мои деньги, вложенные в старый конверт, и попросил их пересчитать, а когда я попытался было благородно отклонить это предложение, он просто заставил меня. Услышав, что сумма сходится, комендант закончил наш разговор словами:

— А теперь ступай домой!

Я взял свой мешок, вышел на улицу и направился к вокзалу, все ускоряя шаг, только бы уйти подальше — ведь и от этого русского можно было ждать чего угодно, он мог приказать патрулю вернуть меня обратно, значит, и от него нужно было уйти подальше, только бы подальше!

С тех пор я всегда шел к нему.

Перевод И. ИСАКОВИЧ

УВЕ БЕРГЕР

С немецкого

Одна из книг Уве Бергера носит название «Рабочие дни» — написанный в прозе дневник, в котором отчетливо видна жизнь поэта, обостренная и постоянная потребность вслушиваться и всматриваться в окружающий мир, постигать его в различных измерениях. Перу Бергера доступны большие исторические обобщения, его привлекают крупные фигуры, переломные события, но его же тянет и к «чуду повседневности», к деталям быта, который в его стихах предстает не столько как быт, сколько как бытие. Собственно, в активном постижении и утверждении нового, социалистического бытия и состоят «рабочие дни» Уве Бергера — поэта, воспитанного Германской Демократической Республикой, ее моралью, ее культурой...

Мальчишка-зенитчик (его призвали в возрасте 15 лет), оглушенный войной, разгромом, катастрофой, возвращался в жизнь, в молодость, а потом вступал в зрелость вместе со своей страной. Он получил широкое гуманитарное образование, доступ к вершинам культуры, возможность издавать книги — свои и чужие. В содружестве с поэтом Гюнтером Дайке Бергер создал одну из самых замечательных и изысканных антологий немецкой поэзии — от древних образцов до современности. В Берлине, на его рабочем столе, лежат старинные тома поэтов XVII века Фридриха Логау и Пауля Флеминга, которых он готовит для массового издания, и он же открыл новому поколению читателей ГДР Гертруду Кольмар — поэтессу необычайной, пронзительной силы, погибшую в концлагере.

У себя на родине Бергер считается видным мастером стиха: он удостоен Национальной премии и таких высоких литературных наград, как премии имени Гейне и Бехера. Его творческая манера оригинальна и в то же время типична для многих его поэтических сверстников: лаконичность, скупость изобразительных средств, цепкость мысли, стремление к четким и точным поэтическим формулировкам — неутомимый поиск, лишенный, впрочем, назойливого рационализма и умствования.

Бергера знают в нашей стране. Его стихи вошли в антологию «Поэзия ГДР», изданную у нас в прошлом году, он был нашим гостем и участником многих литературных праздников. Сегодня мы знакомим читателей «Иностранной литературы» со стихами Уве Бергера из поэтических сборников последнего десятилетия.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ

Вечная юность немецкой поэзии

Ведь рифмам одряхленья нет,
когда стихи звенят в крови,
когда с народом слит поэт
в его надеждах и любви.

Так миннезингер Вальтер пел
о страстной нежности своей —
в годину бедствий и смертей
так строгий Грифиус скорбел;

так Гёте, мудрый исполин,
мечтал возвысить дух людской —
так вопрошал с живой тоской
отчизну Фридрих Гёльдерлин.

Так Гейне в скорбные года
в уста ткачей вложил свой гнев —
так Бехер шел в народ, воспев
мир возрожденья и труда.

Родная речь полна красы,
чей смысл — в глубиннейших словах —
отважней, чем собора взмах,
прозрачней утренней росы.

В ней жизни вечные черты...
В том поэтическом огне
душою приобщишься ты
к непобедимой новизне.

Звездный свет

В благоуханье ночи распахнуть
окно и в мировом круговороте
ловить мерцанье звезд в немом полете,
что меркнут, уходя за Млечный Путь.

Где завершится звездная стезя?
Там, где миры нагромоздились, зная,
что не постигнет их мечта земная,
ведь бесконечность обуздать нельзя?!

Не верю я в бессмысленность утраты,
в забвенье, в безвозвратность, в никогда
и в космогонию огня и льда...

Пространства возрождением объяты:
все, что конец когда-то увенчал,
предстанет вновь началом всех начал!

Перевод АЛЕКСАНДРА ГОЛЕМБЫ

Тепло

Женщина —
водитель трамвая
сидит на конечной остановке
у пульта

автоматического управления
и занимается
старинным делом.
Она привычно держит в руках
спицы
и вяжет
тепло
для своих детей.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Слово Мюнцера

Посвящается Фридриху Вольфу

Дождь по улицам золу и пепел нес,
и пришелец свое слово произнес:
«Худо мы себе служили до сих пор,
нынче ж вынесем злодеям приговор!»

Изменился вдруг, отбросил капюшон,
будто стал другим, как будто вырос он,
и сказал он: «Пробил, пробил час,
божье слово с нами и господь за нас —
медлить нечего! Пришла пора вставать,
и кровососов ненасытных убивать.
Мы разбойничьи их гнезда разорим,
новым солнцем нашу землю озарим!»
И над хлябями, где пепел и зола,
из руки его вдруг радуга взошла.

«Говорю я вам,— повел он дальше речь.
Слушал сход, чтоб слово в памяти сберечь.—
Время вызрело, дозрело до поры,
так точите же мечи и топоры!
Чтоб в оковы всех насильников сперва,
а над вами чтоб — не гарь, а синева,
чтобы с неба к борозде и к бороне
правый мир сошел к германской стороне!»

И хоть Мюнцер был замучен и убит,
он и в смерти жив. Поныне не забыт!

Пигмалион

Ты мрамор, а не мраморная кожа;
как мне твою строптивость побороть?
Как превратить мне изваянье в плоть,
резцом румянец мрамора корежа?

Я был упрям. И камень был готов
проснуться от тепла моей ладони.
Но на пол ты обрушивалась — в звоне
И разбивалась в тысячу кусков.

Как жаждал я тебя преобразить
и оживить. И быть преображенным
тобой. Ты это сможешь ли простить?

Я отдал пламень сердца своего
тебе. Я подчинен твоим законам.
Люблю. А ты не любишь никого.

Перевод АЛЕКСАНДРА ГОЛЕМБЫ

Руки любимой

Красноречивее множества слов
руки любимой.
Губы они закрывали,
мне не давая солгать.
Словно лучи, разрывали они темноту.
Нити наших разрозненных судеб
связали они воедино.
Нежно на плечи мои опускались.

Боготворю неожиданность
рук твоих.

Часы

Мы были так близки.
Казалось мне,
что сердца твоего биенье
отсчитывает счастья ход.

Мы были так близки.
Ночами ты пила
мое дыханье
и слушала мой сон.

Когда же ты ушла,
остановилась
карусель весенних дней.

И замерли часы.

Март

Тает снег.
Забрызжет скоро
всюду яркий свет
зеленый —
этот сочный
цвет листвы.
Жизнь наполнит
сладким соком
ветки мертвые деревьев,
гомон птиц
подарит чащам.
Станет мне еще понятней
в этот светлый
день весенний,
что лишь тот
живет взаправду,
кто не в силах
жить один.

Перевод ИРИНЫ ГРИЦКОВОЙ

Элегия

Все мы только люди — и кончина
ждет нас так же, как неотвратимый вечер
поглощает дни. Но чем отличны
мы — от многих, позабытых ныне?
Тем, что мы не устрашились тени,
будто смерти нет для тех, кто крепок
в испытаньях, как народ.

Все еще с небес струятся слезы,
все еще земля в тумане дымном —
только с пустырей, с золы и пепла
нас великое вздымает время,
кров давая всякому дыханью,
всей земле неся сигналы жизни,
придавая смысл людским словам.

Жесткий ветер выдубил мне щеки.
Я умру, как все. Но что страшиться?
Не печалясь на земле живу я,
не отчаиваясь и не плача.
Все я взял от этой бренной доли,
все на этой я земле изведал:
и любовь и честь. Деянье, дело.

Перевод АЛЕКСАНДРА ГОЛЕМБЫ

■

АЙРИС МЕРДОК

Черный принц

РОМАН

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН и А. ПОЛИВАНОВОЙ

Часть вторая

Что произошло — проницательному читателю объяснять излишне. (Он несомненно давно предвидел это. Со мной же все обстояло иначе. Одно дело — искусство, а другое — когда это происходит с тобой на самом деле.) Я влюбился в Джулиан. Трудно определить, в какой именно момент нашего разговора я это понял. Ведь сознание, как ткач, снует во времени взад и вперед и, занятое своим таинственным самотворчеством и самонакоплением, может заполнить очень большой и вместительный отрезок настоящего. Возможно, я понял это, когда она проговорила своим прелестным звонким голоском: «С тех пор, как для меня законом стало сердце». Возможно, тогда, когда она сказала: «В черном трико и черных бархатных туфлях с серебряными пряжками». А может быть, когда она сняла сапоги. Нет, тогда еще нет. А когда меня пронзило странное чувство при взгляде на ее ноги в обувном магазине, не понял ли я тогда, еще не сознавая этого, что влюблен? Пожалуй, нет. Хотя отчасти я уже был на пути к тому. Я все время был на пути к тому. Как-никак, я знал эту девочку с самого рождения. Я видел ее в колыбели, я держал ее на руках, когда она была не более двадцати дюймов. О господи!

«Я влюбился в Джулиан» — как легко написать эти слова. Но как трудно передать само состояние. Удивительно, в литературе так часто говорят о том, что люди влюбляются, но так редко по-настоящему описано, как это происходит. Ведь это же поразительное явление, для многих — самое потрясающее событие в жизни, куда более потрясающее, чем все ужасы на свете, потому что влюбленность противоестественна. (Я говорю не о голом сексе.) Грустно, что и любовь, и большое горе обычно забываются, как сон. К тому же люди, никогда без памяти не влюблявшиеся в тех, кого они давно знают, могут усомниться, что это вообще возможно. Позвольте мне уверить их, что это возможно. Это случилось со мной. Неужели любовь созревала и вынашивалась в теплых недрах времени, пока девочка росла и готовилась к цветению? Конечно, она всегда мне нравилась, особенно когда была маленькая. Но я ничем не был подготовлен к такому удару. А это был действительно удар — он сбил меня с ног. Как будто мне выстрелили в живот и осталась зияющая дыра. Колени стали ватными, я не мог стоять, я весь дро-

Продолжение. Начало в № 8 и 9.

жал и трясся, зуб не попадал на зуб. Лицо словно сделалось восковым и приняло форму большой, странной, таинственно улыбающейся маски. Я превратился в бога. Я лежал, уткнувшись носом в черный шерстяной ворс ковра, носки ботинок описывали небольшие эллипсы, я весь трепетал от охватившего меня чувства.

Разумеется, влюбленный с негодованием отвергает всякую случайность. «Просто не понимаю, что мы делали, ты и я, пока не полюбили друг друга?» — вот естественный вопрос, которым задается их потрясенный ум. Моя любовь к Джулиан была, наверно, предрешена еще до сотворения мира. Астрологию открыли, несомненно, влюбленные. Только огромный звездный дом достаточно обширен и прочен, чтобы вмещать, питать и охранять такое вечное понятие, как любовь. Я сознавал теперь, что весь мой жизненный путь подводил меня к этому мигу. И вся ее жизнь, пока она играла, читала учебники, подрастала и рассматривала в зеркале свою грудь, шла к этому. Все было предопределено. Но это случилось не только что, а произошло целую вечность тому назад, когда создавались земля и небо. Бог сказал: «Да будет свет» — и тогда же была сотворена эта любовь. У нее нет истории. Когда, как начал я сознавать обаяние этой девочки? Любовь создает или, вернее, открывает нечто, что можно назвать абсолютным обаянием. В любимой все привлекательно. Каждый поворот головы, каждое изменение голоса, смех, стон или кашель, подергивание носом — все бесценно и исполнено смысла, как мгновенное райское видение. И действительно, пока я лежал совершенно обмякший и в то же время весь натянутый, как тетива, прижавшись виском к полу и закрыв глаза, мне не просто приоткрывался рай — я пребывал в нем. Когда мы влюбляемся, когда мы по-настоящему влюбляемся (я не говорю о том, что иногда незаслуженно называют этим словом), все наше существо незамедлительно приходит в состояние экстаза.

Не знаю, как долго я пролежал на полу. Может быть, час, может, два, а может, и три часа. Когда я заставил себя принять сидячее положение, было уже за полдень. Безусловно, мир стал иным, и время стало иным. О том, чтобы поесть, нечего было и думать — меня бы тут же стошнило. Сидя на полу, я придвинул к себе кресло, в котором она перед этим сидела, и прислонился к нему. На столе стояла моя рюмка с хересом и ее — наполовину выпитая. В ней плавала муха. Мне очень хотелось выпить херес даже с мухой, но я знал, что не смогу ничего проглотить. Я обхватил руками кресло (это было кресло с тигровой лилией) и уставился на ее «Гамлета». Взять его в руки, полистать, быть может, увидеть ее имя, написанное на титульном листе,— эта радость предстояла мне еще через сотни лет, когда я смогу безраздельно отдаться таким занятиям. Спешить было некуда. Время стало вечностью. Это был огромный теплый шар осознанного бытия, внутри которого я медленно-медленно перемещался или которым, возможно, был сам. Мне нужно было только пристально вглядеться и медленно протянуть руки. Куда я смотрел или что я делал, уже не имело значения. Джулиан была во всем.

Некоторым читателям может показаться, что я описываю состояние безумия,—в каком-то смысле так оно и есть. Не будь это столь распространено, людей сажали бы под замок при таких сдвигах в сознании. Однако для каждого человека на нашей планете мир может вот так преобразиться — это одна из поразительных особенностей человеческой души, быть может, ниспосланная нам свыше. И каждый может стать объектом такого преображения. Какая заурядная девочка, возможно, скажет читатель, наивная, невежественная, легкомысленная, даже не очень красивая. Или вы неверно ее изобразили. Могу сказать одно: до этой минуты я ее просто не видел. А теперь я прозрел. Разве

хоть один влюбленный усомнится в том, что именно теперь ему открылась истина? И разве тот, кто способен так по-новому увидеть, не походит скорее на бога, чем на безумца?

Согласно общепринятому представлению о христианском боге, это он сотворил мир и призван его судить. Теология, менее абстрактная и более созвучная природе любви, как мы ее понимаем, считает, что потусторонние силы непрерывно участвуют в процессе творения и созидания. Я чувствовал, что каждую минуту творю Джулиан и питаю ее бытие своим собственным. Тем не менее я видел в ней все то же, что и прежде. Я понимал, что она недалека, невежественна, по-детски жестока, видел ее невзрачное встревоженное личико. Она не отличалась ни красотой, ни особым умом. Как несправедливо утверждать, будто любовь слепа. Я мог беспристрастно судить о ней, мог даже осуждать ее, мог даже каким-то галактическим поворотом мысли представить себе, что заставлю ее страдать. И все же это был рай: я был бог и, создавая Джулиан, был вовлечен в вечный процесс созидания единственного в своем роде и абсолютного по ценности бытия. И вместе с Джулиан я творил целый мир, ничего не утрачивая — ни единой песчинки, ни единого зернышка, потому что она сама была этим миром, и я касался ее повсюду.

Весь этот вихрь высокопарных мыслей, изложенных мною выше, разумеется, не был таким стройным в то время, когда я сидел на полу, обнимая кресло, на котором перед этим сидела Джулиан. (Этим я тоже занимался довольно продолжительное время, возможно, до самого вечера.) Тогда я был слишком ошеломлен свалившимся на меня счастьем — радостью от сознания, что мне чудесным образом удалось *познать* идеальную любовь. В этом лучезарном световом потоке, разумеется, то и дело мелькали более земные помыслы, как маленькие птички, едва различимые для того, кто ослеплен светом при выходе из пещеры. Я приведу здесь два из них, так как они связаны с последующими событиями. Должен заметить, что эти соображения явились у меня не после того, как я понял, что влюблен,— они родились и возникли одновременно с любовью.

Ранее в этой моей исповеди я уже упоминал, как вся моя жизнь подвела меня к тому, что теперь произошло. Вряд ли можно осудить моего друга, проницательного читателя, если он выразит это следующим образом: мечты о том, чтобы стать большим художником, были попросту поисками большой человеческой любви. Это бывает, и даже довольно часто, особенно среди женщин. Любовь очень скоро может заслонить мечты об искусстве, они начнут казаться чем-то второстепенным, даже заблуждением. Я хочу сразу же сказать, что в данном случае это не так. Разумеется, поскольку все теперь было связано с Джулиан, то и мои честолюбивые писательские помыслы были связаны с Джулиан. Но они тем самым не зачеркивались. Скорее произошло нечто обратное. Она наделила меня силой, о которой раньше я не мог и мечтать, и я знал, что эта сила непременно проявится в моем творчестве. То, что движет вселенной, звездами, отдаленными галактиками, элементарными частицами материи, соединило эти две вещи — мою любовь и мое искусство — в одно нераздельное целое. И теперь я, обновленный человек, в своей любви и в своем искусстве подчинялся одним и тем же законам, признавал одну власть. Об этом своем убеждении я еще буду говорить и объясню более подробно, что я имею в виду.

Второе, что мне стало абсолютно ясно и что я осознал в первое же мгновенье, было следующее: я никогда-никогда-никогда не смогу признаться в своей любви. Эта мысль причинила мне сильную боль, и если я тут же от нее не умер, то лишь потому, что, видно, непомерно

сильна и ipso facto[1] чиста была моя любовь к Джулиан. Любить ее уже было достаточным счастьем. Наслаждение, которое я мог бы испытать, говоря ей о своей любви, было ничтожным в сравнении с той божественной радостью, которую я испытывал от того, что она просто существует. В тот момент мое потрясенное воображение даже не могло подсказать мне никаких дальнейших радостей любви, не говоря уже о том, чтобы их себе представить. Мне было даже неважно, когда я увижу ее снова. Я не строил никаких планов относительно этого. Кто я такой, чтобы строить планы? Я был бы, конечно, огорчен, если бы мне сказали, что больше я никогда ее не увижу, но от этого огорчения тут же не осталось бы и следа, оно растворилось бы в величайшем созидательном наплыве моего обожания. Это не был бред. Те, кто любил так, как я, меня поймут. Это было переполнявшее душу чувство реальности, сознание, что ты наконец реален и видишь реальное. Столы, стулья, рюмка с хересом, ворс на ковре, пыль — все было реальным.

А вот ожидавшего меня страдания я не предвидел. «Пусть я пройду сквозь строй и получу тысячу ударов, но буду молчать». Нет. Истинному влюбленному, чьи помыслы еще чисты, страдание кажется чем-то грубым — оно возвращает его к самому себе. То, что я испытывал, походило скорее на изумление и благодарность. Хотя при этом умом я отчетливо понимал, что никогда не смогу сказать Джулиан о своей любви. Сама эта уверенность и все, что из нее вытекало, мне стали яснее впоследствии, но я сразу понял, что это так. Мне было пятьдесят восемь, ей двадцать. Я не смел встревожить, обременить, отравить ее юную жизнь ни малейшим намеком на мою огромную грозную тайну. Как пугает нас эта черная тень, когда мы вдруг замечаем ее в чужой жизни! Неудивительно, что те, в кого направлена эта черная стрела, зачастую обращаются в бегство. Как непосильна бывает для нас любовь, которую испытывает к нам кто-то. Нет, никогда я не открою моей ненаглядной страшную правду.

Ночью я спал прекрасно, а когда проснулся, меня, как вспышка, пронзило сознание случившегося. Я лежал в постели, плавая в тайном блаженстве — тайном потому, что первой моей мыслью, когда я проснулся, было: я призван к тайному служению. И это навсегда. Тут не было никаких сомнений. Если я перестану тебя любить, снова начнется хаос. Почему даже безответная любовь приносит радость? Потому что любовь вечна. Человеческая душа стремится к познанию вечности, и только любовь и искусство, не считая некоторых религиозных переживаний, приоткрывают нам ее. (Не стану останавливаться, чтобы возразить цинику, может быть, тому самому, которого мы уже слышали, если он скажет: «И сколько же может длиться эта ваша романтическая вечность?» Или же попросту отвечу так: «Истинная любовь вечна. Но она встречается редко, и вам, сэр, как видно, не посчастливилось ее испытать!») Любя, мы почти отрываемся от своего эгоистического «я». Я сказал: почти отрываемся, потому что испорченная человеческая природа легко может загрязнить самые чистые наши помыслы. Но постижение этой истины — пусть мельком, пусть ненадолго — большой дар и имеет непреходящую ценность именно потому, что переживается нами с такой силой. О, хотя бы однажды возлюбить другого больше, чем самого себя! Почему бы этому откровению не стать рычагом, который приподнимет мир? Почему бы отрешению от самого себя не послужить точкой опоры для создания нового мира, который мы будем заселять и расширять, покуда не возлюбим его целиком больше самих себя? Об этом мечтал Платон. Его мечта — не утопия.

---

[1] Тем самым *(лат.)*.

Не буду утверждать, что все эти глубокие мысли пришли мне в голову, пока я лежал в постели в то первое утро, утро первого дня творения. Возможно, меня осенили только некоторые из них. Я чувствовал себя так, будто вторично родился, будто вся моя плоть преобразилась — такое смиренное изумление мог бы испытывать человек, если бы ему довелось восстать из мертвых. Конечно, пламя желания согревало и одушевляло все эти незапятнанные видения, но оно не казалось чем-то отдельно существующим, точнее, я вообще ничего не воспринимал в отдельности. Когда физическое желание и любовь неразделимы, это связывает нас со всем миром, и мы приобщаемся к чему-то новому. Вожделение становится великим связующим началом, помогающим нам преодолеть двойственность, оно становится силой, которая превратила разъединенность в единство, когда бог даровал нам блаженство. Я томился желанием и в то же самое время никогда еще не чувствовал себя таким раскованным. Я лежал в постели и представлял себе ноги Джулиан — то голые, коричневатые, как скорлупка яйца, то обтянутые колготками — розовые, лиловые, черные. Я представлял себе ее волосы, сухие и блестящие, отливающие тусклым золотом и низко растущие сзади на шее. Я представлял себе ее нос, который так и хотелось погладить, надутые губки, как рыльце зверька, всю ее сосредоточенную мордочку. Представлял небесную голубизну ее акварельных английских глаз. Представлял себе ее грудь. Я лежал и чувствовал себя счастливцем и праведником (я хочу сказать, что все мои мысли были абсолютно целомудренны).

Я встал и побрился. Какое наслаждение бриться, когда ты счастлив! Я внимательно посмотрел на свое лицо в зеркале. Я действительно казался другим человеком. Ликующая энергия, распиравшая меня, разгладила щеки и стерла морщины вокруг глаз. Я тщательно оделся и не торопясь выбрал галстук. О еде я все еще не мог думать. После этого я прошел в гостиную и вытер пыль. Во всяком случае, смахнул ее с гладких поверхностей. Как прирожденный лондонец, я терпимо отношусь к пыли. Затем я сел и принялся думать о том, что мне делать со своей новой жизнью.

Может показаться смешным, но быть влюбленным — это тоже занятие. Человек, посвятивший себя богу, превращает жизнь в непрерывное священнодействие, как пишет Герберт: «Убирая комнату, я исполняю твой, господи, закон»[1]. Это очень похоже на то, что делает влюбленный, последнее — только частный случай. Так, я, стирая пыль для Джулиан, разумеется, совсем не помышлял о том, что она когда-нибудь снова сюда придет. Теперь я позволил себе взять в руки ее «Гамлета», который так и лежал на инкрустированном столике. Это было школьное издание. Имя прежней владелицы Хейзел Бингли было зачеркнуто и детским почерком, вероятно уже давно, написано: «Джулиан Баффин». Какой почерк у Джулиан сейчас? Я видел только открытки, присланные ею, когда она была еще маленькой. Получу ли я когда-нибудь от нее письмо? Представив себе такую возможность, я почувствовал слабость в ногах. Я внимательно просмотрел книжку. Текст был испещрен удивительно глупыми замечаниями Хейзел. Было тут и несколько пометок Джулиан (должен признаться, таких же глупых), относившихся скорее к поре ее занятий в школе, чем ко «второму периоду» ее знакомства с пьесой. «Слабо» было написано против слов Офелии: «О, что за гордый ум»[2] — мне показалось это не совсем справедливым. И «лицемер» в том месте, где Клавдий в раскаянии пытается молиться. (Разумеется, молодые не могут понять Клавдия.)

---

[1] Парафраз из стихотворения английского поэта XVII в. Герберта «Эликсир».
[2] Шекспир. «Гамлет», акт III, сцена I. Перевод Б. Пастернака.

Некоторое время я изучал книжку, собирая рассыпанные по ней цветы. Затем, прижав ее к груди, начал размышлять. Мне было по-прежнему ясно, что мое новое «занятие» ни в коей мере не исключает моей работы. И то и другое было послано мне одной и той же высшей властью и не для того, чтобы они соперничали, но дополняли друг друга. Очень скоро я непременно начну писать и буду писать хорошо. Я совсем не хочу сказать, будто мне пришла такая пошлая мысль, что я буду писать о Джулиан. Если стремишься к совершенству, жизнь и искусство не должны пересекаться. Но я уже почувствовал, как в голове у меня запульсировало, и ощутил покалывание в пальцах — верный признак, что пришло вдохновение. Детища моей фантазии уже начали роиться у меня в мозгу. Тем не менее пока меня ждали более легкие задачи. Я должен наладить свою жизнь, и теперь у меня есть для этого силы. Я должен повидаться с Присциллой, должен повидаться с Роджером, должен повидаться с Кристиан, должен повидаться с Арнольдом, должен повидаться с Рейчел. (Теперь все это вдруг показалось очень просто.) Я не сказал себе: «Я должен повидаться с Джулиан» — я смотрел спокойными широко раскрытыми глазами через этот божественный пробел на мир, в котором не было места злу. О том, чтобы уехать из Лондона, не могло быть и речи. Я выполню все, что мне предстоит, но и пальцем не шевельну для того, чтобы снова увидеть мою ненаглядную. Думая о ней, я радовался, что вовремя отдал ей одно из своих драгоценнейших сокровищ — золоченую табакерку, «Дар друга», теперь бы я уже не мог этого сделать. Она унесла с собой эту невинную вещицу, взяла, сама того не зная, залог безмолвной любви, принесенный в дар сокровенному, принадлежавшему только ей одной счастью. Отныне в безмолвии я буду черпать силы. Да, это было еще одно открытие, и я за него ухватился. Я буду писать потому, что сумею сохранить молчание.

Некоторое время я размышлял о своем новом прозрении; когда вдруг зазвонил телефон, я подумал: «А вдруг это она» — и сердце чуть не выскочило из груди.

— Да.

— Говорит Хартборн.

— А, добрый день старина! — Я почувствовал несказанное облегчение, хотя все еще едва переводил дух, так я был возбужден.— Рад, что вы позвонили. Может быть, встретимся — как насчет того, чтобы вместе пообедать? Ну хоть сегодня?

— Сегодня? Ну что ж, я как будто свободен. Итак, в час на нашем обычном месте?

— Прекрасно! Правда, я в некотором роде на диете и мало что могу есть, но буду рад вас видеть. До скорой встречи.— Улыбаясь, я положил трубку. В это время раздался звонок в дверь. Мое сердце снова устремилось в пустоту. Замок никак не открывался, я чуть не застонал.

На пороге стояла Рейчел.

Когда я увидел ее, я выскользнул из квартиры и, закрыв за собой дверь, произнес:

— Ах, Рейчел, до чего же приятно вас видеть. Мне нужно кое-что срочно купить — может, пройдемся вместе?

Я не хотел ее впускать к себе. Ведь она могла бы войти в гостиную и сесть в кресло Джулиан. Кроме того, я предпочитал говорить с ней не в интимной обстановке, а под открытым небом. Но я был рад видеть ее.

— Можно мне войти и присесть на минутку? — спросила она.

— Мне просто необходимо глотнуть свежего воздуха. Такой чудесный день. Пойдемте лучше вместе.

Я стремительно зашагал по двору, а затем — по Шарлотт-стрит.

Рейчел явно принарядилась: на ней было шелковое, красное с белым, платье, с низким квадратным вырезом, открывавшим ее усыпанную веснушками грудь и выступающие ключицы. Сухая, морщинистая шея слегка напоминала шею пресмыкающегося, лицо более гладкое, более тщательно загримированное, чем всегда, было maussade[1], как говорят французы. Вьющиеся, только что вымытые волосы распушились, придавая голове форму шара. При всем том она выглядела красивой женщиной, утомленной, но не сломленной жизнью.

— Брэдли, не так быстро.

— Простите.

— Пока я не забыла. Джулиан просила захватить «Гамлета», которого она у вас оставила.

Я не собирался расставаться с этой книжкой. Я сказал:

— Я хотел бы оставить ее у себя на некоторое время. Это неплохое издание. Я нашел там кое-что любопытное.

— Но это же школьное издание.

— Тем не менее прекрасное. Теперь его не достанешь.

Позже я сделаю вид, что потерял ее.

— Как мило, что вы вчера побеседовали с Джулиан.

— Мне было только приятно.

— Надеюсь, она вам не очень надоела?

— Ничуть. Вот мы и пришли.

Мы зашли в писчебумажный магазин на Ретбоун-плейс. Тут для меня было полное раздолье; действительно, в хорошем писчебумажном магазине мне все нравится, все хочется купить. Тут все дышало свежестью и чистотой! Блокноты, писчая бумага, тетради, конверты, почтовые открытки, ручки, карандаши, скрепки, промокашки, чернила, скоросшиватели, старомодный сургуч и новомодная клейкая лента.

Я сновал от полки к полке, Рейчел за мной.

— Мне надо купить тетради, которыми я обычно пользуюсь. Скоро мне предстоит много писать. Рейчел, можно мне купить что-нибудь для вас? Пожалуйста. У меня настроение делать подарки.

— Что с вами, Брэдли, вы какой-то ошалевший.

— Вот. Посмотрите, какая прелесть.

Мне просто необходимо было осыпать кого-нибудь подарками. Я выбрал для Рейчел моток красной тесьмы, синий флоумастер, блокнот со специально разграфленной бумагой, лупу модную сумку-портфель, большую деревянную вешалку, на которой золотыми буквами было написано «срочно», и шесть почтовых открыток с башней Почтамта. Я заплатил за покупки и вручил Рейчел сумку со всем этим добром.

— Вы, кажется, в хорошем настроении,— сказала она, явно довольная, но все еще немного maussade.— А может быть, теперь мы вернемся к вам?

— Мне ужасно жаль, но я сговорился рано пообедать с одним приятелем и не собираюсь возвращаться домой.— Меня все тревожила мысль о кресле и я боялся, как бы она снова не захотела забрать книжку. Это вовсе не означало, что мне было неприятно разговаривать с Рейчел. Мне это даже доставляло удовольствие.

— В таком случае давайте где-нибудь посидим.

— На Тоттенхем-Корт-роуд есть скамейка как раз напротив магазина Хилза.

---

[1] Недовольное *(франц.)*.

— Брэдли, я не собираюсь сидеть на Тоттенхем-Корт-роуд и смотреть на магазин Хилза. Разве пивные еще не открыты?

Она была права. На мои размышления ушло больше времени, чем я предполагал. Мы зашли в бар.

Это было современное, лишенное всякой индивидуальности заведение, вконец испорченное пивоварами; все было отделано светлым пластиком (в пивных должно быть темно, как в норе), но лившийся в окна свет и распахнутые настежь двери сообщали всему какой-то южный аромат. Мы подошли сначала к стойке, а затем сели за пластиковый столик, на который кто-то уже пролил пиво. Рейчел взяла себе двойную порцию виски без содовой. Я взял лимонад с пивом, лишь бы что-нибудь взять. Мы посмотрели друг на друга.

Я подумал, что с тех пор, как был «повержен», я впервые смотрю в глаза другому человеку. Это было приятно. Я расплылся в улыбке. Я чувствовал себя так, словно еще немного — и я начну раздавать благословения.

— Брэдли, вы сегодня правда какой-то необычный.

— Странный, да?

— Очень милый. Вы просто замечательно выглядите. Вы помолодели.

— Рейчел, дорогая! Я так рад вас видеть. Расскажите же мне обо всем. Давайте поговорим о Джулиан. Она очень умная девочка.

— Я рада, что вы так думаете. Не уверена, что я того же мнения. Спасибо, что вы наконец ею заинтересовались.

— Наконец?

— Она уверяет, что всю жизнь пытается обратить на себя ваше внимание. Я предупредила ее, чтобы она не слишком обольщалась.

— Я сделаю для нее все, что смогу. Правда, она мне очень нравится.— Я рассмеялся, как сумасшедший.

— Она такая же, как все они теперь. Эгоистка. Сама не знает, чего хочет. Что ей в голову взбредет, то и делает. И все и вся презирает. Обожает отца, а сама только и знает, что отпускает по его адресу шпильки. Сегодня она заявила ему, что вы считаете его сентиментальным.

— Рейчел, я как раз последнее время думал,— сказал я (на самом деле мне это только что пришло в голову),— возможно, я несправедлив к Арнольду. Я бог знает когда последний раз читал его. Я должен перечитать все его вещи, возможно, теперь я отнесусь к ним совсем иначе. Вам ведь нравятся его романы, правда?

— Я его жена. И совершенно необразованная женщина, как мне непрестанно твердит моя дорогая дочь. Но мне вовсе не хочется сейчас об этом говорить. Я хочу сказать... впрочем, прежде всего простите, что я опять вам надоедаю. Скоро вы начнете считать меня невропаткой, еще подумаете, что у меня есть пунктик.

— Что вы, Рейчел! Я так рад вас видеть. Какое у вас красивое платье! Вы просто очаровательны!

— Спасибо. Я так несчастна, после всего что произошло. Я знаю, жизнь — всегда безнадежная неразбериха, но сейчас я совсем запуталась. Знаете, когда все очень плохо и никак не можешь уйти от своих мыслей,—это невыносимо. Поэтому я и пришла к вам. Арнольд все поворачивает так, что я оказываюсь виноватой и я действительно виновата...

— Я тоже виноват,— проговорил я,— но сейчас я чувствую, что все можно исправить. Зачем продолжать войну, когда можно жить в мире. Я зайду к Арнольду, и мы как следует обо всем...

— Постойте, Брэдли. Неужели вы опьянели от такой ерунды. Вы ведь, кажется, даже не притронулись к пиву. Зачем вам торжествен-

но обсуждать все это с Арнольдом? Мужчины, правда, обожают откровенничать и выяснять все до конца. Я вообще не уверена, что мне хочется, чтобы вы с Арнольдом сейчас встречались. Я только хотела вам сказать вот что... Брэдли, вы слушаете?

— Да, конечно, дорогая.

— Когда мы виделись в последний раз, вы очень хорошо и, пожалуй, правильно говорили о дружбе. Я знаю, я была слишком резка...

— Нисколько.

— Я хочу сказать, что принимаю вашу дружбу. Я нуждаюсь в ней. И еще я хочу сказать — так трудно подобрать слова,— мне было бы горько сознавать, что для вас я просто престарелая хищница, которая от отчаяния и в отместку мужу решила затащить вас к себе в постель...

— Уверяю вас...

— Все совсем не так, Брэдли. Мне кажется, я недостаточно ясно выразилась. Я вовсе не стремилась найти мужчину, который бы успокоил меня после семейного скандала...

— Я именно так и понял...

— Ни с кем другим такого быть не могло. Мы знакомы целую вечность. Но я только недавно поняла, как много вы для меня значите. Вы занимаете совершенно особое место в моей жизни. Я уважаю вас, я восхищаюсь вами, я доверяю вам и... ну, словом, я люблю вас. Это-то я и хотела сказать.

— Рейчел, это же чудесно! Я просто в восторге.

— Брэдли, перестаньте шутить.

— Я говорю совершенно серьезно, дорогая. Люди должны любить друг друга, любить проще — я всегда это чувствовал. Я знаю, что я в своих отношениях с Арнольдом...

— Ах, при чем тут Арнольд? Я говорю о себе. Я хочу... я, должно быть, немного пьяна... скажу напрямик: я хочу, чтобы между нами были совершенно особые отношения.

— Но они такие и есть.

— Помолчите. Я говорю не о связи — не потому, что я не хочу этого, может быть, и хочу сейчас это неважно, но потому, что так было бы слишком сложно. Вас на это просто не хватит, у вас не тот темперамент или не знаю еще что, но, Брэдли, мне нужны *вы*.

— Я и так ваш!

— Перестаньте смеяться, не будьте таким легкомысленным, у вас такой самодовольный вид — что с вами стряслось?

— Рейчел, не волнуйтесь. Каким вы захотите, таким я и буду. Все очень просто. Как, несколько неопределенно, но с élan [1], выразилась тезка Джулиан, все будет прекрасно, все будет прекрасно и все вообще будет прекрасно.

— Я хочу, чтобы вы хоть на минуту стали серьезны. Вы все время отделываетесь шутками, просто невыносимо. Брэдли, поймите, это очень важно: вы будете любить меня, будете мне верны?

— Да.

— Будете настоящим, преданным другом на всю жизнь?

— Да, да.

— Я, право, не знаю... но все равно... спасибо. Вы смотрите на часы, вам пора идти. Я останусь здесь... я хочу подумать... и выпить немного. Еще раз спасибо.

Выйдя на улицу, я увидел в окно, что она сидит, уставившись в стол, и медленно водит пальцем, размазывая лужицы пива. На лице ее

[1] Порывистостью *(франц.)*.

застыло хмурое, отсутствующее выражение, словно она что-то припоминала, и это было как-то очень трогательно.

Хартборн спросил про Кристиан. Он немного знал ее. До него, вероятно, дошли слухи о ее возвращении. Я говорил с ним о ней просто и откровенно. Да, я видел ее. Она, безусловно, изменилась к лучшему — и не только внешне. Мы встретились совершенно миролюбиво, как вполне воспитанные люди. А Присцилла? Она ушла от мужа и сейчас живет у Кристиан. «У Кристиан? Это просто удивительно!» — заметил Хартборн. Я с ним согласился. Но, в сущности, это только доказывает, какие у нас всех прекрасные отношения. В свою очередь я спросил Хартборна о работе. Что, эта нелепая комиссия все еще заседает? А Мейтсон получил повышение? Установили наконец новые уборные? А та смешная женщина, которая разносит чай, все еще у них? Хартборн заметил, что у меня очень «бодрый и беззаботный» вид.

Я действительно собирался в Ноттинг-хилл, но сначала решил зайти домой. Мне необходимо было подкрепиться мыслями о Джулиан, побыть некоторое время в тишине и одиночестве. Так святые отшельники возвращаются в храмы, так странствующие рыцари черпают силы в причастии. Меня тянуло отправиться прямо домой и сидеть, никуда не выходя, на случай если она позвонит, но я знал, что это чистейший соблазн, и поборол его. Если я хочу, чтобы все шло хорошо, я никак не должен менять свой образ жизни — пусть все останется прежним; нужно только помириться со всеми, и я чувствовал, что теперь мне это будет легко. По дороге домой я зашел в книжный магазин и заказал полное собрание сочинений Арнольда. Книг оказалось слишком много, и я не мог их с ссбой взять, к тому же в магазине нашлись не все. Продавец обещал мне прислать их в ближайшее время. Проглядывая список, я обнаружил, что многого совсем не читал, а кое-что читал так давно, что уже ничего не помнил. Как можно в таком случае судить о человеке? Я понял, что был глубоко несправедлив. «Да, пожалуйста, все до одной»,— сказал я, улыбаясь продавцу. «И стихи, сэр?» — «И стихи тоже». Я даже не подозревал, что Арнольд пишет стихи. Какой же я после этого подлец! Заодно я купил лондонское издание Шекспира в шести томах, чтобы со временем подарить его Джулиан взамен ее «Гамлета», и, продолжая все так же улыбаться, отправился домой.

Входя во двор, я увидел Ригби, своего соседа сверху. Я остановил его и завел было дружеский разговор о погоде, но он прервал меня:

— Вас там кто-то ждет у двери.

У меня перехватило дыхание, я извинился и бросился к подъезду. Но это был мужчина. Хороший костюм и военная выправка, самодовольный вид.

Увидев меня, Роджер сразу сказал:

— Послушайте, прежде чем вы начнете...

— Роджер, дорогой, заходите, выпьем чаю. А где Мэриголд?

— Я оставил ее в кафе тут недалеко.

— Ну так пойдите и приведите ее, отправляйтесь не мешкая: я буду счастлив ее видеть! А я пока поставлю чайник и накрою на стол.

Роджер вытаращил на меня глаза и покачал головой — он, видно, думал, что я сошел с ума, но все же отправился за Мэриголд.

Мэриголд была принаряжена: маленькая полотняная синяя шапочка, белый полотняный сарафан с темно-синей шелковой блузкой

и довольно дорогой шарф в синюю, белую и красную полоску. Она немного напоминала девушку-моряка из музыкальной комедии. Только была поокруглей, с характерным для беременных самодовольным и чуть капризным выражением лица. На ее загорелых щеках играл яркий румянец здоровой и счастливой женщины. А глаза все время улыбались, и просто невозможно было не улыбнуться ей в ответ. Переполнявшее ее счастье, наверно, стлалось за ней по улице как облако.

— Мэриголд, вы сегодня прехорошенькая! — сказал я.

— Куда это вы гнете? — спросил Роджер.

— Садитесь, садитесь, простите меня, пожалуйста,— просто у вас обоих такой счастливый вид, что я не могу удержаться. Мэриголд, вы скоро станете матерью?

— К чему эти дурацкие шуточки?

— Что вы! Что вы! — Я расставлял чашки на ночном столике из красного дерева. Кресло Джулиан я успел отодвинуть подальше.

— Через минуту вы опять начнете злиться, как в прошлый раз.

— Роджер, пожалуйста, не волнуйтесь, говорите со мной совершенно нормально. Давайте относиться друг к другу мягче и разумнее. Мне очень неприятно, что в Бристоле я был так резок с вами обоими: я расстроился из-за Присциллы, я и сейчас расстроен, но я совсем не считаю вас злодеем. Я знаю, что такое случается.

Роджер усмехнулся, глядя на Мэриголд. Она в ответ широко улыбнулась.

— Я хочу, чтобы вы были в курсе,— сказал он,— и если вы не против, я хочу, чтобы вы кое-что для нас сделали. Но сперва вот это.— И он поставил рядом со мной на пол огромную открытую сумку.

Я взглянул на сумку и запустил в нее руку. Бусы и разные побрякушки. Эмалевая картинка. Маленькая мраморная статуэтка. Два серебряных кубка и остальное в том же роде.

— Очень мило с вашей стороны. Присцилла будет очень довольна. А где норка?

— Сейчас дойдет и до этого,— проговорил Роджер.— Вообще-то я ее продал. Когда я вас видел в последний раз, я ее уже продал. Мы, когда покупали ее с Присциллой, договорились, что в случае чего можно будет ее и продать. Она получит свою половину. Со временем.

— Пусть не беспокоится,— сказала Мэриголд, прижимая свою нарядную синюю лакированную туфельку на платформе к ботинку Роджера. Она все время ритмично покачивала рукой, рукав ее блузки то и дело касался рукава Роджера.

— Здесь украшения,— сказал Роджер,— и все вещи с ее туалетного столика, а платья и все остальное Мэриголд уложила в три чемодана. Куда их послать?

Я написал адрес в Ноттинг-хилле.

— Я не стала класть старую косметику,— сказала Мэриголд,— и еще там было много рваных поясов и другого старья...

— Может, вы скажете Присцилле, что нам хочется сразу же получить развод? Содержание ей конечно, будет выплачиваться.

— Нуждаться мы не будем,— сказала Мэриголд, и рукав ее блузки коснулся рукава Роджера.— После того как малыш родится, я снова начну работать.

— А что вы делаете?

— Я зубной врач.

— Это прелестно! — Я рассмеялся просто от joie de vivre [1].— Подумать только, эта очаровательная девушка — зубной врач!

[1] Радости жизни *(франц.)*.

— Вы, конечно, рассказали про нас Присцилле? — невозмутимо поинтересовался Роджер.

— Да. Все будет прекрасно, все будет прекрасно, как сказала Джулиан.

— Джулиан?

— Джулиан Баффин, дочь одного моего друга.

— Дочь Арнольда Баффина? — спросила Мэриголд.— Я прямо обожаю его книги. Это мой самый любимый писатель.

— Дети мои, вам пора идти,— сказал я поднимаясь. Мне нестерпимо хотелось остаться одному со своими мыслями.— С Присциллой я все улажу. А вам обоим желаю всяческого счастья.

— Признаться, вы меня удивили,— сказал Роджер.

— Присцилле не станет легче, если я наговорю вам гадостей.

— Вы такой *милый*,— сказала Мэриголд.

Я думал, что она меня поцелует, но Роджер решительно повел ее к двери.

— Прощайте, очаровательный зубной врач! — крикнул я им вслед.

Закрывая дверь, я услышал, как Роджер сказал:

— Он, должно быть, пьян.

Я вернулся в гостиную и лег, уткнувшись лицом в черный шерстяной ковер.

— Угадай, что у меня тут в сумке? — сказал я Присцилле. Это было в тот же вечер. Меня впустил Фрэнсис. Кристиан нигде не было видно.

Присцилла все еще находилась наверху, в «новой», но уже изрядно обшарпанной спальне, обитой искусственным бамбуком. Видно, она только что встала. Грязные простыни на овальной кровати были скомканы. Облаченная в белый, больничного вида, банный халат, она сидела на табуретке перед низким сверкающим гуалетным столиком. Когда я вошел, она пристально разглядывала себя в зеркале и, кивнув мне без тени улыбки, снова повернулась к зеркалу. Она напудрила белой пудрой лицо и накрасила губы. Вид у нее был нелепый, точно у престарелой гейши.

Ничего мне не ответив, она внезапно схватила баночку с жирным кольдкремом и стала наносить его толстым слоем на лицо. Крем смешался с помадой и сделался розовым. Присцилла стала размазывать эту розовую массу по всему лицу, по-прежнему жадно разглядывая себя в зеркале.

— Посмотри,— сказал я,— посмотри, что у меня тут.

Я поставил статуэтку на стеклянную поверхность туалетного столика. Рядом я положил эмалевую картинку и малахитовую шкатулку. Вытащил груду перепутавшихся бус.

Присцилла взглянула на разложенные вещи, но не прикоснулась к ним, а взяла бумажную салфетку и начала стирать с лица розовую массу.

— Это все притащил Роджер. И смотри, я принес тебе твою женщину на буйволе. Правда, он немного прихрамывает, но...

— А норковый палантин? Ты видел Роджера?

— Да, видел. Послушай, Присцилла, я хочу тебе сказать...

Без крема лицо Присциллы было грубое и все в пятнах. Пропитанную красноватым кремом бумажную салфетку она уронила на пол.

— Брэдли, я решила вернуться к нему,— проговорила она.

— Присцилла...

— Я сделала глупость. Не надо было от него уходить. Он этого не заслужил. Мне кажется, я без него буквально с ума схожу. Мне уже не бывать счастливой. Одной так страшно. А здесь все так бессмысленно, и я одна и одна. Даже в самой ненависти к Роджеру что-то было, в этом был какой-то смысл, и хоть я была несчастна из-за него, а все равно он принадлежал мне. Я ко всему там привыкла, и дела находились — ходить по магазинам, убирать квартиру и готовить, и, даже если он не возвращался домой к ужину, я все равно готовила ему, накрывала на стол, а он не возвращался, и я сидела и плакала и смотрела телевизор. Все-таки какая-то жизнь: лежу на кровати в темноте и вслушиваюсь и жду, когда же повернется ключ в замке — хоть было чего ждать. Я не оставалась наедине со своими мыслями. И пусть даже у него были женщины — всякие там секретарши с работы,— я думаю, они у всех есть. Теперь мне это не так уж важно. Я связана с ним навеки, «на горе и радость», у нас, правда, получилось «на горе», но любая связь благо, когда тебя уносит в пропасть. Ты не можешь заботиться обо мне, да и с какой стати? Кристиан пока очень добра, но просто из любопытства, для нее это игра, скоро ей надоест. Я знаю, что я ужасна, ужасна,— и как только вы еще можете смотреть на меня? И не нужны мне ваши заботы. Я чувствую, что разлагаюсь заживо. От меня, наверно, гнилью несет. Я целый день пролежала в постели. Даже не напудрилась и не накрасилась, пока ты не пришел, и вид был такой ужасный... Я ненавижу Роджера, а последние года два даже стала его бояться. Но когда я думаю, что не вернусь к нему,— мне конец, душа с телом расстается, как у осужденного при виде палача. Если б ты знал, до чего мне плохо.

— Присцилла, ну перестань. Посмотри, какие милые вещицы. Ты ведь рада, что снова их видишь? Ну вот.

Я вытащил из груды вещей длинное ожерелье с голубыми и прозрачными бусинами, встряхнув, растянул в большое «о» и хотел надеть Присцилле на шею, но она резко отстранила его.

— А норка?

— Понимаешь...

— Я ведь все равно собираюсь вернуться к нему, так что неважно. Очень мило, что он принес... Что он сказал? Он хочет со мной увидеться? Сказал, что я невыносима? О, какая ужасная у меня была жизнь, но, когда я вернусь, хуже, чем теперь, не будет, хуже быть не может. Я буду послушной и спокойной. Уж я постараюсь. Буду чаще ходить в кино. Не буду кричать и плакать. Если я стану спокойной, он ведь не будет меня мучить? Брэдли, ты не поедешь со мной в Бристоль? Хоть бы ты *объяснил* Роджеру...

— Присцилла,— сказал я,— послушай, дорогая. О том, чтобы вернуться сейчас или вообще когда-нибудь, не может быть и речи. Роджер хочет получить развод. У него любовница, она молодая, ее зовут Мэриголд. Он живет с ней уже давно, много лет и теперь собирается на ней жениться. Я видел их сегодня утром. Они очень счастливы, они любят друг друга и хотят стать мужем и женой, и Мэриголд беременна...

Присцилла встала и точно деревянная двинулась к кровати. Забралась в нее и легла. Так ложился бы мертвец в собственный гроб. Натянула на себя простыню и одеяло.

— Он хочет жениться,— еле выговорила она, губы у нее тряслись.

— Да, Присцилла...

— Он живет с ней давно...

— Да.

— Она беременна...

— Да.

— И он хочет получить развод...

— Да. Присцилла, дорогая, ты все поняла и должна принять это спокойно.

— Умереть,— пробормотала она,— умереть, умереть, умереть.

— Крепись, Присцилла.

— Умереть.

— Тебе скоро станет легче. Хорошо, что ты избавилась от этого подлеца. Поверь. Ты заживешь по-новому, мы будем исполнять все твои прихоти, мы поможем тебе, вот увидишь. Ты сама сказала, что тебе надо почаще ходить в кино. Роджер будет давать тебе деньги на жизнь, а Мэриголд зубной врач, и...

— А я, может, займусь тем, что буду вязать распашонки для бэби!

— Ну вот и молодец. Главное — не падать духом.

— Брэдли, если бы ты знал, как я ненавижу даже тебя, ты бы понял, как далеко я зашла. Ну, а Роджер... да я бы с радостью... ему раскаленной спицей... печень проткнула.

— Присцилла!

— Я такое читала в одном детективе. Смерть долгая, в страшных мучениях.

— Послушай...

— Ты не понимаешь... что такое страдания... Вот и не умеешь как следует писать... ты не видишь страданий.

— Я знаю, что такое страдания,— сказал я.— И знаю, что такое радости. Жизнь полна приятных неожиданностей, удач, побед. Мы поддержим тебя, поможем тебе...

— Кто это «мы»? Ах... у меня нет никого на свете. Я покончу с собой. Так будет лучше. Все скажут, что так лучше, для меня же самой лучше. Я ненавижу тебя, ненавижу Кристиан, ненавижу себя до того, что могу часами кричать от ненависти. Это невыносимо. Ах, Роджер, Роджер, это невыносимо, Роджер...

Она лежала на боку и почти беззвучно всхлипывала, губы у нее дрожали, глаза были полны слез. Я еще никогда не видел, чтобы кто-то был так недоступно несчастен. Я почувствовал острое желание усыпить ее — не навсегда, разумеется, но только бы сделать ей какой-нибудь укол, остановить эти безудержные слезы, дать хоть короткую передышку ее измученному сознанию.

Дверь открылась, и вошла Кристиан. Она уставилась на Присциллу, а со мной рассеянно поздоровалась жестом, который показался мне верхом интимности.

— Ну, что еще такое? — строго спросила она Присциллу.

— Я сказал ей про Роджера и Мэриголд,— объяснил я.

— Господи, зачем?

Присцилла вдруг спокойно завыла. «Спокойно выть» — казалось бы, оксюморон, но этим термином я обозначил странно ритмичные, рассчитанные вопли, сопровождающие некоторые истерические состояния. Истерика пугает тем, что она произвольна и непроизвольна в одно и то же время. В том-то и ужас, что со стороны кажется, будто все это нарочно, и вместе с тем в безостановочных монотонных воплях есть что-то механическое, словно запустили машину. Тому, кто бьется в истерике, бесполезно советовать взять себя в руки: он ничего не воспринимает. Присцилла сидела, выпрямившись на постели, повторяя судорожное «у-у», потом выла «а-а», потом задыхалась от

рыданий, после чего снова судорожно всхлипывала, снова выла — и так без конца. То был чудовищный крик — несчастный и злой. Я четыре раза в жизни слышал, как женщина кричит в истерике: один раз кричала моя мать, когда ее ударил отец, один раз Присцилла, когда была беременна, еще один раз другая женщина (если бы только это забыть) и вот опять Присцилла. Я повернулся к Кристиан и в отчаянии развел руками.

В комнату, улыбаясь, вошел Фрэнсис Марло.

— Выйди, Брэд, подожди внизу,— сказала Кристиан.

Я кинулся вниз по лестнице и, проскочив один пролет, пошел медленнее. Пока я дошел до двери гостиной, выдержанной в темно-коричневых и синих тонах, все стихло. Я вошел в гостиную и остановился, тяжело дыша.

Появилась Кристиан.

— Замолчала? Что ты с ней сделала?

— Ударила по щеке.

— Кристиан, мне сейчас дурно станет,— сказал я и сел на диван, закрыв лицо рукой.

— А ну-ка, Брэд, выпей скорее коньяку...

— Может, печенья принесешь или еще чего-нибудь? Я целый день не ел. Да и вчера, кажется, тоже.

Я действительно на мгновение почувствовал дурноту — странное, ни на что не похожее состояние, будто тебе на голову опускают черный baldacchino и ты уже ничего не видишь. А когда передо мной очутились коньяк, хлеб, печенье, сыр, сливовый торт, я понял, что сейчас расплачусь. Много-много лет уже я не плакал. Тот, кто часто плачет, вряд ли сознает, какое поразительное явление наши слезы. Я вспомнил, как были потрясены волки в «Книге джунглей», увидев плачущего Маугли. Нет, кажется, это сам Маугли был потрясен и боялся, что он умирает. Волкам известно, что от слез не умирают, они смотрят на слезы Маугли с достоинством и некоторым отвращением. Я держал обеими руками рюмку с коньяком, смотрел на Кристиан и чувствовал, как к глазам медленно подступает теплая влага. И от сознания, что это происходит так естественно, независимо от моей воли, мне стало легче. Я почувствовал удовлетворение. Наверно, слезы всегда приносят удовлетворение. О, бесценный дар!

— Брэд, милый, не надо...

— Бить-то зачем...— сказал я.

— Но нельзя же ее так оставлять, она себя изматывает, вчера целых полчаса выла...

— Ну ладно, ладно...

— Ах, бедненький! Я же стараюсь как лучше. Думаешь, приятно, когда в доме помешанная? Я делаю это для тебя, Брэд.

Я с трудом проглотил кусочек сыра — мне казалось, будто я ем мыло. Зато от коньяка стало легче. Я был потрясен видом Присциллы. Такая безысходность. Но что же значили мои драгоценные слезы? Это были, бесспорно, слезы истинной радости, чудесное знамение произошедшей перемены. Все во мне, материальное и духовное, все мое существо, все настроения — все определялось состоянием любовного экстаза. Я глядел перед собой сквозь теплую серебристую завесу слез и видел лицо Джулиан: внимательное, сосредоточенное, словно у настороженной птицы, оно застыло передо мной в пространстве — так голодающему, обезумевшему пустыннику, чтобы его утешить, является в пещере видение Спасителя.

— Брэд, в чем дело? Ты какой-то странный сегодня, с тобой что-то случилось, ты красивый, ты похож на святого, что ли, прямо как на картинке, и ты помолодел..

— Ведь ты не оставишь Присциллу, да, Крис? — сказал я и смахнул рукой слезы.

— Ты ничего не заметил, Брэд?

— Нет, а что?

— Ты назвал меня «Крис».

— Правда? Совсем как раньше. Но ведь ты не оставишь ее? Я дам тебе денег...

— Да ну их. Я присмотрю за ней. Я уже нашла другого врача. Ей надо делать уколы.

— Это хорошо. Джулиан...

— Как ты сказал?

Я вдруг произнес вслух имя Джулиан.

— Крис, мне пора.— Я поднялся.— У меня важное дело. (Думать о Джулиан.)

— Брэд, ну пожалуйста... Впрочем, ладно, я тебя не задерживаю. Только скажи мне одну вещь.

— Что тебе сказать?

— Ну, что ты простил меня или еще что-нибудь. Что мы помирились. Ведь я просто любила тебя, Брэд. Тебе казалось, что моя любовь — разрушительная сила, что мне нужна власть и еще не знаю что, а я просто хотела тебя удержать, ведь вернулась-то я к тебе и ради тебя. Я много думала, как ты тут и какая я была дура. Я, конечно, не романтическая девчонка... Ясно, у нас тогда ничего не могло получиться, мы были такие молодые и, господи, до чего же глупые. Но я увидела в тебе что-то такое, чего не смогла забыть. Мне столько раз снилось, что мы опять вместе. Да, снилось, по ночам.

— И мне,— сказал я.

— О господи, какие счастливые сны. А потом я просыпалась и вспоминала, с какой ненавистью мы расстались, а рядом я видела глупое, старое лицо Эванса — мы почти до самого конца спали вместе. Да, я говорю тебе гадости про беднягу Эванса, и зачем я так поступаю — ведь это производит ужасное впечатление. Не то чтобы я по-настоящему презирала Эванса, или ненавидела его, или хотела его смерти, все совсем не так, просто он мне страшно надоел и вся эта страна тоже. Деньги — единственное, что меня там удерживало. Не занятия рисованием, не дыхательные упражнения, не психоанализ. Я ведь еще и керамикой там занялась — господи, за что я только не хваталась. А важны-то были только деньги. Но я всегда знала, что где-то есть совсем другой, духовный мир. И когда я вернулась сюда, я надеялась, что возвращаюсь вроде к себе домой, что в твоем сердце есть для меня место...

— Крис, милая, ну что за чепуха.

— Да, конечно. Но все равно, понимаешь, вдруг я почувствовала, что твое сердце открыто для меня, именно для меня, и можно войти туда, и на коврике так и написано: «Добро пожаловать»... Брэд, скажи же эти чудесные слова, скажи, что ты меня простил, что мы наконец помирились, что мы снова друзья.

— Конечно, я простил тебя, Крис, конечно, мы помирились. Ты тоже меня прости. Я не был терпеливым мужем...

— Ну конечно, я простила. Слава богу, наконец-то мы можем поговорить, поговорить о том, что было, и о том, какие мы были дураки, но теперь мы все исправим, вернем, «выкупим», как говорят в ломбарде. Я поняла, что это возможно, когда увидела, как ты плачешь из-за Присциллы. Ты славный, Брэдли Пирсон, и все у нас наладится, только бы открылись наши сердца.

— Крис, дорогая, ради бога!

— Брэд, знаешь, ведь в каком-то смысле ты остался моим мужем.

Я всегда думала о тебе как о муже — ведь нас же венчали в церкви, и я «должна служить тебе душой и телом» и всякое такое прочее, и мы были невинны, мы желали друг другу добра, и мы действительно любили — ведь правда мы любили?

— Возможно, но...

— Когда у нас ничего не вышло, я думала, что навсегда стану циником — ведь я согласилась выйти за Эванса из-за денег. Но это был серьезный шаг, и я его не бросила: бедняга, старая развалина, умер, держась за мою руку. А теперь прошлое будто куда-то провалилось. Я приехала сказать тебе это, Брэд, *убедиться* в этом. Ведь мы стали старше, мудрее и раскаиваемся в том, что мы наделали. Так почему бы нам не попытаться начать все сначала?

— Крис, милая, ты сошла с ума,— сказал я,— но я очень тронут.

— Ах, Брэд, ты так молодо выглядишь. Ты такой свежий, такой умиротворенный, как только что окотившаяся кошка.

— Я пошел. До свиданья.

— Нет, ты не можешь просто взять и уйти, когда мы только что заключили нашу сделку. Я давно хотела все это тебе сказать, но я не могла, ты был совсем другой, какой-то замкнутый, я не могла тебя как следует разглядеть, а теперь ты весь передо мной, весь открыт и я тоже, а это не шутка, Брэд, и нам надо попытать счастья, Брэд, обязательно надо. Конечно, нельзя решать с ходу, обдумай все спокойно, не спеша; мы бы поселились, где тебе захочется, и ты бы спокойно работал, можно купить дом во Франции или в Италии — где хочешь...

— Крис...

— В Швейцарии.

— Нет, только не в Швейцарии Ненавижу горы.

— Хорошо, тогда...

— Послушай, мне надо...

— Брэдли, поцелуй меня.

Лицо женщины преображается нежностью так, что порой его трудно узнать. Кристиан en tendresse[1] казалась старше, лицо стало смешное, как мордочка зверька, черты расплющились, будто резиновые. На ней было бумажное темно-красное платье с открытым воротом и на шее золотая цепочка. Из-под яркого золота цепочки выглядывала сухая, пятнистая шея. Крашеные волосы лоснились, точно звериный мех. Она смотрела на меня в прохладном северном сумраке своей гостиной, и в глазах ее было столько смиренной, молящей, робкой, грустной нежности; ее опущенные руки, повернутые на восточный манер ладонями ко мне, выражали покорность и преданность. Я шагнул к ней и обнял ее.

Я тут же рассмеялся и, обнимая ее, но не целуя, продолжал смеяться. За ее плечом я видел совсем другое лицо, излучавшее счастье. Я отдавал себе отчет в том, что обнимаю ее, и тем не менее смеялся, а она тоже засмеялась, уткнувшись лбом в мое плечо.

В эту минуту вошел Арнольд.

Я медленно опустил руки, и Кристиан, все еще смеясь, немного устало, почти удлаготворенно, посмотрела на Арнольда.

— Ах, боже мой...

— Я сейчас ухожу,— сказал я Арнольду.

Он вошел и преспокойно уселся, точно в приемной. Как всегда, он казался взмокшим (промокший альбинос), словно попал под дождь, бесцветные волосы потемнели от жира, лицо блестело, острый нос торчал, как смазанная салом булавка. Бледно-голубые глаза, слинявшие почти до белизны, были холодны, как вода. Арнольд поста-

[1] В состоянии нежности *(франц.)*.

рался придать себе безразличный вид, но я успел заметить, какую горечь и досаду вызвали у него наши объятия.

— Ты подумаешь, да, Брэд?

— Над чем?

— Ты бесподобен! Ты уже забыл? Я только что сделала Брэдли предложение, а он уже забыл.

— Кристиан слегка рехнулась,— очень ласково сказал я Арнольду.— Я только что заказал все ваши книги.

— Зачем? — спросил Арнольд, теперь приняв грустно-дружелюбный и в то же время отчужденный вид.

— Хочу пересмотреть свое мнение. Наверно, я был несправедлив к вам, да, я был совершенно неправ.

— Очень мило с вашей стороны.

— Ничуть. Мне хочется... быть со всеми в мире... сейчас.

— Разве сегодня рождество?

— Нет, просто... я прочту ваши книги, Арнольд, и поверьте—смиренно, без предубеждения. И пожалуйста... простите мне... все мои... недостатки... и...

— Брэд стал святым.

— Брэдли, вы не больны?

— Вы только посмотрите на него. Просто преображение!

— Мне пора, до свиданья и всего, всего вам хорошего.— И довольно нескладно помахав им обоим и не замечая протянутой руки Кристиан, я пошел к двери и выскочил через крошечную прихожую на улицу. Был уже вечер. Куда же девался день?

Дойдя до угла, я услышал, что за мной кто-то бежит. Это был Фрэнсис Марло.

— Брэд, я только хотел сказать — да постойте, постойте же,— я хотел сказать, что останусь с ней... что бы ни случилось... я...

— С кем — с ней?

— С Присциллой.

— Ах, да. Как она сейчас?

— Заснула.

— Спасибо, что помогаете бедняжке Присцилле.

— Брэд, вы на меня не сердитесь?

— С какой стати?

— Вам не противно смотреть на меня после всего, что я наговорил, и после того, как я вам плакался, и вообще, некоторые просто не выносят, когда на них выливают свои несчастья, и я боюсь, что я...

— Забудьте об этом.

— Брэд, я хотел сказать еще одну вещь. Я хотел сказать: что бы ни случилось, я с вами.

Я остановился и посмотрел на него: он глупо улыбался, прикусив толстую нижнюю губу и вопросительно подняв на меня хитрые глазки.

— В предстоящей... великой... битве... как бы она... ни... обернулась... Благодарю вас, Фрэнсис Марло,— сказал я.

Он был слегка озадачен. Я помахал ему и пошел дальше. Он опять побежал за мной.

— Я очень люблю вас, Брэд, вы это знаете.

— Пошли вы к черту!

— Брэд, может, дали бы мне еще немного денег... стыдно приставать, но Кристиан держит меня в черном теле...

Я дал ему пять фунтов.

То, что один день отделен от другого,— вероятно, одна из замечательнейших особенностей жизни на нашей планете. В этом можно

усмотреть истинное милосердие. Мы не обречены на непрерывное восхождение по ступеням бытия — маленькие передышки постоянно позволяют нам подкрепить свои силы и отдохнуть от самих себя. Наше существование протекает приступами, как перемежающаяся лихорадка. Наше быстро утомляющееся восприятие разбито на главы; та истина, что утро вечера мудренее, к счастью, да и к несчастью для нас, как правило, подтверждается жизнью. И как поразительно сочетается ночь со сном, ее сладостным воплощением, столь необходимым для нашего отдыха. У ангелов, верно, вызывают удивление существа, которые с такой регулярностью переходят от бдения в кишащую призраками тьму. Ни одному философу пока не удалось объяснить, каким образом хрупкая природа человеческая выдерживает эти переходы.

На следующее утро — было опять солнечно,— рано проснувшись, я окунулся в свое прежнее состояние, но сразу же понял: что-то изменилось. Я был не совсем тот, что накануне. Я лежал и проверял себя, как ощупывают свое тело после катастрофы. Я, бесспорно, по-прежнему был счастлив, и мое лицо, будто восковая маска, так и растеклось от блаженства, и блаженство застилало глаза. Я встал, побрился, тщательно оделся и посмотрел в зеркало на свое новое лицо. Я выглядел необычайно молодо, почти сверхъестественно. Затем я выпил чаю и уселся в гостиной, сложа руки и глядя на стену за окном. Я сидел неподвижно, как йог, и изучал себя.

Когда проходит первоначальное озарение, любовь требует стратегии; отказаться от нее мы не можем, хотя часто она и означает начало конца. Я знал, что сегодня и, вероятно, все последующие дни мне предстоит заниматься Джулиан. Вчера это не казалось таким уж необходимым. То, что случилось вчера, просто означало, что, сам того не сознавая, я вдруг стал благороден. И вчера этого было достаточно. Я любил, и радость любви заставила меня забыть о себе. Я очистился от гнева, от ненависти, очистился от всех низменных забот и страхов, составляющих наше грешное «я». Достаточно было того, что она существует и никогда не станет моей. Мне предстояло жить и любить в одиночестве, и сознание, что я способен на это, делало меня почти богом. Сегодня я был не менее благороден, не более обольщался, но мной овладело суетливое беспокойство. Разумеется, я никогда ей не признаюсь, разумеется, молчание и работа, к счастью, потребуют всех моих сил. Но все же я ощущал потребность в деятельности, средоточием которой была Джулиан.

Не знаю, как долго я просидел не двигаясь. Возможно, я и впрямь впал в забытье. Но тут зазвонил телефон, и в сердце у меня вдруг взорвалось черное пламя, потому что я тотчас решил, что это Джулиан. Я подбежал к аппарату, неловко схватил трубку и дважды уронил ее, прежде чем поднести к уху. Это был Грей-Пелэм: его жена заболела, и у него оказался лишний билет в Глиндебурн, он спрашивал, не хочу ли я пойти. Нет, нет и нет! Только еще Глиндебурна мне не хватало! Я вежливо отказался и позвонил в Ноттинг-хилл. Подошел Фрэнсис и сказал, что сегодня Присцилла спокойнее и согласилась показаться психиатру. Потом я сел и стал думать, не позвонить ли мне в Илинг. Конечно, не для того, чтобы поговорить с Джулиан. Может быть, я *должен* позвонить Рейчел? Ну, а вдруг подойдет Джулиан?

Пока меня бросало то в жар, то в холод от такой перспективы, снова зазвонил телефон, и в сердце снова взорвалось черное пламя; на этот раз звонила Рейчел. Между нами произошел следующий разговор:

— Брэдли, доброе утро. Это опять я. Я вам не надоела?

— Рейчел... дорогая... чудесно... я счастлив... это вы... я так рад...

— Неужели вы пьяны в такую рань?

— А который час?

— Половина двенадцатого.

— Я думал, около девяти.

— Можете не волноваться, я к вам не собираюсь.

— Но я был бы очень рад вас увидеть.

— Нет, надо себя сдерживать. Это... как-то унизительно... преследовать старых друзей.

— Но мы ведь друзья?

— Да, да, да. Ах, Брэдли, лучше мне не начинать... я так рада, что вы у меня есть. Я уж постараюсь не слишком приставать к вам. Кстати, Брэдли, Арнольд был вчера у Кристиан?

— Нет.

— Был, я знаю. Ладно, неважно. О господи, лучше мне не начинать.

— Рейчел...

— Да...

— Как... как... сегодня... Джулиан?

— Да как всегда.

— Она... случайно... не собирается зайти за «Гамлетом»?

— Нет. Сегодня ей, кажется, не до «Гамлета». Она сейчас у одной молодой пары, они копают яму для разговоров у себя в саду.

— Что копают?

— Яму для разговоров.

— О... Ах, да. Ясно. Передайте ей... Нет. Словом...

— Брэдли, вы... вы любите меня... неважно в каком смысле... любите, да?

— Разумеется.

— Простите, что я такая... размазня... Спасибо вам... Я еще позвоню... Пока.

Я тут же забыл о Рейчел. Я решил пойти и купить Джулиан подарок. Я все еще чувствовал себя разбитым. Голова кружилась, меня слегка лихорадило. При мысли, что я покупаю для нее подарок, меня бросило в настоящий озноб. Покупать подарок — разве это не общепризнанный симптом любви? Это просто sine qua non [1] (если тебе не хочется сделать ей подарок — значит ты ее не любишь). Это, наверно, один из способов трогать любимую.

Когда я почувствовал, что в состоянии пройтись, я вышел из дома и отправился на Оксфорд-стрит. Любовь преображает мир. Она преобразила огромные магазины на Оксфорд-стрит в выставку подарков для Джулиан. Я купил кожаную сумочку, коробку с носовыми платками, эмалевый браслет, вычурную сумку для туалетных принадлежностей, кружевные перчатки, набор шариковых ручек, брелок для ключей и три шарфа. Потом я съел бутерброд и вернулся домой. Дома я разложил все подарки вместе с шеститомным лондонским изданием Шекспира на инкрустированном столике и на ночном столике из красного дерева и стал их разглядывать. Конечно, нельзя дарить ей все сразу, это показалось бы странным. Но можно дарить ей сначала одно, потом другое, а пока все это тут и принадлежит ей. Я повязал себе шею ее шарфом, и от желания у меня закружилась голова. Я был на верху огромной башни и хотел броситься вниз, меня жгло пламя, еще немного, и я потеряю сознание — мучение, мучение.

Зазвонил телефон. Шатаясь, я подошел к аппарату и что-то буркнул.

— Брэд, это Крис.

---

[1] Непремѣнное условие *(лат.)*.

— О... Крис... добрый день, дорогая.
— Рада, что сегодня я еще «Крис».
— Сегодня... да...
— Ты подумал о моем предложении?
— Что за предложение?
— Брэд, не валяй дурака. Послушай, можно сейчас к тебе зайти?
— Нет.
— Почему?
— Ко мне пришли играть в бридж.
— Но ты же не умеешь играть в бридж.
— Я выучился за тридцать или сколько там лет нашей разлуки. Надо же было как-то проводить время.
— Брэд, когда я тебя увижу? Это срочно.
— Я зайду навестить Присциллу... может быть... вечером...
— Чудесно, я буду ждать... Смотри не забудь.
— Благослови тебя бог, Крис, благослови тебя бог, дорогая.

Я сидел в прихожей рядом с телефоном и гладил шарф Джулиан. Это ее шарф, но раз я пока оставил его у себя, она как будто мне его подарила. Я смотрел через открытую дверь гостиной на вещи Джулиан, разложенные на столиках. Я прислушивался к тишине квартиры среди гула Лондона. Время шло. Я ждал. «Для верных слуг нет ничего другого, как ожидать у двери госпожу. Так, прихотям твоим служить готовый, я в ожиданье время провожу»[1].

Теперь я просто не мог понять, как у меня хватило смелости уйти в это утро из дому. А вдруг она звонила, а вдруг заходила, пока меня не было? Не целый же день она копает яму для разговоров, что бы под этим ни подразумевалось. Она обязательно придет за «Гамлетом». Какое счастье, что у меня остался залог. Потом я вернулся в гостиную, взял потрепанную книжицу и, поглаживая ее, уселся в кресло Хартборна. Мои веки опустились, и материальный мир померк.

Я не забывал, что скоро начну писать самую главную свою книгу. Я знал, что черный Эрот, настигший меня, был единосущен иному, более тайному богу. Если я сумею держаться и молчать о своей любви, я буду вознагражден необычайной силой. Но сейчас нечего было и думать о том, чтобы писать. Я бы мог предать бумаге лишь неразбериху подсознания.

Зазвонил телефон, я бросился к нему, зацепил стол, и все шесть томов Шекспира посыпались на пол.

— Брэдли! Это Арнольд.
— О господи! Вы.
— Что случилось?
— Нет, ничего.
— Брэдли, я слышал...
— Который час?
— Четыре. Я слышал, вы собираетесь вечером к Присцилле?
— Да.
— Нельзя ли потом с вами встретиться? Мне нужно сказать вам очень важную вещь.
— Прекрасно. Что такое яма для разговоров?
— Что?
— Что такое яма для разговоров?
— Это углубление, куда кладут подушки, садятся и разговаривают.
— Зачем?
— Просто так.

---

[1] Шекспир, сонет 57-й. Перевод С. Маршака.

— Ах, Арнольд...

— Что?

— Ничего. Я прочту ваши книги. Они мне понравятся. Все будет по-другому.

— У вас что, размягчение мозгов?

— Ну, до свиданья, до свиданья.

Я вернулся в гостиную, подобрал с пола Шекспира, сел в кресло и мысленно произнес, обращаясь к ней: «Я буду страдать, ты не будешь... Мы друг друга не обидим. Мне будет больно, иначе и быть не может, но не тебе. Я буду жить этой болью, как живут поцелуями. (О господи!) Я просто счастлив, что ты существуешь, ты — это и есть абсолютное счастье, я горд, что живу с тобой в одном городе, в одну эпоху, что я вижу тебя изредка, урывками...»

Но что значит изредка, урывками? Когда она захочет поговорить со мной? Когда я смогу поговорить с ней? Я уже решил, что, если она напишет или позвонит, я назначу ей встречу лишь через несколько дней. Пусть все идет, как обычно. И хотя мир совершенно переменился, пусть он остается каким был, каким был бы — прежним во всем, в большом и малом. Ни малейшей спешки, ни намека на нетерпение, ни на йоту не меняться самому.

Зазвонил телефон. Я взял трубку. На сей раз это была Джулиан.

— Брэдли, здравствуй, это я.

Я что-то из себя выдавил.

— Брэдли... ничего не слышно... это я... Джулиан Баффин.

Я сказал:

— Подожди минутку, хорошо?

Я прикрыл трубку ладонью, зажмурился и, ловя ртом воздух и стараясь дышать ровнее, нащупал кресло. Через несколько секунд, покашливая, чтобы скрыть дрожь в голосе, я сказал:

— Прости, пожалуйста, у меня тут как раз закипел чайник.

— Мне так неудобно беспокоить тебя, Брэдли. Честное слово, я не буду приставать, не буду все время звонить и приходить.

— Нисколько ты меня не беспокоишь.

— Я просто хотела узнать, можно мне забрать «Гамлета», если он тебе больше не нужен?

— Конечно можно.

— Мне не к спеху. Я могу ждать хоть две недели. Он мне сейчас не нужен. И еще у меня есть один или два вопроса — если хочешь, я могу прислать их в письме, а книгу ты мне можешь тоже прислать по почте. Я не хочу мешать тебе работать.

— Через... две недели...

— Или месяц. Кажется, я уеду за город. У нас в школе все еще корь.

— А может, ты заглянешь на той неделе? — сказал я.

— Хорошо. Может, в четверг, часов около десяти?

— Прекрасно.

— Ну, большое спасибо. Не буду тебя задерживать. Я знаю, ты так занят. До свиданья, Брэдли, спасибо.

— Подожди минутку,— сказал я.

Помолчали.

— Джулиан,— сказал я,— ты сегодня вечером свободна?

Ресторан на башне Почтамта вращается очень медленно. Медленно, как стрелка циферблата. Величавая львиная поступь всеотупляющего времени.

С какой скоростью он вертелся в тот вечер, когда Лондон из-за

спины моей любимой наползал на нее? Может быть, он был недвижим, остановленный силой мысли,— лишь иллюзия движения в утратившем продолжительность мире? Или вертелся, как волчок, мчась за пределы пространства, пригвождал меня к внешней стене и распинал центробежной силой, будто котенка?

Любовь всегда живо изображает страдания разлуки. Тема дает возможность подробно выразить тоску, хотя, бесспорно, есть муки, о которых не расскажешь. Но достойно ли воспеты минуты, когда любимая с нами? Возможно ли это? В присутствии любимой мы, пожалуй, всегда испытываем тревогу. Но капля горечи не портит свидания. Она сообщает блаженному мигу остроту и превращает его в миг восторга.

Проще говоря, в тот вечер на башне Почтамта меня ослеплял восторг. У меня перед глазами взрывались звезды, и я буквально ничего не видел. Я часто и с трудом дышал, но это не было неприятно. Я даже чувствовал удовлетворение оттого, что по-прежнему наполняю легкие кислородом. Меня трясло — слабой, возможно со стороны незаметной, дрожью. Руки дрожали, ноги ныли и гудели, колени находились в состоянии, описанном греческой поэтессой [1]. Ко всему этому dérèglement [2] добавлялось головокружение от одной мысли, что я так высоко над землей, однако же по-прежнему с ней связан... От восторга и благодарности ты почти теряешь сознание, а между звездными взрывами обострившимся зрением жадно впитываешь каждую черточку в любимом облике. Я здесь, ты здесь, мы оба здесь. Видя ее среди других, словно богиню среди смертных, ты чуть не лишаешься чувств оттого, что тебе ведома высокая тайна. Ты сознаешь, что эти короткие, преходящие мгновения — самое полное, самое совершенное счастье, дарованное человеку, включая даже физическую близость, и на тебя находит спокойное ликование.

Все это наряду с вихрем других оттенков и нюансов блаженства, которые я не в силах описать, я чувствовал, сидя в тот вечер с Джулиан в ресторане на башне Почтамта. Мы говорили, и наше взаимопонимание было столь полным, что потом я мог объяснить это лишь телепатической связью. Стемнело, вечер стал густо-синим, но еще не перешел в ночь. Очертания Лондона с уже засветившимися желтым светом окнами и рекламами плыли сквозь туманную, мерцающую и дробящуюся дымку. Альберт-холл, музей естествознания, Сентрпойнт, Тауэр, собор святого Павла, Фестивал-холл, парламент, памятник Альберту. Бесценные и любимые очертания моего Иерусалима беспрестанно проходили позади милой и таинственной головки. Только парки уже погрузились во тьму, чернильно-лиловые и тихоночные.

Таинственная головка... О, как мучительна тайна чужой души, как утешительно, что твоя собственная душа — тайна для другого! В тот вечер я, пожалуй, больше всего ощущал в Джулиан ее ясность, почти прозрачность. Незамутненную чистоту и простодушие молодости, так непохожие на защитную неискренность взрослых. Ее ясные глаза смотрели на меня, и она говорила с прямотой, с какой я еще не встречался раньше. Сказать, что она не кокетничала, было бы уж слишком прямолинейно. И все же — нет, говорить о том, что я играл роль, тоже было бы варварством. Меня жгла моя тайна. Лаская Джулиан глазами и мысленно обладая ею, улыбаясь в ответ на ее открытый внимательный взгляд со страстью и нежностью, о которых она и

[1] Очевидно, имеется в виду Сафо (VI в. до н. э.).
[2] Расстройству всех функций *(франц.)*.

не догадывалась, я чувствовал, что вот-вот упаду без сознания, быть может, даже умру от грандиозности того, что я знал, а она не знала.

— Брэдли, мне кажется, мы *качаемся!*

— Вряд ли. По-моему, от ветра башня действительно слегка качается, но сегодня ветра нет.

— Но, может быть, тут наверху ветер.

— Что ж, может быть. Да, пожалуй, мы качаемся.— Что я мог сказать? Все и правда качалось.

Разумеется, я только делал вид, что ем. Я почти не пил вина. Спиртное представлялось мне совершенно неуместным. Я был пьян любовью. Джулиан, наоборот, пила и ела очень много и хвалила все подряд. Мы обсуждали вид с башни, колледж, школу и корь, говорили о том, когда можно определить, поэт ты уже или нет, о том, когда пишется роман, а когда пьеса. Никогда еще я не разговаривал ни с кем так свободно. О, блаженная невесомость, блаженный космос.

— Брэдли, до меня не дошло, что ты наговорил тогда про Гамлета.

— Забудь это. Все высокие рассуждения о Шекспире ни к чему не ведут. И не потому, что он так божествен, а потому, что он так человечен. Даже в гениальном искусстве никто ничего не может понять.

— Значит, критики — дураки?

— Теории не нужны. Просто нужно уметь любить эти вещи как можно сильнее.

— Так, как ты сейчас стараешься полюбить все, что пишет отец?

— Нет, тут особый случай. Я был к нему несправедлив. В его вещах — большое жизнелюбие, и он умеет строить сюжет. Уметь построить сюжет — это тоже искусство.

— Закручивает он здорово. Но все это мертвечина.

— «Так молода и так черства душой!» [1]

— «Так молода, милорд, и прямодушна»[2].

Я чуть не свалился со стула. И еще я подумал — если я был в состоянии думать,— что, пожалуй, она права. Но в этот вечер мне не хотелось говорить ничего неприятного. Я уже понял, что скоро должен буду с ней расстаться, и теперь ломал себе голову, поцеловать ли мне ее на прощание и если да, то как. У нас не было заведено целоваться, даже когда она была маленькая. Короче, я еще никогда ее не целовал. Никогда. И вот сегодня, может быть, поцелую.

— Брэдли, ты не слушаешь.

Она то и дело называла меня по имени. Я же не мог произнести ее имя. У нее не было имени.

— Прости, дорогая, что ты сказала? — Я будто невзначай вставлял нежные обращения. Вполне безопасно. Разве она что-нибудь заметит? Конечно нет. А мне было приятно.

— Как по-твоему, мне нужно прочитать Витгенштейна?

Мне так хотелось поцеловать ее в лифте, когда мы будем спускаться, если нам посчастливится оказаться вдвоем в этом временном любовном гнездышке! Но об этом нечего было и думать. Никоим образом нельзя выдать свое чувство. Со свойственным молодости чарующим эгоизмом и любовью к внезапным решениям она спокойно приняла как должное, что мне вдруг захотелось пообедать на башне Почтамта и раз она случайно позвонила, я случайно пригласил ее с собой.

— Нет, не советую.

---

[1] Шекспир. «Король Лир», акт I, сцена I Перевод Б. Пастернака.

[2] Там же.

— Думаешь, он для меня слишком трудный?
— Да.
— Думаешь, я ничего не пойму?
— Да. Он никогда не думал о тебе.
— Что?
— Неважно. Это опять цитата.
— Мы сегодня так и сыплем цитатами. Когда я бываю с тобой, у меня такое чувство, будто я начинена английской литературой, как мясным фаршем, она так и лезет у меня из ушей. Правда, не слишком аппетитное сравнение? Ох, Брэдли, как здорово, что мы здесь. Брэдли, я просто в восторге!
— Я очень рад.— Я попросил счет. Мне не хотелось разрушать полноту мгновения жалкими стараниями его продлить. Затянувшееся радушие обернулось бы пыткой. Я не хотел видеть, как она поглядывает на часы.
Она посмотрела на часы.
— Ой, мне уже пора.
— Я провожу тебя до метро.
В лифте мы были одни. Я не поцеловал ее. Я не пригласил ее к себе. Пока мы шли по Гудж-стрит, я ни разу не коснулся ее, даже «случайно». Я шел и думал, как я вообще смогу с ней расстаться.
Около станции метро Гудж-стрит я остановился и словно невзначай оттеснил ее к стене. Но не уперся руками в стену по обе стороны ее плеч, как мне бы хотелось. Откинув свою львиную гриву и улыбаясь, она смотрела на меня снизу вверх так открыто, так доверчиво. В этот вечер на ней было черное льняное платье с желтой вышивкой — индийское, наверно. Она напоминала придворного пажа. Свет фонаря падал сверху на ее нежное правдивое лицо и треугольный вырез, до которого мне так нестерпимо хотелось дотронуться во время ужина. Я все еще был в полной и теперь уже мучительной нерешительности, поцеловать ее или нет.
— Ну вот... Ну так вот...
— Брэдли, ты очень милый, спасибо. Мне было так приятно.
— Ах, да, я совсем забыл захватить твоего «Гамлета».— Это была чистейшая ложь.
— Неважно. Заберу в другой раз. Спокойной ночи, Брэдли, и еще раз спасибо.
— Да, я... постой...
— Мне надо бежать.
— Может быть... мы условимся, когда ты зайдешь... Ты говорила, что у тебя... меня так часто не бывает дома... или мне... может, ты...
— Я позвоню. Спокойной ночи и большущее спасибо.
Теперь или никогда. Медленно, с таким чувством, словно я выделывал какое-то сложное па в менуэте, я придвинулся ближе к Джулиан, которая уже тронулась было с места, взял ее левую руку в свою и, удержав ее таким образом, осторожно прижался приоткрытыми губами к ее щеке. Результат превзошел все мои ожидания. Я выпрямился, и секунду мы смотрели друг на друга.
Джулиан сказала:
— Брэдли, если я тебя попрошу, ты пойдешь со мной в Ковент-Гарден?
— Конечно.— Я готов был пойти с ней даже к черту, не то что в Ковент-Гарден.
— На «Кавалера роз». В ту среду. Давай встретимся в вестибюле около половины седьмого. Места хорошие. Септимус Лич достал два билета, а сам не может пойти.

— Кто это Септимус Лич?

— Мой новый поклонник. Спокойной ночи, Брэдли.

Она ушла. Я стоял, ослепленный светом фонаря среди спешивших призраков. Я чувствовал себя так, как чувствует себя тот, кого нежданно-негаданно после плотного обеда схватила тайная полиция.

Проснувшись наутро, я, разумеется, начал терзаться. Какая непростительная тупость: неужели же заранее не ясно было, что нельзя вечно пребывать в таком блаженстве? — подумает читатель. Но читатель, если только в то время, как он читает эти строки, сам отчаянно не влюблен, вероятно, счастливо забыл — а может, никогда и не знал,— каково находиться в подобном состоянии. Это, как я уже говорил, одна из форм безумия. Не безумие ли, когда все помыслы сосредоточены исключительно на одном человеке, когда весь остальной мир просто перестает существовать, не безумие ли, когда все твои мысли, чувства, вся твоя жизнь зависят от любимой, а какова твоя любимая — абсолютно неважно. Бывает, один человек сходит с ума, а другой считает предмет его восторгов никчемным. «Неужели получше не могла найти?» — вечная присказка. Нас поражает, когда тот, кого мы привыкли уважать, поклоняется какому-нибудь грубому, пустому и вульгарному ничтожеству. Но как бы ни был благороден и умен в глазах всего света предмет твоей любви, творить из него кумира — а в этом и состоит влюбленность — не меньшее безумие.

Обычно, хотя и не обязательно, самая ранняя стадия этого умопомрачения — как раз та, в которой я сейчас находился,— заключается в кажущейся утрате своего «я» до того, что теряется всякий страх перед болью или чувство времени (ведь бег времени вызывает тревогу и страх)... Чувствовать, что любишь, созерцать любимое существо — больше ничего и не надо. Так, рай на земле, вероятно, представляется мистику как бесконечное созерцание бога. Однако свойства бога таковы (или должны бы быть таковыми, существуй он на самом деле), что по крайней мере не мешают нам длить радость поклонения. Являясь «основой бытия», он даже этому, пожалуй, потворствует. И наконец он неизменен. Вечно же поклоняться так человеческому существу куда сложнее, даже если любимая не моложе тебя на сорок лет и, мягко выражаясь, к тебе равнодушна.

За эти два коротких дня я по сути пережил почти все этапы влюбленности. (Я говорю «почти все», ибо кое-что еще предстояло.) В первый день я был просто святой. Благодарность так согревала и укрепляла меня, что хотелось поделиться своим богатством. Я настолько ощущал свое избранничество, свое исключительное положение, что гнев, даже воспоминания об обидах не укладывались у меня в голове. Мне хотелось ходить и прикасаться к людям, благословлять их, причастить их моего счастья, поведать о доброй вести, рассказать о тайне, превратившей вселенную в обитель радости и свободы, благородства, бескорыстия и великодушия. В тот день мне даже не хотелось видеть Джулиан. Она была мне не нужна. Достаточно было знать, что она существует. Я, кажется, почти забыл о ней, как мистик, возможно, забывает о боге, сам становясь богом.

На другой день я почувствовал, что она мне нужна, хотя тревога — это слишком грубое слово для обозначения той магнетической, шелковой нити (так, во всяком случае, мне представилось это поначалу), которая обвилась вокруг меня. Мое «я» начало оживать. В первый день Джулиан была повсюду. На второй день она занимала хоть и не ясное, но все-таки более определенное место в пространстве и была не то чтобы насущно необходима, но нужна. На второй день я ощу-

тил ее отсутствие. Так возникла смутная потребность стратегии, желание строить планы. Будущее, потонувшее было в потоках яркого света, вновь открылось взору. Явились перспективы, предположения, возможности. Но восторг и благодарность по-прежнему озаряли мир, и я еще был в состоянии проявлять добрый интерес к другим людям и предметам. Любопытно, как долго человек может находиться в первой стадии любви? Без сомнения, гораздо дольше, чем я, но, разумеется, не до бесконечности. Вторая стадия, я уверен, при благоприятных условиях может продолжаться гораздо дольше. (Но опять-таки не до бесконечности. Любовь — история, любовь — диалектика, ей присуще движение.) И так я исчислял часами то, что другой переживал бы несколько лет.

Пока тянулся этот второй день, трансформацию, которой подверглось мое блаженство, можно было измерить чисто физическим ощущением напряженности, словно магнетические лучи, или даже веревки, или цепи сперва осторожно меня подергивали, потом стали подтягивать и наконец тащить изо всех сил. Желание я ощущал, разумеется, с самого начала — бывает, оно поселяется в нас как жаба. Тогда это тяжесть, бремя, хоть и не всегда нежеланное. Можно любить и цепи свои, и оковы. Когда Джулиан позвонила, я томился и тосковал, но это не были муки ада. Я не мог добровольно отсрочить свидание — мне слишком хотелось ее увидеть. И когда я был с ней, я еще мог быть совершенно счастлив. Я не ожидал мук преисподней.

Когда же я вернулся домой расставшись с ней, я уже был в смятении, страхе, мне было больно, но я еще не корчился, еще не выл от боли. Однако я уже не мог так гордо обходиться без спиртного. Я достал потаенную бутылку виски, которую держал на случай крайней необходимости, и выпил довольно много не разбавляя. Потом я выпил хереса. Я поел тушеной курицы прямо из консервной банки, которую, очевидно, притащил в дом Фрэнсис. И я чувствовал себя ужасно несчастным, как, бывало, в детстве, каким-то униженным, но решил, что не буду об этом думать и постараюсь уснуть. Я знал, что крепко усну, и так и вышло. Я рванулся в забытье, как корабль устремляется к черной грозовой туче, закрывшей горизонт.

Проснулся я с ясной головой, хотя она слегка побаливала, и с четким ощущением, что я пропал. Рассудок, который был — был же он хоть где-то все эти последние дни? — на заднем плане, или в отпуску, или в рассеянии, или в отлучке, снова оказался на своем посту. Во всяком случае, я услышал его голос. Однако он выступил в довольно своеобразной роли, и уж во всяком случае не в роли друга-утешителя. Он, конечно, не опустился до примитивных суждений вроде того, что Джулиан всего-навсего заурядная молодая девица и не стоит так из-за нее волноваться. Он даже не указал мне на то, что я поставил себя в такое положение, при котором неизбежны муки ревности. До ревности дело еще не дошло. Это тоже еще предстояло. Одно было ясно как день — мое положение стало невыносимым. Я желал с такой силой, от которой можно взорваться или сгореть,— желал того, чего просто не мог получить.

Я уже плакал. Я лежал в постели, и меня электрическими разрядами пронзало желание. Я метался, стонал, задыхался, словно в борьбе с осязаемым демоном. То обстоятельство, что я дотронулся до нее, поцеловал, выросло в громадную гору (да простятся мне эти метафоры), которая непрестанно обваливалась на меня. Вкус кожи Джулиан был на моих губах. Касанье родило на свет тысячу призраков. Я чувствовал себя нелепым, проклятым, отверженным чудищем. Как могло случиться, что я поцеловал ее и при этом не вобрал ее в себя, не растворился в ней? Как я удержался, не бросился к ее ногам, не зарыдал?

Я встал, но почувствовал себя так плохо, что с трудом оделся. Хотел заварить чай, но от одного запаха меня чуть не стошнило. Выпил немного разбавленного водой виски, и тут мне стало совсем скверно. Не в силах стоять на одном месте, я бесцельно метался по квартире, натыкаясь на мебель, как тигр в клетке непрестанно натыкается на решетку. Теперь я не стонал, я хрипел. Надо было собраться с мыслями и решить, что же делать дальше. Может быть, покончить с собой? Может, немедленно отправиться в «Патару», засесть там, как в крепости, и глушить себя алкоголем? Бежать, бежать, бежать. Но собраться с мыслями я не мог. Меня занимало одно — как пережить эту муку.

Я уже сказал, что ревности пока не чувствовал. Ревность, в конце концов,— упражнение, игра ума. Я же был до такой степени переполнен любовью, что для рассудка не оставалось места. Рассудок как бы стоял в стороне, озаряя своим пламенем этот своеобразный монумент. Внутрь он не прокрался. И только на другой день, нет, то есть на четвертый (но я сейчас его опишу), я начал *думать*, что Джулиан двадцать лет и что она свободна как птица. Решился ли я задаться ревнивым вопросом, где она и любит ли кого-нибудь? Да, я задался этим вопросом, это было неизбежно. Собственно, даже сейчас она может быть где угодно, с кем угодно. Разумеется, я не мог этого не знать с самого начала, это было слишком очевидно. Но святого, каким я тогда был, это совершенно не касалось. Тогда я приобщился ее, как святых тайн. Теперь же мне казалось, что кто-то вонзил мне в печень раскаленную спицу (и где только я откопал это кошмарное сравнение?).

Ревность — самый чудовищно непредумышленный из наших грехов. К тому же один из самых мерзких и самых простительных. Зевс, смеющийся над клятвами влюбленных, должно быть, прощает их муки и горечь, которую эти муки порождают. Один француз сказал, что ревность родится вместе с любовью, но не всегда умирает с ней. В этом я не уверен. Я скорее склонен думать, что там, где ревность, там и любовь, и если мы ее испытываем, когда любовь как будто прошла, значит, не прошла и любовь (я думаю, это не пустые слова). На некоторых стадиях — хотя мой случай показывает, что не на всех,— ревность служит мерилом любви. К тому же она (что, верно, и натолкнуло француза на его мысль) — новообразование, опухоль, именно опухоль. Ревность — это рак, она иногда убивает то, чем питается, хотя обычно ужасно медленно. (И сама тоже умирает.) И еще, меняя метафору: ревность — это любовь, это любящее сознание, любящее зрение, затуманенное болью, а в самых страшных формах — искаженное ненавистью.

Ужасней всего в ней чувство, что у тебя отторгли, безвозвратно похитили часть самого тебя. Полюбив Джулиан, я начал сознавать это, сперва смутно, а потом все более отчетливо. Я не просто отчаянно желал того, чего не мог получить. Это бы еще куда ни шло. Это еще самое тупое и глухое страдание. Я был обречен быть с ней, как бы она меня ни отвергала. И как бы долго, как бы томительно медленно и как бы мучительно это ни происходило. Все равно искушение повлечет меня за ней, где бы она ни была. Кому бы она ни отдавалась, я всегда буду с ней. Как бесстыжее домашнее животное, я буду сидеть по углам спален, где она будет целоваться и любить. Она сойдется с моими врагами, будет ласкать тех, кто насмехается надо мной, будет пить с чужих губ презрение ко мне. А моя душа будет незримо следовать за ней, беззвучно плача от боли. И это огромное, непомерное страдание поглотит меня целиком и навсегда, отравит мне жизнь.

Когда любишь, трудно представить себе, что от любви можно исцелиться. Это противоречит самому понятию любви (во всяком случае, как я ее понимаю). К тому же исцеляется далеко не каждый. Естест-

венно, моему пылающему уму ни на секунду не являлась возможность такого пошлого утешения. Как я уже говорил, я понял, что пропал. Ни луча света, вообще никакого утешения. Хотя тут надо упомянуть о том, что, правда, осенило меня уже позднее. Конечно, я и думать не думал писать, «сублимировать» все это (слово-то какое нелепое). Но я знал, что это — мое предназначение, что это... ниспослано мне... той же властью. Пусть ты корчишься от боли, ибо печень тебе пронзила спица, быть пригвожденным этой властью — значит быть на своем месте.

Оставив в стороне всю эту метафизику, должен признаться, что я, разумеется, тут же решил: некуда мне бежать. Я не могу уехать из города. Я должен снова увидеть Джулиан, должен прождать все ужасные, пустые дни до нашего свидания в Ковент-Гардене. Конечно, мне хотелось сейчас же ей позвонить и позвать к себе. Но каким-то чудом мне удалось побороть соблазн. Я не позволял себе опуститься до умопомешательства. Лучше остаться один на один с силами тьмы и страдать, чем уничтожить все, ввергнув в воющий хаос. Хранить молчание, хотя теперь совсем иное и неутешительное,— вот моя единственная задача.

В это утро, которое я не пытаюсь больше описывать (скажу только, что звонил Хартборн, но я тут же положил трубку), явился Фрэнсис.

Открыв ему, я вернулся в гостиную, и он последовал за мной. Я сел и, тяжело дыша, начал тереть глаза и лоб.

— Брэдли, что случилось?

— Ничего.

— Смотрите-ка — виски. Я и не знал, что у вас есть. Где же это вы его прятали? Можно?

— Да.

— А вам налить?

— Да.

Фрэнсис дал мне стакан.

— Заболели?

— Да.

— Что с вами?

Я отхлебнул виски и поперхнулся. Я был совершенно болен и никак не мог отличить физические муки от душевных.

— Брэд, мы прождали вас вчера весь вечер.

— Почему, где?

— Вы сказали, что зайдете к Присцилле.

— Ах, да. Присцилла.— Я полностью и начисто забыл о существовании Присциллы.

— Мы вам звонили.

— Меня не было. Я обедал не дома.

— Вы что, просто забыли?

— Да.

— Арнольд сидел до двенадцатого часа. Вы ему зачем-то нужны. Он был сам не свой.

— Как Присцилла?

— Все так же. Крис спрашивала, как вы посмотрите на то, чтобы ее лечили электрошоком.

— Что же, очень хорошо.

— Так не возражаете? А вы знаете, что при этом распадаются мозговые клетки?

— Тогда лучше не надо.

— Но с другой стороны...

— Мне надо повидать Присциллу,— произнес я, кажется, вслух. Но я знал, что просто *не могу*. У меня ни на кого другого не осталось ни капли душевных сил. Я не мог предстать в таком состоянии перед этой беспомощной, страждущей душой.

— Присцилла говорит, что согласна на все, если *вы* этого хотите.

Электрошок. Тебя ударяют по черепу. Так стучат по неисправному радиоприемнику, чтобы он заработал. Мне необходимо взять себя в руки. Присцилла...

— Надо... еще... подумать,— сказал я.

— Брэд, что случилось?

— Ничего. Распад мозговых клеток.

— Вы больны?

— Да.

— Что с вами?

— Я влюблен.

— О,— сказал Фрэнсис.— В кого?

— В Джулиан Баффин.

Я не собирался ему говорить. Я сказал потому, что тут было что-то схожее с Присциллой. Та же безысходность. И ощущение, будто тебя так измолотили, что уже все нипочем.

Фрэнсис принял новость совершенно спокойно. Что же, наверно, так и надо.

— И что, очень плохо вам? Я имею в виду, из-за вашей болезни

— Очень.

— Вы ей сказали?

— Не валяйте дурака,— проговорил я.— Мне пятьдесят восемь, а ей двадцать.

— Ну и что? Любовь не считается с возрастом, это известно каждому. Можно, я налью себе еще виски?

— Вы просто не понимаете,— сказал я.— Я не могу... выставлять свои... чувства перед этой... девочкой. Она просто испугается. И, насколько я понимаю, никакие *такие* отношения с ней невозможны...

— А почему? — сказал Фрэнсис.— Вот только нужно ли — это другой вопрос.

— Будет вам... Тут же встает нравственная проблема и прочее... Я почти старик, а она... Ей противно будет... Она просто не захочет меня больше видеть.

— Ну, это еще неизвестно. Нравственная проблема? Возможно. Не знаю. Теперь все так переменилось. Но неужели вам будет приятно и дальше встречаться с ней и держать язык за зубами?

— Нет, конечно нет.

— Ну, а тогда, прошу прощения за прямолинейность, не лучше ли выйти из игры?

— Вы, наверно, никогда не были влюблены.

— Нет, был и еще как. И... всегда безнадежно... всегда без взаимности. Так что мне уж не говорите...

— Я не могу выйти из игры, я еще только вошел. Не знаю, что делать. Я просто схожу с ума. Я попал в силки.

— Разорвите их и бегите. Поезжайте в Испанию, что ли.

— Не могу. Я встречаюсь с ней в среду. Мы идем в оперу. О господи.

— Если хотите страдать, дело ваше,— сказал Фрэнсис, подливая себе виски.— Но если хотите выкарабкаться, я бы на вашем месте ей сказал. Напряжение бы ослабло, и все пошло бы своим чередом. Так легче исцелиться. Терзаться втихомолку всегда хуже. Напишите ей письмо. Вы же писатель, вам писать — одно удовольствие.

— Ей противно будет.

— А вы осторожно, намеками.

— В молчании есть достоинство и сила.

— В молчании? — сказал Фрэнсис.— Но вы уже его нарушили.

О, моя душа, пророчица! Это была правда.

— Конечно, я никому ни слова. Но мне-то вы зачем сказали? Не хотели ведь и сами потом будете жалеть. Может, даже возненавидите меня. Прошу вас, не надо Вы сказали мне потому, что вы не в себе. Просто не могли удержаться. А рано или поздно вы и ей скажете.

— Никогда.

— Не стоит все усложнять, а насчет того, что ей противно будет,— вряд ли. Скорее она просто рассмеется.

— *Рассмеется?*

— Молодые не принимают всерьез стариковские чувства нашего брата. Она будет даже тронута, но решит, что это смешное умопомешательство. Ее это развлечет, заинтригует. Для нее это будет событие.

— Убирайтесь вы,— сказал я.— Убирайтесь.

— Вы сердитесь на меня. Я же не виноват, что вы мне сказали.

— Убирайтесь.

— Брэд, как же все-таки насчет Присциллы?

— Поступайте, как сочтете нужным. Оставляю все на ваше усмотрение.

— Вы не собираетесь ее проведать?

— Да, да. Потом. Сердечный ей привет.

Фрэнсис подошел к двери. Я сидел и тер глаза Смешное медвежье лицо Фрэнсиса все сморщилось от тревоги и огорчения, и вдруг он напомнил мне свою сестру, когда она с такой нелепой нежностью смотрела на меня в синей тьме нашей старой гостиной.

— Брэд, почему бы вам не ухватиться за Присциллу?

— Не понимаю.

— Ухватитесь за нее, как за спасательный круг. Пусть это заполнит вашу жизнь. Думайте только о том, чтобы ей помочь. Правда, займитесь этим всерьез. А остальное выкиньте из головы.

— Ничего вы не понимаете.

— Ну хорошо. Тогда попробуйте ее уговорить. Что тут особенного?

— О чем это вы?

— Почему бы вам не завести роман с Джулиан Баффин? Ей это нисколько не повредит.

— Вы... негодяй. О господи, как я мог сказать вам, именно вам, я с ума сошел.

— Ну хорошо, молчу. Ладно, ладно, ухожу.

Когда он ушел, я как безумный заметался по квартире. Зачем, ах, зачем я нарушил молчание. Я расстался со своим единственным сокровищем, отдал его дураку. Я не боялся, что Фрэнсис меня предаст. Но к моим страданиям добавились новые, куда страшнее. В шахматной партии с моим Сумрачным Повелителем я, возможно, сделал неверный и роковой ход.

Через некоторое время я сел и принялся думать о том, что мне сказал Фрэнсис. Разумеется, не обо всем. О Присцилле я вовсе не думал.

Мой дорогой Брэдли!

Я попал в ужаснейший переплет и чувствую, что должен Вам все открыть. Возможно, это Вас не так уж и удивит. Я безумно влюблен в Кристиан. Представляю себе, с какой убийственной иронией отнесетесь Вы к этому сообщению. «Влюбились? В Вашем-то возрасте? Ну, знаете!» Мне известно, как Вы прези-

раете всякую «романтику». Это предмет нашего давнего несогласия, верно? Позвольте заверить Вас: то, что я чувствую, не имеет никакого отношения к розовым грезам или к «сантиментам». Никогда в жизни я еще не был в таком *мраке* и никогда еще не чувствовал себя таким *реалистом*. Боюсь, Брэдли, что это серьезно. Ураган, в существование которого, я думаю, Вы просто не верите, сбил меня с ног. Как мне убедить Вас, что я нахожусь in extremis[1]? Последнее время я несколько раз хотел встретиться с Вами, попытаться объяснить, убедить Вас, но, возможно, в письме это мне лучше удастся. Во всяком случае, пункт первый. Я действительно влюблен, и это мучительно. По-моему, я никогда еще ничего подобного не чувствовал. Я вывернут наизнанку, я живу в фантастическом мире, я перестал быть самим собой, меня подменили. Я уверен, между прочим, что я стал *совершенно другим* писателем. Это взаимосвязано, иначе и не может быть. Что бы ни произошло, мои книги отныне будут гораздо лучше и тяжелей. Господи, мне тяжело, тяжело, тяжело. Не знаю, поймете ли Вы меня.

Перехожу к следующему пункту. Есть две женщины: люблю из них я одну, но и другую совсем не собираюсь бросать. Разумеется, мне не безразлична Рейчел. Но увы, иногда случается, что от кого-то страшно устаешь. Конечно, наш брак существует, но у нас от него ничего не осталось, кроме усталости и опустошенности; он превратился в пустую оболочку, боюсь, навсегда. *Теперь* я так ясно это вижу. Между нами уже нет живой связи. Я вынужден был искать настоящей любви на стороне, а моя привязанность к Рейчел стала привычной, как роль, в которую ты вошел. Тем не менее я не оставлю ее, я сохраню их обеих, это — мой долг, оставить сейчас кого-нибудь из них равносильно смерти, и поэтому совершенно ясно: чему быть, того не миновать, и если это означает иметь две семьи, что поделаешь. Не я первый, не я последний. Слава богу, я могу себе это позволить. Рейчел, конечно, кое-что подозревает (ничего похожего на ужасную правду), но сам я ей еще ничего не говорил. Я знаю, что чувств у меня хватит на обеих. (Почему считается, что запас любви ограничен?) Трудно будет только на первых порах, я имею в виду стадию устройства. Время все сгладит. Я удержу их и буду любить обеих. Я знаю, все, что я говорю, возмущает Вас (Вас ведь так легко возмутить). Но уверяю Вас я все так ясно и чисто себе представляю, и тут нет ни романтики, ни «грязи». И я не думаю, что это будет легко,— просто это неизбежно.

Третий пункт касается Вас. При чем тут Вы? Мне очень жаль, но Вы, безусловно, при чем. Мне бы этого не хотелось, но дело в том, что Вы можете оказаться даже полезным. Простите мою холодную прямоту. Возможно, теперь Вы поймете, что я имею в виду, употребляя такие слова как «тяжело», «чисто» и прочее. Короче, мне необходима Ваша помощь. Я знаю, в прошлом мы враждовали и в то же время любили друг друга. Мы — старые друзья и старые враги, но больше — друзья; вернее, дружба включает в себя вражду, но не наоборот. Вам это понятно. Вы связаны с обеими женщинами. Если я скажу: освободите одну и утешьте другую, я грубо и примитивно выражу то, чего я от Вас хочу. Рейчел Вас очень любит, я знаю. Я не спрашиваю, «что у вас было» недавно или когда-нибудь раньше. Я вообще не ревнив и сознаю, что бедная Рейчел в разные времена, и в осо-

[1] В смертной агонии *(лат.)*.

бенности сейчас, очень от меня натерпелась. В том горе, которое ее ждет, Вы будете ей большой поддержкой, я уверен. Ей важно иметь *друга*, которому можно жаловаться на меня. Я хочу, чтобы Вы — и в этом заключается моя конкретная просьба — встретились с ней и рассказали про меня и про Крис. Я думаю, психологически правильнее всего, чтобы именно Вы ей это сказали, и кроме того, Вы сумеете ее подготовить. Скажите ей, что это «очень серьезно» — не то, что мимолетные увлечения, которые были раньше. Скажите насчет «двух семей» и т. д. Откройте ей все, и пусть она, во-первых, поймет самое плохое, а во-вторых — что все еще может неплохо устроиться. На бумаге это звучит ужасно. Но мне кажется, любовь сделала меня ужасным, безжалостным. Я уверен, что, если Вы поговорите с ней откровенно (и не откладывая, сегодня же или завтра), она успокоится.

Это, безусловно, свяжет Вас с ней особыми узами. Радует ли Вас такая перспектива, я не спрашиваю.

Теперь о Кристиан, и это тоже Вас касается. О ее чувствах я пока ничего не сказал, но, кажется, намекнул достаточно ясно. Да, она любит меня. За последние несколько дней случилось многое. Больше, наверно, чем за всю мою жизнь. То, что Кристиан сказала Вам в последний раз, разумеется, только шутка — она просто была в приподнятом настроении, как Вы, полагаю, заметили. Она такая веселая и добрая. Но Вы, конечно, ей не безразличны, и она хочет получить от Вас — довольно трудно подобрать для этого слово — своего рода благословение, хочет уладить все старые споры и заключить полный мир, хочет, чтобы Вы ей пообещали — я уверен, Вы это сделаете,— что Вы останетесь ее другом, когда она будет жить со мной. Я могу добавить, что Кристиан, будучи очень щепетильной, в первую очередь озабочена интересами Рейчел и тем, как Рейчел со всем «справится». Надеюсь, что и на этот счет Вы ее сможете успокоить. Обе они поистине поразительные женщины. Брэдли, вы меня понимаете? Во мне смешались радость, и страх, и твердая решимость — не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь.

Я сам занесу Вам письмо, но не стану пытаться с Вами увидеться. Вы, конечно, придете навестить Присциллу, тогда и встретимся. Не стоит откладывать разговор с Рейчел до тех пор, пока мы с вами увидимся. Чем скорее Вы с ней поговорите, тем лучше. Но я бы хотел встретиться с Вами до того, как Вы пойдете к Кристиан. Господи, Вам хоть что-нибудь понятно? Я взываю о помощи — и Ваше тщеславие должно быть польщено. Наконец-то Вы взяли верх. Помогите мне. Прошу во имя нашей дружбы.

Арнольд.

P. S. Если Вам все это не по душе, ради бога, будьте, по крайней мере, великодушны и не изводите меня. Я могу показаться слишком рационалистичным, но я страшно расстроен и совсем потерял рассудок. Мне так не хочется обижать Рейчел. И, пожалуйста, не кидайтесь к Кристиан и не огорчайте ее — ведь сейчас только-только все налаживается. И к Рейчел не ходите, если не можете поговорить с ней спокойно и так как я просил. Простите, простите меня.

Я получил это любопытное послание на следующее утро. Немного раньше оно вызвало бы во мне целую бурю противоречивых чувств. Но любовь настолько притупляет интерес ко всему остальному, что я глядел на письмо как на счет из прачечной. Я прочитал его,

отложил в сторону и забыл. Теперь я не могу повидать Присциллу — вот единственный вывод, который я для себя сделал. Я пошел в цветочный магазин и оставил там чек, чтобы ей ежедневно посылали цветы.

Не берусь описывать, как я просуществовал следующие несколько дней. Бывает безысходность, о которой можно дать понять только намеками. Я словно потерпел крушение и с ужасом смотрел на собственные обломки. И все же по мере того, как приближалась среда, во мне все росло и росло возбуждение, и при мысли, что я просто *буду с ней,* меня уже заливала мрачная радость — дьявольский вариант той радости, которую я испытал на башне Почтамта. Тогда я пребывал в невинности. Ныне я был виновен и обречен. И — правда, только по отношению к себе самому — неистов, груб, жесток, непримирим... И все же: быть с нею снова. В среду.

Разумеется, я подходил к телефону, на случай если это она. Каждый телефонный звонок пронзал меня словно электротоком. Звонила Кристиан. Звонил Арнольд. Я бросал трубку. Пусть думают что хотят. И Арнольд и Фрэнсис оба звонили в дверь, но я разглядел их сквозь матовое стекло в двери и не впустил. Не знаю, видели они меня или нет, мне было все равно. Фрэнсис просунул записку, сообщая, что Присциллу начали лечить шоковой терапией и ей, кажется, лучше. Приходила Рейчел, но я спрятался. Потом она позвонила, взволнованная,— я отвечал ей односложно и обещал позвонить. Так я корогал время. Несколько раз я принимался писать Джулиан. «Моя дорогая Джулиан, я попал в ужаснейший переплет и должен тебе все открыть». «Дорогая Джулиан, прости, но мне надо уехать из Лондона, и я не могу с тобой встретиться в среду». «Джулиан, любимая, я люблю тебя, и если бы ты знала, как это мучительно, любовь моя». Разумеется, я разорвал все эти письма, я писал их только для себя. Наконец после столетий тоски наступила среда.

Джулиан держала меня под руку. Я не пытался взять под руку ее. И теперь она судорожно сжимала мою руку, вероятно, бессознательно, от возбуждения. После меркнущей улицы мы оказались в залитом ярким светом вестибюле Королевской оперы и пробирались сквозь шумную толпу. На Джулиан было довольно длинное красное шелковое платье в синих стилизованных тюльпанах. Ее волосы, которые она украдкой тщательно расчесывала в тот момент, когда я ее увидел, вопреки обыкновению, образовали нечто вроде шлема у нее на голове — они мягко поблескивали, словно длинные плоские металлические нити. Лицо было отсутствующее, радостно-рассеянное, сиявшее улыбкой. Я ощутил счастливую муку желания, как будто меня вспороли кинжалом от паха до горла. И еще я испугался. Я боюсь толпы. Мы вошли в зал — Джулиан уже тащила меня — и нашли свои места в середине партера. Люди вставали, чтобы нас пропустить. Ненавижу все это. Ненавижу театры. Слышался ровный гул приглушенных голосов цивилизованной публики, ожидавшей своего «зрелища»,— бездумная болтовня тщеславных людей между собой. И все нарастала неподражаемо грозная какофония настраивающегося оркестра.

Как я отношусь к музыке — вопрос особый. Я не лишен музыкального слуха, хотя, пожалуй, лучше бы мне его не иметь. Музыка трогает меня, она до меня доходит, может меня волновать и даже мучить. Она доходит до меня, как доходит зловещее бормотание на языке, который тебе почти понятен, и ты с ужасом подозреваешь, что бормочут о *тебе.* Когда я был моложе, я даже любил слушать музыку; я глушил себя путаными эмоциями и воображал, будто испы-

тываю великое душевное потрясение. Истинное наслаждение искусством — холодный огонь. Я не отрицаю, что есть люди — их меньше, чем можно подумать, слушая разглагольствования мнимых знатоков,— которые получают чистое и математически ясное удовольствие от этой мешанины звуков. Но для меня музыка — просто предлог для собственной фантазии, поток беспорядочных чувств, мерзость моей души, облеченная в звуки.

Джулиан выпустила мою руку, но сидела, наклонясь ко мне, так что ее правая рука от плеча до локтя слегка касалась моей левой. Я сидел не дыша. Только осторожно подвинул свою левую ногу к ее правой ноге, чтобы наши туфли соприкасались. Так тайно подсылают своего слугу подкупить служанку возлюбленной. Я судорожно дышал и молил бога, чтобы это было не слышно. В оркестре продолжались нестройные причитания полоумных птиц. Там, где должен был находиться мой живот, я ощущал огромную, во все здание театра пустоту, и ее рассекал шрам желания. Меня мучил страх, не то физический, не то душевный, и предчувствие, что скоро я утрачу власть над собой, закричу, потеряю сознание или меня вырвет. В то же время я блаженствовал, ощущая легкое, но по-прежнему явственное касание руки Джулиан. Я вдыхал свежий острый запах ее шелкового платья. Осторожно, словно к яичной скорлупе, я прикасался к ее туфле.

Нестройно звучавший красный с золотом зал заколыхался у меня перед глазами, начал чуть заметно кружиться, напоминая что-то из Блейка — огромный разноцветный мяч, гигантскую елочную игрушку, дымчато-розовый, сверкающий, переливающийся и щебечущий шар, в середине которого, повиснув, вращаемся мы с Джулиан, соединенные головокружительным, непрочным и легким, как перышко, касанием. Где-то над нами сияло синее, усыпанное звездами небо, а вокруг полуголые женщины высоко держали красные факелы. Моя рука горела. Колено дрожало от напряжения. Я был в золотых, алых джунглях, оглашаемых трескотней обезьян и свистом птиц. Кривая сабля сладких звуков рассекала воздух и, вонзаясь в кровавую рану, превращалась в боль. Я сам был этим карающим мечом, я сам был этой болью. Я был на арене, окруженный тысячью кивающих, гримасничающих лиц, я был приговорен к смерти через звуки. Меня убьют птичьим щебетом и похоронят в бархатной яме. Меня позолотят, а потом сдерут с меня кожу.

— Брэдли, что с тобой?

— Ничего.

— Ты не слушаешь.

— А ты что-нибудь сказала?

— Я спрашиваю, ты знаешь содержание?

— Содержание чего?

— «Кавалера роз».

— Конечно, я не знаю содержания «Кавалера роз».

— Ну, тогда скорей читай программу.

— Нет, лучше ты мне расскажи.

— О, все очень просто. Это об одном молодом человеке, Октавиане, его любит жена фельдмаршала, они любовники, только она намного старше него и боится его потерять, потому что он может влюбиться в свою ровесницу...

— А сколько лет ему и сколько ей?

— Ему, кажется, лет двадцать, а ей, наверно, тридцать.

— *Тридцать?*

— Ну да, кажется, в общем, совсем старая и понимает, что он относится к ней как к матери и что их связь не может длиться долго. В начале оперы они в постели, и она, конечно, очень счастлива, пото-

му что она с ним, но и очень несчастна, потому что уверена: она непременно его потеряет и...

— Хватит.

— Ты не хочешь знать, что будет дальше?

— Нет.

В эту минуту раздался рокот аплодисментов, перешедший в грохот, неумолимый прибой сухого моря, буря из перестука кастаньет.

Звезды потухли, красные факелы померкли, и, когда дирижер поднял палочку, наступила жуткая, плотная тишина. Тишина. Мрак. Затем порыв ветра, и по темному залу свободно покатилась волна нежной пульсирующей боли. Я закрыл глаза и склонил перед нею голову. Сумею ли я преобразить эту льющуюся извне нежность в поток чистой любви? Или она меня погубит, опозорит, задушит, разорвет на части? И вдруг почти сразу я почувствовал облегчение — из глаз полились слезы. Дар слез, который был мне когда-то дан и отнят, вернулся как благословение. Я плакал, и мне стало несказанно легко, и я расслабил свою руку и ногу. Быть может, если из моих глаз будут непрерывно литься слезы, я все это вынесу. Я не слушал музыки, я отдался ей, и моя тоска лилась из глаз и увлажняла жилет, а мы с Джулиан летели теперь свободно, взмахивая крыльями, как два сокола, два ангела, слившиеся воедино, в темной пустоте, прошиваемой вспышками огня. Я боялся только, что долго не смогу плакать тихо и зарыдаю в голос.

Занавес вдруг раздвинулся, и я увидел огромную двуспальную кровать в пещере из кроваво-красных, ниспадавших фестонами полотнищ. На минуту я успокоился, вспомнив «Видение святой Урсулы» Карпаччо. Я даже пробормотал про себя, как заклятье: «Карпаччо». Но охлаждающее сравнение скоро улетучилось, и даже Карпаччо не мог меня спасти от того, что произошло дальше. Не на кровати, а на подушках на авансцене лежали в обнимку две девушки. (Вероятно, одна из них изображала юношу.) Потом они начали петь.

Звук поющего женского голоса — один из самых горьких, самых сладостных звуков на свете, самый проникновенный, самый грандиозно значительный и вместе с тем самый бессодержательный звук; а дуэт в два раза хуже соло. Две девушки разговаривали с помощью чистых звуков, голоса кружились, отвечали друг другу, сливались воедино, сплетали зыбкую серебряную клеть почти непристойной сладости. О господи, это было невыносимо!

Я понял, что застонал, так как сосед справа, которого я только теперь заметил, повернулся и уставился на меня. В то же мгновение мой желудок скользнул куда-то вниз, потом подскочил обратно, и я почувствовал внезапную горечь во рту. Пробормотав «прости» в сторону Джулиан, я неуклюже поднялся. Нелепо скрипнули кресла в конце ряда, когда шесть человек торопливо встали, чтобы меня пропустить. Я протиснулся мимо них, споткнулся на каких-то ступеньках, а неумолимо сладкое тремоло все впивалось когтями мне в плечи. Наконец я добрался до светящейся таблички «Выход» и очутился в залитом ярким светом, совершенно пустом и внезапно тихом фойе. Я шел быстро. Я знал, что меня вот-вот вырвет.

Для собственного достоинства далеко не безразлично, где тебя вырвет: неподходящее место лишь усиливает ужас и позор этого акта. Только бы не на ковер, не на стол, не на платье хозяйки дома. Я хотел, чтобы меня вырвало вне пределов Королевского оперного театра,— и мне это удалось. Меня встретила безлюдная грязная улица и острый едкий запах ранних сумерек. Сиявшие светлым золотом колонны театра казались в этом убогом месте портиком разрушенного, или призрачного, или выросшего по волшебству дворца, и рынок ле-

пился к нему зелеными и белыми аркадами чужеземного фруктового базара, как будто из итальянского Возрождения. Я свернул за угол и увидел перед собой ящики с персиками, выстроенные бессчетными рядами за решеткой. Я осторожно ухватился за решетку, наклонился, и меня вырвало.

Я стоял наклонясь и смотрел на то, что я натворил, и чувствовал, что лицо мое влажно от слез и его овевает прохладный ветер.

Внезапно я почувствовал, что кто-то стоит рядом.

— Ну, как ты, Брэдли? — спросила Джулиан.

Я зашагал от нее прочь, нащупывая носовой платок. Я тщательно вытер рот и постарался прополоскать его слюной.

Я шел вдоль коридора из клеток. Я был в тюрьме. В концлагере. Это была стена, сложенная из полиэтиленовых мешков с огненно-рыжей морковью. Они смотрели на меня, как насмешливые рожи, как обезьяньи зады. Я осторожно и размеренно дышал, я прислушивался к своему желудку, мягко его поглаживая. Я вошел под освещенный свод и подверг свой желудок новому испытанию, вдохнув запах гниющего латука. И продолжал идти, занятый процессом вдохов и выдохов. Только теперь я почувствовал пустоту и слабость. Я понял, что это предел. Как олень, который не может больше бежать, поворачивается и склоняет голову перед собаками, как Актеон, подвергшийся каре богини, загнанный и растерзанный.

Джулиан шла за мной. Я слышал постукивание ее каблучков по липкому тротуару и всем телом ощущал ее присутствие.

— Брэдли, может, кофе выпьешь? Рядом закусочная.

— Нет.

— Давай где-нибудь присядем.

— Негде тут.

Мы прошли между двумя грузовиками молочно-белых коробок с вишнями и вышли из лабиринта. Темнело, фонари уже освещали элегантные, строгие, военные очертания овощного рынка, напоминавшего арсенал, обшарпанные казармы восемнадцатого века; в это время дня он был тихий и мрачный, как монастырь. Напротив виднелся осыпающийся восточный портик церкви Иниго Джонса, заставленный тележками, в дальнем его конце пристроилась закусочная, о которой говорила Джулиан. Скудный свет фонарей, сам казавшийся грязным, выхватывал из темноты толстые колонны, несколько отдыхающих грузчиков и сторожей, груду овощных отбросов и поломанных картонных коробок. Как нищий итальянский городок, изображенный Хогартом [1].

Джулиан уселась на цоколь одной из колонн в дальнем конце портика, и я сел рядом, или, точнее, почти рядом, насколько позволяла выпуклость колонны. Под собой, под ногами, позади я чувствовал жирную, клейкую лондонскую грязь. Сбоку в тусклом луче я видел задравшееся шелковое платье Джулиан, дымчато-синие колготки, окрашенные розовостью тела, ее туфли, тоже синие, которых я так осторожно касался в театре своими ботинками.

— Бедный Брэдли,— сказала Джулиан.

— Прости, пожалуйста.

— Это из-за музыки, да?

— Нет, это из-за тебя. Прости.

Мы молчали, как мне показалось, целую вечность. Я вздохнул, прислонился к колонне, и запоздалые слезы, чистые и спокойные,

[1] Уильям Хогарт (1697—1764) — английский живописец, график и теоретик искусства.

опять медленно подступили к глазам и потекли по лицу. Я рассматривал синие туфли Джулиан.

Джулиан сказала:

— Как из-за меня?

— Я в тебя безумно влюблен. Но ты, пожалуйста, не беспокойся.

Джулиан присвистнула. Нет, не совсем так. Она просто выдохнула воздух задумчиво, рассудительно.

Через некоторое время она сказала:

— Вообще-то я догадывалась.

— Как, откуда ты узнала? — сказал я, потер рукой лицо и уткнулся губами в свою мокрую ладонь.

— По тому, как ты меня поцеловал на прошлой неделе.

— А... Ну что ж. Прости. А сейчас мне, наверно, лучше пойти домой. Завтра я уеду из Лондона. Прости, что испортил тебе вечер. Надеюсь, ты извинишь мое скотское поведение. Надеюсь, ты не испачкала свое прелестное платьице. Спокойной ночи.

Я действительно встал. Я чувствовал, что я пуст и легок, способен передвигаться. Сначала только тело, потом и дух. Я зашагал к Генриетта-стрит.

Джулиан была передо мной. Я увидел ее лицо — птичья маска, лисья маска,— напряженное и ясное.

— Брэдли, не уходи. Посидим еще минутку.— Она положила ладонь мне на локоть.

Я отпрянул.

— Это не игрушка для маленьких девочек,— сказал я.

Мы смотрели друг на друга.

— Сядем. Пожалуйста.

Я вернулся к колонне. Сел и закрыл лицо руками. Потом я почувствовал, что Джулиан пытается просунуть руку мне под локоть. Я отстранил ее. Так решительно и с такой яростью, словно в ту минуту ненавидел ее и готов был убить.

— Брэдли, не надо.., так. Ну, скажи мне что-нибудь.

— Не прикасайся ко мне,— сказал я.

— Хорошо, не буду. Только скажи что-нибудь.

— А не о чем говорить. Я сделал то, чего поклялся никогда не делать. Я рассказал тебе, что со мной происходит. Преувеличить трудно, думаю, ты и так поняла, что это чересчур серьезно. Завтра я сделаю то, что мне давно уже следовало сделать,— уеду. Но потакать твоему девчоночьему тщеславию и выставлять свои чувства напоказ я не собираюсь.

— Слушай, слушай, Брэдли. Я не умею объяснять, не умею спорить, но пойми: нельзя тебе вылить все это на меня и сбежать. Это нечестно. Пойми.

— Какая уж тут честность,— сказал я.— Мне бы выжить. Я понимаю твое любопытство, и, естественно, тебе хочется его удовлетворить. Наверно, простая вежливость требует, чтобы я был не так резок с тобой. Но мне, ей-богу, плевать, оскорбляю я твои чувства или нет. Это, вероятно, худшее, что я сделал в жизни. Но раз дело сделано, нечего тянуть канитель и анатомировать собственные переживания, даже если тебе это доставляет удовольствие.

— И тебе не хочется рассказать мне о своей любви?

Вопрос был убийствен своей простотой. Ответ на него был мне предельно ясен.

— Нет, уже все пропало. Я сто раз воображал, как я объясняюсь тебе, но это относилось к миру фантазий. В реальном же мире этому нет места. Нельзя. Не то чтобы преступно — просто абсурдно. У меня

сердце застыло, мне все равно. Ну, чего ты хочешь? Чтобы я воспевал твои глаза?

— Ты сказал, что любишь... и сразу все... прошло?

— Нет. Но... слов уже нет... я должен носить это в себе и с этим жить. Пока я молчал, я мог без конца представлять себе, как я тебе это говорю. Теперь... мне отрубили язык.

— Я... Брэдли, не уходи... мне надо... о, помоги же мне... подыскать слова... Это так важно... Это же и меня касается... Ты говоришь только о себе.

— А о ком же еще речь? — сказал я.— Ты — просто нечто в моих мечтах.

— Неправда. Я не мечта. Я живая. Я тебя слышу. Я, может быть, страдаю.

— Страдаешь? Ты? — Я рассмеялся, встал и двинулся прочь.

Но не успел я и шагу сделать, как Джулиан, не поднимаясь, схватила меня за руку. Я посмотрел вниз на ее лицо. Я хотел вырвать у нее руку, но приказ мозга затерялся на полпути к руке. Я стоял и глядел на ее настойчивое лицо, вдруг сделавшееся жестче и старше. Она смотрела без нежности, нахмурясь, глаза сузились в два тоненьких, вопросительных прямоугольника, губы раскрылись, нос сморщился в гребовательном недоверии.

— Сядь, пожалуйста,— сказала она.

Я сел, и она выпустила мою руку.

Мы смотрели друг на друга.

— Брэдли, ты не можешь уйти.

— Похоже. Знаешь, ты очень жестокая молодая особа.

— Это не жестокость. Мне нужно понять. Ты говоришь, что думаешь только о себе. Прекрасно. Я тоже думаю о себе. Ты сам начал, верно, но ты не можешь кончить, когда тебе заблагорассудится. Я полноправный партнер в игре.

— Надеюсь, игра тебя радует. Наверное, приятно почувствовать на коготках кровь. Будет о чем с удовольствием подумать перед сном в постельке.

— Не груби, Брэдли. Я не виновата. Я тебя не просила влюбляться. Мне такое и в голову не приходило. Когда это ты? Когда ты начал меня замечать?

— Слушай, Джулиан,— сказал я.— Подобного рода воспоминания приятны, когда двое любят друг друга. Но когда один любит, а другой нет, они утрачивают свою прелесть. То, что я имел несчастье влюбиться в тебя, совсем не означает, что я не знаю тебе цену: ты очень молодая, очень необразованная, очень неопытная и во многих отношениях очень глупая девочка. И ты не дождешься, я не стану тешить тебя и выкладывать историю своей любви. Знаю, ты бы этим потешилась. Ты была бы в восторге. Но постарайся-ка быть чуточку взрослее и просто все забыть. Это не игрушки. Тебе не удастся удовлетворить свое любопытство и тщеславие. Надеюсь, что в отличие от меня ты сумеешь держать язык за зубами. Я не могу приказать тебе не шушукаться и не смеяться надо мной — я просто тебя об этом прошу.

Немного подумав, Джулиан сказала:

— По-моему, ты меня совсем не знаешь. Ты уверен, что любишь именно *меня?*

— Хорошо. Допустим, я могу довериться твоей скромности. Ну, а теперь избавь меня от сурового и неуместного допроса.

Помолчав еще немного, Джулиан сказала:

— Значит, ты завтра уезжаешь? Куда?

— За границу.

— Ну, а мне что, по-твоему, делать? Перечеркнуть сегодняшний вечер и забыть?

— Да.

— И ты думаешь, это возможно?

— Ты прекрасно понимаешь, что́ я имею в виду.

— Ясно. А сколько тебе понадобится времени, чтобы избавиться от этого, как ты выражаешься, несчастного увлечения?

— Я не говорил «увлечения».

— Ну, а если я скажу, что ты просто хочешь спать со мной?

— Говори себе, пожалуйста.

— Значит, тебе безразлично, что я думаю?

— Теперь безразлично.

— Потому что ты испортил всю радость своей любви, перенеся ее из фантастики в мир действительности?

Я поднялся и зашагал прочь, на этот раз я отошел довольно далеко. Я видел ее будто во сне: она бежала, как юная спартанка, пестрело синими тюльпанами красное шелковое платье, мелькали блестящие синие туфли, руки протянулись вперед. Она опять преградила мне дорогу, и мы остановились около грузовика с белыми коробками. Особенный, неопределимый запах налетел на меня, как рой пчел, неся ужасные ассоциации. Я прислонился к борту грузовика и застонал.

— Брэдли, можно до тебя дотронуться?

— Нет. Уходи, пожалуйста. Если хоть немножко жалеешь меня, уходи.

— Брэдли, ты растревожил меня, дай мне выговориться, мне тоже надо разобраться в себе. Тебе и в голову не приходит, как...

— Я знаю, тебе противно.

— Ты говоришь, что не думаешь обо мне. Ты и правда не думаешь!

— Что за ужасный запах? Что в этих коробках?

— Клубника.

— Клубника! — Запах юных иллюзий и неудержимой скоротечной радости.

— Ты говоришь, что любишь меня, но я тебя совершенно не интересую.

— Нисколько. Ну, до свидания, слышишь?

— Ты, конечно, и не представляешь себе, что я могу ответить тебе взаимностью.

— Что?

— Что я могу ответить тебе взаимностью.

— Не дурачься,— сказал я,— что за ребячество.

Голуби, не понимая, день сейчас или ночь, прохаживались возле наших ног. Я посмотрел на голубей.

— Твоя любовь... как же это... сплошной солипсизм, раз ты даже не задумываешься что могу чувствовать я.

— Да,— сказал я,— это солипсизм. Ничего не поделаешь. Это игра, в которую я играю сам с собой.

— Тогда незачем было мне говорить.

— Тут я совершенно с тобой согласен.

— Но неужели же ты *не хочешь* знать, что я чувствую?

— Я не собираюсь волноваться из-за того, что ты чувствуешь. Ты очень глупая маленькая девочка. Ты возбуждена и польщена, что немолодой человек ставит себя перед тобой в глупое положение. Возможно, с тобой это в первый раз, но уж несомненно — не в последний. Конечно, тебе хочется поисследовать ситуацию, покопаться в своих переживаниях, поиграть в «чувства». Мне это ни к чему. Я, конечно, понимаю, что тебе бы надо быть куда старше, сильнее и хладнокровнее, чтобы просто не обратить на все никакого внимания. Значит, ты

вроде меня не можешь поступить так, как следовало бы. Жаль. Ну, пошли от этой проклятой клубники. Пора домой.

Я зашагал прочь, на этот раз не так поспешно. Джулиан шла рядом. Мы свернули на Генриетта-стрит. Я страшно разволновался, но решил не показывать вида. Я чувствовал, что сделал шаг, который мог стать роковым, или, во всяком случае, не сдержался. Заявил, что не буду говорить о любви, а сам говорил о любви — и ни о чем другом. И это принесло мне горькую, сладостную, редкую радость. Объяснение, спор, борьба, раз начавшись, могли длиться и длиться и перейти в пагубную привычку. Если ей хочется говорить, разве у меня хватит сил отказаться? Умри я от такого разговора, я был бы счастлив. И я с ужасом понял, что даже за двадцать минут общения с Джулиан моя любовь безмерно возросла и усложнилась. Она и прежде была огромна, но ей недоставало частностей. Теперь же открылись пещеры, лабиринты. А ведь скоро... Сложность сделает ее еще сильней, значительней, неискоренимей. Прибавилось так много пищи для размышлений, питательной пищи. О, господи.

— Брэдли, сколько тебе лет?

Вопрос застиг меня врасплох, но я ответил тотчас:

— Сорок шесть.

Трудно объяснить, зачем мне понадобилась эта ложь. Отчасти просто горькая шутка: я был так поглощен подсчетами урона, какой нанесет мне нынешний вечер, представляя себе, как увеличится боль утраты, ревности и отчаяния, что вопрос о том, сколько мне лет, был последней каплей, последней щепоткой соли, насыпанной на рану. Оставалось отшутиться. И конечно, она знала, сколько мне лет. Но, кроме того, в уголке мозга у меня шевелилась мысль: да нет же, нет мне пятидесяти восьми и быть не может. Я чувствую себя молодым, молодо выгляжу. Инстинкт подсказал, что нужно скрыть правду. И я хотел сказать «сорок восемь», но перепрыгнул на сорок шесть. Кажется, подходящий возраст, вполне приемлемый.

Джулиан помолчала. Она, кажется, удивилась. Мы свернули на Бедфорд-стрит. Тогда она сказала:

— О, значит, ты чуть постарше папы. Я думала, моложе.

Я беспомощно рассмеялся, сетуя про себя на эту нелепость, на это утонченное безумие. Конечно, молодежь не разбирается в летах не ощущает возрастной разницы. Раз после тридцати — им уже все равно. А тут еще моя обманчивая моложавая маска. Ох, как смешно, смешно, смешно.

— Брэдли, что за дикий смех в чем дело? *Пожалуйста*, перестань и поговорим, мне *надо* как следует поговорить с тобой.

— Ну что ж, поговорим.

— Где это мы?

— Все перед тем же гостеприимным Иниго Джонсом.

Войдя в скромную калитку и миновав два задрапированных материей ящика для пожертвований, мы оказались у западного придела, где находился единственный вход в церковь. Я свернул в темный двор и вышел в сад. Дорожка упиралась в дверь, ведущую к обиталищу вечного покоя Лили, Уичерли, Гринлинга Гиббонса, Арне и Эллен Терри[1]. Кирпичный портик был исполнен домашнего, чисто английского изящества. Я сел на скамейку в темном саду. Чуть поодаль фонарь тускло светил на оранжевые розы, делая их восковыми. Шмыгнула

[1] Питер Лили (Питер ван дер Фаес, 1618—1680) — голландско-английский художник-портретист, представитель фламандской школы живописи. Уильям Уичерли (1640—1716) — английский драматург. Гринлинг Гиббонс (1648—1721) — английский скульптор. Томас Аугустин Арне (1710—1778) — английский композитор. Эллен Алисия Терри (1847—1928) — английская актриса.

кошка, беззвучно и быстро, как тень птицы. Когда Джулиан села рядом, я отодвинулся. Я ни за что, ни за что не дотронусь до нее. Чистое безумие продолжать препирательство. Но я ослабел от своего умопомрачения и от нелепости происходящего. После лжи о возрасте всякое благоразумие, все попытки самосохранения были уже ни к чему.

— Никого никогда еще не рвало из-за меня,— сказала Джулиан.

— Не обольщайся. Тут еще и Штраус.

— Милый старый Штраус.

Я сидел, как египтянин — прямо, руки на коленях,— и глядел в темноту, где мелькала и резвилась тень кошки. Теплая рука вопросительно, легко дотронулась до моих стиснутых пальцев.

— Не надо, Джулиан. Я правда сейчас пойду. Не мучай меня.

Она отняла руку.

— Брэдли ну что ты так холоден со мной?

— Пусть я кретин. но тебе-то зачем вести себя как девке?

— «Ступай в монахини, говорю тебе! И не откладывай. Прощай!»[1]

— Понимаю, ты развлекаешься вовсю. Но хватит, помолчи, не трогай меня.

— Не буду я молчать и буду тебя трогать.

Ее рука-мучительница опять легла на мою.

Я сказал:

— Ты так нехорошо... себя ведешь. Вот бы.. не поверил... что ты можешь быть... такой легкомысленной.., и злой.

Я повернулся к ней и крепко сжал ее настойчивую руку повыше запястья. И вдруг меня словно ударило — в эту минуту я скорее угадал, чем увидел, ее взволнованное, смутно улыбавшееся лицо. Тогда я крепко и уверенно обнял ее обеими руками за плечи и очень осторожно поцеловал в губы.

Есть мгновения райского блаженства, которые стоят тысячелетних мук ада, по крайней мере так мы думаем, но не всегда ясно осознаем это в тот момент. Я — сознавал. Я знал что даже если сейчас наступит крушение мира, я буду не в убытке. Я воображал себе, как целую Джулиан но не мог вообразить сгустка чистой радости, белого каления восторга от касания губами ее губ, всем моим существом — ее существа.

Я был в таком восторге, целуя ее, что не сразу понял, что и она целует и обнимает меня. Ее руки обвивали мне шею, губы горели, глаза закрылись.

Я отвернулся и легонько оттолкнул ее от себя, и тогда она разжала и опустила руки. Оторваться от нее мне помогло естественное неудобство, которое испытываешь, целуясь сидя. Мы отстранились друг от друга.

Я сказал:

— Зачем ты это сделала?

— Брэдли, я люблю тебя.

— Не ври, не говори глупостей.

— Что же мне делать? Ты даже не хочешь меня выслушать. Ты думаешь, я маленькая и для меня это игра, нет, нет. Конечно, я растерялась. Я так давно тебя знаю, всю жизнь. Я всегда тебя любила. Пожалуйста, не перебивай Если бы ты только знал, как я всегда ждала твоего прихода, как мне хотелось говорить с тобой, все тебе рассказать Ты ничего не замечал, но мне обо всем, обо всем хотелось тебе рассказывать. Если бы ты только знал, как я всегда восхищалась тобой. Когда я была маленькая, я говорила, что хочу за тебя замуж. Помнишь? Конечно, забыл. Ты всю жизнь был моим идеалом. И тут

[1] Шекспир. «Гамлет», акт III, сцена I. Перевод Б. Пастернака.

не детское обожание, даже не увлечение, а глубокая настоящая любовь. Конечно, раньше я не спрашивала себя ни о чем, не задумывалась, даже не называла любовь по имени, но недавно, когда я почувствовала, что стала взрослая, я задала себе этот вопрос, я задумалась и все поняла. Знаешь, моя любовь тоже стала взрослая, и мне захотелось бывать больше с тобой, захотелось как следует тебя узнать. Думаешь, зачем мне понадобилось обсуждать пьесу? Мне, конечно хотелось о ней поговорить. Но еще нужней мне была твоя любовь, твое внимание. Господи, да мне просто хотелось *смотреть* на тебя. Ты не представляешь себе, как все последнее время мне хотелось дотронуться до тебя, поцеловать тебя, но я не решалась, я не думала, что когда-нибудь решусь. А потом, с того дня, когда ты увидел, как я рву письма, я думала о тебе почти все время, особенно последнюю неделю, когда... когда заподозрила то... в чем ты мне сегодня признался.. Я только о тебе и думала.

— Ну, а Септимус? — сказал я.

— Кто?

— Септимус, Септимус Лич. Твой поклонник. Неужели ты не выделила ему нескольких минут в своих мыслях?

— Ах, Септимус. Это я так сказала. Нарочно, наверно, чтоб тебя подразнить. Вовсе он не поклонник, просто приятель. Нет у меня поклонников.

Я глядел на нее. Она сидела боком на скамейке, как в дамском седле, одно колено было туго обтянуто шелком. Я смотрел на ряд синих пуговок у нее на груди. Растрепавшиеся волосы, похожие теперь уже не на шлем, а на тюрбан, вздыбились у нее на макушке, когда она бессознательно и нервно откидывала их со лба. Лицо сияло одухотворенной страстью и чувством, которое я не решаюсь назвать. Она была уже не ребенок. Она вступила во владение своей женственностью, осознала ее силу и власть.

Я сказал:

— Все ясно.

Потом я легко и быстро поднялся и пошел к калитке Я повернул на Бедфорд-стрит, к станции на Лестер-сквере. Когда я переходил Гаррик-стрит, Джулиан, шагавшая справа, взяла меня левой рукой под локоть. Левой рукой я осторожно отвел ее руку, и она ее опустила. Мы молча дошли до Сент-Мартин-лейн.

Тогда Джулиан сказала:

— Я вижу, ты решил мне не верить и не обращать внимания на мои слова. Ты, кажется, думаешь, что мне все еще двенадцать лет.

— Совсем нет,— сказал я.— Я слушал очень внимательно то, что ты говорила, все очень интересно и даже трогательно. И прекрасно выражено, особенно если учесть, что сочинено с ходу. Только как-то расплывчато и неясно, и мне непонятны твои выводы, если ты вообще их делаешь.

— Господи, Брэдли, я люблю тебя.

— Очень мило с твоей стороны.

— Я не придумываю, это правда.

— Я не обвиняю тебя в неискренности. Просто ты сама не знаешь, что говоришь. Ты признаешь, что растерялась.

— Разве?

— Причина твоей растерянности совершенно ясна. Я нравился тебе или, как ты любезно выразилась, ты любила меня, когда была маленьким, невинным ребенком, а я, писатель, был интересным гостем твоего отца и все такое прочее. Теперь ты взрослая, а я намного старше тебя, но мы неожиданно оказались в одном мире — мире взрослых. Даже если не говорить о небольшом потрясении, пережитом тобой

сегодня вечером, ты естественно удивлена и, возможно, даже обрадована, обнаружив, что в некотором роде мы ровня. Что же должно произойти с твоей старой привязанностью к человеку, которым ты привыкла восхищаться, когда была маленькая? Закономерный вопрос? Может быть, и нет. Но мое непростительное поведение сделало его закономерным. Мое идиотское объяснение поразило, позабавило взволновало тебя и толкнуло на ответное объяснение, бестолковое неясное, о котором ты завтра пожалеешь. Вот и все. Слава богу, уже метро.

Мы спустились по ступенькам на станцию и остановились, глядя друг на друга, в ярком свете около билетных автоматов, неподвижные среди снующей толпы. Поглощенные друг другом, мы не замечали ничего вокруг, словно были одни в тишайшем парке или на огромном пустынном тибетском плато.

— А мой поцелуй тоже был бестолковый и неясный? — сказала Джулиан.

— Ну, садись в метро, и спокойной тебе ночи.

— Брэдли, ты понял, что я сказала?

— Ты сама не знаешь, что говоришь. Завтра все покажется тебе дурным сном.

— Посмотрим! Во всяком случае, ты говорил со мной, ты спорил

— Говорить тут не о чем. Я просто самым безответственным образом хотел продлить удовольствие и не расставаться с тобой.

— Значит, мне не надо уходить.

— Нет надо. Все кончено.

— Нет не кончено. Ты ведь не уедешь из Лондона, да?

— ... Я... не уеду из Лондона,— сказал я.

— Мы увидимся завтра?

— Возможно.

— Я позвоню около десяти.

— Спокойной ночи.

Я не положил рук ей на плечи а наклонился и легонько коснулся губами ее губ. Затем повернулся и по ступенькам вышел на Черринг-Кросс-роуд. Я шагал, ничего не видя, расплывшись в счастливой улыбке.

Кажется, я спал. Меня то пронзал толчок блаженства, то я снова проваливался в сон. Тело ныло от мучительного и сладкого желания и сознания того что оно может быть удовлетворено. Я тихонько стонал от счастья. Я состоял не из костей и плоти, а из чего-то иного, восхитительного... Из меда, из помадки, из марципана — и в то же время из стали. Я был стальной проволокой, тихо дрожавшей в голубой пустоте Все эти слова, разумеется, не передают того, что я чувствовал,— этого не в состоянии передать никакие слова. Я не думал. Я просто был. Когда обрывочные мысли проникали в мой рай, я гнал их прочь.

Я рано встал, побрился с величавой медлительностью, тщательно и любовно оделся и долго изучал себя в зеркале. Мне можно было дать тридцать пять Ну сорок. Я похудел за последнее время, и это мне шло. Тусклые мягкие светлые с проседью волосы, прямые и густые, тонкий нос с крупными ноздрями вполне красивый. Твердые серо-голубые глаза, худые щеки, высокий лоб, тонкий рот — лицо интеллектуала Лицо пуританина. Ну и что же?

Я выпил воды. О еде, разумеется, и думать было нечего. Меня мутило и лихорадило но ночью я побывал в раю и не утратил ощущения снизошедшей на меня благодати. Я прошел в гостиную и еще раз слегка смахнул пыль с бросавшихся в глаза поверхностей, которые уже

успели к этому времени запылиться. Потом, усевшись, погрузился в размышления.

В общем-то я мог поздравить себя: вчера вечером я был довольно сдержан. Правда, меня стошнило у нее перед носом и я признался ей в любви в таких выражениях, что она сразу поняла, насколько это серьезно. Но потом я вел себя достойно. (Отчасти, конечно, благодаря обманчивому торжеству от ее присутствия.) Во всяком случае, я *вчера* ни к чему ее не понуждал. Но что она сейчас обо всем этом думает? Вдруг позвонит и холодно скажет, что согласна со мной и лучше все это кончить? Я сам ведь убеждал ее, что она достаточно взрослая, чтобы вести себя именно так. А вдруг по здравом размышлении она решила послушаться моего совета? Что значили ее слова о «любви»? Что она в них вкладывала? Может, она сочинила все это, потому что была тронута, польщена, взволнована моим объяснением? Вдруг она одумается? А если она и вправду любит, что будет дальше? Но я не очень-то размышлял над тем, что будет дальше. Если она и вправду любит — будь что будет.

Я посмотрел на часы, они показывали восемь. Я проверил время по телефону, и там мне тоже ответили, что сейчас восемь часов. Я вышел во двор, отошел недалеко, чтобы слышать телефон, и остановился в оцепенении. Появился Ригби с одним из своих сомнительных дружков, и я так медленно и странно поднял руку, приветствуя их, что они еще долго на меня оборачивались. Потом я решил было добежать до цветочного магазина, но передумал. А вдруг она просто не позвонит? Я вернулся домой, опять посмотрел на часы и с остервенением тряхнул их. Прошло бог знает сколько времени, а они показывали четверть девятого. Я перешел в гостиную и попробовал уткнуться носом в ковер, но почему-то это уже не помогало, мне нужно было двигаться, суетиться. Я кружил, я метался по квартире, у меня стучали зубы. Я попробовал засвистеть, но у меня ничего не вышло. Я старался глубоко дышать, но между двумя вздохами переставал ощущать себя и судорожно втягивал воздух, не в силах выдержать паузу. Мне было дурно.

Примерно в девять в прихожей позвонили. Я подкрался к дверям и посмотрел сквозь матовое стекло. Это была Джулиан. Я попытался быстро овладеть собой и открыл дверь. Она влетела в квартиру. Я едва успел захлопнуть дверь ногой, как она уже тащила меня в гостиную. Она обвила мне шею руками, и я обнимал ее в яркой тьме, и зубы у меня уже не стучали, я смеялся и плакал, и Джулиан тоже смеялась и дрожала, и мы опустились на пол.

— Брэдли, господи, я так боялась, что ты передумал, я не могла дожидаться десяти.

— Глупышка. О господи, ты пришла, ты пришла...

— Брэдли, я люблю тебя, люблю, это настоящее. Я поняла это наверняка, когда мы вчера расстались. Я не спала, со мной бог знает что творилось. Такого со мной еще не было. Это — любовь. Сомневаться ведь невозможно! Правда?

— Нет,— сказал я,— невозможно. Когда сомневаешься, значит уже не то.

— Вот видишь!

— Ну, а мистер Беллинг?

— Ах, Брэдли, хватит мучить меня мистером Беллингом. То было просто от нервов. Нет никакого Беллинга. Ничего нет, кроме моей любви к тебе, правда. Да он никогда меня по-настоящему и не любил, никогда не любил так, как ты...

— Конечно, я произвел на тебя впечатление. Может, все только от этого?

— Я люблю тебя. Я волнуюсь ужасно, но я и совершенно спокойна. Разве это не доказывает, что произошло что-то исключительное? Я прямо как архангел. Я могу говорить с тобой, могу убедить тебя, вот увидишь. Ведь у нас масса времени, да, Брэдли?

От ее вопроса — вернее, утверждения — на меня повеяло отрезвляющим холодом. Время, планы, будущее.

— Да, любимая, у нас масса времени.

Мы сидели на полу: я — поджав под себя ноги, она — на коленях, слегка склонившись надо мной. Она гладила мои волосы и шею. Потом начала развязывать мой галстук. Я захохотал.

— Все в порядке, Брэдли, чего ты всполошился, я просто хочу посмотреть на тебя. Я ни о чем думать не хочу — только смотреть на тебя, трогать тебя, чувствовать, какое это чудо...

— Что А любит Б, а Б любит А. Это действительно редкость.

— Какая у тебя красивая голова.

— В свое время я просунул ее сквозь полог твоей колыбели.

— А я влюбилась в тебя с первого взгляда.

— Я готов положить ее под колеса твоей машины.

— Хоть бы вспомнить, когда я увидела тебя в первый раз!

Мне вдруг подумалось, что ведь я могу припомнить все свои дела по одной из старых записных книжек (они все у меня сохранились). Все, что я делал в тот день, когда родилась Джулиан. Решал, наверно, какую-нибудь налоговую проблему или завтракал с Грей-Пелэмом.

— А когда ты в меня влюбился? Ведь теперь можно спрашивать?

— Теперь можно. Мне кажется, это началось, когда мы рассуждали о Гамлете.

— Только тогда! Брэдли, мне страшно. Правда, ты лучше еще подумай. Может, это у тебя только минутный порыв? Может, ты просто что-то напутал? Вдруг через неделю ты переменишься ко мне? А я-то думала...

— Джулиан, ну неужели ты серьезно? Нет, нет, ты же видишь, что со мной. Прошлого нет. Истории нет. Все поставлено на карту.

— Знаю...

— Тут уж не станешь взвешивать, подсчитывать. Но... ох, любимая... нам придется трудно. Пойди ко мне.— Я привлек ее к себе и прижал ее головку с львиной гривой к своей груди.

— Не вижу ничего трудного... — проговорила она в мою чистую голубую в полоску рубашку и расстегнула верхние пуговицы.— Конечно, не надо спешить, надо выдержать проверку временем... нечего... торопиться.

— Верно,— сказал я,— не надо спешить...

Легко сказать, когда она засунула руку мне под рубашку и, вздыхая, теребила завитки седых волос у меня на груди.

— Правда ведь я ничего плохого не делаю? Я не бесстыдница?

— Нет, Джулиан, любимая моя.

— Мне надо тебя потрогать. Как здорово, что я имею на это право.

— Ой, Джулиан, ты с ума сошла...

— По-моему, нам надо спокойно и не спеша узнать друг друга и говорить друг другу правду говорить все и смотреть друг другу в глаза, вот как сейчас, и... по-моему, я могу годами так смотреть тебе в глаза... этим можно кормиться... просто смотреть и все... Да? Ты тоже так чувствуешь?

— Мало ли что я чувствую,— сказал я.— Кое-что из моих чувств уже выразил Марвелл [1]. Но главное, я чувствую — нет, дай мне сказать — вот что. Я совершенно недостоин твоей любви. Не стану раз-

---

[1] Эндрю Марвелл (1621—1678) — английский поэт.

глагольствовать о том, почему и отчего... но поверь мне. Ладно, я готов плыть по течению, медленно, как ты говоришь, а ты убеждай меня и себя, что ты и вправду все это чувствуешь. Но ты не должна быть связана, никаких обязательств...

— Но я связана...

— Ты должна быть совершенно свободна.

— Брэдли, не надо...

— По-моему, нам нельзя произносить некоторых слов.

— Каких слов?

— «Люблю», «влюблен».

— По-моему, это глупо. Но раз у нас есть глаза, можно обойтись и без слов. Смотри. Разве ты не видишь того, чего ты не хочешь произносить?

— Ну, не надо Правда, не надо это никак называть. Наберемся терпения и подождем, что будет дальше.

— Ты так странно говоришь — ты волнуешься...

— Я в ужасе.

— А я нет. Никогда еще не чувствовала себя такой храброй. Чего бояться? И почему ты говоришь, что нам придется трудно? Какие трудности ты имел в виду?

— Я намного старше тебя. *Гораздо* старше. Вот в чем трудность

— О... Ну, это условность. К нам это отношения не имеет.

— Нет, имеет,— сказал я. (Я уже ощутил, что имеет.)

— Больше ты ничего не хотел сказать?

Я колебался.

— Нет.

Мне еще многое предстояло ей выложить. Но не сегодня.

— А это не...

— О, Джулиан, ты не знаешь меня, ты же меня *не знаешь*...

— Это не Кристиан?

— Что? Кристиан? Господи, конечно нет!

— Слава богу. Знаешь, Брэдли, когда папа говорил о том, чтобы помирить вас с Кристиан, я так мучилась... до того... тут, наверно, я и поняла, как я к тебе отношусь...

— Как Эмма к мистеру Найтли[1].

— Точно. Понимаешь, с тех пор как я тебя знаю, ты был всегда один. Абсолютно один.

— Столп в пустыне.

— Я и вчера волновалась насчет Кристиан...

— Нет, нет... Крис прекрасная женщина, и у меня даже ненависть прошла, но она для меня — ничто. Ты высвободила меня из стольких силков. Я еще расскажу тебе... потом... про все.

— Ну, а возраст не имеет значения. Многим девушкам нравятся мужчины старше них. Значит, все ясно. Я пока ничего не говорила родителям ни вчера, ни сегодня утром, я хотела убедиться, что ты не передумал. А сегодня скажу...

— Постой! Что ты скажешь?

— Что я люблю тебя и хочу за тебя замуж.

— Джулиан! Это невозможно! Джулиан, я старше, чем ты думаешь...

— Ты стар, как мир. Знаем, знаем.

— Нет, это невозможно.

— Брэдли, ты говоришь чепуху. Ну почему ты так смотришь? Ведь ты любишь меня? Ведь ты же не хочешь соблазнить меня и бросить?

---

[1] Персонажи романа английской писательницы Джейн Остин (1775—1817) «Эмма».

— Нет, я правда люблю тебя...

— Разве это не навсегда?

— Да. Настоящая любовь бывает навсегда... а это настоящая любовь, но...

— Что «но»?

— Ты сказала, что не надо торопиться надо постепенно узнать друг друга... все так внезапно... я уверен, что ты не должна... ничем себя связывать...

— А может, я хочу себя связать. Ладно, наберемся терпения не будем спешить и всякое такое. Но знаем-то мы друг друга давно, я знаю тебя всю жизнь, ты мой мистер Найтли, а разница в возрасте...

— Джулиан мне кажется, пока надо сохранить все в тайне.

— Почему?

— Потому что ты можешь передумать.

— Или потому, что ты передумаешь?

— Я не передумаю. Но ты не знаешь меня, не можешь знать. Я гожусь тебе в отцы.

— Ты думаешь, для меня это важно?

— Нет, но для общества важно, а когда-нибудь станет важно и для тебя. Ты увидишь, как я старею...

— Брэдли, это чушь.

— Я бы очень хотел, чтобы ты пока ничего не говорила родителям.

— Ладно,— сказала она, помолчав и все еще стоя на коленях, и отстранилась от меня с детским выражением недоумения на лице.

Я не мог вынести пробежавшей между нами холодности. Что же, чему быть, того не миновать. Надо довериться ее правдивости, ее наивности, даже неопытности, даже неразумию. Я сказал:

— Поступай как знаешь, моя радость, я все предоставляю тебе. Я люблю тебя безгранично и безгранично доверяю тебе, и будь что будет.

— Думаешь родители не одобрят?

— Они придут в бешенство.

Потом мы поговорили еще немного о Кристиан и о моем браке, о Присцилле Говорили о детстве Джулиан перебирали все наши встречи Говорили о том, когда я полюбил ее и когда она полюбила меня. О будущем мы не говорили. Мы все сидели на полу как робкие звери, как дети, мы гладили друг другу руки и волосы. Мы целовались, не часто. Где-то в середине дня я отослал ее. Я чувствовал, что нельзя изнурять друг друга. Необходимо подумать и прийти в себя. О том, чтобы лечь с ней в постель не могло быть и речи.

— Да нет же,— сказал я,— я вовсе не собираюсь уезжать.

Рейчел и Арнольд расположились в креслах у меня в гостиной. Я сидел в кресле Джулиан у окна. Небо нахмурилось и потемнело, я включил свет. Это было в тот же день, к вечеру.

— Так что же вы собираетесь делать? — спросил Арнольд.

Сначала он позвонил по телефону, а потом приехал вместе с Рейчел. Они вступили — другого слова не подберешь — в гостиную и оккупировали ее. Встретиться с хорошо знакомыми людьми, которые вдруг перестали улыбаться, потрясены и напряжены,— очень страшно. Я испугался. Я знал, что они «придут в бешенство», но я не ожидал такого единства, такой мощной враждебности. Их полное нежелание — напускное или реальное — поверить в случившееся обескуражило меня, лишило дара речи. Я ничего не мог объяснить и чувствовал, что произвожу поэтому совершенно ложное впечатление. Кро-

ме того, я не только выглядел, но и чувствовал себя ужасно виноватым.

— Остаться в Лондоне,— сказал я,— возможно, изредка видеться с Джулиан.

— И дальше завлекать ее? — сказала Рейчел.

— Что же тут такого... я хочу просто получше узнать ее... Ведь мы, кажется, любим друг друга... и...

— Брэдли, спуститесь-ка на землю,— сказал Арнольд.— Что вы мелете? Вы витаете в облаках. Вам под шестьдесят. Джулиан двадцать. Она заявила, что вы сказали ей, сколько вам лет, и что ей это безразлично, но не можете же вы воспользоваться тем, что сентиментальная школьница польщена вашим вниманием...

— Она не школьница,— сказал я.

— Она совершенный ребенок,— сказала Рейчел,— и ее очень легко обмануть и...

— Я не обманываю ее! Я говорил ей, что при такой разнице в возрасте все просто невозможно.

— Абсолютно невозможно,— сказал Арнольд.

— Она сегодня такое несла,— сказала Рейчел,— не могу себе представить, что вы ей напели.

— Я не хотел, чтобы она вам говорила.

— Значит, по-вашему, надо было обманывать родителей?

— Нет, нет, не то...

— Ничего не понимаю,— сказала Рейчел.— Вы что, вдруг почувствовали к ней влечение, или как там еще, и тут же сказали ей, что она вам нравится, и начали увиваться за ней, да? Что произошло? Все ведь, кажется, только что началось?

— Да, только что,— сказал я.— Но все очень серьезно. Я не предвидел, не хотел, это случилось. И потом, когда оказалось, что и она тоже...

— Брэдли,— сказал Арнольд,— ваши объяснения не имеют никакого отношения к действительности. Ну хорошо. Вы неожиданно обнаружили, что она привлекательная девушка. В Лондоне полно привлекательных девушек. И лето почти в разгаре, да и вы в таком возрасте, когда мужчины порой превращаются в полных идиотов. Я знал таких, которые в шестьдесят лет начинали вытворять черт-те что: как говорится, седина в бороду, бес в ребро. Но даже если вы распалились по поводу моей дочери, какого черта, вместо того чтобы помалкивать, вы стали докучать ей, расстраивать ее и смущать...

— Я вовсе ей не докучаю, и нисколько она не расстроена.

— Нет, мы оставили ее именно в таком состоянии.

— Значит, это вы ее и расстроили...

— Неужели вы не могли вести себя как порядочный человек?..

— И она гораздо меньше смущена, чем я сам. Простите, но ваши определения совершенно не подходят. Тут действуют космические силы. Вы, наверно, просто не имеете о них понятия. Кстати, Арнольд, вы ведь никогда, ни в одной книге не описали настоящей влюбленности...

Рейчел сказала:

— Вы рассуждаете, как мальчишка. Каждый знает, что такое влюбленность. Дело не в этом. Подробности ваших так называемых «переживаний» никого не волнуют. Это еще скучнее, чем слушать про чужие сны. Джулиан, во всяком случае, не «влюблена» в вас, что бы вы под этим ни подразумевали. Она наивная, немудрящая девочка, и ей просто интересно и лестно, что пожилой друг ее отца оказал ей такого рода внимание. Если бы вы видели ее сегодня, когда она

рассказывала нам обо всем и смеялась, *смеялась*. Она была похожа на ребенка, которому дали игрушку.

— Но вы же говорите, она расстроена...

— Потому что мы сказали ей, что это неудачная шутка.

Я думал: «Любимая, я верю тебе, верю тебе, и я *знаю* тебя. Я буду верить так же, как веришь ты». Но тут же мне стало больно и страшно. Неужели после того, что было, я могу поставить теперь все под сомнение? Она так молода. И верно они говорят, это едва началось. Так недавно, что я даже поразился, откуда у меня такая уверенность. И все же, преобладая над всеми сомнениями, эта уверенность у меня была.

— Наконец-то, я вижу, вы начали нас слушать,— сказал Арнольд.— Брэдли, вы приличный, разумный и вполне порядочный человек. Неужели вы всерьез намерены переживать вместе с Джулиан сердечные бури? Я говорю: «сердечные бури», но, слава богу, до этого еще не дошло и никогда не дойдет. Я не допущу.

— Я пока сам ничего не знаю,— сказал я.— Я согласен: все совершенно невероятно. Джулиан любит меня — просто не верится. Немыслимо. Я сам потрясен. Но теперь я, естественно, не отступлюсь. Не уберусь потихоньку прочь, как вы предложили, не прекращу свиданий с Джулиан, я просто не могу, я должен понять, любит она меня или нет. А если любит, то я еще и сам не знаю, что из этого следует. Возможно, ничего. Все слишком необычно и может обернуться мукой, особенно для меня. Ей я не причиню мук. Надеюсь, я ей не повредю. Но сейчас мы оба не можем остановиться. Вот и все.

— Она может остановиться и остановится,— сказал Арнольд.— Пусть даже мне придется запереть ее в комнате.

— И вы прекрасно можете остановиться,— сказала Рейчел.— Будьте честным! И перестаньте говорить «мы». Вы не можете отвечать за Джулиан. Вы ведь не спали с ней, правда?

— О господи, господи,— сказал Арнольд,— конечно нет. Он же не преступник.

— Правда.

— И не собираетесь?

— Рейчел, я не знаю! Поймите, перед вами сумасшедший.

— Значит, вы *признаете*, что вы невменяемы, не отвечаете за свои поступки и опасны для окружающих!

— Арнольд, пожалуйста, не горячитесь, не выходите из себя. Вы оба пугаете меня, сбиваете с толку, зачем? Когда я сказал: «я сумасшедший», я не имел в виду, что не отвечаю за свои поступки. Я чувствую ответственность, как если бы... мне вручили... ну... не знаю что... чашу Грааля. Клянусь, я не буду давить на Джулиан, приставать к ней... я дам ей полную свободу, она и так совершенно свободна...

— Вы отлично понимаете, что несете чушь,— сказал Арнольд,— во всяком случае, вы сами себе противоречите. Если вы сейчас не оставите ее, то подогреете ее чувства, создадите определенные *отношения* между вами. Естественно, вам того и надо. Разумеется, у нее к вам нет ничего серьезного, вы понимаете, надеюсь, что сами все сочинили. Подумайте, она же еще ребенок! И поймите раз и навсегда: я не допущу, чтобы между вами и моей дочерью возникли какие бы то ни было «отношения». Не будет ни свиданий, ни волнующих бесед, копания в чувствах — ничего. Пожалуйста, поймите. Поймите, что в данной ситуации вы для меня ничем не лучше грязного, похотливого старика, который пристал к ней на улице. Я буду беспощаден, Брэдли. Иного выхода у меня нет. Оставьте Джулиан в покое. Я запру ее, увезу, а если понадобится, прибегну к закону, к полиции, к грубой

физической силе. Вы и писать ей не сможете, не надейтесь, я полностью ограждаю ее от вас. Вы не пробьетесь к ней, я не допущу, чтобы между вами хоть что-то *началось*. Господи, ну поставьте себя на мое место. Решитесь же, поступите честно и разумно и немедленно уезжайте из Лондона. Вы ведь собирались. Пожалуйста, уезжайте. Уверяю вас, все пройдет. Я не говорю, что вы никогда больше не увидитесь с ней и с нами, ничего подобного. Но мне ясно, что сейчас на вас нашла дурь, а я не допущу, чтобы моя дочь связывалась как угодно — пусть даже поверхностно, в шутку или неосознанно — с пожилым мужчиной Одна эта мысль внушает мне отвращение. Я не допущу этого.

Наступило минутное молчание. Я пристально смотрел на Арнольда. Он сидел неподвижно, говорил спокойно, но отрывисто и внушительно, в голосе его слышалась угроза. Лицо под бесцветными волосами пылало, как у девушки. Я хотел победить свой страх гневом, но не смог. Я проговорил глухо:

— Ваше красноречие только доказывает, что Джулиан в конце концов убедила вас обоих и она действительно в меня влюблена.

— Она не отдает себе отчета в своих чувствах...

— Мы не в восемнадцатом веке...

— Пошли.— Арнольд поднялся, кивнул Рейчел, она тоже поднялась.— Мы сказали все, что собирались... Ваше дело... это переварить... поймите, выбора нет...

Я открыл дверь гостиной. И сказал:

— Арнольд, пожалуйста, не сердитесь, я не сделал ничего плохого.

— Сделали,— сказала Рейчел.— Вы сказали ей о своих чувствах.

— Верно. Не надо было говорить. Но любить — не преступление, вот увидите... все будет хорошо... Я не буду надоедать ей... если хотите, не буду с ней видеться целую неделю... пусть все обдумает...

— Не выйдет,— сказал Арнольд мягче.— Полумеры только ухудшат положение. Поймите, Брэдли. Господи, вам ведь тоже ни к чему вся эта каша. Уезжайте. Если вы увидите ее, вы только разведете драму. Лучше готчас решительно все оборвать. Поймите же. И не обижайтесь.

Арнольд вышел из гостиной и открыл входную дверь.

Рейчел последовала за ним; проходя мимо меня, она отшатнулась, и рот ее искривился отвращением. Она проговорила холодно:

— Я хочу, чтобы вы знали, Брэдли, что в этом вопросе мы с Арнольдом заодно.

— Простите меня, Рейчел.

Она повернулась ко мне спиной и вышла из квартиры.

Арнольд вернулся. Он сказал:

— Сейчас не нужно делать то, о чем я просил в письме. Можно получить его обратно?

— Я его разорвал.

Он постоял секунду.

— Хорошо. Простите, что накричал. Даете слово, что не попытаетесь увидеть Джулиан, пока я не позволю?

— Нет.

— Ну что ж. Я не допущу, чтобы моей дочери причинили зло. Имейте в виду. Я вас предупредил.

Он вышел, тихо закрыв за собой дверь. Я тяжело дышал. Я бросился к телефону и набрал номер Илинга. Сначала номер не отвечал, а потом послышалось резкое жужжание, означавшее, что телефон отключен. Я набрал номер несколько раз — с тем же результатом. У меня как будто отрубили ноги. Я изо всех сил стиснул руками голо-

ву, я старался успокоиться, подумать. Так захотелось увидеть Джулиан, что в глазах потемнело. Меня слепили, до смерти кусали пчелы. Я задыхался. Я выбежал во двор, зашагал наугад сначала по Шарлотт-стрит, потом по Уиндмилл-стрит, а потом по Тоттенхем-роуд. Скоро мне стало ясно, что, если я не сделаю отчаянного и сверхъестественного усилия, я просто погибну. Я сел в такси и сказал шоферу, чтобы он вез меня в Илинг.

Я стоял под медно-красным буком на углу. Погладив плотный гладкий ствол, я был поражен его самодовольной вещественностью. Настали сумерки, вечер — вечер все того же длинного, безумного, полного событиями дня.

Совсем стемнело. Угрюмое густое небо слегка полиловело, ветер потеплел и стих. Я чувствовал запах пыли, словно спокойные скучные улицы вокруг обернулись бесконечными пыльными дюнами. Я думал о сегодняшнем утре и о том, как нам казалось, будто перед нами целая вечность. Теперь время исчезло. Взять бы сразу такси, и я приехал бы сюда раньше, чем Арнольд с Рейчел. Что там у них происходит? Я перешел через улицу и стал медленно прогуливаться по другой стороне.

Внизу в доме Баффинов горели лампы, свет проникал сквозь шторы в окне столовой и овальное цветное стекло парадной двери. Наверху свет горел только в одном окне, тоже за шторами, в кабинете Арнольда. Комната Джулиан была в задней части дома, рядом с комнатой, где я видел тогда Рейчел с закрытым простыней лицом и где, да простит мне бог, я тоже лежал, не сняв рубашки. Когда-нибудь я расскажу об этом Джулиан. Когда-нибудь она, как справедливый судия, поймет и простит. Я ее не боялся, и даже в эти минуты, когда я думал в тоске, увижу ли ее снова, я пребывал с ней вне времени в райском мире спокойного общения и полного понимания.

Я стоял теперь на противоположном тротуаре, рассматривал дом и думал, что делать дальше. Может, подождать до трех часов ночи, а потом проникнуть в сад и по приставной лестнице добраться до окна Джулиан. Но мне не хотелось в ее глазах превращаться в персонаж ночного кошмара или в тайного сообщника.

Я стоял на тротуаре в густых, гнетущих городских сумерках, дыша запахом пыльных дюн. Я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной из темного высокого окна на лестничной площадке дома Баффинов. Я вгляделся. Различил силуэт и бледное лицо, обращенное ко мне. Это была Рейчел. С минуту мы спокойно, не шевелясь, смотрели друг на друга. Потом я отвел глаза, как зверь, не выдержавший человеческого взгляда, и начал ходить взад и вперед по тротуару в ожидании. Зажглись уличные фонари.

Минут через пять из дома вышел Арнольд. Я узнал его фигуру, хотя лица не мог различить. Я пошел обратно к буку. Он нагнал меня и молча зашагал рядом. Ближний фонарь освещал часть дерева, делая листья прозрачными, наливая их винно-красным цветом и четко разделяя. Мы остановились в густой, плотной тьме под буком, вглядываясь друг в друга.

Арнольд сказал:

— Простите, что я так вскипел...

— Ничего.

— Теперь все прояснилось.

— Да?

— Простите, что наговорил вам таких нелепостей... что, мол, прибегну к закону и прочее.

— Ну что вы.

— Я не знал — оказывается, в общем-то ничего не произошло.

— О!

— Я хочу сказать, я не принял во внимание фактор времени. Мне показалось со слов Джулиан, будто это уже довольно долгая история. А теперь я понял, что все началось только вчера вечером.

— Со вчерашнего вечера многое изменилось,— сказал я,— сами знаете, ведь вы и сами без дела не сидели.

— Вам смешно, наверно, что мы с Рейчел приняли этот пустяк так близко к сердцу?

— Я вижу, вы изменили тактику,— сказал я.

— Что?

— Дальше, я слушаю.

— Теперь Джулиан все нам объяснила и все стало ясно.

— А именно?

— Конечно, она была обескуражена и растрогана, она говорит ей стало вас жаль.

— Я вам не верю, но все равно я слушаю.

— И, конечно, она была польщена...

— Что она сейчас делает?

— Сейчас? Лежит на кровати и ревет.

— О, господи.

— Но не беспокойтесь о ней, Брэдли.

— Конечно не буду.

— Я хотел объяснить... Теперь она рассказала нам *все*, и мы поняли, что в общем-то ничего не произошло, буря в стакане воды, и она с нами согласна.

— Правда?

— Она просит вас простить ее за то, что она так расчувствовалась и так глупо себя вела, и очень просит, чтобы вы пока не пытались с ней видеться.

— Арнольд, она правда так сказала?

— Да.

Я схватил его за плечи и протащил несколько шагов, пока свет фонаря не упал ему на лицо. Сначала он вырывался, затем притих.

— Арнольд, она в самом деле так сказала?

— Да.

Я отпустил его, и мы оба инстинктивно отступили в тень. Он хмуро смотрел на меня, лицо его исказилось от напряжения, в нем чувствовалась твердая решимость. Это уже было не то розовое, сердитое, враждебное лицо, которое я видел утром. Оно стало энергичным, непроницаемым и ничего мне не говорило.

— Брэдли, постарайтесь вести себя пристойно. Если вы просто утихомиритесь и уберетесь на время, все само собой пройдет, и вы сможете потом встречаться, как прежде. Чепуха, какие-то две встречи. Нельзя навек привязаться друг к другу за две встречи! Сплошная фантазия. Спуститесь с облаков. По правде сказать, Джулиан чувствует себя страшно неловко из-за всей этой глупой истории.

— *Неловко?*

— Да, и вам всего разумней устраниться. Пожалейте девочку. Пускай к ней вернется чувство собственного достоинства. Оно так много значит для девушки. Ей кажется, что она уронила себя, приняв все так серьезно, что она сделала из себя посмешище. Если бы вы увидели ее сейчас, она бы хихикала и краснела, ей жалко вас и стыдно за себя. Теперь она понимает, как глупо было воспринимать все всерьез и устраивать драму. Она признает, что была польщена и у нее слегка закружилась голова от такого сюрприза. Но, увидев, что мы не

разделяем ее восторгов, она пришла в себя. Она уже понимает, что все это невозможная чепуха,— понимает: в вопросах практических она девочка разумная. Напрягите воображение и постарайтесь представить себе, что́ она должна сейчас чувствовать! Она не настолько глупа, чтобы полагать, будто вы отчаянно влюблены. Она говорит, что очень сожалеет обо всем, и просит только, чтобы вы пока не искали с ней встреч. Лучше устроить небольшой перерыв. Мы все равно уезжаем отдыхать — скоро, послезавтра. Мы решили свозить ее в Венецию. Она давно хотела. Мы были в Риме и во Флоренции, а в Венеции никогда, и она давно мечтает там побывать. Мы снимем квартиру, наверно, пробудем там до конца лета. Джулиан вне себя от восторга. Думаю, что перемена обстановки и моей книге не повредит. Вот так-то. Мне очень неприятно, что я погорячился сегодня. Вы меня, наверно, сочли идиотом. Надеюсь, вы уже не сердитесь?

— Ничуть,— сказал я.

— Я просто стараюсь как лучше. Что делать. Отцовский долг. Пожалуйста, поймите, прошу вас. Лучше всего для Джулиан спокойно свести это на нет. Отстранитесь и ведите себя тихо, хорошо? И пожалуйста, без душераздирающих писем и прочего. Оставьте девочку в покое, пусть снова радуется жизни. Вы же не хотите преследовать ее как призрак? Вы оставите ее в покое, а, Брэдли?

— Ладно,— сказал я.

— Я могу на вас положиться?

— Я все-таки не круглый идиот, кое-что понимаю. Я тоже сегодня был слишком торжественно настроен. Я не ожидал такой реакции с вашей стороны и ужасно огорчился. Но теперь я вижу: лучше свести все на нет и рассматривать как бурю в стакане воды. Хорошо, хорошо. Ну, мне, пожалуй, лучше удалиться и тоже попытаться обрести свое достоинство...

— Брэдли, вы сняли у меня камень с души. Я знал, что вы поступите правильно ради девочки. Благодарю вас, благодарю. Господи, какое облегчение. Побегу к Рейчел. Между прочим, она шлет вам привет.

— Кто?

— Рейчел.

— Ей тоже. Спокойной ночи. Надеюсь, вы приятно проведете время в Венеции.

Он снова окликнул меня:

— Кстати, вы правда порвали письмо?

— Да.

Я отправился домой, в голове у меня проносились мысли, которые я изложу в следующей главе. Придя домой, я нашел записку от Фрэнсиса: он просил меня зайти к Присцилле.

Когда мы пытаемся — особенно в минуты боли и кризиса — проникнуть в тайну чужой души, она представляется нам не хаосом сомнений и противоречий, как собственная душа, но вместилищем вполне определенных, скрытых чувств и мыслей. Так, мне и в голову не пришло тогда, что Джулиан пребывает в полнейшем смятении. На один процент я верил, что Джулиан находится приблизительно в том состоянии, как обрисовал Арнсльд: расстроена, смущена, боится, что выставила себя в глупом свете! На девяносто девять процентов я склонялся к другой мысли. Арнольд солгал. И конечно, неправда, что Рейчел «шлет мне привет». Рейчел возненавидела меня до конца своих дней — это я знал наверняка. Рейчел не из тех, кто прощает. Значит, и про Джулиан он солгал. Да его рассказ и непоследователен. Если она горько плачет, как же она может хихикать и радоваться по поводу

Венеции? И почему они так поспешно удирают из Англии? Нет. Наше чувство друг к другу — вовсе не иллюзия. Я люблю ее и она меня — тоже. Скорее можно сомневаться в свидетельстве собственных глаз, чем в том, что эта девочка утверждала с таким ликующим торжеством вчера вечером и сегодня утром.

Так что же случилось? Может, они ее заперли? Я представил себе, как она плачет у себя в комнате, мечется по постели, растрепанная, без туфель. (Картина эта причинила мне боль, но она была прекрасна.) Конечно, Джулиан перепугала родителей своей наивной прямолинейностью. Какая ошибка. И они сперва просто рассвирепели, а потом решили перехитрить меня. Разумеется, они вовсе не считают, что она передумала. Просто изменили тактику. Поверил ли Арнольд, что я отрекся от его дочери? Скорее всего — нет. Я не очень-то умею врать.

Я так любил ее, так доверял ее инстинктивной откровенности, что даже не посоветовал ей немного смягчить удар, который она собиралась нанести. Глупец, я даже не представлял себе толком, как ужаснутся ее родители. Я был слишком поглощен собственными переживаниями, чтобы сделать над собой усилие и взглянуть на все спокойно. Ах, как же это я так! И раньше еще — я мог бы открыться ей не сразу, добиться ее любви исподволь, намеками, постепенно. Можно было начать с невинных, бесплотных поцелуев. Черт дернул меня обрушивать на нее все сразу, так что она сама потеряла голову. Но, разумеется, хорошо мне рассуждать о постепенных действиях теперь, когда я уже знаю, что она меня любит. А тогда, начав говорить, я просто не мог остановиться, пока не высказал все. Я бы не вынес напряжения. Да и стоило ли думать о том, надо или не надо было мне молчать? Это представлялось мне уже делом далекого прошлого. На беду ли, на счастье ли, но о молчании теперь нет речи, и я огорчался не из-за того, что открылся ей.

Всю ночь, и во сне и наяву, я терзался мыслями о Венеции. Если они увезут ее туда, я, конечно, отправлюсь следом. Трудно спрятать девушку в Венеции. Но в эту ночь моя львиногривая любимая была неуловима. Я без конца догонял ее вдоль черно-белых набережных, залитых луною, у глянцевых вод, застывших, как на гравюрах. Вот она вошла в бар «Флориана», а я никак не мог открыть дверь. Когда же наконец мне это удалось, я очутился в Академии, а она убежала в картину Тинторетто и уже гуляла по мощенной квадратами площади святого Марка. И вот мы уже оба на площади святого Марка, которая превратилась в огромную шахматную доску... Джулиан была пешкой и упорно продвигалась вперед, а я — конем, который ход за ходом ее преследовал, но не успев ее настигнуть, вынужден был сворачивать то вправо, то влево. А она доходила до другого края доски и, превратившись в королеву, оглядывалась на меня. Она стояла ангелом святой Урсулы, величавым и высоким, в ногах моей постели. Я протягивал к ней руки, но она отступала по длинной дорожке и уходила через западный придел церкви Иниго Джонса, вдруг превратившийся в мост Риальто. Она была в гондоле вся в красном, с тигровой лилией в руках и удалялась, удалялась, а позади меня ужасный стук копыт становился все громче, громче, и я оборачивался и видел летевшего на меня Бартоломео Коллеони с лицом Арнольда Баффина. Ужасные копыта опускались мне на голову, и мой череп раскалывался, как яичная скорлупа.

Я проснулся от грохота мусорных бачков, которые передвигали греки в дальнем конце двора. И быстро поднялся, чтобы вступить в мир, ставший более страшным даже со вчерашнего вечера. Вчера вечером было ужасно, но было и ощущение драмы, были препятствия, которые предстояло преодолеть, и вдохновлявшая меня уверенность

в ее любви. Сейчас же я сходил с ума от сомнений и страха. В конце концов, она всего лишь молоденькая девочка. Устоит ли она перед родителями, сохранит ли веру в нашу любовь и ясный взгляд на вещи? И если они мне ее оболгали, надо ли из этого сделать вывод, что они и ей оболгали меня? Они, конечно, ее убедили, будто я собираюсь от нее отступиться. Ну да, я ведь так и сказал. Поймет ли она? Хватит ли у нее сил продолжать в меня верить? Хватит ли? Я ведь так мало ее знаю. Может, и правда, все — только мое воображение? А вдруг они ее увезут? А вдруг я не смогу найти ее? Конечно, она напишет. А если нет? Быть может, она и любит меня, но решила, что все это ошибка. В конце концов, вполне разумное решение.

Зазвонил телефон, но это оказался всего лишь Фрэнсис: он просил меня проведать Присциллу. Я сказал, что зайду позже. Я попросил позвать ее к телефону, но она не подошла. Около десяти позвонила Кристиан — я бросил трубку. Я набрал номер в Илинге, но снова услышал, что «номер не отвечает». Наверно, Арнольд после вчерашнего скандала отключил телефон. Я метался по квартире, зная, что рано или поздно мне станет невмоготу и я брошусь в Илинг. Страшно болела голова. Я все старался собраться с мыслями. Раздумывал о своих намерениях и о ее чувствах. Составил больше дюжины планов на все случаи жизни. Я даже попробовал представить себе настоящее отчаяние — что будет, если я поверю, что она меня не любит, никогда не любила; тогда, как человеку порядочному, мне останется только исчезнуть из ее жизни. Потом я понял, что я уже в отчаянии, в настоящем отчаянии, ибо ничего нет хуже ее отсутствия и молчания. А вчера она была в моих объятиях и перед нами расстилалась целая вечность, мы целовались без неистовства и страха, в задумчивой, спокойной радости. И я даже услал ее, а она ведь не хотела уходить. Какое безумие! Возможно, мы уже никогда никогда не будем вместе. Возможно, такое никогда, никогда не повторится.

Страх ожидания — одна из самых тяжких мук человеческих. Жена шахтера у засыпанной шахты. Заключенный в ожидании допроса. Потерпевший кораблекрушение на плоту в открытом море. Ход времени ощущается как физическая боль. Минуты, каждая из которых могла бы принести облегчение или хоть определенность, пропадают бесплодно и только нагнетают ужас. Пока тянулись минуты этого утра, беспощадно росла моя леденящая уверенность, что все пропало. И так теперь будет всегда. Мы больше не встретимся. До половины двенадцатого я терпел и наконец решил, что надо отправиться в Илинг, увидеться с ней — силой, если понадобится. Я даже подумал, что не мешало бы как-то вооружиться. Но вдруг она уже уехала?

Начался дождь. Я надел плащ и стоял в прихожей. Я не знал, помогут ли мне слезы. Я представлял себе, как резко отпихну Арнольда и взбегу по лестнице. Ну, а дальше?

Зазвонил телефон, я снял трубку. Голос телефонистки проговорил:

— Вас вызывает мисс Баффин из телефонной будки в Илинге, вы оплатите разговор?

— Что?.. Как?..

— Вас вызывает мисс Баффин...

— Да, да, я заплачу, да...

— Брэдли, это я.

— Любимая... Слава богу...

— Брэдли, скорее мне надо тебя увидеть, я убежала.

— Какое чудо, любимая моя, я был в таком...

— Я тоже. Слушай, я в телефонной будке около станции метро Илинг-Бродвей у меня нет денег.

— Я заеду за тобой на такси.

— Я спрячусь в магазине, я так боюсь...
— Девочка моя любимая.
— Скажи шоферу, чтобы притормозил у станции. Я тебя увижу.
— Да, да.
— Но, Брэдли, к тебе нам нельзя, они сразу туда отправятся.
— Бог с ними. Я еду за тобой!

— Что случилось?
— Брэдли, это такой кошмар...
— Но что случилось?
— Я такая идиотка, я рассказала им все торжествующе, агрессивно, я была до того счастлива, что не могла это скрыть или хоть чуть-чуть замаскировать, а они просто почернели, во всяком случае, сначала решительно не хотели верить, а потом бросились к тебе, тут бы мне и убежать, но я вошла в раж, хотела с ними еще разок сцепиться, а потом, когда они вернулись, было еще хуже. Я еще никогда не видела отца таким расстроенным и злым, он был вне себя.
— Господи, он тебя не бил?
— Нет, нет, но тряс меня, пока у меня не закружилась голова, и разбил кое-что у меня в комнате...
— Радость моя...
— Тогда я стала плакать и уже не могла остановиться.
— Да, когда я приходил...
— Ты приходил?
— Они тебе не сказали?
— Папа потом сказал, что опять тебя видел. Сказал, что ты согласен отступиться. Конечно, я не поверила.
— Умница! А мне он сказал, будто ты не хочешь меня видеть. Конечно, я тоже не поверил.

Я держал обе ее руки в своих. Мы тихо разговаривали, сидя в церкви (для точности—в церкви святого Катберта в Филбич-гарденс). Бледно-зеленый свет, падавший сквозь викторианское цветное стекло, не мог рассеять величавого успокоительного мрака, из которого он выхватывал заалтарную стенку, как будто вылепленную из молочного шоколада, и огромную мрачную алтарную перегородку, словно в последний момент спасенную из огня. Надпись на ней гласила: «Verbum caro factum est et habitavit in nobis[1]». Позади массивной металлической ограды в западной части церкви мрачная увенчанная голубкой рака загораживала купель, или, быть может пещеру какой-нибудь вещей сивиллы, или алтарь одного из более грозных воплощений Афродиты. Казалось, силы куда древней Христа временно завладели местом. Высоко над нами по галерее прошла фигура в черном и исчезла. Мы опять остались одни.

Она сказала:

— Я люблю родителей. По-моему, люблю. Ну конечно. Особенно отца. Во всяком случае, я так всегда думала. Но есть вещи, которых нельзя простить. Что-то обрывается. И начинается другое.

Она повернулась ко мне. Лицо было усталое, слегка припухшее, с тенями и морщинками от слез и огорчений. Можно было догадаться, какой она станет в пятьдесят лет. И на секунду ее непрощающее лицо напомнило мне Рейчел в той ужасной комнате.

— Ах, Джулиан, я так изменил твою жизнь.
— Да.

---

[1] Слово стало плотью и обитало с нами *(лат.)*.

— Но я не сломал ее, правда? Ты ведь не сердишься, что я причинил тебе столько огорчений?

— Что за глупости ты говоришь! Так вот, скандал продолжался несколько часов — главным образом мы с отцом ругались, а когда вмешалась мать, он закричал, что она ревнует ко мне, а она кричала, что он влюблен в меня, и она заплакала, а я завизжала. Ах, Брэдли, никогда бы не подумала, что обыкновенная интеллигентная английская семья может вести себя так, как мы вели себя вчера.

— Это потому, что ты еще молода.

— Наконец они ушли вниз, и я слышала, они продолжали ссориться, мама ужасно плакала, а я решила, что с меня хватит и я сбегу; и тут оказалось, они меня заперли! Меня никогда еще не запирали, даже когда я была маленькая, я не могу тебе передать... это было как... озарение... так вот люди вдруг понимают... нужен бунт. Ни за что, ни за что не дам им меня запирать.

— Ты кричала, стучала в дверь?

— Нет. Что ты? Я знала, что в окно мне не вылезти. Слишком высоко. Я уселась на кровать и принялась реветь. Ты знаешь, это глупо, наверно, когда идет такое... смертоубийство... но мне стало так жалко моих вещиц, которые разбил отец. Он расколотил две вазы и всех моих фарфоровых зверюшек.

— Джулиан, я не могу...

— Было так страшно... и унизительно. А вот это он не нашел, я держала под подушкой.

Джулиан вытащила из кармана золоченую табакерку «Дар друга».

— Я не хотел бы открытой войны,— сказал я.— Знаешь, Джулиан, то, что говорили твои родители, не такой уж бред. В общем-то они даже правы. Зачем тебе со мной связываться? Нелепость. Ты такая молодая, перед тобой вся жизнь, а я настолько старше и... Ты же не разобралась в себе, все произошло так внезапно, правильно они тебя заперли, не к добру все это...

— Брэдли, мы давно прошли этот этап. Когда я сидела на кровати и смотрела на разбитый фарфор на полу и мне казалось, что вся моя жизнь разбита, я чувствовала себя такой сильной и спокойной и не сомневалась ни в тебе, ни в себе. Взгляни на меня. Уверена. Спокойна. Да?

Она действительно была спокойна, сидя сейчас рядом со мной в голубом платье с белыми ивовыми листьями, и блестели загорелые юные коленки, и утомленное лицо было ясно, а наши сомкнутые руки лежали у нее на коленях, и в складках юбки пряталась золоченая табакерка

— Тебе надо еще собраться с мыслями, обдумать, нельзя...

— Ну так вот, около одиннадцати — это была последняя капля — мне пришлось позвать их и попросить, чтоб меня выпустили в уборную. Потом отец опять пришел ко мне и попробовал новую тактику, стал такой добрый, такой понимающий. Тогда-то он и сказал, что снова тебя видел и ты отступаешься от меня, но я, конечно, не поверила. Потом пообещал взять меня в Афины...

— Мне он сказал — в Венецию, я всю ночь провел в Венеции.

— Он боялся, что ты поедешь за нами. Я уже совершенно успокоилась, я решила: со всем соглашусь, что бы они ни предложили а потом удеру, при первой же возможности. И сделала вид, что пошла на попятный, стала притворяться, сказала, что Афины — дело другое и... слава богу, что ты меня не слышал... и...

— Я знаю. Я тоже. Я правда им сказал, что уеду. Я чувствовал себя предателем, как апостол Петр.

— Брэдли, я к тому времени ужасно устала, господи, вчера был такой длинный день, и не знаю, убедила я его или нет, но он сказал: «Прости мне мою грубость», и я думаю, он правда усовестился. Но мне было противно, когда он расчувствовался и пустился в сантименты, хотел меня поцеловать и прочее, и тут я сказала, что хочу спать, и наконец он ушел и — господи! — опять запер дверь!

— Ты спала?

— Самое смешное, что я спала. Я думала, что глаз не сомкну, и представляла себе, как я не сплю и думаю, я даже предвкушала это, но сон сморил меня, я прямо как провалилась... даже раздеться не могла... Наверно, необходимо было полное отключение. И вот сегодня утром со мной начали обращаться как с больной, меня провожали в ванну, приносили подносы и тому подобное — отвратительно, даже страшно. Отец сказал, чтобы я отдохнула, что мы сегодня же уедем из Лондона, а потом ушел. Наверно, пошел в автомат на углу, чтобы мать не слышала его разговора, он это часто делает, а тут еще вчера когда он бесновался, он оборвал телефонный провод. Я уже оделась и стала искать сумку, но они ее унесли, и, когда я услышала, что отец ушел, я попробовала открыть дверь, но они меня заперли, я позвала мать, она не отперла, и тогда я поддала ногой поднос с завтраком, который как раз стоял на полу. Ты когда-нибудь пинал ногой вареное яйцо? Когда я увидела, как оно брызнуло, я подумала, что так вот и вся наша жизнь; было ничуть не забавно. И тогда я сказала матери, что, если она сейчас же не отопрет, я выпрыгну в окно, и так бы и сделала, но она отперла, и я стала спускаться, а мать обогнала меня на лестнице и пятилась ко мне лицом. Ой, господи, как глупо, как нелепо, я дошла до входной двери, но она была на замке! А мать все просила и умоляла ее простить, мне даже жалко ее стало, она никогда еще так не говорила, причитала, как старуха. Я ничего не сказала и пошла в сад, а она за мной, я попробовала открыть боковую калитку, но она тоже была заперта, и тогда я побежала по саду и влезла на ограду... Ты знаешь, она очень высокая, я сама удивляюсь, как это я... и спрыгнула в соседний сад. Я слышала, как мать тоже пытается влезть на ограду и зовет меня, но, конечно, где ей залезть, она толстая, и она встала на ящик, и мы смотрели друг на друга, и лицо у нее было такое странное — словно *удивленное*, как у человека, которому вдруг прострелили ногу, мне так жалко ее стало. Потом я побежала через соседний сад, опять перелезла через ограду — она была не такая высокая, я оказалась среди гаражей, я бежала, бежала и все никак не могла найти будку с неиспорченным телефоном — и наконец нашла и позвонила тебе, и вот я здесь.

— Джулиан, это ужасно, я так виноват перед тобой. Я рад, что ты пожалела мать. Не надо их ненавидеть, ты их пожалей. Ведь в общем-то правы они, а не мы...

— С той минуты, как они заперли дверь, я стала чувствовать себя чудовищем. Но счастливым чудовищем. Иногда надо стать чудовищем, чтобы выжить, как-никак я достаточно взрослая, понимаю.

— Ты убежала и пришла ко мне...

— Я ободрала ногу об ограду. Она вся горит. Пощупай.

Она положила мою руку себе под юбку на бедро. Кожа была содрана, покраснела и действительно горела.

Я потрогал ее и обжег ладонь, я желал все это юное, милое, бесхитростное создание, так нежданно, таким чудом дарованное мне. Я отдернул руку и отстранился. Это было уж слишком.

— Джулиан, ты моя героиня, моя королева... о, куда бы нам пойти... ко мне нельзя.

— Я знаю. Они туда придут. Брэдли, мне нужно побыть где-нибудь с тобой наедине.

— Да. Хотя бы для того, чтобы подумать.

— Почему ты так говоришь?

— Я так виноват... все... как ты выразилась . смертоубийство... Мы еще ничего не решили, мы не можем, не знаем...

— Брэдли, ну и храбрый же ты, оказывается! Ты что, собираешься отослать меня обратно к родителям? Прогнать, как бродячую кошку? Ты — теперь мой дом. Брэдли, ты меня любишь?

— Да, да, да, да.

— Тогда ничего не бойся и возьми все в свои руки Подумай, Брэдли, должно же быть какое-нибудь тайное место, куда нам можно пойти, хотя бы просто гостиница.

— О, Джулиан, нельзя нам в гостиницу Нет такого тайного места, куда нам можно пойти... О, господи, есть же! Есть, есть, есть!

Дверь квартиры была распахнута. Неужели я оставил ее незапертой? Может быть, там меня уже поджидает Арнольд?

Я тихо вошел и остановился в прихожей, прислушиваясь. Я услышал шорох, кажется, из спальни. Потом какой-то странный звук, вроде стона птицы, вроде затихающего «у-у-у»... Я застыл, пронизанный ужасом. И тут я совершенно явственно услышал как кто-то зевает. Я двинулся вперед и открыл дверь спальни.

На моей кровати сидела Присцилла. На ней был знакомый синий жакет и юбка, довольно помятая. Она сняла туфли и терла большие пальцы ног не сняв чулок. Она сказала:

— А вот и ты.— И продолжала тереть и чесать пальцы, внимательно их разглядывая Она опять зевнула.

— Присцилла! Что ты тут делаешь?

— Я решила вернуться к тебе. Они меня не пускали, а я приехала. Они перепоручили меня врачам. Хотели оставить меня в больнице, а я не согласилась. Там сумасшедшие, а я не сумасшедшая. Меня лечили шоком. Ужас. Кричишь и мечешься по комнате. Тебя держат. Я ушибла руку. Гляди.

Она говорила очень медленно. Потом принялась старательно стаскивать синий жакет.

— Присцилла, тебе нельзя тут оставаться. Меня ждут. Мы сейчас уезжаем из Лондона.

Джулиан была на Оксфорд-стрит, я дал ей денег, чтобы она купила себе кое-что из одежды.

— Посмотри.— Присцилла засучила рукав блузки. Вся рука у нее была в синяках.— А может, это они меня держали? Может быть, и держали. У них есть что-то вроде смирительной рубашки, но на меня ее не надевали. Кажется, нет. Не помню. Перестаешь соображать. Какая уж тут польза. Теперь у меня голова совсем не работает. Я сначала не понимала. Хотела спросить тебя, но ты не приходил. А Кристиан и Арнольд все время болтали и смеялись, и я не могла спокойно прийти в себя. Я там себя чувствовала бедной родственницей. Нужно жить со своими. Помоги мне развестись. С ними мне стыдно говорить, у них все так гладко, они так преуспевают. С ними толком не поговоришь, они всегда торопятся. А потом уговорили меня лечиться электрошоком. Никогда ничего не надо решать в спешке. Все равно пожалеешь. Ах Брэдли, напрасно мне делали эти шоки. Я чувствую, из-за них у меня мозг почти разрушен. Естественно, нельзя подвергать людей электрошоку, правда?

— Где Арнольд? — сказал я.

— Только что ушел с Фрэнсисом.

— Он тут был?

— Да, приходил за мной. Я ушла сразу после завтрака. Я и не завтракала, я последнее время совсем есть не могу, даже запаха еды не выношу. Брэдли, пойди, пожалуйста, со мной к юристу и еще поведи меня в парикмахерскую, мне надо вымыть голову. Я думаю, можно, это меня не утомит. Потом мне, наверно, надо отдохнуть. Что сказал Роджер про норковый палантин? Я все беспокоюсь. Почему ты не приходил? Я все время про тебя спрашивала. Пожалуйста, отведи меня сегодня к юристу.

— Присцилла, я никуда не могу с тобой пойти. Мне надо немедленно уехать из Лондона. Ах, зачем ты пришла!

— Что сказал Роджер про норковый палантин?

— Он его продал. Он отдаст тебе деньги.

— Не может быть! Такой красивый, особенный...

— Пожалуйста, не плачь.

— Я не плачу. Я пришла пешком из Ноттинг-хилла, а мне нельзя, я больна. Я лучше посижу в гостиной. Ты не дашь мне чаю?

Она тяжело поднялась и прошла мимо меня. От нее неприятно пахло — зверем и больницей. Формалин, наверно. Осоловелое лицо набрякло, нижняя губа отвисла, словно в усмешке. Она медленно и осторожно уселась в кресло и поставила ноги на скамеечку.

— Присцилла, нельзя тебе тут оставаться! Мне надо уехать из Лондона!

Она широко зевнула, нос у нее вздернулся, глаза сузились, она просунула руку под блузку и чесала под мышкой. Потом потерла глаза и начала расстегивать средние пуговицы на блузке.

— Я все зеваю и зеваю, и без конца чешусь, и ноги болят, и я не могу сидеть спокойно. Наверно, от электричества. Брэдли, ты не бросишь меня, правда? У меня никого не осталось кроме тебя, ты не уезжай. Как ты сказал? Роджер правда продал норку?

— Я приготовлю тебе чаю,— сказал я, чтобы уйти из комнаты. Я прошел на кухню и действительно поставил чайник. Я ужасно расстроился, увидев, в каком состоянии Присцилла, но, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы менять планы. Что же придумать? Через полчаса я должен встретиться с Джулиан. Если я не появлюсь вовремя, она придет сюда. И неведомо почему исчезнувший Арнольд может вернуться в любую минуту.

Кто-то вошел в парадную дверь. Я выскользнул из кухни, готовый в случае необходимости вырваться на свободу. В дверях я с такой силой налетел на Фрэнсиса, что выполкнул его. Мы ухватились друг за друга.

— Где Арнольд?

— Я его направил по ложному следу, но вам надо спешить.

Я вытащил Фрэнсиса во двор. Теперь я увижу Арнольда издали. Появление Фрэнсиса было спасением, я крепко держал его за оба рукава, на случай если он захочет удрать, хотя он, кажется, и не собирался. Он усмехнулся с довольным видом.

— Как это вы сумели?

— Я сказал, что вроде видел, как вы с Джулиан входили в бар на Шефтсбери авеню, я сказал — вы там завсегдатай, и он кинулся туда, но скоро вернется.

— Он рассказал вам?..

— Он рассказал Кристиан, а она мне. Крис пришла в бешеный восторг.

— Фрэнсис, послушайте. Я сегодня уезжаю с Джулиан. Пожалуйста, останьтесь с Присциллой здесь или в Ноттинг-хилле, где она захочет. Вот вам чек на большую сумму, я дам вам еще.

— Ну и ну! Спасибо! Куда вы едете?

— Неважно. Я буду позванивать, узнавать о Присцилле. Спасибо, что выручили. А теперь мне надо кое-что уложить и бежать.

— Брэд, посмотрите, я принес ее обратно. Боюсь, правда, что она совсем сломалась. Хотел ногу выпрямить, а она сломалась.

Он что-то сунул мне в руку. Это была маленькая бронзовая статуэтка женщины на буйволе.

Мы вернулись в дом, и я защелкнул задвижку на парадной двери и захлопнул квартиру. Мы услышали хриплый визг. Свисток чайника возвещал, что вода закипела.

— Фрэнсис, пожалуйста, приготовьте чай.

Я вбежал в спальню и пошвырял в чемодан кое-что из одежды. Потом вернулся в гостиную.

Присцилла сидела выпрямившись. На лице ее был испуг.

— Что это за звук?

— Чайник.

— Кто у тебя там?

— Фрэнсис. Он останется с тобой. Мне нужно идти.

— Когда ты вернешься? Ты ведь ненадолго уедешь, всего на несколько дней, да?

— Не знаю. Я позвоню.

— Брэдли, пожалуйста, не оставляй меня. Мне так страшно. Я теперь всего боюсь. Мне так страшно по ночам. Ты мой брат. Ты ведь позаботишься обо мне, не можешь ты оставить меня с чужими. Я сама не знаю, что мне делать, а ты — единственный, с кем я могу говорить. Пожалуй, я пока не пойду к юристу. Не знаю, что делать с Роджером. О зачем я от него ушла, мне нужен Роджер, мне нужен Роджер... Роджер пожалел бы меня, если бы сейчас увидел.

— Вот тебе старый друг,— сказал я и кинул бронзовую статуэтку к ней на колени. Она инстинктивно сжала ноги, и статуэтка упала на пол.

— Ну вот, разбилась,— сказала Присцилла.

— Да, Фрэнсис сломал ее, когда пробовал починить.

— Она мне уже не нужна.

Я подобрал статуэтку. Одна из передних ног буйвола отломилась почти вся, и по краю слома шла зазубрина. Я положил статуэтку набок в лакированный шкафчик.

— Ну вот, совсем сломалась. Как грустно, как грустно.

— Присцилла, перестань.

— О, господи, мне так нужен Роджер. Роджер был мой, мы принадлежали друг другу, он был мой, а я — его.

— Не говори глупостей. Роджер — отрезанный ломоть.

— Пойди, пойди к Роджеру и скажи ему, что я прошу у него прощения...

— Ни за что!

— Мне нужен Роджер, милый Роджер, как он мне нужен...

Я попытался поцеловать ее во всяком случае приблизил лицо к темной грязной полоске седых волос, но она дернулась и сильно ударила меня по челюсти.

— До свиданья, Присцилла. Я позвоню.

— Ох, не уходи, не оставляй меня, не надо...

Я остановился в дверях. Она подняла голову и смотрела на меня, крупные слезы медленно катились из глаз, красные мокрые губы приоткрылись. Я отвернулся. Из кухни появился Фрэнсис с чайным подно-

сом в руках. Я махнул ему рукой, выбежал из дома и помчался по двору. В конце двора я задержался и осторожно выглянул на улицу.

Арнольд и Кристиан как раз вылезали из такси в нескольких шагах от меня. Арнольд расплачивался. Кристиан увидела меня. Она сразу же повернулась ко мне спиной и заслонила меня от Арнольда. Я сунулся назад. Там, где двор выходит на улицу, есть крытый узенький проход, туда-то я и спрятался и в ту же секунду увидел, как мимо прошел Арнольд с мрачным лицом, выражавшим озабоченность и решимость. Кристиан шла за ним медленнее, озираясь по сторонам. Она снова меня увидела и сделала странный жест, жест томного Востока, шуточно-чувственной почести — подняла руки ладонями вверх, а затем, как балерина, волнообразно опустила. Она не остановилась. Я подождал немного и вышел из укрытия.

Арнольд вошел в квартиру. Кристиан все стояла снаружи, оглядываясь. Я опустил чемодан, приложил кулаки ко лбу, потом протянул к ней руки. Она махнула мне — хрупкое, порхающее мановение,— словно уплывала в лодке. Затем она вошла за Арнольдом в дом. Я выбежал на Шарлотт-стрит. Сел в оставленное ими такси и доехал до Джулиан.

(Окончание следует)

Китайская лирика 30~40-х годов

Перевод и вступление Л. ЧЕРКАССКОГО

В нашей подборке читатель найдет стихотворения семи китайских поэтов памятного для страны десятилетия, в котором определяющим фактором была война Сопротивления против японских захватчиков (1937—1945).

В освобожденных районах работала большая группа поэтов (Ай Цин, Тянь Цзянь, Кэ Чжун-пин), авторы известных в Китае книг о войне и ее героях, о жизни в тылу, где война ощущалась на каждом шагу. В этих книгах мы встречаемся с горнистами и часовыми, девушками-санитарками, партизанами, детьми, с риском для жизни помогавшими взрослым сражаться с врагом. Стихотворения Ай Цина и Тянь Цзяня, вошедшие в подборку, насыщены живыми приметами военного времени. Вот сценка, каких было много в те годы на земле Китая:

Одежду чинит женщина прохожим —
Дорога пролегла у самых ног,
Платок покрыт песком, одежда тоже,
И над дорогой ветер да песок.

«Красный ворон», «копье с кистями, окрашенное кровью» — образы, вышедшие из-под пера Тянь Цзяня:

Сколько убитых в этом краю
И пролитой крови в городе в этом!
Как же не быть воронью
Красного цвета?

В гоминьдановских районах, в условиях произвола местных властей, известное распространение получила сатирическая поэзия, острием своим нацеленная на гоминьдановских реакционеров.

Стихотворение Юань Шуй-по «Гвозди» в этом смысле весьма характерно. Поэт верно передал общую атмосферу, царившую в районах господства чанкайшистов: он нарисовал гротескный образ молодчика из охранки, ловца человеческих душ, выискивающего крамолу и бросающего в застенок любого подозреваемого в принадлежности к коммунистам или подпольщикам:

...Два глаза, плотоядно блестя,
В плоть вонзились как два черных гвоздя.

В подборке мы даем также образцы философской и пейзажной лирики, занимавшей в сборниках 30—40-х годов значительное место: стихотворение Цзан Кэ-цзя, «крестьянского поэта», как его называла китайская критика; Бянь Чжи-линя — поэта и переводчика, в частности французской поэзии; Хэ Ци-фана — известного поэта и литературоведа.

Поэты военных лет, принадлежащие к старшему поколению китайских литераторов, испытали самые различные влияния; Цзан Кэ-цзя и Бянь Чжи-линь в начале своего творческого пути увлеклись символизмом; на Ай Цина и Тянь Цзяня, как и на многих других китайских поэтов, глубокое влияние оказал В. Маяковский (об этом см. «ИЛ» № 7, 1973 г.). При всем интересе этих китайских поэтов к современной западной поэзии, они оставались поэтами глубоко национальными, опиравшимися в своем творчестве на

богатые традиции китайской классики и фольклора. «Тоска по родине» Ли Гуан-тяня — точно фрагмент старинного китайского свитка.

Ныне, по воле маоистского руководства, китайская поэзия 30—40-х годов считается как бы несуществующей. В 1958 году Ай Цин, а через несколько лет и другие представленные здесь поэты внезапно умолкли — их заставили замолчать те же самые люди, которые отняли право на песню у многих других поэтов-интернационалистов Китая. Но никто и никогда не заставит умолкнуть поэзию, выражающую мечты и надежды своего народа. Мне думается, китайская поэзия 30—40-х годов эту свою высокую миссию выполняла достойно.

АЙ ЦИН

Я люблю эту землю

Будь я птицей —
Я пел бы надрывно
О земле, иссеченной дождями,
О рокочущем гневно потоке,
О без устали дующем ветре,
О моих несравненных рассветах,
А потом бы я умер от песни,
И истлели бы перья в земле.

Почему на глазах моих слезы?
Эту землю люблю я безмерно...

17 ноября 1938 г.

Женщина чинит одежду

Одежду чинит женщина прохожим —
Дорога пролегла у самых ног,
Платок покрыт песком, одежда тоже,
И над дорогой ветер да песок.

Ребенок плачет. Детских слез потоки
Так быстро высыхают жарким днем.
А женщина все думает о доме,
Дотла сожженном артогнем.

Прохожим молча штопает одежду.
И больно ей и нечего сказать:
Уставились в корзинку безнадежно
Измученные детские глаза.

Впивается песок горячий в кожу,
Дорога задыхается в песке.
Заштопанный носок надел прохожий
И зашагал, и скрылся вдалеке.

Февраль 1938 г.

Деревья

Стоят два дерева года́,
Но друг от друга в отдаленье,
Соединяет на мгновенье
Их только ветер иногда.

Деревья будто незнакомы,
Но под землей, в кромешной мгле,
В тугой клубок сплелись их корни,
Невидимые на земле.

Весна 1940 г.

ТЯНЬ ЦЗЯНЬ

Красный ворон

Гость ночной постучался в мой дом,
Он говорил с трудом:
«Тайюань...
В крови...
Потонул...»

...Над Тайюанем, все небо закрыв,
Кружит воронье, гонимое ветром.
Но черных не видно крыл,
Они красного цвета.

Они красны, как огонь,
Как пламя пожара жаркое.
Спускается ночь, и красное воронье
Пронзительно каркает...

«Это сон?»
Я не верил своим ушам.
«Я это видел сам.
Сколько убитых в этом краю
И пролитой крови в городе в этом!
Как же не быть воронью
Красного цвета?»

1945 г., окрестности Тайюаня

Из цикла «Перемены»

■ ■ ■

Не бери никогда у врага табака,
Не бери никогда у врага медяка
И воды у него не проси ни глотка.

■ ■ ■

Есть книга книг, огромна и горька,
О горе и страданьях земляка.
Ее читает сын, читает сына сын
И не прочтет до старческих седин.

1946 г.

ЦЗАН КЭ-ЦЗЯ

Плеть

Башмак железный у осла
Отполирован добела,
Мешок холщовый на спине
Все тяжелей и тяжелей,
На сердце маета.
Хозяин больно плетью бьет,
Остановиться не дает,
Как будто за его спиной
Его хозяин держит плеть,
Такую же, как та.

1942 г.

ЮАНЬ ШУЙ-ПО

Гвозди

О глаза, вездесущие глаза,
И в подвале,
И на крыше,
И во мне,
За стеною, под стеною и в стене!
Выдвижные ящики стола,
Всю бумагу до последнего клочка
Контролируют два дула — два зрачка.

Никогда ты в мою дверь не стучал,
Никогда я на твой стук не отвечал.
Только скрыться от тебя не могу,
И от взглядов мне твоих не спастись —
Наблюдаешь, как я ногти стригу,
И заглядываешь в рот, как дантист.

Я беседую с приятелем вдвоем,
Но... в невидимом присутствии твоем.
Я губами шевелю, я говорю —
Злит тебя, что про себя говорю.

Я письмо моей любимой писал,
На листок ты жадно взгляды бросал,
Ибо так соблазн был велик:
Столько обличающих улик!

Я устал,
Я от тебя так устал,
От стыда и от усталости устал
И на стол в изнеможении упал —

И два глаза, плотоядно блестя,
В плоть вонзились, как два черных гвоздя.

Июль 1945 г.

ЛИ ГУАН-ТЯНЬ

Тоска по родине

Пела грустная флейта в ночном городке,
Мой внезапно покой возмутив:
Далеко-далеко от родной стороны
Я услышал знакомый мотив.

И душа встрепенулась: я вспомнил в тоске
Не отца и не мать в этот миг —
Вспомнил крошечный пруд в неприметном саду
И колеблемый ветром тростник.

Октябрь 1932 г.

БЯНЬ ЧЖИ-ЛИНЬ

Сердце древнего города

Ты слышишь звуки собственных шагов,
В восьмом часу безмолвствует базар
(Он считается сердцем этого древнего города).

Ничего удивительного, что лавочник дремлет,
Даже электрические лампочки потускнели.

Уже не привлекающий франтих
Токийских фирм, шанхайских мастерских
Скорбит на полках выцветший товар.

Так может подумать забредший сюда чужеземец...

Вдруг зазвучали барабана удары —
Словно биение сердца этого древнего города.

27 октября 1933 г., Баодин

Бездельник

Шел бездельник по улице предзакатной порой,
Плотно пальцы сцепив за спиной,
Молчаливо вышагивал, пальцы сцепив,
Приминая старательно мягкую пыль.

А в пыли было множество отпечатков шагов —
И носков удлиненных, и квадратных носков.
Чужд и неинтересен ему люд деловой,
Он шагает с опущенной вниз головой.

Ха! Смотрите, смотрите! Он идет налегке
И два грецких ореха грет, зажав в кулаке,
Трет и трет, полируя, обо всем позабыл...
Небо! Сколько же времени он напрасно сгубил!

1931 г.

ХЭ ЦИ-ФАН

Ночной пейзаж

Гомон уличный отхлынул,
Словно море в час отлива,
И под каждой серой крышей
Мирно люди почивают.

Вот последнюю телегу
Поглотила тьма ночная.

У резных ворот дворцовых
Спят рабочие на плитах,
На холодных жестких плитах.

Ночью кто-то встрепенулся
И ногой толкнул соседа:
Мол, почудился спросонок
Чей-то плач — как будто рядом,

За дворцовыми стенами,
В опустевшем темном зале
Или в башне, где ночуют
Часто шумные вороны.

А сосед, его услышав,
Вспоминает про другое:
Говорят, однажды ночью
На глазах сверкнули слезы
Вдруг у каменного льва...

Ветер вдаль уносит вздохи,
И на городской стене
Треплет он траву сухую.

Между 1933—1935 гг., Бэйпин

Ослик

Я увидел ослика-малютку,
Он скакал от самого порога.
Под его копытцами лужайкой
Мне казалась пыльная дорога.
Не был он поклажею придавлен,
И спина покамест не болела;
Он увидел мир совсем недавно
И скакал, и несся ошалело,
Шевеля предлинными ушами,
Радуя меня и потешая.

1942 г.

■

ЭРВЕ БАЗЕН

Крик совы

РОМАН

Перевод с французского Н. БРАНДИС и А. ТЕТЕРЕВНИКОВОЙ

XIII

Около четырех часов утра послышались шаги по гравию, потом скрипнула калитка в глубине сада — там, где у нас стоит прицепной фургончик для кемпинга. В полусне я даже наивно подумал: бутылка с бензином для радиатора пуста — они там замерзнут. Во всяком случае, Саломея — ее-то шаги легко узнать по стуку каблучков — вернулась около шести часов, а Жаннэ, под тяжестью восьмидесяти килограммов которого дрожат перила лестницы,— в семь. Когда в первом часу по вторичному зову колокольчика они спустились обедать, оба не в силах были сдержать зевоту, и, показывая белые зубы, с опухшими глазами и помятыми физиономиями, лениво и долго потягивались, как довольные коты.

— Ну и вид у вас, нечего сказать! — заметила Бландина.

— Пять тысяч метров я сейчас, пожалуй, не пробежал бы,— признался Жаннэ,— но до Ланьи мы с Гонзагом доплывем.

— И я с вами! — восклицает Обэн.

— А я? — требует Бландина.

— Нет,— возражает Жаннэ.— Если в лодку сядут пятеро, при таком сильном течении нам не выгрести. Мы возьмем моторку.

У Гонзага, которому отец ни в чем не отказывает, действительно есть двухместная моторка; уже несколько дней она стоит у плавучей пристани, рядом с нашей обычной плоскодонкой, перекрашенной детьми в лягушачий цвет,— от меня они унаследовали пристрастие к пресной воде. Саломея бросает на брата многозначительный взгляд, который означает: «Если я захочу, так Гонзаг тебя оставит на берегу». Но вместо этого спрашивает:

— Бабушка Резо дома?

— Она уехала рано утром в Лондон, к дяде Фреду,— отвечает Бертиль — Кроме воскресений и праздничных дней его трудно застать дома. Поскольку ваш отец этого требует, она хочет сейчас же получить согласие Фреда. Его она тоже не видела двадцать четыре года. Но это обстоятельство ее, по-видимому, не беспокоит: у нее есть его адрес, есть адрес его конторы; она знает о нем все, так же как и о нас.

Окончание. Начало в № 9.

— Хотя бы знать, раз уж бессилен что-либо сделать,— заметил Жаннэ.— Видно, она здорово пошпионила за нами!

— Ну, ладно, садитесь за стол,— сказала Бертиль, которую явно раздражает эта упорная неприязнь.

Только мы расселись, зазвонил телефон. Обычно я прошу Бертиль или кого-нибудь из детей выяснить, кто звонит. Но на этот раз, словно меня осенило, я сам прошел в кабинет и снял трубку.

— Алло! Мосье Резо? Нет, мне не сына... Это отец? — раздается в трубке.

Я подтверждаю, насторожившись: голос незнакомый, вступление странное.

— Я не смогу сообщить вам ни своего имени, ни адреса. Могу сказать только одно: у Гонзага неприятности. К счастью, у меня оказался номер вашего телефона...— Дальше голос скандирует: — Не дер-жи-те у се-бя ни-че-го из его ве-щей.

И незнакомец вешает трубку. Снова непрерывный гудок. Стоит ли волноваться? Может, это какой-то розыгрыш. Я прикидываю, глядя в окно. Под синим куполом неба очень холодно. Трава покрылась инеем. Бассейн опять замерзнет, хотя Жаннэ, вслед за Обэном, снова пробил ледяной панцирь, чтобы дать воздуха золотым рыбкам. Под лучами низкого солнца пылает и искрится колотый лед — белый уголь, припасенный морозом. Какие неприятности могут быть у студента-медика? Сразу же приходит в голову мысль: он мог оказывать услуги знакомым девушкам, попавшим в трудное положение. Но он только на третьем курсе, у него наверняка нет никакого опыта, и если бы дело шло об этом, меня бы так настойчиво не предостерегали относительно хранения его вещей. Даже при том, что он единственный сын врача с хорошей практикой, Гонзаг живет слишком широко. Не один раз мои дети, которым я ограничиваю деньги на карманные расходы, признавались мне, что им неловко, когда он платит за всех. Как он может позволять себе такие траты? При этом костюмы, автомобиль, лодка? «...Ничего из его вещей». Может быть, как раз лодка?..

Я быстро перелистываю телефонную книгу, нахожу номер, звоню в Ланьи. Но, как я и ожидал, мне отвечает автомат: «Доктор Флормонтэн будет отсутствовать до двадцать шестого декабря. В неотложных случаях обращайтесь к дежурному врачу, доктору Алакокэ в Нуази. Если желаете что-либо передать, в вашем распоряжении тридцать секунд. Говорите...» Пожалуй, лучше помолчать: ни к чему фигурировать на магнитофонной ленте, прослушивать которую, возможно, будет не один только доктор Флормонтэн.

— Где же ты? Мы тебя ждем. Что там стряслось? — недоумевает Бертиль, появившись у приоткрытой двери.

— Начинайте без меня. Я сейчас вернусь. Выйду минут на пять.

— В рождество...— протестует Бертиль.

За ее спиной появляется Обэн. Указательным пальцем я касаюсь кончика своего носа, как будто хочу почесать его. Это давнишний сигнал. Мы, братья, пользовались им еще в детстве, в Бель-Анжери. Он означал у нас: «Стоп, не плошай!» Только смысл его теперь изменился. Для нас, родителей, он означает: «Ни слова детям».

■

Я взял с собой бинокль, у меня уже созрел план: я обогну пристань и с противоположного берега буду наблюдать за нашим причалом. В чем состоит опасность, которая нам угрожает? И не опаснее ли — для нас — стать сообщниками неведомого преступления, пытаясь —

ради других — избежать этой опасности? И снова меня охватывает глухое бешенство, знакомое всем отцам семейств: в девяти случаях из десяти виновниками наших неприятностей бывают люди посторонние, которые впутывают нас в свои авантюры, причем неосторожность наших детей, легкомысленных как в своих поступках, так и в выборе знакомых, только осложняет дело.

Почти не поворачивая головы, я прошел вдоль причала. По обе стороны от него сидят два рыболова; в такую погоду для этого действительно надо обладать изрядной выдержкой. Но может быть, причина тут совсем в другом. Они могут даже принадлежать к противоположным лагерям. Я прихожу в возбуждение, и моя злоба утихает. Мне начинает казаться, что один из рыболовов наблюдает за моторкой, покачивающейся на воде рядом с моей плоскодонкой. Мне кажется, что второй рыболов следит за первым, готовый броситься на него, если он проявит интерес к лодке. А я веду наблюдение за тем и другим.

В действительности все оказалось проще, и я убедился в этом, как только перешел мост и очутился напротив. Здесь берег, поросший деревьями и кустарником, на один метр выше; здесь тоже много частных пристаней, из которых каждая может служить хорошо замаскированным наблюдательным пунктом. Пускаю в ход бинокль. Странное удовольствие видеть тех, кто тебя не видит, оказаться нос к носу с людьми, будучи от них далеко. Это сотни раз случалось со мною во время каникул, когда я подглядывал в бинокль за персонажами, обычно изображаемыми на открытках: купальщицами, выходящими из воды, парочками, лежащими в траве,— словом, за анонимными существами, чье бездумное поведение на отдыхе заставляет забыть, что каждый мужчина — охотник. Сомнения нет: оба парня гут неспроста и рыбу удят для видимости. Лет им по двадцать — двадцать пять; это, должно быть, студенты, судя по их трусливым повадкам, не слишком искушенные в подобных делах. Они боятся подойти друг к другу, сходятся осторожно, как бы ненароком... Я дрожу от холода, но ждать мне придется недолго. Им тоже холодно: они то и дело притопывают ногами или дуют себе на пальцы.

Наконец, решились! Пока тот, что слева, оборачивается, делая вид, будто меняет наживку, тот, что справа, кладет удочку наискосок на маленькую деревянную рогатину и проскальзывает на мостки. Вытащив из-под своей овечьей шкуры кусачки, он перерезает цепь у самого причального кольца, прыгает в лодку и плывет в ней вдоль берега вниз по реке. У него, очевидно, нет ключа, чтобы завести мотор, и потому он вынужден плыть по течению, стоя на носу и маневрируя для равновесия аварийным веслом. Сообщник его в это время улепетывает, позабыв про свои удочки. Когда лодка, увлеченная под арку моста, скрывается из виду, он вскакивает на мотороллер — и был таков. То, что «неприятности» у Гонзага вполне реальные, это несомненно, и характер их начинает выясняться. Во всяком случае, парень он скверный: он бессовестно поставил у нас свою лодку, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: либо в ней есть тайник, либо она тащит за собой водонепроницаемый контейнер, приклеенный к килю, как рыба-прилипала. Принято думать, что подобные истории могут случиться с кем угодно, только не с почтенным отцом семейства, который, правда, не стеснял свободы своих детей, но достаточно следил за ними и окружал их душевным теплом. По дороге домой меня охватывает бешенство. Оно внушает мне весьма достойные мысли: «Подлец! Да к тому же еще спит с моей дочерью! Ни за что ни про что...» Я тороплюсь. Я начинаю неестественно смеяться, как человек, уже теряющий над собой контроль и вдруг замечающий,

что надо срочно перестать думать о себе. «Это просто благородный рефлекс папаши, перенесенный на бумагу! Если бы этот парень обрюхатил девчонку, дело было бы серьезнее».

Снова переходя мост, я вижу лодку, которая продолжает спускаться к Нейи-сюр-Марн. Попутного ветра! Испугал ли я их, или эти типы действуют согласно полученным указаниям, но только они избавили меня от решения одной из проблем. Остается другая, причем достаточно сложная: проблема Саломеи.

— Стой! — кричит кто-то сзади.— Подожди меня!

■

Мадам Резо только что сошла на Церковной площади с автобуса № 113-С и, махая рукой, семенит ко мне. Вот некстати! Я-то надеялся, что до ее возвращения успею рассказать обо всем Бертиль, поговорю с Саломеей, изучу ситуацию. А теперь почти невозможно не ввести ее в курс дела Хорошее же мнение составит она о нас, когда, вдобавок ко вчерашнему, услышит еще и эту историю. Но главное, при ее болтливости она может пуститься в откровенности со своею фермершей, которая рада будет посудачить о случившемся по всей округе.

— Так вот, я поглядела на наших чернокожих,— сказала мамаша, догнав меня около кафе-мороженого на углу бульвара Баллю.— Живут они у черта на рогах! Автобус, метро, опять автобус — думала, никогда не доберусь.

Она остановилась, чтобы отдышаться.

— Надо было взять такси,— сказал я.

— Такси... Ишь ты какой! — осуждающе возразила мамаша.— Словом, главное, что Фред согласен. Разумеется, если вдобавок к основному капиталу дать ему небольшой бакшиш — И без передышки продолжает: — Не очень он и удивился моему приезду но, признаюсь тебе, меня это мало волнует. Фред был навеселе. Ему ведь нет и пятидесяти, а выглядит он на все шестьдесят: толстый, лысый, совсем опустился. Мулатка его мне понравилась. Она мило шепелявит, видно, энергичная, довольно хорошенькая... Уж и не знаю, как это у нее получилось: мальчишка весь в кудряшках, губастый, гораздо чернее ее. Об их лачуге говорить не буду... Я видела такие, когда твой отец был судьей в Гваделупе. Словно барак в колониях, только без африканских солдат.

Уже не впервые я замечаю у матушки эти сладострастные интонации, когда она говорит о невзгодах своих близких. Можно подумать, что она находит в этом подтверждение своей правоты и смакует этот частный случай наказания, это непременное следствие ее осуждения, относящегося ко всем. Если теперь все идет плохо, разве это не доказывает, что когда-то все было лучше?

— Но почему ты не дома? Разве вы еще не садились за стол? Впрочем, меня это устраивает, мне неловко заставлять твою жену кормить меня отдельно.

— Она покормит нас обоих. Я тоже еще не успел пообедать.— Раз ей по вкусу наши горести, подадим их горяченькими Будем продолжать: — Дома никто еще ничего не знает. С Саломеей случилась прескверная история.

— С Саломеей? Каким образом? — восклицает она, схватив мою руку.

— Зайдемте в кафе. На улице не поговоришь, очень холодно, а прежде, чем вернуться домой, я хотел бы знать ваше мнение.

Я открываю перед ней дверь, усаживаю ее на застекленной террасе, лицом к Марне; ей приносят джин с тонизирующей водой, к которому она не притронется. Я рассказываю ей все.

■

И то, что она узнает от меня, становится сущей ерундой по сравнению с тем, что она невольно открывает мне.

Я думал: у нее слабость к Саломее, такая же, какую она питала к Марселю, но так же, как и к нему, чувство это поверхностное, неглубокое; оно связано с желанием обеспечить себе если не сообщника, то, по крайней мере, доброжелателя.

Я думал: в Саломее ее привлекает именно то, чем она в конце концов заставила меня с ней поделиться; то, что случилось, тешит ее тайную неприязнь, ее презрение к нашей семье, которую она же и расшатала своим властолюбием.

Но я далек от истины. Я жестоко ошибся: мадам Резо зашипела было:

— Так-так, теперь и ты узнаешь, что такое неприятности с детьми! — И тут же вся посерела и, задыхаясь, забормотала:— Бедняжка! Теперь... она... пропала.— Но она довольно быстро взяла себя в руки и напустилась на меня: — А ты что, не мог углядеть, с кем она водится?

Однако, когда я заговариваю о том, что надо бы расспросить Саломею, она тут же принимается возражать, противореча самой себе:

— Саломея наверняка ничего не знает. Не надо ее травмировать. В конце концов, ты только предполагаешь, но у тебя нет доказательств, что Гонзага посадили или хотя бы даже что он в чем-то провинился. Чего ты добьешься, если будешь торопить события? Предупреди Бертиль, этого достаточно. А в остальном будем настороже, подождем.

Молчать, таиться — нет ничего более противного ее натуре. Она выпрямилась, но как бы она ни старалась сдержаться, на глазах у нее выступили слезы, подбородок слегка вздрагивает, и сейчас, глядя на нее, я куда больше взволнован этой неожиданностью, чем историей с Гонзагом. Приходится признать очевидное: мамаша самозабвенно полюбила Саломею. Вдруг, сразу. Подобно тому, как заражаются малярией. Значит, у холодного чудовища моего детства по жилам течет все-таки горячая кровь, которая питает это пылкое чувство! Но почему только теперь, так поздно, почему не тогда и не к нам, ее детям?

XIV

В нашем доме, выстроенном по моему желанию в основном из стекла, не так-то легко сохранить тайну хотя бы даже на один день. То обстоятельство, что я вернулся вместе с мамашей, в первый момент послужило мне алиби: я ничего не сказал, так что все подумали, что я ходил ее встречать. Пока мы ковырялись в своих тарелках, дети торчали в столовой, ожидая Гонзага, и я, к сожалению, не мог поговорить с Бертиль, которая то и дело бросала на меня встревоженный взгляд. Если домашние что-то и подозревали, они могли думать только, что дело идет о неприятностях, не касающихся нашей семьи, и мысль, что у меня может быть от них общая тайна с бабушкой, даже не приходила им в голову. Но в три часа Жаннэ, удивленный тем, что Гонзаг так и не появился, сел в наш «ситроэн» и поехал по-

смотреть, не застрял ли тот где-нибудь со своей машиной, но почти тотчас вернулся.

— Вот это здорово! — сказал он.— Моторки на месте нет. Значит, Гонзаг приезжал за ней.

— И сюда не зашел! — воскликнула Саломея.

— Возможно, родители попросили его покатать каких-нибудь неожиданных гостей,— сказала Бертиль, не сводя с меня глаз.

— Он зашел бы извиниться,— сказала Саломея.

Как мы с мамашей ни старались продемонстрировать обезоруживающее спокойствие, как ни пытались переменить тему разговора, я чувствовал себя словно в осаде. Саломея позвонила в Ланьи, но ей, так же как и мне, ответил автомат. Дети столпились вокруг нее. Я не мог помешать Жаннэ взять телефонную грубку и решительно заявить магнитофонной ленте:

— Послушай, Гонзаг, куда же ты запропастился? Надоело тебя ждать!

— Обманщик! — крикнула в трубку Бландина.

— Позвони мне, милый, как только вернешься,— сказала, наконец, Саломея.

Я облегченно вздохнул: никто из них не назвал своего имени. Впрочем, это наивное утешение: в случае необходимости хороший следователь без груда доберется до моей дочери.

— Что случилось? — шепнула мне Бертиль, воспользовавшись этой интермедией.

Перед нашим домом круто затормозил чей-то «фиат», избавив меня от необходимости отвечать. Выскочив из машины своей матери, Мари Биони, подружка Жаннэ, бегом пронеслась через сад, в два прыжка взбежала на крыльцо, распахнула дверь.

— Ну и скандал! — воскликнула она, в то время как Жаннэ, приподняв ее за локти, оторвал от пола и поцеловал.

Маленькая — всего полтора метра росту, с личиком, утонувшим в море волос, Мари очень привлекательна. Верзила Жаннэ вообще питает слабость к миниатюрным девицам, но, сменив десяток-другой, с этой не расстается уже больше двух лет. Ее грозный отец, налоговый инспектор в Ланьи, известный в округе своей строгостью, оправдываемой всегда одним и тем же доводом: «Не моя вина, если государство — великий вымогатель», так робеет перед дочерью, что, несмотря на свои корсиканские принципы, мирится с тем, что он называет «предварительной связью». Однако Мари никогда не скрывала того, что связь эта у нее не первая. Более того, она признается в своих прежних романах с типичной для ее поколения легкостью. (Впрочем, «признается» — не то слово, потому что она вовсе не считает это провинностью... Вернее сказать, она говорит о них откровенно.) Хоть я уже и привык к подобным вещам, временами у меня просто дух перехватывает, особенно когда я вижу улыбающегося Жаннэ: он не ревнует, а скорее даже польщен тем, что его девушка так свободно мыслит, что она не глупа и не дорого ему стоит (то есть умеет наравне с молодым человеком тратить деньги своего папаши), лишена начисто прирожденного женского галанта произносить высокопарные фразы и создавать сложности.

В настоящую минуту это юное существо, вновь поставленное на собственные ножки, с тревогой взирает на Саломею:

— Ты правда ничего не знаешь? Гонзаг...

— Что Гонзаг? — спросила Саломея мгновенно изменившимся голосом.

А ведь все осталось по-прежнему, хотя наши дочери и начинают теперь с того, чем кончали их бабушки. Чувственность ли будит в них чувства или наоборот, но результат один и тот же: они одинаково быстро начинают мучиться.

— Кто бы мог подумать? — продолжала Мари, уцепившись за пиджак Жаннэ.— Гонзага взяли сегодня в одиннадцать часов у него дома. Служанка была отпущена, а родители уехали на уик-энд в свой загородный дом на Луаре. Я сама видела, как полицейские прыгали через ограду.

Нужно сказать, что Мари живет на одной улице с Гонзагом и именно у нее мы все с ним и познакомились.

Саломея словно оцепенела.

— Ну, давай выкладывай все! — сказала она.

— Они обшарили дом сверху донизу,— продолжала Мари.— Говорят, больше всего им хотелось поймать одного типа, но тот оказался попроворнее их: соседи видели, как он улизнул через заднюю калитку. А Гонзаг спал. Полицейские надели на него наручники и увезли.

— Но почему? В чем дело? — простонала Саломея.

Ее тон успокоил меня: значит, она ничего не знает. Все слушали остолбенев, кроме мамаши и Бертиль, которые незаметно подошли к Саломее, проскользнув за ее спиной.

— А дело все в «травке»,— сказала Мари.— У папы в полиции есть знакомые, от них он и узнал. Главный — тот, что удрал, а Гонзаг — его сообщник. Полиция уже три месяца выслеживала группу студентов, которые снабжали «травкой» хиппи и университеты. В общем-то полиция прохлопала: конфисковали пять пачек псевдосигарет, которые обнаружили в комоде,— и все. А думали найти что-то поинтереснее.

Черт подери! Склад-то был в моторной лодке! Сейчас, наверняка уже разгруженная, она, должно быть, стоит себе где-нибудь в лодочном сарае. Но — молчок! Распространяться об этом не следует, а то еще разболтают, и тогда к нам могут явиться с обыском. Если будут считать, что мы ничего не знаем (а то, что мы знаем, уже не имеет никакого значения), то в полном молчании нет ничего плохого. Кто посмеет упрекнуть нас за это? Я вовсе не собираюсь признавать, что гражданский долг выше отцовского. И я не желаю, чтобы полицейский копался в белье Саломеи.

— Он ничего мне не говорил... ничего! — твердила она сквозь зубы.

— Еще счастье, что он тебя-то не впутал! — сказала Бландина.

— Лучше бы впутал!

— Так вот откуда у него деньги! — осуждающе изрек Жаннэ.— Мне очень жаль. Мы все ими пользовались.

— Не хочу о нем больше слышать,— сказала Бертиль.

— Все потешаются над этой историей,— продолжала Мари.— Теперь, видно, о медицине ему придется забыть. Даже у доктора Флормонтэна могут быть неприятности. Представляю себе его лицо, когда он вернется!

— А лица Саломеи вы разве не видите? — злобно выкрикнула мадам Резо.— Дайте вы ей хотя бы опомниться!

По правде сказать, Саломея держалась хорошо. Даже слишком хорошо. Как статуя. Точно живая плоть ее превратилась в мрамор. Один лишь лоб оставался живым и весь сморщился, весь поднялся над черной полоской бровей. Никто не смел шевельнуться. Саломея

решилась первая. Бросив беглый взгляд на бабушку, она улыбнулась ей, потом, слегка покачиваясь на высоких каблуках, направилась к двери.

— Извините меня,— сказала она.— Мне надо побыть одной.

■

Мы слышали, как она сперва настраивала свою скрипку, потом перестала и захлопнула футляр. Целых два часа просидела она в своей комнате, и никто не мог заставить ее выйти оттуда; наконец, мамаше пришла в голову мысль сунуть ей под дверь записку. Саломея почти сразу открыла дверь, и они о чем-то два часа беседовали наедине. Молодежь, почувствовав себя лишней, отправилась к Макслонам, а Бертиль, оставшись вдвоем со мной, начиняла тишину обрывочными фразами:

— Гонзагу я это припомню! Но я вовсе не уверена, что Саломея...

Или:

— И надо же было, чтобы это случилось именно с ней...

Или еще:

— С твоей матерью мы даже не были знакомы, а теперь она...

В половине восьмого Бертиль пошла на кухню, а я позвонил Поль, но не застал ее, потом Батисту, которого тоже не оказалось дома. Только я уселся перед телевизором, как мадам Резо и Саломея Форю спустились вниз, первая опираясь на вторую. Они сели возле меня и просидели, не говоря ни слова, пока не кончили передавать «последние известия». Потом Саломея, по-прежнему далекая, отсутствующая, машинально поднялась, чтобы помочь матери накрыть на стол.

— Мы долго беседовали,— сказала мадам Резо.— Девочке нужно переменить обстановку. Мне уже давно хотелось побывать на Канарских островах. Если вы не возражаете, я возьму ее с собой и мы уедем.

Уехать в тот самый момент, когда решается вопрос о наследстве, пойти на такие расходы! Видимо, мамаше страшно хотелось воспользоваться случаем! Я взглянул на жену, и мне показалось, что она очень насторожена. Но первым пробормотал я:

— Ее же могут вызвать как свидетельницу.

— Тем более,— сказала мадам Резо.

Вдруг Саломея прижалась ко мне. От счастливой девочки, какой она была еще накануне, остались одни лишь черные локоны да эта юная линия щеки, а все лицо сделалось как-то жестче.

— Позвольте мне ненадолго уехать,— прошептала она.— Мне невыносимо сейчас оставаться здесь.

В ту минуту, когда она прильнула губами к моему виску, я перехватил жесткий взгляд, сверкнувший сквозь приспущенные ресницы мадам Резо. Потом Саломея встала, пересела поближе к бабушке, и я увидел уже только веко хищной птицы, стерегущей свое гнездо.

XV

Эта способность навязывать другим свои решения, умение быстро их осуществлять вернулись к мамаше, как будто и не было двадцатипятилетнего перерыва,— вернулись, правда, ради прямо противоположных целей. На другой же день, в девять утра, после внимательного изучения моих географических карт, на которых она отметила, что нужно посмотреть, мадам Резо уже звонила в бюро путешествий, специально занимавшееся «несезонными» поездками по сниженным ценам. Не теряя зря времени, она тут же вновь сняла трубку и зака-

зала два места — к счастью, еще нашлось два свободных места — на самолет, вылетавший в тот же день. Затем она позвонила мэтру Дибону и предупредила, что уезжает по крайней мере на месяц.

— Я бы хотела,— добавила она,— чтобы вы, не дожидаясь моего возвращения, составили пусть не акт, но хотя бы соглашение о продаже Бель-Анжери. Не тяните с этим делом, получите подписи моих сыновей. Я подготовила проект соглашения и посылаю его вам.

Потом она дала телеграмму Марте Жобо, мгновенно съездила в мой банк, откуда заставила меня вынуть определенную сумму, которую тут же мне возместила, нацарапав чек на свой банк,— при этом она не преминула подчеркнуть, как дорого стоит путешествие, выражением лица побуждая меня предложить ей помощь... от которой она тут же отказалась, быть может, в надежде на то, что я буду настаивать. Рысью вернувшись домой, она воспользовалась тем, что младшие были в лицее, а Жаннэ снова занял на днях свое место у счетной машины в страховом обществе, где он работал до военной службы, и насела на Бертиль, все еще не решившую, отпускать ей Саломею или нет. Она наседала и на меня; я же — не более чем моя жена — горел желанием отпустить с ней Саломею, но мне не хотелось огорчать дочь, кроме того, я был зачарован зрелищем такого пылкого покровительства, и мне любопытно было посмотреть, до чего оно может дойти. Она приставала и к самой девушке, которая, конечно, посчиталась бы с нашей просьбой повременить с поездкой; она набивала ее чемодан, затягивала ремнем и шептала:

— Не бери пример с меня. Не замыкайся в своей комнате и в своем разочаровании.

Короче говоря, в шестнадцать часов, пропустив впереди себя Саломею, мадам Резо с широкой улыбкой уже предъявляла контролеру два билета на самолет.

— В сущности, это мое воздушное крещение,— весело сказала она, победоносно махнув нам рукой через барьер.

Мы проводили ее без радости. Десять минут спустя, поднявшись на террасу и вдыхая резкий запах керосина, который становится теперь запахом дальних странствий, мы увидели, как «Каравелла», выплевывая две серые струи, встала на дыбы над взлетной дорожкой и быстро поднялась в ветчинно-розовое небо, окаймленное на горизонте плотной грядой облаков.

XVI

Четыре дня — никаких вестей. Может быть, это следовало приписать нерадивости испанской почты? Когда мы посылали Саломею в Шотландию, а на следующий год в Ирландию совершенствоваться в английском языке, я заметил, что без нее в доме становится более пусто, чем без Бландины или Жаннэ; когда ее или Обэна нет, у нас воцаряется особенная тишина, стены словно раздвигаются, паркетины становятся длиннее — Саломея словно укорачивает их своими быстрыми шагами. Я не люблю думать об этом, но все же нельзя не признать, что привязанности, совсем как маргаритки, можно насадить. Есть существа, которые в силу обстоятельств, казалось бы, должны значить для тебя меньше, чем они значат; какое-то время ты стараешься проявлять к ним внимание из чувства долга, а потом их жизнь понемногу заполняет твою. Я это знаю лучше других, но не я один это испытал. Я не вставал из-за письменного стола, а Бландина не отрывалась от своих тетрадей. Бертиль в каком-то нервном состоянии хлопотала по хозяйству. Обэн, вернувшись из школы, одиноко бродил по саду или заглядывал в мой кабинет.

— Ничего нет от Смэ?

На пятый день — в четверг — он с шумом взбежал по лестнице, размахивая двумя экземплярами одинаковых почтовых открыток, на которых высился пик Тейде, тенерифская достопримечательность номер один в белой шапке, на фоне столь же безоблачного, сколь и преувеличенно синего неба. «Отлично,— подумал я,— каждая пишет отдельно». Но у мадам Резо на уме была одна только Саломея: «Чем больше видишь, тем меньше у тебя времени копаться в себе. Я стараюсь показать ей возможно больше. Стараюсь, чтобы под прикрытием защитных очков она не уходила в свои мысли». А Саломея в не меньшей степени была занята мадам Резо: «Десять часов она проводит в экскурсиях. Бабушка буквально вездесуща — она хочет всюду поспеть и всем насладиться: апельсиновая водка, достопримечательности, устрицы, морские купания. Завтра она решила непременно съездить на «кукушке» в Тен-Бела...» Саломея, правда, добавляла: «Надеюсь, вы скучаете по мне так же, как я скучаю по всем Эрде». И это все. Письма располагают к признаниям. Открытки же, которые может прочесть почтальон, выручают тех, кто к признаниям не склонен.

Но все же, чтобы нас не расстраивать, они стали присылать по открытке ежедневно. На всех были аккуратно наклеены разноцветные марки для Обэна, который отклеивал их на пару, приложив к носику чайника: все они отличались яркостью красок, и на большинстве были изображены высокие бетонные здания, вознесшиеся среди цветов, среди мелкого песка, алоэ и банановых пальм с огромными листьями, неизменно обтрепанными по краям. Наши путешественницы рикошетом летали от одного острова к другому: от Тенерифе к острову Гомера, от Иерро к Гран-Канария... А в это время мы, не двигаясь с места, рикошетом летели от белого к черному, от тревог к успокоению.

■

Прежде всего появился полицейский в штатском — толстенький, вежливый, он беспрестанно кивал головой и ласково задавал вопросы. Он собирал сведения — «ничего серьезного, месье и медам» — в связи с одним небольшим дельцем о торговле марихуаной. Некто Гонзаг Флормонтэн, «приятель ваших детей,— не так ли? — и в первую очередь мадемуазель Саломеи, по общему мнению, прелестной девушки», не приносил ли им когда-нибудь этот Гонзаг сигареты? Не приходилось ли нам обращать внимание на специфический запах? Не замечали ли мы, что идет какая-то торговля?

Слава богу, Бертиль громко расхохоталась, и инспектор удовольствовался, вместе с чашкой кофе, моим безграничным удивлением.

■

Спустя неделю, в сумерки, у наших дверей позвонил доктор Флормонтэн. Поглаживая рукой розовую лысину, он начал с того, что попросил нас извинить его сына, которому «не удалось» в течение десяти дней дать нам о себе знать. Я ответил, что, как и все, имею о нем сведения, ибо слухами земля полнится. Доктор сразу же начал изливаться в жалобах: бедный мальчик! Его ужасно подвели дурные приятели. Мы, которые его хорошо знаем, разумеется, не можем в этом сомневаться. Но отклика с нашей стороны не последовало; тогда вдруг этот доктор, столь холодно ставивший диагнозы, гнусавя и заикаясь, принялся защищать сына — речь его могла скорее разжало-

бить, нежели убедить. У единственного отца единственный сын — отец никогда не признает, что сын у него негодяй. Но уходя, доктор имел неосторожность небрежно спросить меня, не знаю ли я, что сталось с лодкой.

— Я знаю только, в каких целях ее использовали, и знаю, что приятели Гонзага вовремя ее угнали,— ответил я.

Папаша опешил.

— Но тогда дело куда серьезнее, чем я думал,— испуганно сказал он.— Во всяком случае, никому об этом не говорите.

Он дернул плечом, выпрямился, на прощание кивнул головой и влез в свою машину, ни слова не проронив о Саломее. Моя холодность, естественно, не позволила ему обнаружить подлинную цель своего визита.

■

Но я догадывался о ней, и вскоре, когда пришло первое письмо из XIV округа, догадки мои подтвердились. Одно из двух: либо узник возвращал свободу моей дочери, либо пытался уцепиться за нее. О том, чтобы это проверить, не могло быть и речи: подобно тому как желтая черта на дороге считается стеной, так и запечатанный конверт должен считаться неприкосновенным; и это относится не только к моей обидчивой молодежи, но и к Обэну — личные письма дают ему веское основание смотреть на себя как на личность: раз письмо адресовано ему, значит, какое-то третье лицо оказало ему внимание, для него трудился почтальон, родные уважают тайну его переписки. Когда-то я ненавидел власть тираническую, и потому теперь не переношу никакой власти, в том числе и своей собственной, и предпочитаю заменять ее решениями, принятыми сообща, позволяя себе разве что «направлять» их. Моя деликатность того же происхождения: я слишком негодовал в те времена, когда мосье Резо проверял наши письма, когда он, надев очки на кончик своего большого пресвитерианского носа, подвергал тщательной проверке и то, что мы отправляли, и то, что получали, да еще передавал своей супруге для дополнительного просмотра.

Ни Бертиль, ни дети, с которыми я посоветовался, не сочли возможным делать исключение из правила. Впрочем, второе письмо кое-что прояснило: раз Гонзаг проявляет упорство, значит, хочет уцепиться. Второе любовное послание вместе с первым было положено на видном месте, на бюваре маленького бюро Саломеи в ее комнате, так называемой «комнате с коровами» (обои ее бесконечное число раз воспроизводят горные пейзажи Ласко). В отсутствие дочери мы там ничего не трогаем, но зато и она, как и ее братья и сестра, никогда не позволяет себе оскорбить нас, хоть что-нибудь заперев на ключ.

■

Впрочем, нам очень скоро пришлось забыть о нашем гипотетическом зяте и подумать о вполне вероятной невестке. Как выразилась мадам Дару, «пока дети совсем маленькие, мы занимаемся главным образом их нижним этажом. Потом мы долго трудимся над их головой; когда же они совсем вырастают, мы вновь оказываемся перед старой проблемой». Однажды в субботу к нам явился другой отец, на сей раз отец Мари, и, сдерживая гнев, сообщил нам, что вот уже две недели, как его дочь обнаружила прискорбную склонность во время завтрака выбрасывать изо рта столько же пищи, сколько она в него закладывает.

— Я пришел узнать, какие у вас намерения,— сказал он, устремив на меня взгляд человека, привыкшего по лицу угадывать обманщиков.

— Вы хотите сказать, намерения Жаннэ,— уточнила Бертиль, напоминая ему, что мода на браки, устраиваемые родителями, прошла и даже такой случай — не повод для исключения.

— Мне очень симпатична Мари,— тут же добавил я.— Но ей-богу же, надо предоставить молодым людям самим решать подобные вопросы. Было бы крайне нелепо навязывать им то, чего они, несомненно, сами желают. Иначе всю жизнь при малейшей ссоре они станут бросать друг другу этот упрек.

Нам ничего не оставалось, как вместе выпить по аперитиву: роль благородного отца свелась теперь к немногому. В голову мне пришла забавная мысль: вот как в наше время соединяются Корсика и Анжу, причем на это даже не требуется их согласия. Подобно донорам, мы не знаем, каким образом распорядятся нашей кровью: совершенно чужой человек, с которым еще накануне мы едва были знакомы, вдруг становится вторым дедушкой вашего внука... Ну да, дедушкой! Пришла мне в голову и другая, менее забавная мысль: новое поколение уже готово сделать из меня дедушку. Когда мой будущий сват, почти успокоенный, ушел, я взглянул в передней на себя в зеркало, и мне показалось, что у меня довольно потрепанный вид.

■

Впрочем, мосье Биони тревожился совершенно напрасно. Столь же требовательный к себе, как и к другим, Жаннэ (потому я и терплю, хотя порою он меня раздражает) не из тех, кто пытается ускользнуть от ответственности: скорее он сам рвется ей навстречу и испытывает удовлетворение, удовлетворяя пожелания других (как раздраженно говорил один из его учителей). В тот вечер, вернувшись с работы, Жаннэ зашел ко мне в кабинет, где мы с Бертиль считывали отпечатанную в четырех экземплярах статью, и на свой манер объявил нам, какой оборот приняло дело:

— Скажи, папа, я ведь Жан Резо номер девять, если считать от королевского судебного пристава, скончавшегося в тысяча семьсот шестидесятом году от заворота кишок? Так вот, на очереди следующий номер: Мари уже готовит десятого Жана Резо.

Он держал себя совершенно свободно и ждал нашего одобрения.

— Ладно,— сказал я,— а когда же ты женишься?

— Если можно, через месяц, и без церемоний.

Решительность, простота. Браво! Что касается волнения, то я знал этого зверя, порожденного другим зверем с такой же толстой шкурой: волнения он не обнаружит. Но я в таких случаях молчу, а Жаннэ пускается в рассуждения:

— Знаешь, что я думаю: без этого можно было бы и обойтись. Но раз уж так случилось, давайте разберемся и посмотрим статистику. Мы попали в те сорок процентов смельчаков, которые загодя обзаводятся первенцем. Но признаюсь тебе: вышло это случайно, а раз уж он все равно родится на свет, мне немного обидно, что мы его сделали не умышленно.

— Сейчас еще очень легко от него избавиться,— сказала Бертиль.— А значит сохранить его — все равно что сделать умышленно.

Мы замолчали, потому что в дверь четыре раза постучал Обэн, чтобы я подписал ему табель (Жаннэ стучит один раз, Саломея — два, Бландина — три, а Бертиль скребется). Но прежде, чем выйти, будущий отец расцеловал нас всех; он даже задержался и похлопал меня

по плечу. Он-то был сделан умышленно, и если после смерти его матери в этом можно было усомниться, то ведь еще был я — живой свидетель этого факта. Час спустя, один в своем кабинете, я еще долго раздумывал над всем этим. Когда Жаннэ был маленьким, он, конечно, был мне гораздо ближе. Я очень любил его, моего мальчика. Но одно дело просто любить, другое дело непрестанно пылать и трепетать от любви. Быть может, с годами Жаннэ стал уж слишком на меня непохож. Возможно, он что-то утратил по сравнению с прелестью моих дочерей, которые в конце концов открывают отцу глаза на то, сколько нежности таится в женщине.

Когда позвонил колокольчик, призывавший к обеду, я перечитывал последнюю открытку со штемпелем Арресифе на острове Ланзароте. «Мы возвращаемся во вторник утром, увы!» — сообщалось в ней. Но это было написано острым почерком моей матери, и ее черный росчерк перекрывал маленькую подпись Саломеи, которая теми же чернилами вычеркнула слово «увы». Девочка, подумал я, наверно, не меньше меня устала от этого путешествия с такими короткими остановками, что нам даже ни разу не удалось связаться с ней. Как и Бертиль, я досадовал на нее; раздосадовала меня и дата ее возвращения. Рискуя показаться невнимательным, я тем не менее не мог поехать в Орли встретить ее. Я обещал быть у нотариуса, мэтра Дибона, который именно в этот день пригласил трех братьев Резо к себе в Соледо. Мог ли я всех подвести? Нет, даже ради Саломеи.

XVII

В начале февраля шины всегда оставляют четкий след на обледенелых аллеях. Никаких других следов, кроме моих, нет — значит, до меня никто не приезжал. Правда, еще рано, поэтому я и проехал через Бель-Анжери. Стойкий туман оживляет блекло-розовый тон наполовину выкрошившихся кирпичей, красит в цвет морской волны потрескавшиеся черепицы, с которых вода, наверно, протекает на чердак, так же как у подножия стен она стекает на землю из лопнувших водосточных желобов. В дальней роще зима затопляет канавы и терпеливо обмывает расчерченную множеством живых изгородей беспредельную шахматную доску лугов, по которой, каркая, бродят непромокаемые, черные, как зонтики, вороны. Не успел я затормозить, как Марта Жобо вышла из своего дома. На голове у нее клеенчатый капюшон; на ногах резиновые боты; в остальном же она бесстрашно пренебрегает сыростью, словно тело ее, пахнущее коровой и кислым молоком, не боится воды.

— Значит, вы теперь возитесь с бумагами,— сказала она,— и скоро станете владельцем земли, на которой стоите.— Она захихикала: — Владельцем... Ну да, я хочу сказать: после мадам Резо.

Я выхожу из машины и даю ей руку, в которую она нерешительно вкладывает свою, вытерев ее о передник.

— Заходите, поболтаем немного у огонька,— приглашает она.

Я сажусь на низенькую хромоногую табуретку, протягиваю руки к очагу, который был еще очагом Бертины и где по-прежнему горят суковатые дрова, наколотые из нижней части ствола, достающейся лесорубу,— Жобо, наверно, пришлось колоть их не час и не два,— и мне только и остается, что слушать Марту. Чтобы не терять зря времени, она вынимает из форм маленькие местные сыры, потом принимается полоскать подойники.

— Да, прямо скажем, мадам Резо круто повернула! Уж как она вас ругала! И, между нами, вы тоже не больно хорошо с ней поступили...— Марта берет миску и размешивает в ней квасцы, чтобы сыр

стал острее. Она продолжает доверительным гоном: — Нужно сказать, мосье Марсель помог вам тем, что хотел заграбастать все наследство. А потом еще ваша барышня... Ну, просто не верится! Видано ли, чтобы мадам так загорелась? Саломея — то, Саломея — се, только о ней и разговору. Мадам точно заколдовали.

— Она вам это говорила?

— Она мне все говорит,— ответила Марта.— Вы знаете, ведь мадам ничего не умеет делать, и теперь, когда она осталась одна, без служанки, просто жалость берет. Я видела, как она варила эскалоп — положила в кастрюлю с водой и ну кипятить! А уж о белье и говорить нечего... Помочила — вот и выстирала; так все серое-пресерое и сушит над своей печкой, а печка-то дымит! Пуговица оторвалась — для нее это беда. Вот она и приходит, я ей помогаю, она мне рассказывает.

Марта берет тряпку, начинает вытирать формы для сыра, и раз уж она пустилась в откровенности, ободренная нашими неурядицами и долгими годами мамашиных признаний, она выкладывает мне все:

— Простите, если не так скажу, но люди в Соледо скорее жалеют мосье Марселя. Такой приличный человек! Ходит в церковь! Жертвует на школу, на всякие добрые дела...

Захватить себе все привилегии и при этом прослыть благодетелем — сия метода мне знакома: моя семья следует ей вот уже две сотни лет, и хотя здешние крестьяне давно забыли о почитании господ, хотя им кажется, что они досконально знают свои права, они до сих пор клюют на эту удочку. Замечу еще одну частность, которая привела бы в восхищение моего отца: Марсель ни разу не ремонтировал фасад, так что штукатурка с него обваливается пластами; он предпочел поддерживать остатки былого семейного престижа. Вдруг Марта умолкает и прислушивается.

— По берегу идет автобус,— говорит она.

Я ничего не слышу, но ее острый слух крестьянки еще и не то улавливает.

— Автобус замедляет ход. Это мосье Резо приехал.

Не станем подскакивать от удивления: по традиции, Марта называет Фреда, старшего сына нашего покойного отца, по фамилии. Однако при этом она чуть морщится. Если автобус остановится в конце аллеи, кто может из него выйти? Из соседей — никто, иначе она бы это знала. Потому что она знает все — и в частности, то, что у бедного мосье Резо нет машины.

■

Он тоже мог ехать прямо в Соледо. Но раз уж он проезжал мимо и столько лет здесь не был, он не устоял перед желанием взглянуть на старый отчий дом, пусть даже из-за этого ему пришлось пройти под дождем целый километр. Я вышел на порог, чтобы посмотреть, как он появится. Однако неужели этот человек, чей толстый живот торчит между болтающимися полами старого габардинового пальто, человек, который прикрывает развернутой газетой блестящий череп, неужели это действительно Фред? Он тяжело шлепает по лужам, глядит по сторонам, словно пересчитывая оставшиеся деревья. Я, право, узнал его, только когда он приблизился ко мне на расстояние двадцати шагов, да и то благодаря его искривленному влево носу и выступающему вперед жирному подбородку. Почему в эту минуту мне пришла мысль, что я только на полтора года младше его? Я похолодел, и меня не утешила даже его первая фраза:

— А ты держишься молодцом, сукин сын! — И помолчав немно-

го, продолжает, а передо мной как будто воскресает прежний Рохля: — Ты видел? Она все нам тут вырубила, даже большой каменный дуб, посаженный первым владельцем имения. Страшно подумать! Если бы он отыскался, этот дуб времен Людовика Пятнадцатого, то оказалось бы, что из него сделан паркет в гостиной какого-нибудь торгаша... Пойдешь со мной? Я хочу посмотреть на остальное.

— Мадам запрещает мне открывать дом в ее отсутствие,— говорит Марта.— Но вы можете побродить по парку. Я дам вам зонтик.

Речь идет о красновато-буром зонте размером с церковный купол, под которым раз в неделю, сидя посреди базарной площади на табурете для доения коров, перед корзиной с яйцами и утками со связанными лапками, Марта стоически бросает вызов мокрому снегу в ожидании своих постоянных покупателей. Мы легко помещаемся под ним вдвоем и меланхолически обходим парк, превращенный в пустырь. Телеги проложили здесь глубокие колеи, то тут, то там попадаются небольшие холмики, окруженные корнями, а между ними — деревянная плита, почти погребальная, которую вровень с землей оставила электрическая пила. Правильные круги на таких плитах говорят о том, что здесь было хвойное дерево, слегка вытянутые круги — лиственное. Число концентрических кругов указывает на возраст покойных; я поминутно нагибаюсь и узнаю то гигантскую рябину, то рекордной высоты ясень, а по стойкому запаху — серебристый кедр, секвойю с красной древесиной, каждое дерево — по шесть метров в обхвате. Я уже не впервые на месте этого побоища, где жадность, вероятно, играла меньшую роль, чем злорадство при виде того, как падают деревья, столь же представительные в генеалогическом отношении для семьи землевладельцев, как и те, кто их посадил.

— Стерва! — ворчит Фред в каком-то веселом бешенстве.

Фред, который все здесь помнит совсем иным и не может смириться с происшедшими переменами, снова вернулся к тону той поры, когда мы вырезали буквы М. П. — Месть Психиморе — на коре исчезнувших гигантов. Впрочем, вот уже пять пятилетий ни он, ни я не приезжали побродить под их генью. Ни он, ни я не можем считать себя совсем уж ни в чем не повинными. Мать пожертвовала деревьями Резо, я пожертвовал их идеями, Фред — их тщеславием, Марсель — их землей, словно каждый из нас участвовал в крупной афере по разрушению, считая при этом, что только его можно извинить. Впрочем, какая странная непрерывность в прерывном! Подобно мадам Резо, Фред ведет себя так, будто расстался со мной только вчера. Время лишило его волос, как оно лишило Бель-Анжери столетних деревьев. Но Рохля, которому скоро пятьдесят, говорит своим прежним голосом:

— Смотри-ка! А вот и Кропетт.

■

К нам присоединяется президент и генеральный директор. Он издали видел, как мы спускались к пруду. Чтобы не промокнуть, он не вышел из машины, и его «мерседес» медленно катится по бывшей круговой дороге, которая отличается теперь от луга только тем, что трава на ней чуть пониже. Сухие веточки трещат под колесами. Поравнявшись с нами, Кропетт открывает дверцу и без всяких церемоний тоже укрывается под огромным зонтом Марты.

— Я так и думал, что застану вас здесь,— говорит он.

Да, это Кропетт — он на время свободен от своей жены и детей, от своих дел и забот, так же как мы свободны от наших. Он держится подчеркнуто непринужденно и даже здесь не может забыть, что

он — солидный буржуа, набравшийся американского духа и ставший крупным предпринимателем. Он носит в петлице скромный значок того братства, которое вербует своих членов среди руководителей предприятий и с благословения монсеньеров епископов — теперь их чаще принято называть святыми отцами — изменяет характер, если не деятельность, благомыслящих властей. На мгновение он закатил глаза, когда увидел, во что превратился Фред. Но вот чудо: держится он почти просто и чуть ли не сердечно. Сегодня, видимо, в его интересах спуститься с высот, прикинуться любезным. Видимо, ему стоит немалых усилий не разыгрывать из себя важную персону. Но могло ли не поразить его редкостное событие, не случавшееся с 1933 года: наше совместное пребывание в Бель-Анжери. На несколько минут он растаял. Он забыл про вопросы, упреки, расчеты. Он все забыл, как и мы. Старший, средний, младший не имеют возраста; годы, общественное положение, внешние приличия, выгода — все теряет свое значение, свой вес. Три брата стоят на берегу пруда под красно-бурым шелковым зонтом, по которому барабанят капли дождя. Только что они заметили лодку. Свою старую лодку. Из нее нужно вычерпать воду, которая уже почти покрыла решетку. Но дно ее просмолено, бока выкрашены, уключины смазаны жиром.

— Жобо ходит в ней на рыбалку,— говорит Марсель.

Воздух пропитан чувством сожаления — о былой силе наших мускулов, об этих дерзновенных рейсах, когда мы широкими взмахами шеста гнали лодку против течения, направляя ее к узким стремнинам, где полая вода поворачивала ее поперек и прибивала к берегам, ощетинившимся черными колючками. И вдруг огромный зонт падает — Фред прыгнул в лодку. Из-под скамьи, где лежат багры, он выхватил черпак и, налегая всей тяжестью на один борт, вновь обретя прежнюю сноровку, стал вычерпывать мутную, грязную воду. Вот и готово. Когда черпак начинает скрести по дну, Марсель в свою очередь вскакивает в лодку, становится на носу, а я, как в былые годы, не заботясь о брюках, хватаю весло и, вспомнив свою давнишнюю специальность, отталкиваюсь от берега, держа курс прямо на мостик, откуда однажды Психимора прыгнула в самую тину. Все это мы проделываем молча. Да и о чем можем мы говорить, если общие у нас только воспоминания? Лодка скользит по болоту, в которое превратился ни разу не чищенный пруд, с юга поросший камышом, любимым приютом диких уток — площадь его теперь удвоилась,— а с противоположной стороны сильно урезанный обвалившимся берегом, искрошенным копытами не одного поколения парнокопытных, которые стали ходить сюда на водопой. Дождь не прекращается. Вымокшие до нитки, но словно вновь принявшие крещение, мы пересекаем пруд; нагнув головы, проплываем под мостиком и выходим в речку Омэ. Нас начинает покачивать, и это воодушевляет Фреда.

— Ну-ка, подналяг! — кричит он.

Бывало, заплыв между двумя сетями, мы нарочно баламутили воду, чтобы испугать рыбу и загнать ее в сети, где она и запутается. И вот мы, насчитывающие втроем пятнадцать детей, но сейчас сами настоящие дети, стоим в лодке, широко расставив ноги, и с хохотом дружно нажимаем то на правый, то на левый борт. Вода под днищем расступается, упругие волны откатываются к берегам, шлепают по ним, хватают мохнатые корни ольшаника и ивняка, возвращаются к нам, встречая на пути новые волны, которые с шумным всплеском то и дело откатываются от лодки. Борт ее уже почти вровень с водой, она вот-вот хлынет в лодку — в этом и состоит игра. Еще чуть пригнувшись, чтобы не потерять равновесия, эти почтенные господа, теперь уже не босиком и не в драных холщовых штанах, как бывало

прежде, жмут еще сильнее... Уключины касаются черного месива, поднимающегося со дна, и здоровый ком вонючего ила, смешанного с остатками гниющих листьев, летит в лодку, избрав местом падения ноги президента и генерального директора, который, перестав смеяться, кричит:

— Экая пакость! Я набрал полные башмаки.

■

В результате мы опаздываем к мэтру Дибону, где нас ждет немаловажный сюрприз: в кабинете мы застаем не только нотариуса, но и нашу любезную матушку. По правде сказать, вид у нее довольно странный: напудренная, подмазанная, с накладным шиньоном, завитая, с подкрашенными волосами, в костюме цвета морской волны, едва доходящем до колен. Она внимательно разглядывает нас:

— Смотрите, какие вы свеженькие!.. Что я вам говорила, мэтр? Они пошли в парк покататься на лодке, чтобы оживить воспоминания.— И видя мое крайнее удивление, поясняет: — Да, рядом с Саломеей я была похожа на фею Карабос. Вот я и решила одеться посовременнее... Сегодня в десять утра мы прибыли в Орли. Тебя там не оказалось, я позвонила Бертиль и узнала, что акт будет подписываться только сегодня. Мы как раз успели к скорому поезду на Саблэ, и мэтр Дибон был так любезен, что согласился нас встретить...

— У меня, дорогая мадам Резо, есть ваша доверенность,— сказал нотариус.— Но все мы предпочитаем, чтобы вы присутствовали лично.— И, обращаясь ко мне, он добавил: — Ваша дочь из скромности не решилась зайти сюда. Я оставил ее с женой, пока мы будем беседовать.

Предполагалось, что беседа будет короткой, ибо в принципе все было заранее согласовано. Но как только нотариус коснулся подробностей, договаривающиеся стороны встрепенулись, и каждый (как гласит местное выражение) «попытался схватить щуку по размерам собственной пасти». Марсель, застывший было на месте, едва увидев мадам Резо, и снова принявший оскорбленный вид (оскорбленный тем, что его поставили на одну доску с нами), напоминает, что две большие фермы теперь отделены от остального имения и что границей отныне будет река. Я легко с этим соглашаюсь. Но тут же он добавляет, что речь идет о ее северном береге и, значит, пруд окажется с его стороны, равно как и болото с дикими утками. Я возражаю, мотивируя тем, что в таком случае развлечения, подобные нашему сегодняшнему, впредь будут мне недоступны...

— Не надо смешивать жанры,— сухо отрезает Марсель.

Мне предоставляется право удить рыбу и кататься на лодке, но за это я должен уступить камышовые заросли, которые, как я понял, послужат приманкой для покупателя южной части имения, если он любит подстерегать уток в шалаше. По этому пункту соглашение достигнуто. Но Фред считает, что ему должны быть возмещены расходы на поездку. Мадам Резо, основываясь на том, что проценты за ссуды повысились, требует, чтобы я платил ей с одолженной суммы на процент больше Ладно, заплачу! Это последняя битва между буржуа, в которой каждый хочет доказать самому себе, что он умеет защищаться; в такой битве я никогда не одержу победы.

— Ну, скажем, полпроцента,— предлагает мэтр Дибон.

Пусть будет полпроцента! Эти мелкие препирательства раздражают меня и вызывают в памяти другую, очень давнюю сцену, происходившую в этом же самом кабинете, когда в нем еще царил покойный мэтр Сен-Жермен. Я сидел на том же месте, что и сейчас, но возле ме-

ня была сероглазая Моника с длинными загнутыми ресницами. Что подумала бы она об этом реванше? Да и можно ли считать это реваншем? Моника сидела на стуле без одной перекладины; этот стул — он свободен — и сейчас стоит здесь... Она ничего не говорила, она тихонько покачивалась на задних ножках стула и чуть иронически улыбалась. Будь она сегодня здесь, улыбалась бы она? И не прошептала ли бы мне на ухо, как это делала иногда, когда хотела вызвать на откровенность заносчивого сына мадам Резо: «Будь искренним с самим собою!» Да, конечно, она откинула бы голову, засмеялась бы своим гортанным смехом... «Ну что ж, мой милый, ведь однажды ты же сказал мне: «Теперь я и слышать больше не хочу о Резо»... Признайся, что положение щекотливое. Ты не переставая производил на свет новых Резо — и со мной, и с Бертиль! А чем же ты жил все эти годы, кем занимался? Нет-нет, мой милый, не всегда ты был битым. Напротив! Ты член этого клана, и ты, мне кажется, больше, чем кто-либо, эксплуатировал остальных...»

— Вы совершили приятное путешествие? Не слишком это было утомительно? — спрашивает Марсель мамашу, пока мэтр Дибон готовит бумаги.

Мадам Резо вполголоса цитирует наизусть путеводитель Бедекера... Зачем я буду искать себе оправдания? Да здравствуют мои противоречия, если они мне присущи! Я чувствую, как меня охватывает затаенное, но безудержное веселье. А ведь правда же, что и сейчас эти дамы и господа, все без исключения, старательно избегают малейшего намека на мою профессию. Постепенно возникающая между нами неловкость вовсе не связана с вопросом о деньгах — тут я легко уступаю им. Все, и прежде всего они сами, прекрасно знают, что им не дает покоя. «В молодости вас называли Хватай-Глотай,— писала мне мадам Ломбер.— Теперь вас чаще называют Людоедом». Бывают счастливые минуты, когда они об этом забывают. Потом снова вспоминают, ежатся под моим жадным взглядом и думают: «Calamus calamitas!»[1] Взгляните сейчас хоть бы на президента и генерального директора, этого примерного христианина, этого скромнейшего из скромников, который с готовностью поддерживает все — догму, порядок, богатство — и в этих незыблемых ценностях черпает и нравственную чистоту, и силу, и душевное спокойствие... Он прикрыл глаза! Под опущенными веками он чувствует себя как птица, укрывшаяся крылом,— тревожная, зябкая, когда налетает порыв ветра. Взгляните на нашу дорогую старушку Психимору, на этого злого демона семьи: как она меняется! Ведь неспроста же она сидит, повернувшись вполоборота. Взгляните на мосье Резо, которого, поменяв местами согласные, следовало бы называть мосье Зеро[2],— как нервно он потирает руки! Еще немного, и я начну питаться одним молоком. А потом вдруг мне становится стыдно...

— Ну, как дети? — вежливо осведомляется мадам Резо, чтобы прервать молчание, но забывает уточнить, к кому относится ее вопрос.

— Очень хорошо, спасибо,— разом отвечают все три брата.

Готовность, с которой мы ей ответили, знаменательна. В этом отношении все мы оказали ей одинаковое противодействие: каждый создал себе свою семью. И как раз дети, которым каждый из нас в различной среде посвятил всю жизнь,— именно эти дети и поддерживают наше полнейшее отчуждение. Жесткий взгляд мадам Резо скользит не останавливаясь с одного из нас на другого.

— Прошу вас вот здесь поставить свою подпись, дорогая мадам Резо,— весьма кстати предлагает мэтр Дибон.

---

[1] Перо (писателя) — это бедствие *(лат.)*.
[2] Ноль *(франц.)*.

Выход наш тем не менее был достаточно торжественным. От конторщика — к мелочному торговцу, от почтальона — к почтовому чиновнику, новость распространилась по всему Соледо. Под синими крышами низеньких домиков с журчащими водосточными трубами большая часть оконных занавесок пришла в движение. Несколько старух прочно засели за своими калитками, верхняя часть которых закрывается только на ночь, и головы их торчат оттуда, как лошадиные головы из стойла. Сам кюре в сутане (о костюме с пасторским воротником здесь и не слыхали!) читает на церковной паперти свой молитвенник. Мадам Резо медленно проходит два десятка метров, отделяющих ее от машин. Она уцепилась за мою руку и за руку Марселя, чтобы все это видели. Она и приехала-то сюда только ради того, чтобы развеять легенду. Чтобы широко продемонстрировать улыбку общего примирения. Но, не поворачивая головы, она бросает только что присоединившейся к нам Саломее, очаровательной в своем новом английском костюмчике, на котором блестит незнакомая мне брошь:

— Ожидая нас, ты не слишком скучала, моя птичка?

— Отвезти вас в Бель-Анжери? — спрашивает Марсель.

— Спасибо, не надо,— умиленным тоном отвечает мадам Резо.— Я вернусь в Париж с твоим братом... А ты вот что: возьми-ка с собой Фреда. Правда, мы оплатили ему поездку, но на этом он тоже кое-что сэкономит.

Так мы расстались. Прощание вышло несколько натянутым, дверца «мерседеса» хлопнула слишком сильно. Но пока я размышляю над тем, кто же, в сущности, сегодня больше всех выгадал, пока я выезжаю первым, испытывая неприятное чувство от того, что оказался шофером мамаши, она, удобно расположившись в машине, расточает через стекло дружеские приветствия.

XVIII

Я сразу заметил это: превращение коснулось не только туалета. Она строила гримасы. Она корчила рожи. У нее появилось два разных голоса: одним она нашептывала в дорогое ее сердцу ушко; другой, излишне громкий, предназначался для того, чтобы подчеркнуть дистанцию. Все ее жесты, все взгляды выражали одно стремление — обнять, приласкать, коснуться. Впрочем, не больше: она еще не привыкла, она страдала от того, что так долго сдерживалась. Но никакое другое слово, кроме слова «страсть», не подошло бы для определения чувства, снедавшего эту женщину. Страсть, которая ее омолаживала; сама она одновременно была и прежней, и новой, и как бы продольно расколотой пополам. Половина этой женщины — с той стороны, где печень,— несколько смехотворно помолодев, все же сохранила властные повадки Психиморы. А половина со стороны сердца излучала улыбки — тут она была рабой своей внучки. К счастью, Саломея, все еще сумрачная, все еще поглощенная своими заботами, пока что, видимо, не сознавала до конца своей власти; ее даже раздражала чрезмерная предупредительность и назойливое внимание бабушки; иногда она с бесцеремонной откровенностью давала ей отпор, что вовсе не обескураживало мадам Резо, а, напротив, восхищало.

— По крайней мере, ты всегда знаешь, что́ у этой девочки на сердце,— радовалась она.

Вспоминая, как матушка не терпела ни малейшего возражения с нашей стороны, я находил все это странным, а порой и оскорбитель-

ным. Прежде чем уехать в Париж, мадам Резо стала в моем присутствии отдавать распоряжения чете Жобо: этим она хотела показать, что по-прежнему считает себя хозяйкой. Затем тут же принялась намечать, что надо сделать в отношении ремонта.

— Разумеется, не всё сразу! — предупредила она.

Но к проводке электричества, и в самом деле необходимой, быстро прибавилась не менее срочная прокладка водопровода, который мог действовать только при наличии артезианского колодца и, разумеется, резервуара для фильтрации и поддержания напора воды, а также большого котла, чтобы обеспечить горячей водой современную раковину и ванну. Кроме того — разве она не права? — учитывая размеры дома и количество жильцов, которые съедутся на лето, если, как ей хотелось бы, мы будем проводить каникулы в Бель-Анжери, необходимо установить два туалета: один — для мальчиков, другой — для девочек...

— А еще что? — совершенно обалдев, спросил новый владелец.

— Известно что! — не моргнув глазом воскликнула мамаша.— Раз вы приезжаете в июле, к этому времени нужно отремонтировать по крайней мере три-четыре комнаты.

— Это уж слишком, бабуля! — сказала Саломея.— Ведь папа же не фальшивомонетчик, он не печатает денег. Дядя Марсель ничего не делал. Почему же ты хочешь, чтобы мы делали все?

Впервые я услышал ласковое обращение к матушке, придуманное Саломеей во время путешествия, и впервые мне пришлось воспользоваться ее влиянием. Когда девочка сказала «мы», мадам Резо передернуло: от этого местоимения пахло неким содружеством (тогда как для нового поколения это просто словесный способ подчеркнуть свои права, заявить о себе как о полноправном члене семейного коллектива... оставляя нам, родителям, единственную привилегию: этот коллектив финансировать). Но Саломея, не теряя здравомыслия (как это бывает с ней обычно, когда она не обуреваема чувствами), уже перешла от множественного числа к единственному:

— Не знаю, почему бы тебе не попросить ссуды на ремонт и модернизацию деревенского дома. Тебе, конечно, не откажут, тем более что водопроводом будут пользоваться и Жобо: ради фермы помогут и замку!

Выходит, Резо должны обращаться за помощью к государству, чтобы иметь возможность мыть своих детей и свои овощи?.. Папа предпочел бы, чтоб надрывалась служанка, таская воду из колодца. Но мамаша, пройдя путь от своего величия до падения, стала смотреть на вещи куда реалистичнее.

— Ты у меня умница,— сказала она.— Но хотя и на льготных условиях, это все равно заем — осилит ли твой отец еще и это?

«Осилить» я мог теперь весьма немногое, но упрекать меня в этом не следовало. Я уже не знал, отказываться мне или соглашаться, когда Саломея в своем простодушии повернула все совсем в другую сторону.

— Папа вытряхнул уже почти все, что у него было,— сказала она.— Но ты?..

Вот что значит быть скрягой, оставаясь при этом гордячкой! Мадам Резо явно терзалась, хотя и хорохорилась. Но ее страсть к Саломее помогла гордости одолеть скупость. Не глядя на меня, не считаясь даже с моим присутствием, она обвила рукой шею моего юного адвоката.

— Ну, так пополам, согласен? — сказала она, изобразив на лице нежную заботу.

XIX

Она пошла бы и не на такие жертвы, лишь бы оттеснить нас, лишь бы утвердить свои преимущества, совершенно не интересуясь ни тем, как мы к этому относимся, ни тем, какой она причиняет вред. И в любви, и в ненависти она была верна себе: упрямая, настойчивая, целеустремленная, безразличная ко всему остальному. Когда человек уже не может навязывать свою волю, он начинает хитрить, действует исподтишка, продвигается к своей цели не спеша. Но очень скоро стало очевидным, что она будет считать меня своим злейшим врагом всякий раз, как я буду стараться помешать ей занять наше место возле Саломеи.

Уже в машине, на обратном пути в Гурнэ, куда ни Бертиль, ни я не собирались приглашать ее снова и куда она направилась по собственному почину, произошел ничтожный инцидент, послуживший началом целой серии знаменательных событий. Я передал руль Саломее — отчасти с тем, чтобы она могла воспользоваться недавно полученными ею правами, отчасти, чтобы она пересела с заднего сиденья. Мадам Резо, мгновенно скорчив кислую мину, выдержала не больше пятнадцати минут. Очень скоро она уже начала нервно крутить рукоятку, опустила стекло, жадно вдохнула воздух.

— Странное дело, меня же никогда не укачивало,— призналась она.— Спереди трясет гораздо меньше.

Мне пришлось уступить ей свое место.

■

Вечером, выйдя из машины в Гурнэ, мадам Резо обняла по очереди всех присутствующих, не особенно отличая их друг от друга, потом уселась в большое кресло у камина и стала поправлять огонь, чисто, впрочем, декоративный. При этом она, в который уже раз подробно описывая остров за островом, рассказывала о своем паломничестве в страну гуанчей и канареек. В каждом порту, на каждом пляже, при входе в каждую церковь она прежде всего видела Саломею, такую хорошенькую в своем бикини, что можно понять этих дураков, американцев, которые свистели от восторга, когда она проходила. Такую смелую, ежедневно поднимавшуюся в брючках на очередной вулкан. И при этом до того способную, что она мгновенно научилась объясняться по-испански. Мамаша была неиссякаема. Когда, наконец, она решила перевести дух, Бертиль, воспользовавшись паузой, сообщила ей о женитьбе Жаннэ.

— Ах, вот как! — сказала мадам Резо, не поинтересовавшись ни датой, ни избранницей.

Поскольку Саломея поднялась к себе в комнату, Бертиль продолжала говорить — рассказала о посещении инспектора, о визите доктора Флормонтэна. На этот раз матушка слушала ее, нахмурив брови, приставив руку рупором к уху. Но когда Бертиль намекнула насчет писем, мадам Резо воскликнула:

— Надеюсь, вы их сожгли?

Бертиль возмутилась во имя свободы. Мадам Резо возмутилась во имя осторожности. Когда Саломея снова спустилась вниз, серьезная, сосредоточенная, молчаливая, мадам Резо удалось удержаться от вопросов, но она не могла скрыть тревогу, отразившуюся на ее лице. Прошло несколько минут, прежде чем она вновь обрела хладнокровие.

— Кстати, милочка, может быть, тебе следовало бы сказать родителям, что ты собираешься пойти работать.

■

Впрочем, мадам Резо очень быстро внутренне собралась, вновь развила деятельность, целые дни пропадала в Париже. Теперь мы, строго говоря, видели ее только по вечерам. Она возвращалась измотанная и в конце концов призналась Бертиль:

— Знаете, мне надоело всю зиму киснуть в Бель-Анжери. Я давно хотела купить себе квартирку в Париже. Теперь, когда я получила свою долю наследства Плювиньеков, это стало возможно; но нужно еще найти что-нибудь за подходящую цену.

Совершенно ясно, что «в ее возрасте, при ее зрении, с ее слухом», разве могла она колесить по Парижу без Саломеи? И разве не следует чем-то занять девочку, пока мы подыщем для нее место?

■

Предлог был в самом деле отличный. Мы с Бертиль просто не знали, что делать с Саломеей. Если у мадам Резо, казалось, была только одна внучка, то у нас с Бертиль было как-никак четверо детей.

Ей пришлось убедиться в этом в первое же воскресенье, когда мы все собрались вместе. Бландина болтала о тряпках со своей сестрой — они выглядели как две заговорщицы; Обэн приставал к Саломее, требуя, чтобы та решила ему десятую вертикаль кроссворда из «Орленка»; Бертиль хотела примерить ей свитер, связанный в ее отсутствие; Жаннэ чего-то канючил, а я внимательно смотрел на все это и слушал, в то время как сама Саломея — украшение всего букета, дочь своей семьи — отдыхала от разъездов прошедшей недели. Нет, право же, эту семейную идиллию мадам Резо перенести не могла.

Она вся пожелтела. Она стала жаловаться на печень. Отказалась обедать, легла, заставила Саломею раз пять — не меньше — приносить ей чай; девочку это немного раздражало, и все-таки ее снисходительное отношение к бабушке не переставало меня удивлять.

■

Впрочем, что это — снисходительность или расчет? Или и то и другое вместе? Когда мне удалось, наконец, остаться с Саломеей с глазу на глаз, я тотчас спросил ее, как она терпит то, что моя мамаша до такой степени завладела ею, и девочка тут же призналась:

— Не скрою от тебя: она настолько же трогает меня, насколько и утомляет.

Секунду спустя она добавила:

— Что поделаешь? Раз нужно, значит нужно.

Ее решительный вид ничего мне не объяснял. Но это несвойственное ей молчание позволяло догадываться о том, что будет дальше: мамаша оттолкнула нас от Саломеи; пройдет немного времени, и Саломея оттолкнет ее от себя.

■

А пока что мадам Резо играла на всем. Она играла на своем возрасте, о котором напоминала нам непрестанно: трудно спорить со старым человеком хотя бы уже потому, что ему остается жить каких-нибудь два-три процента его жизни. Играла на своем здоровье, причем ее эмфизема всегда вовремя вызывала у нее требуемый приступ кашля. Играла на своей ренте, не бог весть какой, но все-таки значительной; она не скупилась на советы бабушке Дару, которая пеклась

о том, как бы понадежнее поместить свои деньги (и о том, чтобы от родителей к детям все переходило в должном порядке и согласно пресловутой формуле: «кровь, любовь, образование, наследство», причем этот последний фактор, хоть и наиболее подверженный случайностям, мог часто восполнять отсутствие других). Она играла на чувстве неловкости Бертиль, которая, опасаясь, как бы не создалось впечатления, будто она хочет использовать ситуацию в интересах своей дочери, пыталась урезонить свекровь, принимая все возможные упреки на себя.

— Я не хотела бы, чтобы девочка злоупотребляла...— говорила Бертиль.

— Но ведь это я сама злоупотребляю,— спокойно возражала мадам Резо.— Любишь не того, кого хочешь. Любишь того, кого можешь. При этом всегда происходит удочерение или усыновление.— И тут же она находила другое чувствительное место: — Жаннэ собирается жениться. Позвольте мне сделать подарок.

Я уж не говорю о том, как она снабжала Обэна марками, как притворно восторгалась фотографиями Бландины. Мадам Резо пыталась действовать и через Батиста: просила его написать ее портрет. Не говорю я и об ее искусстве поощрять равнодушие, с одной стороны, и подчеркивать малейшую выгоду — с другой. Например, она сказала Саломее:

— Твоя сестра еще совсем девчонка.

Бертиль:

— Вот сын вашего мужа и пристроен.

Мне:

— Когда старшие уедут, вы, в сущности, останетесь с вашими общими детьми.

Нет, у нас не было такого чувства, что от общения с ней мы становимся лучше; скорее нам казалось, что нас расшвыривает центробежная сила семейной центрифуги.

■

Поэтому мы ощутили некоторое облегчение, когда спустя две недели она вернулась однажды вечером с коробкой пирожных, перевязанной веревочкой, и торжествующе сообщила:

— Одним выстрелом двух зайцев убили! Мне нашли квартирку, а Саломее работу! Помнишь Макса Бартоломи?

Да, я помнил об этом первом корсиканском браке одной из наших теток, обладательницы внушительного бюста, помнил ее и ее отпрыска, который шутки ради придумал фразу, якобы произнесенную на смертном одре моим двоюродным дедом Рене Резо, скончавшимся от мучительной болезни мочевого пузыря.

— Хоть он и граф — по линии папы, правда,— он лихо устроился, этот парень! — восхищенно продолжала мадам Резо.— ГБНЗ, ты понимаешь, что это значит: Главный французский банк по делам недвижимости и земельной собственности — это ведь он. Реконструкция тринадцатого округа — тоже он. Я помню, Марсель когда-то сказал мне: «Из всей нашей семьи только Макс и я действительно достигли какого-то положения. Но его очень сильно критикуют: эти строительные магнаты далеко не филантропы». Ну, так вот, я набралась нахальства, пошла к нему, предварительно не условившись, и каким-то чудом он меня принял. Он прекрасно тебя помнит. Он так смеялся... «Ах, уж этот Хватай-Глотай! Я торгую жильем, а он — книгами». Он, кажется, был в восторге от того, что может оказать тебе услугу.

— По правде говоря, я ничего у него не просил,— заметил я вполголоса.

— Ну, ладно, папа! — вмешалась Саломея.

На ней опять новое платье, туфли и сумочка из крокодиловой кожи. Жаннэ и Мари сидели в уголке, прижавшись друг к другу, и раздевали ее презрительным взглядом; Бландина, слева от меня, умирала от зависти; Бертиль, справа, была сама снисходительность; а мне не импонировало ни одно из этих чувств, ибо оба они разрушали наше согласие. Но мадам Резо весело продолжала:

— Короче говоря, Макс моментально предложил мне очень недорогую трехкомнатную квартиру на восьмом этаже в Резиденции Меровингов на авеню Шуази, где у него есть конторы. Ну, а Саломея — она пройдет небольшую стажировку, и он посадит ее принимать клиентов.

Охваченная безграничной радостью, мадам Резо даже не заметила, что ее сообщение отнюдь не вызвало всеобщего энтузиазма. Сама Саломея не скрывала чувства неловкости.

— Я начну с будущего понедельника,— сказала она, чтобы с этим покончить.

— Кстати, это очень удобно,— добавила мадам Резо.— Раз она будет работать в том же доме, она сможет каждый день приходить ко мне обедать.

XX

После того как мадам Резо переехала в XIII округ, мы смогли наконец заняться другими проблемами. На сей раз их поставил перед нами Жаннэ (в ожидании новых проблем, которые возникнут в связи с Бландиной или Обэном: дети не могут освободить нас от забот, не освободив от самих себя) Общее правило — когда вопрос о браке уже решен, неизбежно возникают всякие осложнения; ведь молодые люди не столько женятся сами, сколько их женит множество причастных к этому людей: родители, друзья бюро услуг, врачи-консультанты, рестораторы, ювелиры, поставщики и, разумеется, трое служителей — нотариальной конторы, церкви и мэрии. Но у нас кроме всего была еще одна дополнительная сложность: нам всегда легче было сдвинуть с места стену, чем заставить Жаннэ хоть в чем-то отступить от его принципов.

Да, он женился. Но отвращение ко всему, что могло напомнить ему о его буржуазном происхождении, запрещало ему подписать контракт. Биони-отец, готовый дать за дочерью приданое в виде квартиры, посмел заговорить с ним о том, чтобы в контракте поставить пункт о раздельном имуществе. Жаннэ возмутился:

— Начинать с раздела! Ну уж нет!

Вообразив, что Жаннэ зарится на его деньги, наш налоговый инспектор в бешенстве позвонил мне по телефону:

— Если моя дочь в таком положении, он считает, что ему позволено все!

Я разуверил инспектора: в каком бы виде ни предлагалось приданое, будущий зять станет считать, что его покупают. Поскольку Жаннэ не предполагал, хотя бы даже временно, жить у своего отца или у тестя, поскольку у него не было и пяти тысяч франков, а незначительный срок его службы в компании не позволял ему обратиться за денежной ссудой, он считал для себя делом чести переселить бедную Мари в какую-нибудь мансарду — это ее-то, единственную дочь, привыкшую к комфортабельной восьмикомнатной вилле.

— Он с ума сошел! — сказал Биони.

Вечером спор возобновился. Кто-то заговорил о кузене Максе, новом хозяине Саломеи.

— Гангстер квадратного метра! Лучше сдохнуть где-нибудь под мостом, чем задолжать ему хотя бы сантим! — заявил Жаннэ.

На худой случай он соглашался принять в долг деньги, необходимые для минимального взноса за квартиру, но при том условии, что обе семьи дадут ему поровну. Это поставило бы меня в затруднительное положение: я только что обязался выкупить Бель-Анжери... хотя, пожалуй, если заложить дом...

— Категорически тебе запрещаю! — отчеканил Жаннэ.

Прошло несколько дней. Мари была уже на третьем месяце. Наконец, появился спаситель: Батист Форю.

— Устроят тебя три комнаты во Второй башне на тринадцатом этаже, окнами на канал, с условием платить пожизненную ренту хозяйке? Рента чуть выше обычной квартирной платы. Хозяйке семьдесят шесть лет.

— Придется мотаться из Шелля в Париж, ну что же делать! Беру! — сказал Жан Резо (поколение № 9) с наивной серьезностью.

■

Пора было решать этот вопрос. Чтобы уговорить старую даму переехать в дом для престарелых, чета Биони втихомолку дала ей хороший куш, о чем молодые супруги долго не подозревали. Но наши беды на этом еще не кончились. Мадам Биони пришла к нам ужинать вместе с Мари, чтобы назначить день свадьбы, уточнить последние детали.

— В субботу, в обычной одежде,— потребовал Жаннэ.— И не больше двадцати человек за столом.

«Фея стоит праздника»,— говорили в старину добрые люди, глядя на свадебный кортеж. Я терпеть не могу, когда пускают пыль в глаза, но мне приятно, если по случаю торжественного дня все принаряжаются. Таково было и мнение Бландины, которая недовольно поморщилась:

— Из-за тебя мне не сошьют длинного платья.

Мари, чья талия уже несколько округлилась, не поддержала ее. Тем временем Бертиль считала по пальцам:

— Шесть Резо, плюс две бабушки...

— Трое Биони,— сказала Мари,— плюс два дедушки и две бабушки, которые приедут из Бастии...

— Уже семнадцать! — воскликнул Обэн.

— А свидетели? А дяди и тети? — сказала мадам Биони, странная маленькая женщина с выцветшими волосами, которые так не вязались с цветом ее лица и корсиканским акцентом.

— А приятели? — спросила Бландина.— Ты хочешь оставить меня без кавалера?

Это был решающий аргумент: приятели спасли дядюшек.

— Ладно, согласен на тридцать человек! — проворчал Жаннэ.

Вообще-то он вовсе не скуп, скорее даже расточителен. Но поскольку шею его облегает круглый воротник по современной моде, он терзаем заботой о своем престиже в новом его понимании, боязнью, как бы не сделать слишком много,— чувством, противоположным тому, какое мучило наших дедов: они боялись сделать слишком мало... Пусть будет тридцать человек, но где? «Желтая калитка» в Венсенском лесу? «Червонный туз» в открытом поле? Еще чего! Жаннэ не хотел ни большого зала, ни разнообразного меню в специ-

альном ресторане для свадебных обедов. Сошлись на кабачке на берегу Марны.

— Мне остается только предупредить священника,— сказала мадам Биони.

— Что? — спросил Жаннэ.

— Но как же...— сказала Мари.

При этих односложных словах, полных куда большего значения, чем иные пространные рассуждения, пораженный Жаннэ на мгновение замолчал, уставившись на сидевшую с раскрытым ртом Мари. Для него это было естественно и безоговорочно исключено, а потому ему и в голову не могло прийти, что Мари другого мнения, как, впрочем, и всем нам — ведь у нас никогда об этом и речи не было. Для наших дедушек и бабушек — horrendum! [1] — брачное свидетельство ничего не значило: только благословение делало брак действительным. Для нашего же поколения — а ведь мы-то как-никак крещеные (заботами старших) — все это пустые формальности, ряд обычаев, от сугубо практических до чисто театральных: нотариус, мэр, священник, то есть деньги, бумаги, церемониал. Мне лично не хотелось выступать ни «за», ни «против».

— Не может быть! — сказал Жаннэ.— Неужели тебе нужен орган?

— Да, мне хотелось бы,— проговорила Мари.

— Гражданский брак! — простонала мадам Биони.— Что мне придется выслушивать в Бастии! Что скажет мой муж!

— Да,— сказала Бертиль,— мама может от этого просто заболеть. А уж о свекрови и говорить нечего!

Нет, мадам Резо, возможно, и не заболеет: она заметно изменилась со времен наставников в сутанах и семейной исповеди. Вино ее причастия уже основательно разбавлено водой, и пари держу, что отказ викариев от установленного порядка, от сутаны, от кухонной латыни, от индульгенций, от поста и излишней скромности не укрепили ее веры. Но она лишний раз предсказала бы конец света! Жаннэ, которому нужен был козел отпущения, взорвался:

— Ах, бабушка Резо! Ну, тут уж скажу прямо: придет — что ж поделаешь, не придет — тем лучше! Я прекрасно обходился без нее, так же как и она без меня, с самого моего рождения.

Бедный мальчик! Он страдал, как раввин, которого заставили есть ветчину. Я знаю его любимые изречения: «Где рождается обязанность, там умирает выбор». Или: «Дерзай, противопоставляй, излагай, но не уступай никогда». С ним нелегко иметь дело, с моим сыночком! На пути к правде он не признает окольных троп. Но он умеет думать и о других, а так как «другой» в данном случае была Мари, которая в своем положении имела право на мягкую скамеечку, чтобы становиться на колени в церкви, то у нее были шансы одержать верх. Как мужчина мужчине, он, возможно, поплакался бы в жилетку Батисту; и я уже представляю себе, как тот картавит: «Что поделать? Для полного счастья девушкам нужен полный парад». Жаннэ, вероятно, не прыснул бы со смеха: его поколение, которое быстро сближается, но так же быстро и обижается, целомудренно в речах и не понимает подобных шуток. Сейчас он медленно произносит:

— Ну, если ты веришь в это, пойдем! Я же пойду туда только для проформы.

— Тебе ведь не трудно будет еще раз ответить «да»? — сказала Мари.

— Кому? Чему? — проворчал Жаннэ.

---

[1] Какой ужас *(лат.)*.

— Мне,— прошептала Мари.

Голова Жаннэ качнулась на длинной шее, потом склонилась к голове Мари, и светлые волосы смешались с черными. Все было решено: мы заедем в Нотр-Дам-дез-Ардан. Мадам Биони вздохнула свободно. Я был не слишком горд тем, как разрешился спор. Бертиль, которая уже несколько раз поглядывала на часы, прошептала:

— Интересно, что делает Саломея. Она мне звонила, предупреждала, чтобы ее не ждали. Но ведь уже девять часов...

— Может быть, она пошла в театр с мадам Резо,— сказал Жаннэ.— Это будет всего только шестой раз за две недели.

— Я бы об этом знала,— ответила Бертиль, борясь с сомнением, которое было написано на ее лице.

XXI

По крайней мере через час после ухода Биони, когда со стола уже было убрано, а посуда вымыта, на машине подъехала Саломея и остановилась под фонарем. Она хлопнула дверцей маленького белого «остина». Потом, твердым шагом перейдя двор, стуча каблучками на каждой ступеньке, вошла, закрыла за собой дверь и сказала невозмутимым тоном:

— Впервые поехала на новой машине и надо же — шина лопнула.

Обо всем здесь принято оповещать заранее — о новой же машине ничего не было сказано. А потом это уж слишком. Кроме Обэна, который, как обычно, льнет к своей сестрице, все мы смотрим на нее строго. Бертиль, нахмурив брови, опускает голову.

— Я тут ни при чем,— говорит Саломея.— Этот «остин» стоял у дверей на авеню Шуази. Он был уже оплачен, зарегистрирован, и права выписаны на мое имя.

При всей непосредственности ее поведения, при всей искренности взгляда в ней чувствуется какая-то сдержанность. Она говорит правду. Но, вероятно, не всю правду. Она всегда была решительной, но это шло на пользу всей семье, а сейчас создается впечатление, что она несколько отошла от нашего содружества, что она ведет какую-то свою игру, заняв позицию между нами и мадам Резо. Я не могу не вмешаться:

— Ты все же должна была бы напомнить своей бабушке, что вас четверо.

Четверо... Всегда относясь к ней как к своей дочери, я не мог не считать ее внучкой моей матери. Мадам Резо отлично это понимала: особое положение Саломеи и есть то, что нас парализует. Хотя сама мадам Резо деликатностью не отличается, она рассчитывает, что мы проявим ее в полной мере. Никто не решится напомнить Саломее, что в конце-то концов она не Резо, а Форю. Никто не осмелится прямо сказать ей, что мадам Резо хочет снова утвердить среди нас несправедливость и несправедливость усугубляется оттого, что Саломея не из семьи Резо.

— Нас даже четырнадцать, если считать двоюродных братьев и сестер,— сказал Жаннэ.

Причем вид у него такой, будто ему это безразлично. Не дай бог про него подумают, что он завидует! Он ничего не ждет от мадам Резо, которой следовало бы резать каждый торт на четырнадцать частей. Он предпочел бы уступить свой кусок двоюродным братьям и сестрам, которых и в глаза не видел. Саломея покраснела, потом побледнела. Стоя позади Обэна, она нервно запустила все десять пальцев в волосы и, обращаясь ко мне, протестует:

— Ты знаешь свою мать. Она начисто лишена чувства меры и никому не позволяет себя урезонить.

— Нужно уметь отказаться,— заметила Бертиль.

— Если бы я могла...— сказала Саломея.

На что она намекает? На первый взгляд, это должно означать: «Разве вам непонятно, что бабушка никогда никого не любила, а вот меня она любит? Что в ее нежности есть что-то болезненное, вроде рака? Отказаться — значило бы оттолкнуть ее; у меня на это не хватает мужества». Но это может означать также (или вместе с тем): «В конце концов, то, что она мне дарит, мне нужно; зачем же я буду лишать себя этого?» Прошло время открытых споров. Прошло время, когда после ежедневных стычек она старалась нас всех очаровать. Саломея совсем ушла в себя; далекая, она невидящими глазами смотрит телевизор, где меняется изображение, а звука нет — Бертиль его выключила. Саломея не встает с места, чтобы повернуть ручку. Несколько секунд она улыбается, потому что Обэн щекочет ее и кричит ей в ухо:

— Эй, ты! Вылези хоть на минутку из своего холодильника!

Но потом Обэн уходит к себе в комнату спать, и Саломея снова мрачнеет; она поворачивается к матери и говорит вполголоса:

— Кстати, мама, я теперь работаю, зарабатываю себе на жизнь. Если ты не возражаешь, я хотела бы получить самостоятельность хотя бы для того, чтобы открыть счет в банке.

Бертиль, которая пришивает пуговицу, резко протаскивает нитку, прежде чем ответить:

— Это бабушка вбила в голову тебе такую мысль? Во всяком случае, спроси у отца.

Я не возражаю. Будучи сторонником совершеннолетия в восемнадцать лет (ибо в этом возрасте у иных девушек уже есть дети, а мальчики могут подставлять себя под пули: и те и другие имеют основания претендовать на права гражданства), я всегда говорил детям, что предоставлю им независимость по первому их требованию. Впрочем, Саломея сама освободилась от зависимости в отношении вещей куда более важных, нежели счет в банке. Если истинная причина состоит в том, что она хочет иметь возможность самостоятельно выбирать себе местожительство, наш отказ ее не удержал бы. Бертиль, которая смотрит на меня во все глаза, должно быть, разочарована, видя, что я утвердительно кивнул.

— Согласен. Это пятиминутное дело. Завтра же сходим в канцелярию местного суда.

— Хорошо,— сказала Саломея.— Но только бумаги, касающиеся меня, подписывать должна мама.

XXII

Мы оставили машины на трех площадях, которые образуют центр Ланьи: на площади Ратуши, Лафонтена и на Зерновом рынке. Небольшими группами мы вошли в кирпичное здание мэрии, бывшее аббатство, где красуется герб города с изображением одного из гвоздей распятия и доски с надписью, гордо сообщающей, что в марте 1430 года здесь проезжала Орлеанская дева. Она допустила только одну ошибку: отбыла отсюда в Компьен, где ее стащили с лошади, схватив за расшитый золотом головной убор. Две другие девы, по крайней мере считавшиеся таковыми вплоть до сегодняшнего вечера, о чем свидетельствует клубящаяся белизна их вуалей — одна вуаль побольше, другая поменьше,— уже поднялись по устланной красным ковром парадной лестнице, притронувшись по пути рукой к начищенно-

му до блеска медному шару, ибо во многих мэриях считается, что он приносит счастье. Кто-то из присутствующих, увидев на правой стене картину, где изображен умирающий бледный Сократ, орошаемый слезами Философии, заметил:

— Ну, это-то надо было все-таки повесить в другом месте, там, где регистрируют смерти.

Мы шагаем по коридору, некогда составлявшему часть монастыря. Нет жениха и невесты. Нет мамаши, нет и Саломеи, которая поехала за ней на машине.

— Куда же они запропастились? — повторяют Биони, представившие нам своих родичей — Биони и Паолино (фамилия мадам); мы же при нашей немногочисленной родне, как со стороны Арбенов, так и со стороны Резо, могли представить им только нескольких Дару. И все это время среди нас расхаживала какая-то дама, вознамерившаяся во что бы то ни стало прицепить к каждому пиджаку флердоранж, сделанный из тафты и стоивший один франк.

Наконец, появляются Жаннэ и Мари — оба в костюмах из одной и той же темно-голубой шерсти, в одинаковых светло-голубых рубашках, галстуках и с платочками в кармашке. Они выпили по кружке пива со своими свидетелями, вошедшими вместе с ними. Сейчас ясно, что останови они свой выбор на Арно Макслоне, словно созданном для роли свидетеля, и директоре налогового управления, который, конечно, оказал бы честь своему инспектору,— вся затея слишком бросалась бы в глаза. Молодые предпочли школьную подругу Мари, маникюршу, сослуживца Жаннэ, который работает на счетных машинах и к тому же выполняет обязанности профсоюзного делегата. В сущности, мне это весьма симпатично. Когда я женился на матери Жаннэ, свидетелями были ее патрон мэтр Ган и моя привратница. Проходит служащий мэрии, приглашает опоздавших:

— Вступающие в брак, прошу в зал номер семнадцать!

Дольше ждать матушку и Саломею уже невозможно, мы поднимаемся и входим в просторную гостиную, выдержанную в стиле Второй империи: стены и кресла обиты пурпурным шелком, плафоны и зеркала отделаны золотой лепкой, огромный камин облицован черным мрамором в античном стиле. Гипсовая статуя Республики времен начала Третьей республики со звездой в волосах смотрит невидящим взглядом на принарядившихся граждан Пятой и на перечеркнутого трехцветной лентой мэра, уже стоящего за столом зеленого мрамора, инкрустированного белым мрамором с красными прожилками.

— Да, денег они не жалели, при Второй-то империи! — злобно заметил Жаннэ: к своему неудовольствию, он попал в один из самых роскошных залов для регистрации браков, какие только есть в окрестностях Парижа.

Тише! Мэр сочетает браком первую пару, которая решила не осрамить стенные панели зала и выставила шесть молодых людей в смокингах и шесть девиц, затянутых в розовый атлас.

— Союз мясников: мясная лавка Лэр и колбасная Ломбар женят своих детей,— шепчет Биони, назубок знающий всю картотеку налогоплательщиков.

Известно, что если прежде заботились о фасаде дома, то теперь заботятся о вывеске. Я хронометрирую: на чтение кодекса законов, на подписание акта и поздравительную речь требуется двенадцать минут, в течение которых слово «мадемуазель», состоящее из одиннадцати букв, сокращается до «мадам». Подобрав свою фату, невеста со спины становится похожа на шелковичного червя в коконе — ее жизнь будет долго разматывать нить этого воспоминания. Да и сам я, признаюсь... Я сижу рядом с Бертиль, но слева, между Жаннэ и мною,

я чувствую тень Моники. Через Жаннэ я остаюсь мужем умершей, а Мари, которая соединилась с нашим сыном, лишь продолжает в своем чреве то, что было начато в другом.

Тем временем появляется чаша для сбора пожертвований на бедных. Потом на школы. Следующая пара! Подходят бывшие воспитанники государственного детского дома в сопровождении служащих местного магазина стандартных цен, где оба они работают, где они познакомились. Магазин целиком взял на себя расходы, связанные с их бракосочетанием. Приятно слышать, как они отвечают «да» своими звонкими голосами. Мэр, человек явно начитанный, желая им счастья, признается, что он вовсе не считает сиротский удел такой уж удачей, но зато, поскольку у них нет семьи, они будут менее связаны ответственностью за ту новую семью, которую создают... Официальные поздравления. Снова сбор пожертвований. Подписывая акт, невеста сажает себе на платье чернильное пятно. Нас оставили на закуску. Теперь мы хозяева ста квадратных метров наборного паркета. Из глубины зала мы проходим вперед и занимаем места в первых рядах. Сидя перед зеленым мраморным столом на двух высоких золоченых креслах, предоставленных им муниципальной щедростью, Жаннэ и Мари смущенно ерзают, не очень понимая, как в них расположиться. Мэр, ненадолго отлучавшийся, видимо, по естественной надобности, мелкими сухими шажками возвращается на свое место. Письмоводитель начинает читать:

— Мари-Женевьева-Роза Биони, дочь Анжа-Себастьена-Леона Биони и Клары-Марии Паолино...

Стоп. Именно этот момент и выбрала мадам Резо, чтобы появиться в главных дверях под руку с Саломеей. Жаннэ смущен: если на сестре короткое парчовое платье, то мадам Резо — в Бель-Анжери она ходит замарашкой — с высокой прической, в длинных перчатках, в длинном платье из лилового бархата, на котором переливается ожерелье из топазов — вероятно, подделка, но довольно эффектная,— извлеченное из того же футляра, что и ее браслет и серьги с подвесками, приближается медленным, торжественным шагом.

— Прошу вас, мадам,— хором говорят мужчины из первого ряда, вставая, чтобы предложить ей стул.

Она не убыстряет шага, кланяется мэру и, получив от него ответный поклон, садится с Саломеей в последнем ряду, тем самым заставив любопытных обернуться в ее сторону: о зеленом столе они забыли по меньшей мере на целую минуту. Не подавая виду, мадам Резо чувствует, однако, что ее узнали даже те, кто никогда ее не видел. Взгляды рикошетом перескакивают с нее на меня, порождая в нас обоих неловкость, в которой мы никогда не признаемся, о которой никогда не будем говорить. Но я при этом остаюсь самим собой, она — нет. То усердие, с каким она старается существовать во плоти, с каким добивается, чтобы все ощутили ее присутствие, еще настоятельнее наталкивает на сопоставление теперешней мадам Резо с неотделимым от нее двойником. Так уж устроены люди: если какой-то человек сильно изменился, никто не ищет в нем новых черт: все стараются найти, что же он сохранил от прошлого. Когда я был молод, мадам Резо держала меня взаперти. Я отплатил ей за это сторицей: теперь ее как бы окружает лед.

— Вряд ли мадам Резо в восторге от того, что скоро станет прабабушкой,— шепчет мне на ухо сидящая за моей спиной бабушка Дару.

Безусловно нет: женитьба сына уже возвещает отцу, что в качестве такового он самою природой переводится на пенсию; рождение сына у сына вашего сына (предположим, что родится мальчик) ото-

двигает вас, прабабушка, в допотопные времена. Впрочем, хотя мамаша в свое время и обеспечила продолжение рода Резо, ей наплевать на то, будет он существовать дальше или нет. Это чувство, возникшее не вчера, с годами могло лишь укрепиться. Как и для многих старых женщин, для нее наше будущее лишено смысла с тех пор, как оно возобладало над ее прошлым. Ее потомство! Само по себе это слово означает, что она уже в прошлом. Мадам Резо, которая не питает склонности к Жаннэ, могла бы и не являться сюда, сославшись, скажем, на простуду; и все же мадам Резо здесь, ибо снова увязавшись за нами по не совсем еще ясным для нас причинам, она сознается в двух из них, совершенно очевидных: она хочет утвердить себя и хочет показать, что предыдущее стоит больше последующего.

Она показывает это, как и полагается, постепенно впадая в дремоту, которую можно ей простить, если учесть монотонность чтения и пространную речь, произносимую мэром, личным другом верного слуги государства Анжа Биони: мэр поздравляет сперва его, отца невесты, затем второго отца, лицо не столь официальное, однако же вполне достойное; он начищает до блеска нашу примерную жизнь, как пару ботинок, которую дорогим деткам, в сущности, остается только надеть, чтобы бодро шагать по уже проторенной дорожке... Моя профессия, связанная с морализированием, выработала во мне необычайную стойкость к проповедям. Но даже самого представителя налогового управления, умеющего куда лучше справляться с цифрами, нежели противостоять словам, Кларе-Марии приходится толкать локтем, а Саломея дважды толкает мамашу, чтобы вывести ее из сонного оцепенения в момент, когда молодые должны сказать «да».

■

Она ожила в полумраке Нотр-Дам-дез-Ардан, бывшей церкви аббатства, составляющей единое целое с мэрией. Мы пришли туда все вперемежку. При входе, освещаемом витражом в форме павлиньего хвоста, мадам Резо втянула носом знакомый запах и бросила небрежный взгляд на доску объявлений, где под расписанием фильмов приколоты извещения о свадьбах, заменившие собой церковное оглашение о предстоящем браке. По другую сторону обитых дверей она удостаивает таким же взглядом лоток, где разложены благонамеренные газеты и журналы. Она даже листает какой-то журнал, чтобы не принимать участие в коротком совещании между приемным отцом, желающим взять под руку свою дочь, и Бертиль, которая не считает, что должна вести под руку своего приемного сына. Бертиль права: в принципе, поскольку Моники уже нет, вести внука должна бабушка. Но Жаннэ предпочитает идти со своей женой.

— Да оставьте вы его! — шепчет мадам Резо, подставляя согнутую руку дедушке Паолино.

Жаннэ уже проходит; ему не по себе. Для него нет ощутимой разницы между этой готической церковью, Луксорским храмом или Квадратным домом в Ниме: все эти святилища разных эпох если и говорят ему о чем-то, то лишь как произведения искусства. Крестили его по желанию матери. Он до сих пор упрекает меня за это. Но свобода, царящая у нас в доме, позволила ему от всего остального отказаться (равно как и его братьям и сестрам, за исключением Бландины, которая приняла первое причастие и этим ограничилась). Жаннэ не мог бы назвать святых, населяющих церковные витражи и стены — кто с ключом, кто с лилией, кто с короной на голове, кто с собственной головой в руках — и занятых своими делишками среди свечей, колонн и ритуальных предметов. Они всегда были чужды тому, что

интересовало Жаннэ и никак не было связано с религией. Когда Мари нечаянно спотыкается о ступеньку — дальше уровень пола в церкви повышается, — Жаннэ шепчет отцу, который идет вслед за ним под руку с мадам Биони:

— Послушай! Если я даже отвечу священнику «нет», все равно я уже женат.

Теща испуганно таращит глаза. Но все идет как по маслу. Биони — люди известные в округе, поэтому народу набралось порядочно; правда, больше половины стульев свободны. Мадам Резо достает знаменитые четки из слоновой кости в золоте и невозмутимо перебирает их. Когда зазвонил колокольчик, среди присутствующих, как обычно, началось движение. Сидеть или стоять — это еще куда ни шло, на это согласны представители обоих полов; но когда женщины преклоняют колени, многие мужчины продолжают стоять. Слышен шепот: «Четыре ряда колонн и верхняя галерея! Не правда ли, великолепно? Но витражи разностильные. Вы обратили внимание на аналой из плексигласа, да еще с микрофоном? Не знаю, почему, мой дорогой, но соединение священного с современным, по-моему, отдает подделкой. Я уже не говорю об этих ужасных занавесках на хорах — все-таки памятник такой ценности... не следовало бы позволять...»

— Да,— произнес Жаннэ во второй раз; было это в одиннадцать часов семнадцать минут.

■

Все остальное происходило в том же духе. Наши церемонии частично утратили уже свой смысл; чаще всего мы считаем, что лишь равнодушное или ироническое отношение к этим ритуалам способно извинить наше участие в них. Когда-нибудь придет время, и люди вновь искренне поверят в серьезность праздников. А пока что все делается как попало. Жаннэ с трудом вынес длинную процессию друзей и родственников, пришедших его поздравить; с большинством он даже не был знаком, и процентов шестьдесят из них с нетерпением смотрели на часы. Он вышел, бурча:

— Если девушка отдает вам свою руку, почему вы должны пожимать двести других?

Он счел (и, конечно, не ошибся), что бабушка бросила ему вызов, когда вручила на паперти свой свадебный подарок: перстень с печаткой — гербом Резо,— принадлежавший его дедушке.

— Спасибо! Я соскоблю эту чушь и выгравирую мои инициалы,— поблагодарил он, засовывая подарок в карман.

Погода стоит приличная. В перерывах между двумя дождями со снегом март снова дарит нам небесную синеву. «Укромный уголок», кабачок на сваях у самого берега Марны, приятен, несмотря на свое сомнительного вкуса название и это толстое стекло посреди паркета, под которым в зарешеченном загоне плещется дюжина уток: они предназначены для вертела, как та форель, что ждет своего конца в аквариумах шикарных ресторанов. Меню, по желанию Жаннэ ограниченное тремя блюдами и двумя сортами вин, подобрано вполне пристойно. Но мадам Резо дуется: дело в том, что две корсиканские бабушки старше ее, а значит, хоть в чем-то над нею возобладали. Новые туфли натирают Бландине ноги. Обэн паясничает. У Саломеи, которая только что беседовала с доктором Флормонтэном, пришедшим поздравить молодых, вид еще более отсутствующий, чем обычно. Все, кому меньше двадцати пяти лет, разговаривают между собой, в случае необходимости — через голову пожилых людей. Имея привычку, как глухой, читать по губам, я, кажется, расшифровал по движе-

нию гуо моеи невестки, которая изнемогает, зажатая среди стариков, едва слышный шепот, вызвавший улыбку моего сына:

— На свадьбе должна быть только молодежь, а на похоронах — старики.

Шутка попала в цель. Просто диву даешься, как послушаешь, что говорят так называемые «солидные люди», сойдясь за стаканом вина. Сказанное ими можно проспрягать заранее: я говорю о погоде, ты говоришь о деньгах, он говорит о еде, мы говорим о нашей печени, вы говорите о машинах, они говорят о своей заднице. Можно предположить, что за сыром, оттолкнувшись от этой последней темы, некоторые доберутся и до передовых идей. Едва сидевший справа от меня Батист определил любовь как единственную общую точку между двумя параллелями, сидевшая слева от меня Эмелина Дару, преподавательница из Шапталя, заявила, что этот, хотя и несколько рискованный, образ все же точен, ибо другого просто не подберешь. Ей передают торт с вишнями, и, усиленно его поглощая, она вознаграждает нас тортом с кремом — какая уж тут коммуникабельность. Засим следует совет нашим окрутившимся деткам, чтобы утешить этих новичков:

— В сущности говоря, существуют новобрачные, но брака не существует.

Обсуждается институт брака. Беглый обзор разных его вариантов: моно-, тетра-, полигамия. Беглый обзор ситуаций, в целом тоже заслуживающих уважения, которые можно было бы назвать тайнобрачными, единобрачными, многобрачными. Эмелина совсем расчувствовалась. Она отменяет брак. И все дети, и все союзы — вдвоем, втроем, из пятнадцати членов, из n+1 членов — становятся законными. Мадам Резо, которая основательно заправилась, а потому пришла в хорошее настроение, сочувственно наклоняется к мадам Дару:

— Это... ваша дочь?

— И не говорите,— отвечает ей прелестная женщина.— Еще совсем крошкой она кричала в кондитерской: «Долой конфеты!»

Но Анж Биони протестует. Налоговый инспектор, он не может допустить, чтобы любовь не была зарегистрирована. Он отхлебывает глоток кофе и уверяет, что при всем при том он человек широких взглядов. Потом делает еще глоток и соглашается, что отель, надо сказать, иногда все же предшествует алтарю, вместо того чтобы за ним следовать. «Но что же такое отец по вашей системе? Как вы, мадемуазель, его определите?» Многие зевают. Переходим к ликерам. Не знаю уж каким образом, зашла речь о королеве Елизавете. Батист пользуется этим, чтобы опять напасть на Эмелину. Король достаточно великодушен, чтобы сделать свою жену королевой; королева же может сделать своего мужа только принцем-консортом. Эмелина тут же переворачивает этот аргумент по-своему: вот до чего доходит дискриминация женщин! Королева не настолько королева, чтобы сделать своего мужа королем,— вот в чем суть. Переходим к сигарам. Эмелина продолжает ратовать за эмансипацию своих сестер — царствующих и всех прочих...

— Анж, время-то идет,— говорит, наконец, мадам Биони.— Не пора ли нам освободить зал?

XXIII

Он ушел; теперь он будет приходить к нам только в гости, в сопровождении спутницы его новой жизни. Скоро он утратит общие для всех нас привычки, ставшие уже непроизвольными навыками, забудет, где обычно лежит щетка, консервный нож, открывалка для

бутылок. Наш сын уже не принадлежит к числу тех, кого называют детьми в собственном смысле этого слова, относящегося ко всем, кто без различия в возрасте продолжает жить в родительском доме. Теперь он сделался женатым сыном. Но до того, как он станет для нас получужим, отсутствие его еще много недель будет ощущаться сильнее, чем прежде ощущалось его присутствие. Комната его по-прежнему остается его комнатой. Мы еще долго будем говорить: «Ты видел? У Жаннэ потрескался потолок». Нам будет недоставать его умелых рук: «Ну вот! Кто же теперь починит нам выключатель?»

Его место за столом, направо от Бертиль, опустело. Обэн, которому следовало бы пересесть со своего места слева от матери, не осмеливается на эту рокировку. Многие стороны жизни, с которыми мы раньше соприкасались, исчезли для нас вместе с приятелями Жаннэ: исчезла электроника, о которой эти юные очкарики вели увлеченные и непонятные нам разговоры; исчез спорт — на экране нашего телевизора больше не появляются мускулистые атлеты в свитерах с эмблемами своих клубов, и Бландине уже не приходится возмущаться, как прежде, когда ее заставляли смотреть какой-нибудь матч вместо театральной программы.

Тем более жестоким ударом было для нас неожиданное решение Саломеи. Бертиль вернулась встревоженная: ей, как и мне, не понравился разговор дочери с доктором Флормонтэном; к тому же по возвращении из Ланьи она слышала, как Саломея позвонила ему и о чем-то говорила с ним вполголоса, а потом даже словом об этом не обмолвилась. Наступление начала в воскресенье днем мадам Резо, оставшаяся у нас на уик-энд. Когда Бертиль сказала, что Саломея плохо выглядит, та призналась, что действительно похудела на три кило.

— Она же целый день на ногах,— вмешалась мадам Резо.— С утра до вечера носится по Парижу, бегает по этажам... Да еще тратит час на дорогу туда да час обратно, причем в самую толчею.

И в самом деле, Саломея работала теперь не только на авеню Шуази в конторе Макса. Она ездила показывать квартиры в его домах, разбросанных чуть ли не по всему Парижу. Кроме твердого жалованья, она еще получала определенный процент и хорошо справлялась с работой, но бабушке очень часто приходилось обедать без нее.

— Как она может все это выдержать? — продолжала мадам Резо.— Надо избавить ее по крайней мере от езды на работу и домой. Она вполне может жить у меня.

— И мы ее совсем не будем видеть,— резко сказала Бертиль.— Благодарю вас, но я вовсе не желаю разлучаться со своей дочерью. Согласитесь, что место ее скорее со мной, чем с вами.

— Разве об этом речь? — вкрадчиво заметила мадам Резо.— В таком возрасте для Саломеи главное не вы и не я, а ее работа. Мне удалось ее устроить. И я хочу только, чтобы она могла сохранить это место. Но если вы предпочитаете, чтобы она так моталась...

Прервав разговор, Бертиль поспешно ушла в кухню: у нее это признак решительного несогласия. Матушка встала и, проходя мимо меня, спросила:

— А ты что об этом думаешь?

Я сделал ошибку, ответив:

— Знаешь, мы в семье живем очень дружно. И нам не хочется никого терять.

— А что, бабушка, я тебе говорила? — сказала Саломея.

— Пройдемся со мной немного, милочка,— предложила мадам Резо, уже не обращая на меня внимания.— От вашего центрального отопления я просто задыхаюсь. Надо подышать свежим воздухом.

Саломея пошла с ней прогуляться по бульвару Баллю. Неужели мадам Резо полагала, что отъезд Саломеи как-то уравновесит для меня уход Жаннэ? Если так, то какая наивность! И до чего же плохо она меня знает! В молодости я ненавидел мамашу или, вернее, ненавидел ее ненависть ко мне. Ничуть не больше была мне по вкусу ее любовь к Саломее. Мне это казалось грабежом, а кроме того, я усматривал в этом нечто противоестественное. Матушкину игру я понимал таким образом: она добивалась того, чтобы в конце концов Саломея почувствовала себя здесь непрошеной гостьей, то есть чтобы я как бы прогнал ее, а она, матушка, приютила. Надо было избежать этой ловушки.

Но матушка — об этом я узнал лишь позже — выложила другие козыри. Когда Саломея появилась после прогулки, немного опередив бабушку, которая, пыхтя, поднималась по лестнице, Бертиль, Бландина, Обэн и я, смотревшие в это время фильм, сразу же обратили внимание на то, что вид у нее какой-то странный. Она прошла через комнату, не глядя на нас.

— Ты что, плохо себя чувствуешь, милая? — спросила Бертиль.

— Нет, нет,— ответила Саломея и, на ходу захватив какой-то журнал, поднялась к себе и стала играть на скрипке.

За ужином Саломея, как мне показалось, держалась не более отчужденно и не более натянуто, чем всегда. Она только избегала встречаться взглядом с нами, в том числе и с бабушкой. Она очень рано собралась спать и слабым голосом объявила:

— Правда, я очень устала. Раз бабушка предлагает мне пристанище, я уеду в понедельник и вернусь в пятницу вечером.

Потом она обошла комнату и поцеловала всех нас. Даже Обэн, очень огорченный тем, что в четверг ее не увидит, не поцеловал ее в ответ. Когда мадам Резо ответила ей долгим поцелуем, Бертиль опять ушла в кухню, и чуть погодя мы услышали, как о плиты пола с грохотом разбилась компотница.

XXIV

Редко можно быть уверенным в счастье другого человека. Красота, здоровье, власть, богатство и любовь, даже когда они все в наличии, не могут служить залогом счастья, так же как чудесные краски на палитре художника вовсе не служат залогом того, что он создаст шедевр. Во всяком случае, пока оно не сотрется от постоянного соприкосновения с действительностью, его размеры, его ценность и даже само его существование ускользают от нас. Едва ли можно доверяться внешним признакам. С тех пор как мадам Резо покончила счеты с жизнью, я не раз спрашивал себя, случалось ли ей хоть когда-нибудь быть счастливой — она сама вряд ли задала бы себе подобный вопрос и даже не произнесла бы этого слова,— и отвечал: если она когда-либо изведала счастье, то лишь этой весной, с Саломеей.

Как она нам и предсказывала, мы остались одни с детьми. В принципе Саломея собиралась проводить дома два дня и три ночи в неделю. Некоторое время она строго следовала этому намерению. Она возвращалась поздно, оставляла свой «остин» во дворе и входила в столовую, держа портфель под мышкой, с тем выражением на лице, которое мать ее называла «улыбкой торгового агента». Она была приветлива, но если прежде нежно обнимала каждого из нас, то теперь ограничивалась легким прикосновением губами и старалась как можно скорее чем-нибудь заняться: помочь Обэну написать сочинение или решить задачу по математике, сыграть партию в пинг-понг с Бландиной — это помогало ей восстановить душевное равно-

весие и даже веселость. Ее отношения с братом и сестрой внешне оставались прежними, переменилась она только к нам. Но если после истории с Гонзагом Саломея заперлась от нас на ключ, то теперь она повернула этот ключ на два оборота. Приученная помогать матери, она не уклонялась от этого — она даже охотно занималась хозяйством, но делала все почти молча.

— У меня такое впечатление,— заметила мне Бертиль,— будто я наняла англичанку, которая ни слова не знает по-французски.

О себе я уж и не говорю: Саломея старалась не показывать вида, что она меня избегает. Это ей плохо удавалось. В итоге она стала все реже бывать у нас, чтобы не выслушивать вопросов вроде такого: «В конце концов, какие у тебя к нам претензии?» Ответ ее всегда один и тот же: «Да нет же, право, никаких!» — нисколько нас не успокаивал. Начиная с апреля она стала появляться только через раз, и в результате мы виделись с ней даже реже, чем с Жаннэ, который навещал нас каждую неделю, по вечерам, а кроме того, решил посвящать нам целиком один воскресный день в месяц (второе воскресенье он проводил у Биони, третье оставлял для спорта и четвертое — для других развлечений). Правда, желая как-то возместить нам отсутствие Саломеи, мадам Резо сумела поставить у себя телефон (хотя сеть в этом районе крайне перегружена), и глубоко уязвленная Бертиль вынуждена была выслушать несколько монологов свекрови, кричавшей в трубку так, что вставить что-либо оказывалось практически невозможным:

— Вы знаете, по субботам у нее особенно много работы. Иногда ей приходится встречаться с клиентами даже по воскресеньям. Макс позавчера сказал мне: «Тетушка, я хотел оказать вам услугу, но больше всего выиграл на этом я сам».

Иногда Саломея брала у нее трубку и добавляла несколько слов от себя. Но если мадам Резо говорила только о своей внучке, то Саломея произносила какие-нибудь любезности, не упоминая о бабушке.

Наконец, однажды утром в субботу, до предела возмущенная тем, что Саломея не показывалась две недели подряд и даже не сочла нужным предупредить накануне, что не явится и в этот раз, Бертиль сказала мне:

— Поедем?

Незачем было уточнять, куда именно. Я и сам уже подумывал о том, что неплохо было бы съездить. Другие не стали бы ждать так долго, и если мы до сих пор не нагрянули к нашим дамам, то лишь потому, что я сам, в прошлом жертва насильственного вмешательства в свою жизнь, не терплю слежки за другими, не выношу, когда лезут в чужие дела и ограничивают свободу другого человека, даже если дело касается моих близких. Но больше так продолжаться не могло. Мадам Резо ни разу не появлялась у нас со времени женитьбы Жаннэ, вероятно, во избежание каких-либо объяснений. Она и нас не пригласила посмотреть, как они устроились на авеню Шуази. Не могли же мы допустить, чтобы она разлучила нас с Саломеей. Не доводя дело до скандала, надо было все-таки дать ей это понять. К тому же у меня был очень хороший предлог: ремонтные работы в Бель-Анжери, о которых мадам Резо и не заикалась.

Дом, хотя и расположенный в многолюдном XIII, а не в привилегированном XVI округе — где, кстати, для поддержания престижа на улице де-ля-Помп жил Макс,— был целиком построен из стекла и мрамора и выглядел весьма внушительно. В холле, где пахло еще свежим лаком, меня сразу заинтриговали две вещи: объявление, касающееся «владельцев квартир», и где-то в середине ряда почтовых

ящиков из палисандрового дерева напечатанная типографским способом карточка с именем той, что проживала на восьмом этаже в квартире 87. На карточке значилось: «Мадемуазель Саломея Форю» и внизу красным флоумастером приписано: «Мадам Резо, вдова». В щели торчал номер «Уэст-Франс».

— Раз почта не вынута, скорее всего, их нет дома,— сказала Бертиль.

Их и в самом деле не оказалось дома. Все, что мы увидели на восьмом этаже, была дверь красного дерева с глазком и тремя секретными замками, свидетельствовавшими о неискоренимой кранской подозрительности. Спустившись, мы обратились к совсем молоденькой привратнице, причесанной и разодетой, как кинозвезда, и та ответила нам одной, но весьма знаменательной фразой, из которой мы выяснили по меньшей мере два факта:

— Мадемуазель уехала в деревню со своей бабушкой.

■

Нетрудно вообразить, что же произошло. Чтобы оторвать девушку от семьи, с которой она жила в полном согласии, достаточно проявить терпение. Сначала — задушевный разговор: «Твои родители правильно делали, что привлекали вас, детей, к решению семейных вопросов. Теперь тебе легче будет привыкать к самостоятельности». Потом — намеки: «Ну вот, теперь ты ни от кого не зависишь. Мне кажется, они не очень-то охотно на это пошли. Со мною было совершенно то же самое, и твой отец много раз упрекал меня за это: всем нам трудно избавляться от чувства родительской собственности». Будем продолжать, будем комментировать, будем осуждать несговорчивых обитателей дома в Гурнэ с приличествующей случаю строгостью: «Именно этого я и боялась: одной рукой тебя освобождают, другой — вновь привязывают». Во всем этом Саломея нам потом признается, да и в остальном тоже. Однако хотя такая настойчивая обработка давала свои плоды, одной ее было бы недостаточно. Вместе с независимостью, которую обеспечивает конверт с деньгами, получаемый в конце каждого месяца, самым существенным была квартира: важнее всего чувствовать себя дома полной хозяйкой. И в этом мы сможем сейчас же убедиться. Мы вернулись на авеню Шуази в половине восьмого, и только мы вышли из лифта, как я, не успев еще позвонить, услышал через дверь голос мадам Резо:

— Ручаюсь тебе, это они.

Должно быть, привратница описала нас достаточно точно. Кто-то уже заслонил свет в глазке, меж тем как я нажал на кнопку, извещая о своем прибытии серией коротких звоночков; многие годы, услышав их, дети сбегали вниз по лестнице с криком: «Папа пришел! Папа пришел!»

— Ну, ладно, ладно, успокойся! — раздается голос матушки, сопровождаемый лязгом отодвигаемых засовов.

Мы попадаем в прихожую, которая, в сущности, составляет часть комнаты, и сразу же — неожиданность. Художник-декоратор, конечно, не посоветовался с мадам Резо, привыкшей к доставшейся по наследству случайной мебели провинциальных жилищ, где полы прогибаются под грузом лет и старого дуба. В этой композиции, одновременно сдержанной и легкой, были учтены и объем, и цвет каждого предмета: кресла, либо пламенеюще-красные, либо прохладно-оливковые, выделялись на фоне ковра из козьей шерсти, брошенного на черный, как антрацит, бобрик, которым обит пол. Достаточно было увидеть здесь Саломею, чтобы понять, до чего она гармонирует с

этим убранством. И напротив, мадам Резо кажется здесь столь же неуместной, как монахиня в «Фоли-Бержер». Но когда мы усядемся, после ритуального сухого чмоканья в щеку, не будет сделано ни малейшего намека на владельца квартиры, на декоратора, на то, сколько все это стоило; нас даже не спросят, нравится ли нам здесь.

— Напрасно вы беспокоились,— сказала Саломея.— Мы были в Бель-Анжери.

— Обычно я провожу там уик-энд, когда Саломея в Гурнэ,— сказала мадам Резо.— На этот раз я взяла ее с собой, чтобы она сама поговорила с малярами насчет своей комнаты.— И, повернувшись к настоящей хозяйке дома, она спросила: — Мы оставляем их ужинать?

— Это будет чудесно,— сказала Саломея.— Но в таком случае мне придется сходить за покупками.

— Нет,— возразила Бертиль,— нам непременно надо быть дома: часов в девять собирался зайти Батист.

— Кстати, я составила смету на первоочередные работы,— продолжала мадам Резо.— Ты вышлешь мне половину этой суммы, и я все устрою.

— Я как раз хотел попросить у вас счета.

Я сам себе противен, но все-таки вступаю в эту игру. Есть люди, возле которых легче жить в качестве их врага: камень о камень — тогда, по крайней мере, высекаются искры. Жалеть мамашу — все равно что пытаться обтесать каменную глыбу. Она решила не понимать истинной цели нашего визита. Что мы у нее оспариваем? По какому праву? Бертиль и я, мы запутались и попали в положение, когда естественность уживается с невероятным. О естественности в поведении Саломеи и речи быть не может: она насилует себя, веки у нее будто налиты свинцом, она места себе не находит. Но зато естественность поведения матушки граничит с блаженной непосредственностью. Прежде она сидела обычно на самом краешке кресла, а сейчас просто утопала в мягкой обивке. Она располнела. Теперь это была жирная, довольная кошка, которая прячет свои когти и показывает бархатные лапки; эмфизема легких придавала ее голосу сходство с мурлыканьем.

— Одно время я боялась, что мне придется отказаться от нашего отпуска: ведь Саломея работает еще слишком мало и пока не имеет права на отпуск.

Она уже не таится. Отныне само собой разумеется, что все зависит от Саломеи и что обсуждать здесь нечего.

— К счастью, в июле Макс закрывает свои конторы.

Бертиль встает. Горькие слова, которые ей хотелось произнести, застревают у нее в горле. Теперь у нее одно желание: поскорее уйти. Но мадам Резо настаивает, чтобы мы осмотрели квартиру. В спальне Саломеи — норвежская береза, как будто прямо из витрины с улицы Сент-Антуан; из любимых вещиц, создававших уютный беспорядок ее комнаты в Гурнэ, здесь нет ничего, кроме черной плюшевой пантеры, которую Гонзаг выиграл однажды в лотерее на ярмарке. В спальне мадам Резо — тиковое дерево; ей приходится спать на низком диване, над которым висит огромная фотография ее любимицы. Она бросает одинаково пылкий взгляд сначала на портрет, потом на оригинал.

— Не беспокойтесь, здесь ее не обижают,— говорит она.

XXV

Май, июнь. Ложным положениям я предпочитаю открытые конфликты, если последние могут избавить нас от первых. Приходилось

желать, чтобы подобный конфликт вспыхнул в нашей семье, такой дружной еще каких-нибудь полгода назад. Хотя Жаннэ и избрал чересчур непримиримую позицию, он оказался прав: нам не следовало возобновлять отношения с мадам Резо. Ненависть или обожание ничего не меняли в ее методах. Она снова начинала изматывать окружающих, быть может даже не желая этого, быть может этого и не сознавая, было в ней нечто роковое, подобное волне, слепо и неотвратимо бьющей о берег. В иные минуты я склонен был верить в новые ее подлости, в обдуманное намерение вредить, разлагать нашу сплоченную семью, в которой я всегда видел свой реванш, и теперь матушка стремилась в свою очередь взять реванш, внося разлад в мой дом. Как бы то ни было, намеренно она это делала или нет, результат был тот же, и все новые и новые эпизоды усугубляли приносимый ею вред.

■

Теперь Бертиль иногда нападает на меня. Если женщины острее нас реагируют на семейные неурядицы, их можно простить: большинство из них лишено преимущества мужчин, которые спасаются, углубляясь в свои профессиональные занятия. Но Бертиль дошла до того, что однажды сказала мне:

— Ты должен был сразу же положить этому конец. Ведь я-то не могу вмешиваться. В конце концов это твоя мать.

Я возразил ей, хотя и сожалею об этом:

— Как бы я тогда выглядел? Играть роль отчима, протестующего против того, что она одаривает Саломею? Нет уж, спасибо! В конце концов это твоя дочь.

■

Бландине исполнилось шестнадцать лет. Она собирается держать экзамен на аттестат зрелости. Француз, у которого ничего нет, кроме свидетельства о рождении, считает, что этот аттестат удостоверяет его знания и открывает доступ к существованию высшего порядка. Бландина вдруг стала принимать себя всерьез, вышла из того очаровательного возраста, когда подростки не сознают собственной прелести, и вступила в пору, когда девушка стремится обрести индивидуальность. Она издали обращает на себя внимание огненной гривой, ниспадающей на белую блузку, которая облегает округлую грудь, при этом талия ее так туго стянута корсарским поясом, что из-под него выпирает содержимое застегнутых на бедрах бледно-зеленых брючек. Ее волосы так пламенеют, что, несмотря на укромную тень на паперти церкви Сент-Арну, я замечаю, что они смешались с чем-то каштановым.

— Сестрица-то моя чуть не утонула — ей делают искусственное дыхание,— говорит мне Обэн, который ходит за мной по пятам.

— Бегу ей на помощь!

Я бросаюсь вперед, вежливо отстраняю парня со следами помады на лице, увожу с собой судорожно вздыхающую Бландину, внушаю ей, что готовиться к экзаменам сейчас гораздо важнее, чем позволять себя тискать; сначала надо, чтобы ее знания прощупали преподаватели, а уж потом пусть ее щупают парни... Но она, несмотря на свой возраст, начинает спорить, отвергает мою теорию ценностей, приводит в пример Саломею... Что делать? Я вне себя от возмущения и досады. И вдруг — хлоп! Вот, милочка, ты и схлопотала пощечину.

■

Мы все начинаем нервничать. У нас в столовой появляется Батист; он дергает себя за бороду, а это дурный признак. Вчера, проходя по площади Дофина, он вдруг увидел, что из Дворца правосудия выходит... кто бы вы думали? Его племянница! До ворот ее провожал какой-то судейский в мантии, с орденской розеткой. Я пытаюсь шутить:

— Может, она собирается за него замуж?

— Или за Гонзага,— говорит Батист.— Хочешь знать мое мнение? Саломея всех нас водит за нос, в том числе и твою мать.

Бертиль не верит: ее дочь не могла вдруг стать такой скрытной. Жаннэ (он пришел к нам вместе с Мари, которая уже совсем округлилась) прыскает со смеху:

— Да бросьте вы! Это совершенно нормально: девушка, если она влюблена, ни с чем не считается и способна на что угодно.

— Неправда! — кричит Обэн.

— Когда мы говорим о ней, все тебе видится в черном цвете,— сказала Бертиль.

Жаннэ, обидевшись, уходит.

■

Немного погодя — звонок по телефону: это Поль, она всегда звонит мне раз в месяц. Спрашиваю у нее совета. По своему обыкновению, на вопрос она отвечает вопросом:

— А вы знаете, где сейчас этот парень и что с ним?

Потом она восхищается — да, восхищается — тем, что женщина в семьдесят пять лет, известная своею черствостью, еще способна «на такую пламенную любовь» — так она и сказала. Она спокойно добавляет, что ей нравится моя ревность.

Рассердившись, я вешаю трубку.

■

Это мнение диаметрально противоположно мнению мадам Дару, которой вовсе не по вкусу, что ее родная внучка пользуется щедротами своей названой бабушки.

— Все равно как если бы я отдала все Жаннэ,— повторяет она.— Каждый должен опекать свое прямое потомство.

Так или иначе, по этому поводу много разговоров, и на нашу семью льется изрядное количество помоев.

■

Что-то, безусловно, происходит — но что? Саломея звонит все реже, целых три недели не появлялась, а когда наконец явилась, то приняла в штыки вопросы матери.

— Ты устраиваешь за мной слежку? — Недовольно помолчав, она все же добавила: — Защитник потребовал у судьи, чтобы меня допросили. Не могла же я отказаться...

Так мы и не узнаем — ни где, ни как, ни кто ей сообщил о вызове в суд. Но когда Бертиль пытается обнять ее, говорит, что мы не понимаем, почему она не приезжает, что мы без нее скучаем, Саломея разражается рыданиями.

— Как вы несносны — и те и другие! — набрасывается она на мать.— Меня любят, как же! Любят со всех сторон. Но каждый любит для себя. Обэн — тот дуется на то, что меня нет дома: некому

подоткнуть ему одеяло, как в те времена, когда ему было пять лет. Все хотят, чтобы я была с ними, и никто не думает о том, с кем хочу быть я. Довольно уж мне трепали нервы...— И вдруг бросает в мою сторону: — И твоя матушка туда же!

■

Это можно было предвидеть, и все же никто из нас не ожидал появления мадам Резо, которая, не доверяя телефону, решила, что вернее будет нагрянуть к нам без предупреждения, на неделе, среди бела дня, то есть когда ее любимица работает. Боясь, что не успеет вовремя вернуться, она даже взяла такси; шофер, уезжая, пожал плечами — наверное, она дала ему слишком скудные чаевые. И вот она здесь, в моем кабинете, с виду совсем добренькая — сидит со мной и Бертиль. Она явилась под тем предлогом, что-де нужно передать нам счета, где есть несомненные приписки. Так как я не умею торговаться, я не стал возражать. Но чтобы не выглядеть дураком, я все-таки сказал, что напрасно пошел на такие расходы ради сомнительного удовольствия оставить следы своих подошв на участке кранской глины, которую месил еще мой прадед.

— У Фреда желтуха,— сказала, наконец, мамаша. Она прищелкивает языком, довольная, что может сообщить нам такую новость. И, помолчав, продолжает: — Марсель выдает замуж старшую дочь, Розу. И очень удачно. Жених — инженер-нефтяник. Семья, имя, взгляды, общественное положение — все превосходно.

Это, видимо, нам в назидание. Дабы мы могли сравнить, сопоставить. Однако семейная хроника еще не закончена:

— Что до Рюейля — так и есть: Марсель его продает. Но он не дурак. Он вступает в компанию с предпринимателем. Вы догадываетесь с кем?

Бертиль неопределенно поводит плечами.

— С ГБНЗ, черт побери! У въезда в парк огромные объявления: «Скоро здесь будет построена Резиденция Жозефины»... Да, там, где жил один только мой дедушка-полковник, по прозвищу Индюк, появится сто квартир. Как говорит Макс, колесо фортуны повернулось: сегодня Индюк и ему подобные уже изжарены и их можно резать на части. Саломея занимается всем этим вместе с ним.

Пауза, необходимая для того, чтобы перейти от второстепенного к главному:

— Теперь не только вы ее не видите — все уик-энды я тоже провожу одна.

Мы с Бертиль заморгали глазами — и напрасно. Лицо мадам Резо подергивается, покрывается густой сеткой морщин, которые становятся вдруг еще глубже. Она хотела убедиться в истинности того, о чем сама же нам сообщила. Тот, кто не желает ни с кем делиться своим добром, не откажется от помощи другого, если понадобится это добро защищать. Но боже упаси выразиться яснее!

Мадам Резо лишь добавляет:

— Бедняжка! Она меня немного беспокоит. Вот уж кому необходим отдых на свежем воздухе, подальше от Парижа!

XXVI

Вечернее солнце, притушенное ивняком, разбрасывало среди круглых листьев водяных лилий с вкрапленными кое-где маслянистыми цветами круглые зеленоватые пятна, таявшие в воде, на которой тоже возникали и расплывались круги всякий раз, как на поверх-

ность поднимался жук-плавунец, или снизу ее касался присос плотвички, или сверху водную гладь своим быстрым прикосновением нарушал один из тех ложных бегающих пауков, которых папа по-ученому называл gerris. Мы стояли на берегу в пяти метрах друг от друга: фермер, мой младший брат и я. Начал я с фермера: в мое отсутствие он, вероятно, не лишал себя предоставленного мне Марселем права рыбной ловли — и правильно делал. Я нашел старые отцовские холщовые штаны. В одних шортах, пока еще белый, как умывальник, Обэн, находившийся в периоде бурного роста, поджаривал на солнце руки и ноги, тощие, как у бразильской обезьяны. Он молчал вмертвую. Что касается Жобо, коренастого, с мускулистыми руками и могучей грудью, лысеющего всюду, где положено расти волосам, то он расстелил на траве свои вельветовые штаны с разноцветными заплатами и сидел неподвижнее, чем обрубленный ствол ольхи, от которого параллельно его ногам к речке Омэ тянулись два красноватых корня. Несгибаемость камышей, устремивших свои стрелы в словно приклеенное к небу серое облако, уже много часов стоявшее над своим увязшим в реке двойником, и неподвижность поплавков — поплавка на нейлоновой леске, уходившей в прозрачную глубину, и поплавков на удочках, лежавших на небольших рогатках из обструганного ясеня,— подчеркивали безмолвие, едва нарушаемое коротким кваканьем лягушки или далеким улюлюканьем удода. Блаженный покой тихих вод! Котел, в котором лето варит экстракт из различных запахов — мяты, шалфея, полыни, болотного газа, поднимающегося из глубины пузырьками, тины, рождающей головастиков,— а над всем этим господствует вызванный органическим обменом запах гнили, сопровождающий всякую давно мокнущую зелень, и слизи, смазочного масла рыбы.

— Хоп! — воскликнул Обэн, ловко вытащив из воды плотвичку, которая падает в траву на то самое место, где пять минут назад он поймал кузнечика для наживки.

Он осторожно подполз к рыбке, чтобы отцепить крючок. И, ликуя, поднял кверху большой палец — безмолвный клич победы. Это была уже пятая рыба, которую он бросил в корзину, присоединив ее к восьми голавлям, трем линям, одному лещу и нескольким усачам. Потом он снова бесшумно забросил удочку.

— Хорошо клюет,— прошептал Жобо.

Мелкая рыбешка уже начинала прыгать под носом у окуней и щук. Лучи солнца стали совсем косыми, и лягушки заквакали громче. Подняв голову на пять сантиметров над слоем болотных орехов, извиваясь, медленно прополз уж. Зимородок с малявкой поперек клюва трижды пролетел взад и вперед от какого-то места вниз по течению, где он, должно быть, заметил стайку рыб, до какого-то места вверх по течению, где, вероятно, находилось его гнездо. Леску Обэна два раза обрывала крупная рыба... Мало-помалу тени повернулись, удлинились, а из глубин воскресного дня донеслось мычание коров, которые, спустившись к изгородям, ожидали своих телят. Между оголенными стволами платанов мелькнули два платья, замахали две обнаженные руки, и как раз в этот момент, дабы напомнить нам, какой мы крови, первая сова испустила свой старинный шуанский крик.

— Пора мне, однако, подумать об ужине,— сказал Жобо.

Когда мы возвращались домой, опередив колокол (с недавних пор подчиненный нашему распорядку дня), Обэн, победно размахивая корзиной, вдруг сказал:

— Папа, мышь боится кошки. А интересно: летучая мышь боится совы, у которой голова, как у кошки?

В общем, приятный эпизод, связанный с чем-то засевшим во мне так же крепко, как корень вьюнка в почве. Подобных эпизодов в течение этих каникул будет немного. Без особого восторга прибыв в Бель-Анжери через три дня после мадам Резо и Саломеи, которые приехали отдельно на «остине», мы сообщили им, что наши молодые здесь не появятся. Чтобы никому не было обидно, Жаннэ договорился со своей фирмой и ему предоставили оплаченный отпуск в третью очередь, так что он будет свободен как раз к тому времени, когда Мари придет пора рожать.

— Я никого не принуждаю навещать меня,— кисло заметила матушка.

Несмотря на ремонтные работы, частью, правда, еще не окончённые, удобства здесь весьма относительные: два водопроводных крана, электричество; три отремонтированные, но уже полные комаров комнаты, в которых, несмотря на опрыскивание, летом появились блохи. По физиономии Бертиль я мог судить о том, до какой степени обитатели пригородов, живущие в своих благоустроенных домах с подстриженными садиками, не подозревают, что такое настоящая деревня. И вот теперь она познакомилась со свитой феи Хлорофилл, с этим «прелестным кортежем из листьев, цветов и плодов», в котором участвуют также крапива, черный терновник, чертополох, жалящие, кусающие и сосущие букашки, свиные клещи, слепни, осы, трутни, сороконожки, муравьи, уховертки, сильно вредящие поэтичности бабочек, водяных стрекоз и прочей божьей твари. Я уже не говорю о пресмыкающихся, называемых здесь гадами, о двухметровом желтопузике, о несчастной медянице или даже о толстом дождевом черве, что водится в огородах. И я не говорю о ночных писках, о крысиных сарабандах на чердаке. Вся эта нечисть, к которой я и мои братья в детстве были совершенно равнодушны, не давала покоя моим дочерям. Привыкшие к дружескому окружению, к благам, которые предоставляют море или горы, они чувствовали себя неуютно. Старый крокет, комплект заржавленных булей для игры в шары, дырявые ракетки для бадминтона, ящик с отверстиями, куда можно бросать кольца, часть которых уже потеряна,— разве это развлечения! Речка Омэ для купанья не годится — в ней слишком много тины. Кататься на лодке? Но грести двумя веслами невозможно — слишком мало места, а управлять одним веслом не каждый умеет. Когда мадам Резо, неизменно старавшаяся сплавить мне Обэна, чтобы он не цеплялся за левую руку Саломеи, как она цеплялась за правую... когда мадам Резо раз пять-шесть сводила их на прогулку по полям и ухабистым дорогам; когда они в своих маленьких сапожках вдоволь нашагались между колеями, капустными кочерыжками и длинными рядами звездообразных навозных лепешек, оставляемых быками на утоптанной дороге; когда они убедились в том, что им здесь смотреть не на что, кроме как на гнущиеся под ветром яблони, на поля клевера между поросшими терновником откосами, за которыми простирались столь же уродливо обнесенные изгородями картофельные поля,— тогда они решили: что ж, видно, такая уж она есть, эта «сельская местность» (окружной центр — Сегрэ, от латинского слова secretum, что значит: «отдельный», «уединенный»), тут нет живописных пейзажей — словом, деревня как деревня. Кроме Обэна, обожавшего лазать по деревьям, ездить без седла на лошади Жобо, шарить по сеновалам, и меня,— я-то могу работать где угодно, лишь бы был у меня кусочек стола,— все остальные уже в конце первой недели изрядно скучали, с тоской вспоминая виллу Оссегор или домик Араш-ле-Каро, которые мы снимали в прошлом и в позапрош-

лом году. Я беспрестанно слышал традиционный вопрос нового поколения, привыкшего к овощным консервам и комфортабельному отдыху:

— Чем бы нам заняться?

Они создали себе свои иллюзии. Я — свои. То или иное место нравится нам больше других только потому, что мы провели в нем детство, и мы никогда не должны его покидать, если хотим, чтобы к нему привязались и наши дети. Мои дети выросли в парижском предместье, и Соледо было для них захолустьем, где обитало две сотни провинциалов. Саломея принялась подолгу пиликать на скрипке, Бландина — фотографировать все подряд. Сестры, которые прежде редко проводили время вместе, стали совершать экскурсии в замки, на пляжи Луары, в мастерские гобеленов в Анже и старались уехать потихоньку, чтобы ускользнуть от бабушки, которая в последний момент всегда оказывалась в машине:

— Вы что же, не берете меня с собой?

Для нее это тоже обернулось крахом Наше присутствие позволяло ей удовлетворять свое чревоугодие, которому Бертиль потакала, используя местные возможности Что касается Саломеи, то мадам Резо ее, видимо, раздражала, и матушка, делавшая невероятные усилия, чтобы идти с ней в ногу и не отстать от поколения, которое было больше чем на пятьдесят лет моложе ее, казалось, была на грани глубокой депрессии. Такой я ее еще не видел. Когда она ждала нас в столовой, пол которой был выложен белыми и черными плитами, она напоминала шахматную королеву, низведенную до роли пешки. Она стояла обычно в торжественной позе, притворяясь, что царствует. Но стоило ей сделать нам замечание по поводу чьего-нибудь опоздания. как Саломея тут же пускала в нее стрелу:

— Да ну тебя, бабушка, не разыгрывай ты из себя будильник!

Ей не удавалось прицепиться даже к Обэну: его сразу же брали под защиту. Она могла лишь уничтожать его взглядом, но мальчишка смеялся в ответ, а она опускала веки, потом снова поднимала их и пожирала горящими глазами мадемуазель Форю, которую Жобо называли просто «мадемуазель», так же как матушку они называли просто «мадам». Мадемуазель Форю, порой небрежную, порой раздражительную, порой (и это чаще всего) витавшую в облаках, но все еще настолько могущественную, что когда ее допустили осмотреть содержимое большого шкафа и она решительно сказала: «Послушай, бабушка, ведь это же смешно: да положи ты свое состояние в банк»,— мадам Резо, отказавшись от удовольствия время от времени перебирать свои ценные бумаги и отрезать купоны. тут же поехала и арендовала сейф в Парижском национальном банке.

■

В сущности, она чувствовала себя непринужденно только со мной. Не успел я приехать и войти в дом, как она отвела меня в сторону и спросила:

— Ты можешь дать мне сколько-нибудь из моих процентов? Сейчас у меня туговато с деньгами.

Если это и так, то тут нет ничего удивительного; и те деньги, которые я мог ей предложить, все равно не заткнули бы дыру. Но скоро я заметил, что ларец эпохи Возрождения исчез. Я пошел к Марте, которую застал за кормлением двух превосходных представителей кранской породы: я говорю не о детях, а о поросятах, так называемых «бегунах», рожденных от одного из тех благородных племенных боровов, которые в гораздо большей степени, чем Вольнэ — автор размыш-

лений о падении империй,— наряду с бегами создали репутацию Крану.

— Вам известно, кто купил ларец? — спросил я вполголоса.

— Антиквар из Пуансе,— ответила Марта, нагнувшись над корытом.

Она поднялась с деревянным ведром в руке и строго посмотрела на меня.

— Будьте начеку, он целый час обмерял резные панели в гостиной. Он еще вернется. Я не люблю много болтать, но мадам Резо уже выжила из ума. Сначала она продавала, потому что ей не хватало денег. Потом ей просто пришла охота торговаться. А теперь из-за мадемуазель... Раз уж вы пришли, спасибо за воду.— И, рассмеявшись, захлопывает дверь хлева.— На тот случай, если она не захочет поделиться со мной, я лучше скажу вам: мадам требует с меня шесть уток в год за то, что я пользуюсь ее колонкой.

Эта мелочь придала мне решимости. Уши у меня горели, когда я направился к мадам Резо, чтобы потребовать от нее объяснений и заявить, что нельзя получать проценты и одновременно подкапываться под капитал. Матушка как раз занималась тем, что она называла своей бухгалтерией: любопытная операция, состоявшая в том, что она сравнивала содержимое шести аккуратно пронумерованных конвертов с надписью «Имею» с содержимым шести конвертов с надписью «Должна»; и те и другие были сложены в коробку от обуви, разделенную на две части куском картона. Драма Бель-Анжери — и я знал это — заключалась в том, что, как она решила раз и навсегда, пятый конверт «Имею» (рубка леса, продажа различных ценностей) был предназначен уравновешивать пятый конверт «Должна» (расходы по дому), а третий конверт «Имею» (рента) снабжал деньгами третий конверт «Должна» (помещение капитала). Парк уже не устоял при этой системе, на очереди была мебель, потом резные панели... Однако мадам Резо, прикинувшись на миг несказанно удивленной, тут же разразилась возмущенными возгласами:

— Ты становишься таким же скупердяем, как и твой брат. Да, это правда, я должна была выручить определенную сумму. Но тебе ли на это жаловаться? Все было истрачено на твою дочь.

— Это было разумно? — спросил я, не поддаваясь на ее вызов.

— Меня бог знает как упрекали в том, что я недостаточно для вас делаю, а теперь я, оказывается, делаю слишком много! — возразила она сердито.

Однако грубая откровенность пересилила притворство:

— И потом учти: по закону Саломея нам чужая. Если мне хочется немного ее побаловать, то я должна это сделать, пока жива.

Она хотела как-то оправдать свою прихоть, уж это-то по крайней мере было ясно и в известном смысле даже молодило ее. Я удалился, жестом изобразив, будто снимаю перед ней шляпу, как это было принято во времена Короля-Солнца. Когда я рассказал обо всем этом Бертиль, она посоветовала мне предупредить актиквара. Я отказался: в департаменте их было не меньше сотни, и все они держали в поле зрения старых дам, способных распродать родовую мебель. Не мог же я разослать им циркуляр! К тому же, должен признаться, я из тех, кто много шумит, когда его ущемляют в правах, но потом испытывает глупое, гордое отвращение к тому, чтобы до конца отстаивать свои интересы. Больше я не заводил об этом речи. Но по уколам, по намекам мадам Резо, по тому, как она меня не слушала, когда я говорил, и наблюдала за мной, когда я молчал, я очень быстро, в тот же вечер, понял, что она приняла мои слова всерьез и снова меня возненавидела.

XXVII

Квартира, которую вы сами для себя выбрали, ознакомившись с ее планом, или дом, который вы построили, ни с кем не связаны в ваших воспоминаниях — там вы можете себе представить только себя; обиталище ваше, так сказать, еще не было в употреблении. Неужели источник моей юности уже не молодит меня? Быть может, это результат того, что возрождаются наши мелкие раздоры? Умытые разве что святой водой, в длинных ночных рубашках, в падающих на одно ухо ночных колпаках с помпонами, представители семи поколений нашей семьи копошились в этой кровати, стыдливо скрипя ее пружинами. Всякий раз, поворачиваясь в ней, я толкаю их локтем, а Бертиль, в костюме Евы занимающаяся утренней гимнастикой, своею пышной растительностью шокирует мою покойную тетю Терезу, которая, дабы повыше поднять грудь, на том же самом месте затягивалась в корсет с помощью покойной тети Ивонны, своего близнеца, и нижняя часть туловища у обеих моих теток утопала в широких панталонах с разрезом и кружевными воланами. Зачем я приехал сюда? Воскрешать прошлое? Оно меня утомляет.

Но вот, увлекшись своими гимнастическими упражнениями, которые она проделывает у низкого окошка, Бертиль наклоняется вперед, раскинув руки и отбросив назад ногу. Внезапно она теряет равновесие, пяткой попадает в оконное стекло; столетняя замазка не выдерживает, стекло вылетает и разбивается о глиняный желоб для стока воды.

— Стекольщика! — кричит как ни в чем не бывало моя берришонка.

Легко сказать. Вот ведь мы какие: непоследовательные, сами себе противоречим. Разбилось-то стекло-лупа! Вот какая история! В этом окне с переплетом, изъеденным дождем двух столетий, не найдешь и двух стекол одинакового цвета. Тут есть всякие — от старого, искажающего предметы, зеленоватого, волнистого стекла с пузырьками до современного прозрачного стекла, гладкого и ровного, толщиной в три миллиметра. Сквозь только что разбившееся стекло (у него был небольшой дефект — легкое утолщение посредине) все семь поколений судей и адвокатов (которые, как и я, поздно вставали в отпускное время), вскочив с кровати, смотрели на сливовое дерево, росшее против окна, и находили, что сливы на нем гораздо крупнее, чем это было на самом деле. Но к Бертиль, натягивающей колготки, я обращаюсь совсем с другим:

— Ты слышала? Сегодня утром, еще не было восьми, она опять отправилась за провизией.

Втянем живот. Зеркало в стиле Людовика XV видело не одно толстое судейское брюхо с торчащим пупом, и нотариус с бакенбардами, благоденствующий в своей раме, не стал бы возражать, если бы я выставил свое. Но жена моя заслуживает того, чтобы я держался в форме. Кстати, надо высказать ей до конца свою мысль:

— Даю голову на отсечение: она хотела, чтобы Саломея сопровождала ее.

Бертиль морщится: главный ее недостаток в том, что она пасует, едва речь заходит о ее выводке. Но в данном случае она решительно продолжает:

— Ты знаешь, что она еще рассказывает? Будто Максу понравилась Саломея и он сам сказал об этом твоей матери. Как она выразилась, «в известном смысле это превосходная партия. Какое состояние, какое положение, моя дорогая! Правда, Макс уже не молод, но и Саломея, бедняжка, уже не... словом, вы меня понимаете! Короче, я отвадила Макса, сославшись на ее возраст, но главное, мне не хотелось

разлучаться с ней...» Твоя мать — это бездна эгоизма. Даже если бы дело шло о подходящем во всех отношениях молодом человеке, она сказала бы то же самое.

В такой час Бертиль частенько произносит свои монологи. Если у нее нет ко мне ничего срочного, она никогда не делится со мной новостями вечером, раздеваясь перед сном, в чем я всегда усердно ей помогаю. Нет, она обычно начинает болтать, когда одевается или за утренним туалетом, сунув нос в смоченную теплой водой махровую перчатку. Сейчас, причесываясь, она признается:

— Кстати, вчера я очень рассердилась. Стоит тебе отвернуться, твоя мать подкапывается под тебя при детях. Если бы она решила совсем дискредитировать тебя в их глазах, то лучшего не могла бы и придумать.

— Чушь какая-то! — бормочет супруг, поглощенный бритьем.

— И это все, что ты можешь сказать? — недоумевает Бертиль.

Я не в том положении, чтобы жаловаться. А кроме того, лучше признать свою ошибку без шума. Минутку, вот только добрею под нижней губой.

— Если бы Саломея осмелилась повторить то, что наговорила ей моя матушка, ты бы узнала нечто похуже,— говорю я.— Не давай ты ей спуску. А если она не угомонится, то самое простое...

Тут меня прерывают крики: они доносятся снизу, кажется из кухни, и точь-в-точь похожи на те, которые испускала Психимора сорок лет назад, когда объявляла нам войну:

— Ах ты, противный мальчишка! Уберешь ты эту гадость или нет?

Сейчас выясним, в чем дело: оказывается, Обэн, который нашел в сарае старые сети и каждое утро спозаранку вытаскивает их, принес в дом двух угрей, думая, что они заснули, а мадам Резо их обнаружила, живых и извивающихся, в старом шкафу из металлической сетки, предназначенном для провизии,— она и сейчас держит в нем мясо, пряча его от зеленых мух. Предлог ерундовый, но для нее Обэн принадлежит к ненавистному племени коротких штанишек. Его протесты ни к чему не приводят. Напротив, мадам Резо вопит все громче:

— Да замолчишь ли ты, негодник этакий! Не знаю, что меня только удерживает...

Бертиль второпях застегивает халатик.

— Твоя мать его невзлюбила,— возмущается она.— Его нельзя оставлять с ней одного. Пойду туда... Так ка́к ты сказал? Самое простое будет что?

— Больше сюда не приезжать...

■

Подразумевается: «до тех пор, пока...» Если по истечении срока, обозначенного этим сложным временным союзом, от Бель-Анжери мало что останется, не беда: главное — вновь обрести покой. Я не желаю мадам Резо никакого иного зла: пусть живет себе долго-долго в полном одиночестве, как жила до сих пор,— этого она и заслуживает. Впрочем, лучше бы мне помолчать: случается, какая-нибудь произнесенная фраза заставляет вас потом горько раскаиваться, словно она способна была омрачить будущее.

Но выйдем на воздух: писанину на сегодня оставим. Погода чудесная, жарко, луга, напоенные росой, до полудня будут таять в розовом мареве; невидимые кукушки отвечают золотистым дроздам, чье присутствие также невидимо; ласточки, как мушки, порхают в бескрайней синеве неба. Чтобы показать виновнице, что я на нее дуюсь,

я быстро выпиваю чашку кофе и ухожу, потащив с собой Обэна, глаза которого еще сверкают гневом. Бландина последовала за нами. Бертиль тоже. В качестве предупреждения мы не вернемся в Бель-Анжери до полудня; мы шагаем по тропинке вдоль дороги № 161-В, и Бландина сосредоточенно срывает все попадающиеся по пути цветы.

— Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять зет-игрек семьдесят семь, это Смэ,— кричит Обэн, который на таблице окулиста и правым и левым глазом свободно читает все десять строк.

«Остин» выезжает из Соледо и проносится мимо кладбища на расстоянии нескольких метров от нашего семейного склепа. У меня мелькает странная мысль: «Нет, папа, нет, это не твоя внучка». «Остин» приближается, вот он уже останавливается возле нас. Саломея выходит, подскакивает к матери, целует ее, потом брата, потом сестру. Она улыбается, приплясывая на месте; она совсем такая, какой была несколько месяцев назад, хотя причину ее радости распознать не легче, чем увидеть сквозь платье ее белье. Впрочем, наше недоумение довольно быстро начинает стеснять ее, и когда она снова садится в машину и уезжает, она уже жалеет, что недостаточно владела собой.

— По крайней мере ей-то каникулы идут на пользу! — говорит Бертиль.

Вероятно, я один заметил на заднем сиденье, между ее сумочкой и сеткой, раздавшейся от покупок, голубое пятно телеграммы.

■

По правде сказать, я убедился в этом только вечером, в конце дня, проведенного в ожидании и во взаимном наблюдении. Мамаша не снизошла до того, чтобы заметить наше отсутствие, но после обеда, во время которого все блюда показались мне холодными, она проявляла известную осторожность. Она не могла не заметить странного состояния своей любимицы: Саломея была менее экспансивной, более сдержанной, чем утром, но она как бы множилась, расточала себя, словно предводительница отряда бойскаутов: она и готовила, и мыла посуду, она будто стремилась соединить в своем лице все достоинства, дабы ей что-то простили, а что — неизвестно.

— Хочешь, бабушка, я поставлю тебе шезлонг на солнце?

Бабушка благодарит, прячет голову под старый зонтик и, подняв подол платья, подставляет под ультрафиолетовые лучи свои ноги с узловатыми венами. Но она все время вертится, и мне достаточно бросить взгляд на ее встревоженное лицо, чтобы понять: ее мучит страх. В подобных случаях, дабы убедиться в том, что они еще пользуются каким-то доверием, старые люди становятся надоедливыми. Так было и сейчас:

— Знаешь, я бы с удовольствием выпила чашечку кофе.

Саломея идет варить кофе, и мадам Резо в течение пятнадцати минут меланхолически потягивает свою чашечку. Потом снова начинает ерзать в шезлонге:

— Этот холст до того грубый!

Саломея идет за подушкой, и эта безотказная услужливость, вместо того чтобы успокоить мадам Резо, тревожит ее еще больше. Она бы охотно сыграла в пикет. Но Саломея не умеет играть в пикет. Тогда в безиг? Но Саломея не играет в безиг, и мадам Резо начинает думать, что она отказывается нарочно Бертиль предлагает белот, но мадам Резо не умеет играть в белот. А все же, поскольку невестка неосторожно предложила себя в качестве жертвы, мамаше представляется весьма удобный случай отомстить за то, что мы покинули ее утром.

— Вы видели мои несчастные розы, Бертиль? Вы умеете подстригать кусты?

И вот моя жена уже вооружилась садовыми ножницами. Обэн тащит меня за рукав, и я исчезаю вместе с ним: мы идем в лесок, где я должен построить ему «бамбуковую хижину». Но когда мы вернемся, нас встретит ритмичный стук мотыг, срезающих одуванчики на песчаной дорожке. И жена и дочери, обливаясь потом, скребут изо всех сил под критическим взглядом хозяйки замка, которая, увы, из-за своей эмфиземы не может им помочь. Мне ничего не остается, как взяться за грабли, и нас спасает только появление какого-то толстяка, который, оставив свой грузовичок у ворот, направляется к нам и, не дойдя шагов пять, снимает фуражку.

— У вас сегодня ничего нет для меня, мадам? — справляется он.

— Кажется, нет,— отвечает мадам Резо, глядя на меня.

Она проворно встает и, проводив быстрыми шагами посетителя — старьевщика, лесоторговца или маклера,— останавливается лишь в конце аллеи и о чем-то беседует с ним так, чтобы мы не слышали. К тому времени, когда она вернется, мы, конечно, уже исчезнем.

■

Исчезнем до тех пор, пока не зазвонит колокол: на этот раз за веревку дергает Бландина. Сидя в своей комнате, куда я удалился, чтобы часа три поработать за письменным столом, я узнаю ее манеру звонить: как наша служанка Фина в героические времена (но Фина-то была глухая), Бландина не умеет делать это размеренно. Бертиль же сильно раскачивает язык, но тоже портит звон, ибо вовремя не отпускает веревку. Только Обэн чутьем понимает, как заставить петь бронзу: удары у него то редкие, то приглушенные, то звонкие; он умеет соединять их в группы, может выражать радость, печаль, нетерпение — как мой отец, который был большим мастером колокольного звона: в молодости он даже придумал особый код, чтобы издали сообщать друзьям о результатах своей охоты.

Спускаюсь вниз. Иду по длинному коридору, освещенному косыми лучами заходящего солнца, которое отбрасывает на противоположную стену пылающие изображения круглых окошек. Одно из них, приотворенное, я захлопываю, чтобы в дом не проникал раскаленный воздух и комары. Лестница скрипит там, где ей и положено. Под балками первого этажа сильнее чувствуется запах гнилого дерева. В столовой, где он особенно ударяет в нос, мадам Резо восседает на своем царственном месте, посреди большого стола, спиной к облицованному плитками камину.

— Не хватает только Саломеи,— заметила Бертиль.

— Я думала, она с вами,— сказала мадам Резо, которую обслуживают вот уже три недели, так что она даже не показывается на кухне.

— Нет,— возразила Бертиль,— она все сделала днем, а сейчас я ее и не просила помочь. Мы справились вдвоем с Бландиной.

Обэн вскакивает, через две ступеньки взбегает по лестнице. Хлопают двери. Он возвращается ни с чем. Саломеи, разумеется, в ее комнате нет: она бы слышала колокол.

— Куда же она запропастилась? — спрашивает мадам Резо изменившимся голосом.

— Я видела, как она шла к речке,— отвечает Бландина.— Но это было около пяти. Позвонить еще раз?

— Я позвоню! — говорит Обэн и срывается с места.

Суп продолжает дымиться. В саду все красное постепенно становится фиолетовым, потом черным (в обратном порядке по сравнению

с тем, как меняется цвет сутаны у духовных лиц по мере повышения в сане, говорил Фред). Последний луч солнца соскользнул с гобелена, на котором вытканы амур, ставший одноглазым из-за дырки, проеденной молью. Обэн звонит, слегка раскачивая колокол, и торопливый звон оглашает вечерний воздух, в котором еще носятся стрижи, но уже появились и ночные бабочки. Мадам Резо не дожидается, пока колокол перестанет звонить. Терпение ее иссякает, она отталкивает свой стул, проходит напрямик через оранжерею и семенит к речке.

— Саломея! Саломея! — кричит она на разные лады.

На горизонте осталась лишь светлая полоса; прячась где-то в невидимом, свистят две сойки, ежеминутно перекликаясь друг с другом; их сменяет сова — она ухает ближе к нам, сидя на тополе. На лугу едва угадываются темные силуэты коров: они тяжело переступают, бродя между яблонями и выдавая свое присутствие резким запахом, хрустом срываемой травы, горячим дыханием.

— Саломея!

Крик мадам Резо почти так же резок, как крик совы, и Бертиль, не привыкшая к ночным звукам в роще, в этот час будто населенной вампирами, вся дрожит, схватившись за мою руку. Наши усилия смешны и бессмысленны. Зачем идти дальше? Под сплетением веток, словно нарисованных углем, на речке, отливающей блеском фольги, четко вырисовывается верная своей пристани неподвижная лодка. Для взрослого человека Омэ не представляет никакой опасности: глубина реки нигде не превышает полутора метров. Я кричу:

— Обэн, пойди посмотри, машина ее в гараже?

Мадам Резо вдруг поднимается по откосу и направляется прямо к ферме, окутанной навозными испарениями. Дом четко обозначен падающей из открытой двери полосой яркого света, в которой блестят пустые перевернутые кверху дном бидоны.

— Саломея! — еще раз кричит мамаша.

Полоса света разделяется надвое. Марта, следуя за своей тенью, появляется на пороге:

— Вы ищете мадемуазель?

Что до меня, то я больше никого не ищу: мнение мое уже сложилось. Но свекровь с невесткой бросаются к Марте.

— Вы ее видели?

Лицо Марты — лишь темный круг в проеме двери. Но лица моей жены и матери, которые вышли из тени на свет электрической лампочки, вдруг отчетливо проявляются: одно выражает тревогу, другое — ужас.

— Мы с Феликсом ее видели, она уехала около шести часов,— сказала Марта.— Мы даже удивились, почему она поехала мимо фермы.

XXVIII

В первую минуту в присутствии Марты — язык-то у нее без костей — мадам Резо кое-как удалось сдержаться, и, чтобы соблюсти приличия, она бросила:

— Могла бы и предупредить нас, что едет в Сегрэ!

Согнувшись почти до земли от приступа кашля, матушка отступила в темноту, и, когда я остался один, Марта шепнула мне:

— Тут пахнет кавалером!

Улизнуть незаметно задами, чтобы я не помчался вдогонку за ней на «ситроэне» (напрасный страх: я не мог представить себя в такой роли),— право, это было излишне. Она перестаралась! Не проще ли

было сбежать рано утром под тем предлогом, будто нужно, как обычно, съездить за продуктами — никто бы ничего не подумал. Но телеграмма, присланная, разумеется, до востребования, должно быть, указывала время встречи. Я убедился в этом, зайдя в комнату Саломеи, после ремонта лучшую во всем доме: там остался лишь запах ее духов; все ее вещи исчезли. Чтобы не привлекать внимания, она, должно быть, с утра спрятала чемодан в багажник машины и заперла на ключ. Никакой записки я не нашел. Но разве было бы логично, если б она ее оставила? Бегство Саломеи, хоть оно и отличалось от моего, будило во мне воспоминания и служило доказательством — если я в нем нуждался! — того, что наши поступки никогда не остаются без последствий и что к детям, в свою очередь ставшим родителями, возмездие рано или поздно приходит от их собственных детей. Но в конце концов, будь я на ее месте, оставил ли бы я записку? А если да, то куда бы я ее положил, чтобы обнаружили ее не слишком рано и не слишком поздно? Я решил обыскать свою комнату. Каждый вечер мы заходим в туалет... Но там ничего не было. Достаем на ночь пижаму... Опять неудача, но уже теплее, теплее... Перед сном стелим постель... Ай да я! Письмо лежало под простыней — без адреса, без адресата, на листке бумаги с грифом Бель-Анжери, такой старой, что на ней появились даже желтые разводы.

> Я уезжаю к Гонзагу, которого освободили условно. Если судьи его не осудили, то почему должна это сделать я? К чему пререкаться: вам — говорить, что он может погубить меня, мне — утверждать, что я могу его спасти. Ошибка молодости — не так уж это страшно. Да и потом — все очень просто: он мне необходим.
>
> Простите, что не предупредила вас: вы бы постарались меня удержать. Простите также за откровенность: я считаю себя вправе так поступить. Рано или поздно девушка должна покинуть родительский дом. То, что я узнала от бабушки, мешало мне чувствовать себя в нем свободно. Но оставаться с ней, хотя она давала мне все, не будучи ничем мне обязанной, я не могла, так как это поставило бы меня в еще более сложное положение. Я благодарю ее за помощь и прошу ее, как и всех тех, кто меня любит: не мешайте мне жить.

Дальше следовала неизменная приписка «Крепко целую», которая всегда меня раздражала — если поцелуи бывают крепкие и менее крепкие, значит, само понятие существует в разных качествах? Так что же выбрал сейчас этот маленький чувственный рот, разжав влажный барьер своих зубов? Следовал еще постскриптум: «Мы уезжаем за границу и пробудем там некоторое время. Я вам напишу». Я охотно воздержался бы от комментариев, но, чувствуя обиду, я вместе с тем сознавал, что где-то промахнулся, и ощущал на себе тяжесть ответственности; мне казалось, что меня предали, и я был полон глупой иронии, за которой мы обычно прячем наши неудачи. «Не мешайте мне жить» — в ее возрасте это значит: «Не мешайте мне жить без вас» (а еще точнее — жить с таким-то, причем подразумевается рифма «жить — любить»). С письмом в руке я прошел неизбежным коридором в другое крыло дома, где мамаша рухнула в старое засаленное кресло с дырявой стеганой обивкой, зажатое между окном без занавесок, вырезавшим из темноты тридцать два квадрата, и печкой, которая так прокоптила комнату, включая балки, что даже в разгар лета в ней все еще пахло сажей. Бертиль — сплошной комок нервов — сидела верхом на соломенном стуле. Она вырвала у меня письмо, мгновенно прочитала его и швырнула на колени мадам Резо, прошипев:

— Так что же вы рассказали Саломее, матушка? Это надо выяснить.

Мадам Резо вперила в бумагу взгляд своих почти остекленевших глаз. Подбородок ее дрожал, и на мгновение я даже подумал, уж не хватил ли ее удар. Но взяв трясущейся рукой письмо, она, наконец, пробормотала:

— Я... не... понимаю.

— Об этом мы еще поговорим,— сухо отрезала Бертиль.— Сейчас я пойду накормлю детей. Во всяком случае, завтра я уезжаю: тут мы ничего не можем ни узнать, ни сделать.

Когда Бертиль вышла, тяжелые веки мадам Резо опустились; не поднимая их, она прошептала:

— Я тоже уезжаю. Если я понадоблюсь Саломее, она вернется не сюда, а в Париж.

— Если только она оттуда действительно уехала,— высказал я заведомо неуместное сомнение в надежде узнать правду.— Она не так богата, чтобы уехать далеко.

— Ну, деньги-то у нее есть! — вздохнула дарительница, ничего к этому не добавив.

Восковая статуя из музея Гревэн, она с трудом дышала сквозь свои больные бронхи; зрелище было тягостное, и я едва не пожалел ее. Но надо было вскрыть нарыв.

— Вы прекрасно знаете, что она не вернется. Одно дело — оторвать девушку от семьи посредством наговоров, подарков, соблазнив ее независимостью. Другое дело — заставить ее жить с таким старым человеком, как вы. Оторвавшись от нас, Саломея добивалась единственной цели — быть ближе к Гонзагу, ждать его, использовать вас, чтобы в нужный момент иметь возможность помочь ему.

Выражение полнейшего безразличия на этом лице, обычно столь явно отражавшем злобу, не изменилось. Но, подумав немного, я понял: она ищет, чем бы причинить мне боль. Потом знакомый голос начал жалить:

— Тебе следовало бы благодарить меня! Если бы ты не питал низменных чувств к своей падчерице, ты отделался бы от нее с такою же радостью, как Бертиль от Жаннэ.

— Может быть, мне следовало бы поблагодарить вас также за то, что вы по-своему рассказали ей о смерти ее отца?

Хотя из-за отсутствия доказательств я не говорил об этом никому, даже Бертиль, я давно подозревал это. Я мог бы даже указать дату и место: 11 марта, бульвар Баллю, за два часа до того, как Саломея объявила нам о своем намерении переселиться в Париж.

— Как это «по-своему»? — крикнула мадам Резо, неожиданно признаваясь.— Но ведь это же правда, что ты убил ее отца! Все поражаются, как после этого Бертиль могла выйти за тебя замуж.

Комната матушки всегда была в паутине; при электрическом свете она голубела по углам, и мне казалось, что я попал в огромные паучьи тенета, в центре которых меня ожидала эта старуха с крючковатыми пальцами. «Все поражаются...» Все — это значит она, Саломея, Марта, Жобо и радио Соледо после мессы или после закрытия рынка, то есть вся деревня, весь округ Сегрэ, даже вся провинция Анжу.

Если хорошенько разобраться, сплетня предназначалась не только для Саломеи; но даже если учесть страсть мадам Резо, или ее жажду мести, или и то и другое одновременно, нелепость ее наветов оставалась явной: мадам Резо разрушала собственную работу, она ставила меня в такое положение, при котором я не мог дальше оставаться в этом округе.

— Трудно будет простить вам это! — сказал я, предвосхищая слова, которые немного позже бросит ей Бертиль.

— Я терпела от тебя и не такое! — ответила она вяло, но и без сожаления.

До вечера следующего дня она погрузилась в ледяное молчание.

■

Скажу прямо: сколь глубоко мы ни были расстроены, нам все-таки пришлось остановить машину и перелезть через живую изгородь, дабы справить малую нужду. И я отмечаю это вовсе не для смеха: сегодня болезненно ощущая отсутствие мадам Резо, свидетеля забытых лет моего существования, с тоской вспоминая о ней, как вспоминает человек о потерянной ноге (разве мы любим свою ногу? Нет. Но без нее мы не можем ходить), я охотнее задерживаюсь мыслью на отдельных подробностях, чем на ее отношении ко мне в целом. Я снова вижу, как она, не говоря ни слова, быстро воспользовалась тем, что я затормозил по просьбе Обэна. Я вижу, как на протяжении трехсот тридцати километров она пережевывает свое разочарование вместе с двумя сандвичами и крутым яйцом, в то время как Бертиль нарочно говорит со мной так, будто справа от меня сидит не человек, а манекен (один из тех старых портновских манекенов, формы которых, полные и крутые, обтянутые серой материей и начисто лишенные всех признаков пола, всегда напоминали мне фигуру матушки). Я снова вижу, как она выходит из машины перед своим домом на авеню Шуази и ждет, пока я сниму ремни, придерживающие ее чемодан вместе с нашими на хромированной багажной полке. Бертиль опустила стекло, но не двинулась с места, и тогда, стараясь соблюсти приличия, мадам Резо сказала:

— Не выходите, дети: здесь большое движение.

— До свидания, мадам! — сказала Бертиль, удерживая Обэна, который уже взялся за ручку дверцы.

Я один понес старые отцовские чемоданы из буйволовой кожи — она хлопали меня по икрам. По пути мадам Резо подошла к привратнице и бесстрастным тоном спросила, видела ли та ее внучку.

— Мадемуазель Форю приезжала сегодня ночью,— ответила молодая женщина, неопределенно улыбнувшись.— Около полудня она снова уехала и сказала, что теперь вы будете здесь хозяйкой.

— Оставила она свои ключи? — спросила мадам Резо.

— Нет,— ответила привратница и вдруг перешла на множественное число:— Я хотела спросить у них адрес, но они торопились, им нужно было поспеть на самолет в Орли.

В лифте, поднимавшемся очень быстро, мадам Резо на мгновение схватилась за сердце.

— Они ночевали здесь! — пробормотала она сердито. Потом лицо ее прояснилось: — А все-таки ключи она оставила у себя!

Но после того, как она отперла три замка, подняла шторы; после того, как на мгновение почувствовала себя дома; после той благодатной минуты, когда ноздри ее расширились, вдыхая аромат «Двадцати цветов», а при виде портрета над кроватью заблестели глаза, воспоминание об отсутствующей стало для нее нестерпимым. Тяжело дыша, снова вся напряженная, она присела на край кресла, в котором уже научилась утопать.

— Если ты хоть что-нибудь узнаешь, извести меня,— взмолилась она.— Не покидай меня окончательно.

XXIX

Если бы я посмотрел в картотеку, в отделение на букву «Р», где хранилась дюжина папок с письмами Резо, и, отложив в сторону самые старые, отобрал бы только недавние, из подгруппы Эрдэ, то оказалось бы, что по крайней мере две трети писем помечены августом. Подобно приютским детям, которые, обретя семью, особенно сильно к ней привязываются, я не расстаюсь с женой и детьми в течение десяти месяцев, а это даже слишком. В июле мы еще вместе проводим отпускное время. Но в августе — никогда: в августе мы разъезжаемся по разным местам, чтобы отдохнуть друг от друга. Тогда все устное становится письменным: чернила — это материальные следы отсутствия. И тут у каждого следы эти оказываются разными: болтун Обэн переходит на телеграфный язык; Бландина удивляет образцами хорошего стиля; Бертиль, обычно такая будничная, пускается в философствования. Только я никого не удивляю: сапожник всегда без сапог.

Короче, я остался один. Бертиль, добрая по натуре, но с трудом прощающая обиды, подумывала, не собрать ли «совет», чтобы отомстить матушке. Мы с бабушкой Дару отговорили ее: одно дело — предоставить детям возможность выразить свое мнение, другое — заставить их осудить кого-то. Кроме того, она была приглашена к своей тетке в Берри, но колебалась, ехать ей или нет. Однако вскоре пришла телеграмма:

«Поселились в Восточной части Монреаля, улица Шербрук, 1178, кв. 765. Все благополучно».

Обосновались они в слишком уж неожиданном месте, и потому надо полагать, все было заранее подготовлено. Наконец, как и было намечено, Бландина отплыла в Англию, а Обэн — в Ирландию. Бертиль поездом уехала в Бурж, попросив меня остаться дома, чтобы получать почту и извещать всех о новостях, в особенности из Канады.

— Только не вздумай пересылать письма твоей матери!

Это отнюдь не было жертвой с моей стороны. Никогда я не работаю так успешно, как во время каникул, весь смысл которых заключается для меня в том, что я имею возможность поправить немного свое здоровье или попутешествовать. Стоит мне остановиться в гостинице, я сразу превращаю свой номер в рабочий кабинет. Поскольку я не научился развлекаться в более подходящем для этого возрасте, почти все, что понимается под этим глаголом, мне кажется скучным (или, если угодно, не способно затмить ту игру без партнеров, в которую я с радостью играю круглый год). В течение месяца меня кормила горничная — за исключением тех дней, когда я наведывался к Жаннэ, к Батисту, который уже вернулся, и к Арно Макслону, который еще не уехал на побережье. Мне писали, звонили отовсюду; я информировал всех, и между всеми нами, озабоченными нашими недавними неприятностями, как бы рикошетом возникал приглушенный диалог. Я цитировал Поль, которая недавно мне звонила:

«Как жаль! Единственный раз сердце мадам Резо послужило ей для чего-то иного, не имеющего отношения к ее кровообращению».

Я цитировал Бертиль:

«Двадцать лет мы не имели с ней дела. Пусть так и будет».

Но Бландина, уже из Ливерпуля, реагировала так:

«Не иметь с человеком дела — значит не знать его. Труднее его забыть. Я не могу целиком осуждать безумства бабушки, и мне нравится безумство Саломеи, которая, сбежав, отказалась от всех своих преимуществ».

«Да, но то, что она оставила у себя деньги, мне нравится куда меньше»,— передавал через меня Жаннэ.

«Я сейчас же ей напишу»,— сообщил Обэн из молодежного лагеря между Кинсейлом и Корком.

Он-то мог это сделать, он не боялся совершить неловкость, отказавшись от общения с сестрой, или проявить слабость, приняв как должное ее новую жизнь. Отправив двусмысленную телеграмму: «Наши дружеские чувства, наш адрес не изменились», мы с Бертиль договорились некоторое время молчать. Лучше внушать сожаление, чем раскаяние; пусть, сожалея о нас, они благоденствуют в чужом краю. Впрочем, я пытался забыть об этом, переключиться на другое, поговорить, к примеру, о младенце, которого ждала Мари. Но без большого успеха. Родственники тоже задерживают внимание только на чем-то сенсационном. Наших детей, которые не придают большого значения любовным приключениям своих братьев, почти вовсе не интересуют их последствия, в особенности истории, связанные с деторождением. Большой живот в их глазах стал испытанием или даже возмездием за безмятежность идиллии. «Здорово ее раздуло!» — тихонько говорил мне Обэн незадолго до своего отъезда, видя, как тяжело ступает его невестка. К тому же мадам Резо не позволяла полностью забыть о себе. Покой нам давался нелегко. И недели не проходило без того, чтобы ко мне не приставали (разумеется, третьи лица), стараясь повлиять на меня, уговаривая проявить снисходительность, не доводить дело до открытого разрыва. Первой позвонила привратница с авеню Шуази и своим чарующим голосом графини сказала:

— Ваша матушка здесь, рядом со мной. Она просила меня позвонить вам и поговорить вместо нее: она боится, что не услышит вас. Если бы вы могли навестить ее, она была бы рада сообщить вам новости, которые получила от мадемуазель Форю.

Значит, Саломея, которая нам еще не написала, продолжала поддерживать равновесие, и теперь моя мать уже не могла на нее сердиться — она не могла сердиться и на меня за то, что я сержусь на нее. Для этого мамаша была слишком снисходительна! Подумав, я нашел верный тон:

— Передайте, что я ее благодарю. Я тоже получил известия.

Неделю спустя настал черед мэтра Дибона, нотариуса из Соледо, который тоже позвонил мне по телефону:

— Простите за беспокойство, но в Бель-Анжери неприятность. На ферме у Марты Жобо снизился напор воды; она тут же пошла проверить, что делается у вас. Оказалось, что новый котел лопнул. Это привело к значительным повреждениям. Я поставил в известность мадам Резо, но она говорит, что это в равной мере касается и вас. Работы были выполнены недобросовестно. Может быть, вы договоритесь и дадите мне указания?

Почему этот нотариус интересуется водопроводом, пусть даже в качестве соседа? Это, конечно, только предлог. Но для чего? Однако хороший сын не должен питать недоверия:

— Пусть решает матушка: я полностью полагаюсь на нее.

Но упорство мадам Резо толкнуло ее на нечто большее. В день святого Христофора — кстати говоря, он специализируется на охране шоссе и дорог — снова телефонный звонок, на сей раз из Парижа:

— Говорят из клиники Формижона, на улице Тольбьяк. Ваша мать просит сообщить вам, что, когда она выходила из комиссариата, где получала паспорт, какой-то мальчуган, катавшийся на роликах по тротуару, ушиб ей левую ногу. Перелома у нее нет, только кровоизлияние. Мы надеемся, что мадам Резо пробудет у нас не больше трех дней. Она находится в тридцать седьмой палате и просит, чтобы ей принесли халат.

Вот таким образом около часа пополудни я очутился на перекрестке Бобийо—Тольбьяк. Какой-то «мерседес», отъехавший как раз когда я подъезжал, освободил мне место почти напротив клиники. Я вышел и задержался, запирая дверцы... И тут вдруг позабыл и про сумку, куда только что запихал один из халатов Бертиль, и про номер 37, и про много прошедших лет. Тольбьяк — *это была наша станция.* Сколько раз ожидал я ее около схемы подземных линий и, перегнувшись через перила, перебирал взглядом бесчисленное множество голов, которые изрыгал подо мной выход из метро. Повинуясь тем, врезавшимся в память прежним дорожным знакам, отмеченному металлическими бляхами переходу, шагая по своим прежним следам, я незаметно уклонялся в сторону, я *возвращался домой* по улице Фурье, где заканчивалась крутым поворотом улица Белье-Дедувр, бывшая улица Колоний, и удивился, только обнаружив, что нахожусь уже в начале улицы, у дома № 3, в том месте, где, возвращаясь из сквера, она приподнимала передние колеса колясочки Жаннэ, чтобы въехать на тротуар.

Я никогда не хожу по улице Белье-Дедувр В то время я лежал в больнице и не провожал Монику на кладбище; поэтому она для меня похоронена не в Тиэ, а скорее здесь, на втором этаже направо, в этой шестидесятиметровой квартире с тергалевыми занавесками на двух окнах. Поперек одного из них натянута веревка, чтобы вешать детские штанишки. Второе окно открыто, и из него струится веселая волна звуков... Здравствуй, милая! Ты так и осталась двадцатисемилетней, ты молода, скоро ты сравняешься возрастом со своим сыном. Никто не назовет тебя бабушкой... Да, я храню твой бумажник и в нем твою карточку — ту, где ты снята на берегу речки; фотографировал я с другого берега, и карточка эта всегда внушает мне желание крикнуть «Переходи!» той девочке, которую все больше и больше отдаляет от меня непреодолимая ширь километров времени.

— Андре! — крикнула молодая женщина, неожиданно появившаяся у окна.— Ты издеваешься надо мной, что ли? Вот уже битый час, как я жду мяса.

Рассыльный в серой спецовке, выходивший из бистро, пустился бегом: значит, вот он какой — тот, что бреется у моего умывальника. А до него, конечно, были другие... Я на редкость чувствителен к родству, создаваемому пространством, и всегда удивляюсь, что не знаю, кто же заменил меня в том или ином месте... Да, вот еще что! Это был вызов с моей стороны, но именно здесь, в этом квартале, у меня произошла встреча с той, которая бросила Монике: «Вы никогда не войдете в нашу семью». Я возвращался не спеша; меня терзал глупый вопрос: две кузины, любившие друг друга,— любили ли бы они друг друга сейчас? Женившийся вторично вдовец всегда чувствует себя двоеженцем. Но почему мамаша решила лечиться именно в этом районе?

Я вернулся за сумкой. Не поднимаясь в тридцать седьмую палату, я оставил халат в регистратуре.

XXX

Меня предупредило приглушенное «тук-тук» ее палки с резиновым наконечником, стучавшей по последним ступеням лестницы. Она не позвонила предварительно по телефону — она бесшумно отворила и затворила калитку, открыла дверь в гостиную, в переднюю и поднялась по лестнице так, что ее не заметила мадам Глэ, поденщица, пы-

лесос которой шумел у меня в спальне и благоприятствовал этому тайному проникновению. Я еще не успел встать, как она постучала... Мадам Резо уже входила, ворча:

— Боже, как у меня болит нога!

Нога, еще забинтованная, показалась мне действительно распухшей, а ее путешествие в Гурнэ по меньшей мере преждевременным.

— И я даже не могу подать жалобу на родителей этого проклятого мальчишки: он сбежал!

Без дальнейших излияний она уселась напротив меня, вытянув ногу. Лицо ее, обрамленное крашеными волосами, белыми у корней, испугало меня: желтое, в коричневых пятнах, изборожденное глубокими складками и множеством мелких морщин, с обвисшей кожей и тусклыми печальными глазами, окруженными синеватыми склеротическими прожилками.

— Я привезла тебе ключи от Бель-Анжери,— продолжала мадам Резо.— Вы там разберетесь с Мартой. Послезавтра я уже буду в Монреале: билет на самолет у меня в кармане.

Ключи! Неужели ей до такой степени опротивели осколки ее империи, что она передает мне все заботы о ней? Может быть, она решила вовсе туда не возвращаться? Или намерена отсутствовать так долго, что назначает меня управляющим?

— Не знаю, правильно ли вы поступаете,— вполголоса заметил я,— во всяком случае, сначала вам следовало бы подлечить ногу.

Мадам Резо пожала плечами:

— Мне семьдесят пять лет. Ждать некогда.

Она открыла сумку, вытащила из нее связку больших ключей с замысловатыми бородками и бросила на мой стол.

— А потом, нужно вернуть Саломею прежде, чем она там обживется. Она хочет быть с этим парнем... Пусть она будет с ним! Но здесь, возле нас.

— А если она откажется вернуться?

— Можно жить и в Канаде,— злобно сказала мадам Резо. И тотчас переменила тему разговора: — Невестка твоя еще не родила?

Чистейшая вежливость с ее стороны. Я сказал, что роды у Мари немного запаздывают, что Биони начинают волноваться.

— Еще не было самолета, который навсегда остался бы в воздухе,— сказала мадам Резо,— и не было еще ребенка, который остался бы во чреве матери. Пусть наслаждается последними счастливыми деньками, твоя невестка! Теперь ей лет на двадцать хватит работенки... Ладно! Не хочу злоупотреблять твоим драгоценным временем. Ты не мог уделить и часа, чтобы навестить больную мать — значит, ты перегружен работой. Я покидаю тебя...

Она не сказала ни «до свидания», ни «прощай». Она покидала меня. В таком возрасте она с холодной решимостью оставляла родину, бросала все: привычки, мебель, дом, родные места, детей, внуков и прочее. Устремив взгляд на мелководную — как всегда летом — Марну, на ее берега, густо усеянные приехавшими на пикник горожанами с бутылками и колбасой, развалившимися среди жирных бумажек девицами, я не находил слов от изумления: в нелепом всегда есть что-то восхитительное. Я только взял под защиту ее ногу:

— Вам нельзя тащиться пешком к автобусу, а потом еще по переходам метро. Я сейчас выведу машину и отвезу вас.

— Благодарю за внимание! — ответила мадам Резо, едва разжав губы и устремив взгляд на семейное древо (копию того, что мы подарили ей), где среди шести медальонов едва заметно качался на своем крючке медальон с фотографией Саломеи.

Сбежать вниз, в подвал, толкнуть двустворчатую дверь гаража, завести мотор и поставить машину у крыльца, пока матушка, опираясь на свою трость, будет спускаться с лестницы,— все это заняло у меня не больше минуты. Но к исходу второй минуты мне уже начало казаться, что она слишком устала, передумала и решила ехать после обеда. Я снова поднялся. В гостиной никого, в передней и на лестнице — тоже. Пылесос гудел теперь в комнате Бландины, и стук его наконечника, наталкивающегося на плинтус, отбивал такт спокойной работы поденщицы. Но дойдя до площадки, я увидел конец палки, торчавший из приотворенной двери кабинета, и чуть дальше, на полу, две судорожно вздрагивающих ноги.

■

Я бросился в соседнюю комнату, чтобы выключить пылесос и позвать на помощь... Я не врач, а если я и изучал некоторые медицинские вопросы и одно время даже был связан с ВОЗ [1], то тем более не мог позволить себе довериться своим предположениям: ушибленная нога начала пухнуть уже после выхода из клиники, на ней образовался флебит, о чем больная не подозревала,— известно, что при этом легко может возникнуть тромбоз сосудов.

Мы поднимаем мадам Резо, переносим ее на кровать Бландины. «Бедняжка! Бедняжка!» — повторяет поденщица, вдова, схоронившая троих детей, у которой сочувствие сочетается с редким хладнокровием, свойственным людям, получавшим от жизни тяжелые удары. Туфли, чулки, жакет — все это уже снято. Мадам Резо не потеряла сознания, но она не может говорить: вся синяя, вытаращив глаза от страха, она открывает рот, словно рыба, вытащенная из воды; она едва дышит и корчится, судорожно прижав руку к тому месту под ребрами, где, по-видимому, ощущает невыносимую боль.

— Звоните скорее, она может умереть,— шепчет мадам Глэ.

У Бертиль есть записная книжка с телефонами, которые могут срочно понадобиться, но она либо взяла ее с собой, либо куда-нибудь засунула — во всяком случае, когда нужно, таких вещей никогда не найдешь. Приходится листать телефонную книгу... Увы, наш постоянный врач в отпуске, его заместитель уехал к больным. Тот же ответ у одного из его коллег, секретарша которого обещает мне сделать все возможное, чтобы разыскать его и прислать в течение часа или двух. Подумав, звоню Флормонтэну: мне повезло — он сам подошел к телефону, и я излагаю ему свои опасения.

— Собственно, я здесь больше не практикую,— отвечает он.— Я продал свой кабинет в Ланьи, а сам перебираюсь в провинцию. Я как раз заколачиваю ящики. Но к вам я сейчас же приеду.

Он действительно приедет очень быстро, воспользовавшись «триумфом» Гонзага. За это время мадам Глэ, с помощью соседки, мадам Сотрель, за которой я мгновенно сбегал, раздела и уложила все еще лиловую и скрюченную мадам Резо. Но когда приехал доктор, она доказала, что сознание у нее не померкло, покачав головой в ответ на вопрос, который он мне задал:

— Ей не вводили антикоагулянтов? — И ворчит: — Если бы мадам Резо вовремя показалась своему врачу, до этого бы дело не дошло.

В ответ мамаша слабо поводит рукой.

Педантичный, добросовестный, Флормонтэн внимательно выслушивает ее, потом измеряет ей давление. Сурово нахмурив брови, он ищет что-то в своем чемоданчике, достает оттуда шприц и быстро

[1] Всемирная организация здравоохранения.

делает ей укол в бедро. После этого он стягивает жгутом ей руку и в обозначившуюся вену медленно вводит содержимое другой ампулы.

— Вы, я смотрю, один дома,— говорит он.— Я постараюсь прислать к вам сиделку.

Он снова укладывает чемоданчик, искоса наблюдая за больной, которая, немного отойдя, шевелит губами, хотя ей и не хватает воздуха, чтобы что-то сказать. Доктора Флормонтэна я мог бы упрекнуть лишь в том, что он тревожит меня своею чрезмерной невозмутимостью: плохо, когда человек его профессии принимает вид священника, который все знает, хотя не должен был бы знать о тех ужасах, в которых исповедалась ему паства. Вот он уже нацарапал рецепт, поклонился, спустился вниз. Наш кратчайший диалог у лестницы только подтвердил мои опасения.

— Диагноз? — спросил я.

— То, что вы и подозревали,— отвечает он.— Легочная эмболия.

— А прогноз?

— Сами понимаете.

Он пересекает переднюю и останавливается посреди гостиной.

— Она может погибнуть от удушья,— говорит он.— Предупредите всех.— И неожиданно отец берет в нем верх над врачом: — Я хотел вам сказать... Мы с женой должны извиниться перед вами за это тягостное дело и поблагодарить Саломею за то, как она себя повела. Гонзагу сразу повезло: у него почти ничего не конфисковали, поэтому его судили как потребителя наркотиков, а не как поставщика. Но показания Саломеи не только поддержали Гонзага — она сумела растрогать судей. Впрочем, я прекрасно понимаю, что вы не можете быть довольны ее выбором. Будущее покажет, ошиблась она или нет... Пока до свидания, я еще зайду к вечеру.

Он уходит, поглаживая розовую лысину, а я бросаюсь к телефону, набираю цифру 14 и отправляю семь телеграмм: Бертиль, Саломее, детям, чете Жобо, братьям. Последний звонок по телефону — Жаннэ. Не застав его на месте — он пошел обедать в столовую,— я переговорил с дежурной на коммутаторе, которая обещала все ему передать. Вернувшись в комнату Бландины, я обнаружил, что мадам Резо дышит немного ровнее, но она совершенно безжизненно погрузилась в три пуховые подушки, которые мадам Глэ подложила, чтобы немного ее приподнять.

— Я могу побыть у вас, пока не приедет сиделка или мадам Бертиль,— предлагает поденщица.— Только разрешите, я позвоню домой и предупрежу.

Когда я подхожу к постели, глаза матушки следят за мной. Ее губы снова шевелятся, но беззвучно. Она делает усилие, чтобы вдохнуть еще воздуха, и ей удается прошептать:

— Пошли ей телеграмму...

Быть может, мне не следовало говорить «уже послал»: этим я дал ей понять всю серьезность ее состояния. Глаза ее смыкаются, и передо мной душераздирающее зрелище воплощенного отчаяния. Ничто уже не может облегчить ее муки, разве что неизбежно надвигающееся. Я всегда думал, что наказанием ей будет всеобщее равнодушие и презираемая всеми одинокая старость. Неправда! Покарает ее сама же любовь, открытая ею слишком поздно и тут же утраченная... Однако же я заблуждался, полагая, что она хоть на мгновение способна покориться судьбе. Выражение ее лица вдруг меняется. Глаза вновь открылись, и на этот раз в них горит бешенство. Меня ли ненавидит она в этот момент или ненавидит себя, а может быть, только нелепость случая — этого я не узнаю. Раскаяние это или вызов, простая цитата или отвратительная шутка — этого я не узнаю! Она сейчас произнесла

три слова, те самые, что мы выкрикивали, кружась в неистовом хороводе, слова, выражавшие тогда преждевременное пожелание и почти через сорок лет ставшие неизбежной реальностью. Она прошептала их как бы в два приема с еле заметной иронической улыбкой:

— Психимора... сейчас подохнет.

XXXI

Мы все актеры, авторы, зрители: между пережитой, прочитанной, увиденной, воображаемой или рассказанной драмой нет истинной разницы. Пусть она наша собственная, пусть чужая — это все та же, в миллионный раз повторенная и вновь пережитая драма. Наши в ней только даты, имена, подробности, и в том, что это трагедия личная, кроется иллюзия исключительности; на самом же деле это отвратительная банальность. Если бы подобная же трагедия касалась матери любого другого человека, он счел бы ее неслыханной. Как и я. Во мне ущемлено какое-то странное чувство собственности, я словно горжусь тем, что мать у меня была не такая, как у других: она не любила меня, и я ее не любил, но каждый из нас заполнял существование другого. В годы моей молодости, исковерканной ею, я желал ее смерти, а теперь я не хочу, чтобы она ушла из моей жизни!

Ночь подходит к концу, душная, жаркая, с назойливыми комарами. Мадам Резо тяжело дышит в красноватом полумраке стоящей у ее постели лампы, затененной шелковым платком. В течение последних двадцати часов она несколько раз преображалась, и одна за другой передо мной появлялись разные женщины, облик которых она принимала в своей жизни. Строптивую старуху, посмевшую издеваться над смертью, сменила воспитанница монастыря, с ужасом осознавшая всю дерзновенность только что произнесенных ею слов. Желая привести в порядок свои дела и смазать елеем колесо перед последним путешествием, она прошептала:

— Священника, быстро.

Чуть позже, когда ходатай за спасение ее души, погасив свечи и сняв облачение, удалился, матушка после отпущения грехов не захотела больше рисковать и, погрузившись в состояние благодати, стала перебирать четки пальцами левой руки — пять и пять будет десять. Она разжала губы еще только два раза. Первый раз, чтобы дать возможность сидящей в ней почтенной представительнице буржуазного рода сообщить мне, что ее дела на земле урегулированы так же, как и на небесах:

— Мое завещание... у Дибона.

Во второй раз — чтобы справиться о судьбе посланных мною телеграмм:

— Ты... не получил... ответа?

Я сказал, что еще не получил, и мадам Резо, названая бабушка Саломеи Форю, закрыла глаза, из которых медленно потекли крупные слезы. Потом она стала постепенно покидать свою телесную оболочку. Когда около пяти часов вернулся доктор Флормонтэн, он мог только констатировать, что давление понизилось, едва прощупываемый пульс участился. Сиделки он не нашел, но в ней уже не было необходимости. Уходя, он столкнулся с Жаннэ, который пробыл всего две минуты: я тут же отправил его к жене — у нее начались схватки. В ближайшие часы я ничего не ждал ни от Обэна, ни от Бландины, на приезд которых в лучшем случае можно было рассчитывать не раньше следующего дня; ничего не ждал я и от братьев — они были в отпуску и, вероятно, где-нибудь путешествовали, так что с ними трудно было связаться. Я не ждал и Бертиль, чья тетка жила в пяти-

десяти километрах от Буржа, в каком-то невероятном захолустье, где не было ни поезда, ни автобуса. Но трудность часто оборачивается преимуществом: когда около полуночи мадам Глэ уже собиралась уйти и оставить меня одного, явилась совершенно измученная Бертиль: она перескакивала из одной попутной машины на другую и в конце концов прибыла на мешке с картофелем, остановив по дороге грузовик, направлявшийся на Центральный рынок.

Сначала она сухо сказала:

— Нужно же было, чтобы твоя мать приехала умирать сюда!

Потом, противореча самой себе, ахнула, что я до сих пор не предупредил всех Дару: семья цементируется — я вечно забываю об этом — солью крестин, сахаром варенья и содой сожалений. Я дал ей возможность исправить эту ошибку, благодаря чему новость распространилась, и телефон трезвонил всю ночь: один раз, правда, мадам Биони, колеблясь между скорбью и ликованием, сообщила мне, что у Мари уже отошли во́ды и что Жаннэ увозит ее в клинику.

— Жан! — услышал я справа от себя шепот.

Я подскочил. Нет, это не матушка, она не просыпается. Она очень редко звала меня по имени. Так же как я сам называл ее то «Психимора», то «старуха», то «сова», то «мамаша», то «мадам Резо», то просто «мадам», произнося слово «мама» только в насмешку, она тоже, в зависимости от того, с кем говорила, называла меня то «мой сын», то «твой брат», то «ваш муж», то «он», то «этот парень», то «второй», то «другой», а иногда даже (dixit [1] мадам Ломбер) «гурнеец» или «писака». Нет, это Бертиль встала с постели, чтобы сменить меня.

— Пойди приляг немного.

■

Она же и расталкивает меня. Зяблики, гнездящиеся в декоративной сливе рядом с домом, щебечут напропалую. Уже совсем рассвело. Значит, я заспался.

— Нет, она все еще держится,— отвечает Бертиль на мой безмолвный вопрос.— Я разбудила тебя потому, что звонили Бландина и Жаннэ.

Голова ее падает мне на плечо.

— У тебя родилась внучка Моника. Я не осмеливаюсь посылать тебя взглянуть на нее. Твоя мать все же очень плоха. Ты слышишь?

Я встряхиваюсь, одергиваю куртку, ибо спал я одетый и в обуви, прямо на покрывале. Иду по коридору, оглашаемому прерывистым хрипом агонии.

— Мне придется ехать за Бландиной на Буржэ,— продолжает Бертиль.— Не знаю уж, как ей это удалось, но она прилетает через сорок минут самолетом английской авиакомпании. Времени у меня в обрез. Поденщица должна быть здесь с минуты на минуту, и мама моя обещала вчера вечером, что она тоже придет. Попробуй все-таки что-нибудь проглотить.

Она уезжает. Я приближаюсь к кровати, покусывая губы. В самом деле, живые, чтобы оставаться живыми, нуждаются в пище. Во время войны однажды мне пришлось есть неподалеку от нескольких трупов. Помню, друг одного из убитых, ковыряя ножом в консервной банке, сказал: «Рубленая свинина! Бедняга Альбер обожал ее — он ведь был из Ле-Мана». В Кране не тушат мясо до бесконечности, там любят свиные шкварки и, когда колют свинью, обязательно угощают тарелочкой этого кушанья соседа, учителя, кюре. Мадам Резо обычно

[1] Говорила *(лат.)*.

считала куски: если ей приносили меньше шести, она благодарила сухо, в особенности когда жирная часть, окаймленная кожей с плохо обритой щетиной, преобладала над постной. Мадам Резо не будет больше есть ни шкварок, ни других приношений своих фермеров. Став прабабушкой неведомо для себя, она открыла рот — при этом обнаружились золотые зубы и старые, стершиеся клыки, трогательные в своем бессилии и бесполезности. В горле у нее словно надуваются и лопаются большие пузыри, выталкиваемые слабеющим хрипом агонии. Время от времени выдыхаемый воздух не в силах одолеть препятствие — он задерживается и выходит икотой. Восковое лицо, обрамленное слипшимися прядями волос, уже ничего не выражает; рот — всего лишь отверстие автомата, посредством которого поддерживается действие мехов, запущенных в ход для новорожденной Поль Плювиньек, когда она в начале жизни отрыгнула первое молоко, которое сегодня сменила белая пена конца.

Но вот зазвонил телефон. Он зазвонил как раз в тот момент, когда вдох надолго задержался. Могу ли я шевельнуться? Тишина простирается по крайней мере на четыре такта паузы. Наконец, с бульканьем выходит слабая струйка воздуха, мехи снова начинают работать, ребра поднимаются: она еще дышит. Раз, два... Третий выдох прерывается на несколько секунд как бы в нерешительности; потом слышится легкий шум, будто лопнул баллон; грудь ее оседает, тихо выталкивая несколько кубических сантиметров воздуха, которые уже не будут возмещены. Торчащий подбородок отваливается, зеленые глаза гаснут в щели сомкнутых век...

■

Звонки прекратились, но на другом конце линии, видимо, проверили номер и набрали еще раз. Теперь я могу взять трубку. Впрочем, пусть подождут. В ту минуту, когда вы, мадам, ушли из жизни, не пора ли мне почувствовать, что вам я обязан своею собственной, и подумать о своем сыновнем долге. Хоть вы и не были для меня тем, чего сын вправе искать в своей жизнедательнице, без вас, такой, какою вы были, я бы не появился на свет. А это — не пустяк, и поражает меня сейчас то, что в конечном счете мы так плохо знали друг друга: всего несколько лет моего отрочества после вашего возвращения из Китая; несколько недель после того, как вы вернулись с Антильских островов — мне тогда было лет двадцать; и потом, четверть века спустя, каких-нибудь несколько дней в течение этого последнего года. Роль, которую мы играли друг для друга, никак не соизмерима со временем, проведенным нами вместе, и если нежность при этом отсутствовала, взаимного интереса было хоть отбавляй. Вы представляли собою исключение... Тем лучше для других, но, быть может, и для вашего сына это было не только несчастьем. Хорошо, что именно он, своими руками, закрывает вам глаза. Мы не любили друг друга, матушка, но я присутствовал при вашем последнем вздохе, как вы присутствовали при моем первом.

XXXII

Марсель позвонил из роскошного отеля в Биаррице, Фред — из кабачка в Лонпоне, и оба выказали не больше волнения, чем выказал бы человек, живущий в XV округе, узнав об исчезновении Эйфелевой башни; мадам Дару подоспела как раз вовремя, чтобы подвязать подбородок покойной, а мадам Глэ явилась вслед за мадам Дару, и обе занялись погребальным туалетом; Батист прибежал запыхавшись и помчался за своим мольбертом, чтобы, поставив его возле

усопшей, закончить ее портрет; Бландина, чуть бледная, чуть испуганная тем, что ей предстояло спать потом в этой самой комнате, все-таки срочно вытащила из чемодана фотоаппарат, дабы заснять бабушку на смертном одре; Бертиль заботилась о каждой мелочи и холодно отвечала всем: «Мадам Резо скончалась сегодня утром в девять часов», причем ни разу не сказала: «Моя свекровь»; тем не менее она достала вышитые простыни, зажгла обычно не зажигаемые канделябры, трижды пересчитала при свидетелях пятьдесят тысяч франков, купюрами по пятьсот, найденные в сумочке мадам Резо вместе с билетом на самолет; потом, ни у кого не спрашивая, она вложила в руки покойной драгоценные четки с ангелами, которые оказались на дне сумки; Жаннэ держался принужденно; Обэн, прибывший последним, против обыкновения почти не открывал рта; у супругов Биони были потные руки; соседи стояли ссутулившись; пришли также несколько друзей и среди них Арно Макслон — он не мог удержаться и процедил с иронией: «Такая исключительная личность! И ее не пощадила смерть!»; Флормонтэн потирал лысину, стоя возле своего коллеги, который должен был подписать разрешение на похороны... Зрительные образы, обряды, слова, формальности — все перемешалось. Вокруг того, кто стал недвижим, всегда много суеты; запомнилось мне и похоронное бюро, представленное классической внешности персонажем лет сорока, в трауре, который он носил словно мундир: это гробовщик и торговец памятниками, достаточно опытный, чтобы не показать своего разочарования, когда выяснилось, что семейный склеп находится в Соледо, в департаменте Мэн-э-Луар; но зато после того, как был выбран гроб модели 8, светлого дуба, с серебряными ручками и распятием, обитый атласом и обшитый кружевами, он мгновенно ухватился за транспортировку, которая, если «расстояние до места погребения превышает триста километров — таков уж закон, мосье», требовала наличия второго металлического гроба, запаянного в присутствии полицейского комиссара.

Впрочем, сильнее всего меня поразила не суета вокруг покойницы, не этот пышный и печальный ритуал, не эти освященные временем обряды (единственное, что остается неизменным, до такой степени люди боятся всего, что связано со смертью). Меня не поразила и закостенелая неподвижность мадам Резо, которую в течение двух дней до похорон кропили посетители, взмахивая над ней веточкой самшита. Меня не взволновала и церемония запаивания гроба, хотя после того, как покойную осторожно положили в этот ящик, незаметно подсыпали соль по бокам и загнули внутрь кружева, вступил в действие автогенный аппарат: на гроб с лязгом положили крышку, из трубок с силой вырвались струи горячего воздуха — все это весьма напоминало работу кровельщика, сваривающего листы цинковой крыши. Нет, если уж говорить о том, что меня действительно поразило, так это вид моей внучки через несколько часов после ее рождения. Младенцы часто рождаются сморщенными, как маленькие старички, и морщины на них разглаживаются только лишь на второй или на третий день. Когда я наклонился над ребенком, я был так поражен, что не мог сдержать возгласа восхищения.

— Да,— сказал Жаннэ,— это меня немного огорчает. Надо же было ей выбрать именно эту восьмую часть крови.

Ничего корсиканского. Ничего от Арбенов или Резо — пепельно-белокурые волосы, зеленые глаза, выступающий подбородок с ямочкой посредине... Гены Плювиньеков, так ярко выраженные во мне, перескочив через Жаннэ, еще раз доказывали свою живучесть. Моника была уменьшенной копией своей прабабушки, которая, не успев умереть, тут же возродилась в правнучке.

Прабабушку в буквальном смысле слова снесли в могилу на третий день, снесли на руках четыре фермера. Фургон уехал накануне: гроб надо было доставить в Соледо и установить под балдахином в центре бокового придела местной церкви. Мы выехали из Гурнэ в шесть часов и как раз вовремя прибыли на площадь, обсаженную липами. Там на солнцепеке стояло около десятка машин, не больше. Погребальный звон рассеял в воздухе вокруг колокольни большую стаю испуганных галок, но внизу было мало людей, принарядившихся к заупокойной мессе. Слишком хороша была погода: со всех сторон доносилось жужжание молотилок. Подумаешь, Резо: уже многие годы их роль в округе была не настолько велика, чтобы ради них люди отрывались от полевых работ, да еще в самую страдную пору. Нотариус, ждавший нас на паперти, шепнул мне:

— Я имею распоряжения. Мадам Резо оставила мне записку по поводу своих похорон: «Ни цветов, ни венков, ни драпировок, ни похоронных дрог. Малая обедня, носилки и — хоп! — в яму». Простите, но это ее собственное выражение. Она даже пояснила на словах: «Раз уж ты превратился в ничто, пусть все дальнейшее будет по желанию, а не по необходимости». Мадемуазель Саломея не приехала?

Не ответив ему, я вошел в церковь. Какие-то старухи (одна из них — в старинном чепце с крыльями), монахини из больницы или из школ, чета Жобо, супруги Гюо, Аржье, мэр, он же виконт, член ДСУВП [1], сидящий в ложе владельца замка и почетных гостей; помощник мэра, он же владелец гаража, по своей партийной принадлежности центрист; несколько городских торговцев и два-три фермера с седыми усами — они стоят, ухватившись рукой за спинки массивных деревянных скамей,— вот и все присутствующие, если не считать двух мальчиков, прислуживающих во время мессы, и астматика кюре в черном облачении. Не успели мы встать на свое место, как зазвонил колокольчик. Я взглянул на витражи — мазня по стеклу еще прошлого века, оплаченная нашей семьей в пору ее великолепия: святой Иаков, покровитель старших сыновей нескольких поколений нашего рода, стал неузнаваем, до того обезобразили его мальчишки, бросавшие в него камни; но архангел Михаил все так же лихо повергал дракона с крылышками, как у летучей мыши, и с хвостом, обвившим его сапоги. Колокольчик звенел... Мне казалось, что служба идет очень быстро — настолько быстро, что Фред (без жены) явился уже к чтению евангелия, а Марсель (с женой) к дароприношению. В момент отпущения грехов, когда священник обходил гроб, позвякивая кадилом, стук каблуков по плитам заставил обернуться весь клан: слегка пошатываясь, с воспаленными глазами, вошла Саломея.

Когда все стали выходить, берришонка взяла ее под руку, бросив многозначительный взгляд на гроб, который носильщики с лямками на шее несли по главному проходу. Я слышал, как Саломея шептала: «Я просто без сил, совсем не спала — разница во времени...» Снова раздался колокольный звон, видимо производимый с помощью электричества — вряд ли звонарь мог звонить столь размеренно,— и мадам Резо вновь двинулась по дороге на Верн, по пыльной проселочной дороге, по которой она ходила тысячу раз, возвращаясь после воскресной обедни в Бель-Анжери и лишь изредка останавливаясь у кладбищенских ворот, чтобы посетить могилу своего супруга. Завидев нас, люди выходили на порог, некоторые еще с салфеткой вокруг шеи, дожевывая последний кусок. Из окна секретаря, над мэрией, на

[1] Демократический союз уклоняющихся от воинской повинности.

стене которой болтался отклеившийся голлистский плакат, долетали сообщения о запуске ракеты «Титан III». Мы все шли, как и полагается в подобных случаях, понурив голову, но я чувствовал себя униженным — как, впрочем, чувствовал всю жизнь,— словно шел в лохмотьях. Похороны с изобилием траурного крепа, когда у провожающих заплаканные глаза, а женщин ведут под руку близкие, порою бывают смешны. Но в похоронах без слез есть что-то непереносимое.

От яркого, почти южного солнца все становилось еще суше. В воздухе ни малейшего дуновения, и ни одного барашка в ярко-синем небе цвета пояса пресвятой девы. Желтая, с беловатыми прожилками, смешанная с кусочками слюды глина, наваленная рядом с другой, еще не засыпанной могилой, была буквально обожжена. Красные и потные носильщики быстро, на веревках, опустили гроб, и мадам Резо очутилась вдруг рядом с мосье Резо для гораздо более долгой совместной жизни, чем предыдущая. Теперь она будет наслаждаться покоем, который редко удается изведать живым, считающим, что на два метра под землей они будут им обеспечены. Присутствующие окропили гроб святой водой, причем фермеры аккуратно чертили в воздухе крест, а горожане делали такой жест, словно отгоняли назойливых мух. «Общество» не явилось (и я знал, кто за это ответствен) — пришли только крестьяне в галстуках на резинке, завязанных вечным узлом, с трудовыми мозолями на руках, которые замечаешь при рукопожатии (я подумал: какая безграничная доброта! Покойница, которая всю жизнь ничего не делала, жила вот этими мозолями, трудом этих самых крестьян). Кюре уже ушел, когда нотариус, замыкавший шествие, перешел от соболезнований к делу:

— Я не приглашаю вас к себе в контору: завещание мадам Резо еще не зарегистрировано. Но я сразу же могу сказать вам, в чем оно состоит. Содержание его неожиданно: мадам Резо назначила главной наследницей мадемуазель Жозефину Форю, именуемую Саломеей, свою сводную внучку.

— Что?! — изумился Фред.— Она лишает нас наследства? Это незаконно.

— Нет,— сказал нотариус.— Поскольку есть три прямых наследника, доля мадемуазель Форю сводится к той части состояния, которой мадам Резо имела право располагать, то есть к одной четвертой. Мадам Резо, впрочем, могла бы просто оставить мадемуазель Саломее эту часть — сумма была бы та же самая. Сделав ее главной наследницей, она, конечно, хотела выразить что-то другое.

— Как же она, наверное, сейчас забавляется,— сказала Соланж.— Здорово она подшутила над вами!

— Надо признаться,— сказал Марсель,— что это похоже на пинок ногой напоследок.

— Да, на пинок ногой в зад,— сказал Фред.

Покраснев, оба злобно смотрели на белую как полотно Саломею.

— Во всяком случае,— сказала она,— я отказываюсь.

— Вы не можете этого сделать,— возразил мэтр Дибон,— и ваши родители не имеют права сделать это за вас — вы ведь несовершеннолетняя.

— Но я получила независимость,— запротестовала Саломея.

— Вы можете приобретать, но не имеете права отчуждать. Сейчас как раз дебатируется вопрос о том, чтобы изменить статью семьсот семьдесят шестую и предоставить несовершеннолетним, но независимым полные гражданские права, однако эта поправка еще не утверждена. Вы являетесь наследницей мадам Резо, угодно вам это или нет; впрочем, только на словах, ибо, поскольку вы не связаны с ней узами родства, вам придется платить большой налог.

— Мы нашли пятьдесят тысяч франков в сумочке мадам Резо,— сказала Бертиль; она чувствовала себя крайне неловко и хотела этим благородным поступком оправдать наследство, оставленное дочери.

— Я буду вам признателен, если вы передадите их мне,— сказал нотариус.— Но боюсь,— продолжал он, обращаясь ко мне,— что мадам Резо собрала эту сумму в ущерб вам. Мне известно это от супругов Жобо: три недели назад, вскоре после того, как я позвонил вам по поводу утечки воды из водопровода, мадам Резо неожиданно прибыла в Бель-Анжери и продала все, что там оставалось от резных панелей и ценной мебели.

— Это еще нужно доказать,— сказал верный себе Фред.

— Когда вы предполагаете произвести опись имущества? — спросил Марсель.

— Вы ведь продали Бель-Анжери вместе с мебелью,— уточнил нотариус.— Отныне новый владелец, хоть он и не пользуется своей собственностью, может делать с ней все, что захочет. Для вас важнее всего вскрыть сейф в Национальном парижском банке.

— Я думал о парижской квартире,— сказал президент и генеральный директор.

— О какой квартире? — спросил нотариус.— В Париже мадам Резо не имела никакой собственности. Она останавливалась там у мадемуазель Форю.

— Только для вида! — сказал Фред.— Ясно же, кто платил за квартиру.

— На сей раз, мосье, доказывать придется вам.

— С меня довольно! Надеюсь, ты быстро все это ликвидируешь! — воскликнул вдруг Жаннэ, который приехал только по настоянию Мари, оставшейся в клинике.

Широкими шагами он пошел в сторону деревни. Я попрощался и последовал за ним вместе со всей своей семьей.

■

Однако необходимо было заехать в Бель-Анжери и выяснить, что же там произошло.

Повреждения оказались немалыми. Потрескавшиеся потолки, слинявшие, заплесневелые и отклеившиеся обои, вздувшиеся паркеты — только что отремонтированные комнаты нужно было заново приводить в порядок. Сильно пострадали расписные кессоны первого этажа. В гостиной и столовой были оторваны резные панели и обнажилась старая штукатурка, местами исписанная арифметическими выкладками подрядчиков. Антиквары разорили все: не пощадили ни часовни, ни спальни мамаши, откуда исчезли зеркало, комод, даже стулья — кроме одного. Огромные стенные шкафы тоже были опустошены старьевщиком. Английский шкаф и стол, не представлявшие ценности, старое, засаленное кресло, кровать, печь, набитая пеплом от сожженной бумаги, которая добавила копоти на потолке и стенах,— вот все, что мадам Резо согласилась оставить. Но на каминной полке — без часов и канделябров — лежала тетрадь и на этой тетради — маленькая золотая ручка. Что это — знак уважения? Вызов? Просто забывчивость? Невозможно сказать. Я хорошо знал эту ручку: она принадлежала еще моей бабушке, лауреату уж не помню какого конкурса поэзии. О существовании же тетради я не подозревал.

— Любопытно,— заметила Бертиль,— твоя мать в один миг разбазарила все, что защищала долгие годы.

Не слишком вразумительный ответ на ее замечание был рассеян по листам тетради, содержавшей наклеенные вырезки из газет, пере-

писанные цитаты, снабженные комментариями или без них, кое-какие личные заметки: те, которые были вначале, сильно отличались от тех, что помещались в конце. Сначала мадам Резо не скупилась на ругань и на двусмысленности. Под фотографией, вырезанной из газеты, стояло: «Хватай-Глотай превратился в Хватай-Болтай!» Цитата: «Не каждому удается быть сиротой» превратилась в такое изречение: «Не каждому удается быть птенцом орлана» (или совы, потому что на местном диалекте эти два слова путаются, так же как и у Руссо, и у Бальзака). Затем уровень сентенций становился выше, о чем свидетельствовала, например, такая псевдошарада: «Мой первенец — это мой первенец; мой второй сын — это мой второй; мой третий сын — это, что ни говори, мой третий; а мое целое — ноль!» Понравилось мне также: «Бог создал людей: они его за это хорошо отблагодарили» — со следующими комментариями: «С матерями такое тоже случается». Еще больше мне понравилась следующая цитата неизвестного происхождения: «Разве курицу ценят за то, что она несет яйца? Нет, ведь она просто несет яйца, которые можно сварить всмятку. Чтобы нас растрогать, курица должна еще кудахтать». Это изречение сопровождалось признанием: «Не все куры на это способны...» Напротив, мне совсем не понравилось следующее: «Получив в собственность гектар, человек становится буржуа: здорово же над ним подшутили». Не понравились и некоторые хвастливые изречения, вроде: «Наше поколение — последнее, которое выстояло». Но дальше тон изречений резко менялся, и дело доходило до такой вырезки: «Семья, только о ней и говорят! Они не поняли, что основанная на борьбе поколений, на прихотливой фантазии жизни и смерти, она — по самой сути своей — обречена на крах». Мадам Резо была на пути к разочарованию: «Хранительницей чего я здесь была?» И наконец, ее поглотило великое открытие: «Когда я ее увидела, у меня было такое чувство, словно я родила ребенка глазами». Многое пропускаю, но не могу пройти мимо такого признания: «Я словно сердцевина латука, приправленная уксусом: как трудно моему сердцу быть нежным!» И мимо последней заметки, написанной уже после бегства Саломеи: «Вот как меня любят! Вполне возможно, что на моих похоронах у кого-нибудь и будут влажные глаза — если пойдет дождь».

Дождя не было.

Я думал об этом, спускаясь в столовую, куда чуть раньше пошла Бертиль, чтобы собрать чего-нибудь поесть. Я застал их всех, как на семейном совете, за круглым столом (слишком большим, чтобы на него нашелся покупатель); они сидели на разрозненных хромоногих стульях, принесенных из разных комнат. Ждали меня. Когда я вошел, Жаннэ горячо убеждал свою сестру отказаться от квартиры на авеню Шуази. Я слышал только последние слова его речи: «Хорошо же мы выглядим! Нечего сказать!» — и ответ Саломеи:

— К сожалению, мне нужна эта квартира. Мы уехали, потому что не могли жить втроем и надо было устроиться подальше от бабушки. Я просто не знаю, что бы мы делали, если бы она свалилась нам на голову в Монреале. Теперь мы возвращаемся: Гонзаг снова займется медициной, я буду работать.

— Ты собираешься замуж за него? — спросила Бертиль.

— Нет,— ответила Саломея.— Не вижу в этом необходимости.

Свободная, но благоразумная девушка, расчетливая хозяйка, этакий котеночек, она смотрела на нас широко раскрытыми глазами, учащенно дыша, и, казалось, никогда еще не была такой хорошенькой. Бертиль постаралась скрыть разочарование.

— По крайней мере,— сказала она,— постарайся забыть наветы мадам Резо.

— Это деталь,— сказал Жаннэ.— Главное же — никому не следовало сюда возвращаться. Вы ведь здесь не останетесь?

— Я, конечно, зря уговаривала отца выкупить Бель-Анжери,— сказала Бертиль.

Я обвел их взглядом и понял: они уже обсудили этот вопрос. Жаннэ по-прежнему был против, Бландина скучала в Бель-Анжери, Бертиль не прощала, Саломея знала, что она здесь служит темой бесконечных сплетен. Ни в ком из них, за исключением Обэна, гримасой выражавшего сожаление, я не находил ни малейшей поддержки. Я все больше и больше злился на себя. Выкуп Бель-Анжери — это был возврат к кому? Или к чему? Ни к чему. Быть может, я и поддался иллюзиям Бертиль, но кроме того, я уступил давлению наименее симпатичного существа из тех, что живут во мне: отщепенца, готового забыть о своем отречении во имя соприкосновения со своим генеалогическим древом, тоски по родным местам. Во имя сложной игры противоречивых чувств, с которыми — при всем старании — я не мог совладать до конца: как бы мало ни оставалось наследственной земли, как бы ни восставали против нее наследники, тот, кто с детства ходил по глине, хорошо знает, до чего она липнет к ногам.

Я признался в этом. Я добавил, что все равно мы не сможем заново обставить это огромное здание, как не сможем вновь произвести ремонт; что кроме того, хотя мне впредь больше не придется платить процентов, я должен буду отдавать долю, соответствующую стоимости Бель-Анжери, и моей части наследства на это не хватит. В самом деле, что останется от состояния мадам Резо, которое и прежде было невелико, а теперь сильно растаяло от ее последних расходов? А ведь из него еще нужно вычесть сумму, завещанную Саломее, сумму, которая практически целиком уйдет на налоги!

— Короче, чтобы выйти из положения, надо снова продать Бель-Анжери? — спросила Бертиль.

Голосования не было: мы удовольствовались молчаливым согласием всех присутствующих. Жаннэ сразу же уехал вместе с Саломеей, которая не находила себе места. Впрочем, я ни в чем ее не упрекал — разве только в том, что у нее не хватило тепла для той, которая предпочла ее всем. А может быть, она просто не смела его проявить? Очень скоро я заметил, что другие сделали такие же подсчеты, как и я, или же по-своему истолковали восклицание Жаннэ при выходе с кладбища. Со стороны фермы мелкими шажками приближался нотариус в сопровождении Феликса Жобо и другого крестьянина. Они указывали пальцами на некоторые постройки, тщательно вымеряли шагами двор, совещались, должно быть, проводили линию раздела между парком и фермой. Когда я увидел, что они направляются к лугу, я решил присоединиться к ним. При моем приближении ворона, сидевшая на одном из кольев изгороди, улетела, раскрыв клюв и прокаркав тревогу, и все вороны в округе последовали ее примеру... Но трое мужчин вежливо подошли ко мне.

XXXIII

Ну, вот и готово: мы уходим, не оставив после себя настоящей смены. И дело тут вовсе не в нас лично — мы исчезаем потому, что с корнем выкорчевывается старая система землевладения. Даже Марсель и тот не избежал общей участи: ему пришлось — я только сейчас узнал об этом — продать фермы арендаторам, которые сослались на право давности. Пользуясь этим правом, Жобо, уже обратившийся в Банк кредитования сельского хозяйства, тоже покупает землю, которую арендовал до сих пор. Его двоюродный брат потребовал два обо-

собленных поля вдоль дороги на Женэ по той причине, что они врезались в его участок. Долго препирались о границах, ибо земли, относящиеся к ферме и к замку, перемежаются между собой, некоторые строения, как, например, большой сарай (амбар с одной стороны, гараж — с другой), оказываются разделенными на две части. Долго спорили и о ценах: Жобо настаивал на том, что эти земли отнесены ко второй категории и что придется платить большие налоги (поскольку при разделе земельных участков всегда находится множество поводов для судебных придирок). А потом — по рукам, и мы направились к Марте выпить по стакану вина. Себе Марта налила только на донышко, чтобы чокнуться, но она была как пьяная. Она стояла у стены, у своей собственной стены, которая теперь принадлежала ей, дочери Аржье (и, по правде сказать, в гораздо большей степени рабыни своего мужа, детей и скотины, нежели землевладелицы, но до сего дня она не имела звания собственника, которое обеспечивает ей теперь добровольную кабалу). Она гладила рукой облупившуюся штукатурку и бормотала:

— Да разве я могла когда-нибудь поверить...

Вне себя от радости, она, конечно, строго осуждала меня. Продать свое добро! А я думал о первом Резо, обутом в сабо, который, покупая участок, и помыслить не мог, что его скромная хижина при Капете увеличится вдвое, при Баррасе втрое, что при Баденге к ней пристроят башенки и павильоны и что в конце концов она будет разрушена киркой строительных рабочих. Ибо об этом как раз и шла речь.

— Что касается Бель-Анжери,— говорил мэтр Дибон,— то скажем прямо: только кто-либо из Резо способен был пойти на такое безумие и отремонтировать тридцать две комнаты. Дом чересчур велик, чересчур стар и чересчур уродлив, чтобы его стоило реставрировать. Но у меня есть торговец строительными материалами, бывшими в употреблении. Он намерен оставить только одно крыло дома, все же остальное разрушить, а камень, балки и камины потом использовать.— Он вздохнул, настроившись на философский лад: — За десять лет я разделил на куски тридцать имений: уходит целая эпоха!

Плата, причитающаяся ему за составление актов, должна пролить немного целительного бальзама на эту социальную рану. Что до меня, то я думал: «Браво! Сотрем этот дом с лица земли!» Я, несомненно, буду жалеть о нем, где бы я ни был, я буду чувствовать себя в изгнании. Но это для меня не ново, и, чтобы не думать больше об этом, я предпочитаю своими глазами увидеть, как рухнет эта «груда камней», как разделятся на куски эти луга и пустоши в пользу тех, кто напоил их своим потом. Вот почему я подписал соглашение и уступил маленькую ферму Феликсу Жобо. Подписал и два других — по ним оба поля переходили к его двоюродному брату. В отношении же всего остального я дал доверенность мэтру Дибону. Выкуп, снова продажа — замечательная операция: считая налоги на перемену владельца, я потерял — пусть это будет мне хорошим уроком —около одной четвертой общей стоимости имения. В конце концов я вернулся в дом и сказал Обэну:

— Позвони еще раз в колокол. Мы уезжаем.

■

Мой сын звонит, широко раскачивая шнур. Я сниму этот колокол и увезу с собой. Он отмечал время своим характерным звоном, перебиваемым нашими криками и криками птиц, которые скоро уже не смогут вить гнезда под балками крыши. Время будет течь дальше, и

без колокола, и без нас. Бертиль и Бландина составляют опись имущества, отбирая то, что еще стоит отсюда вывезти. Но я никогда особенно не дорожил ни этим старым домом, ни его обстановкой. В последний раз я прогуливаюсь по колючей, как щетка, траве, не успевшей вырасти после покоса; в ней стрекочут сотни кузнечиков. Погода хмурится: этот край подобен губке — он не знает затяжной жары, и зелень здесь быстро вбирает обильные ливни. В речке Омэ отражаются деревья: на поверхности ее танцует белка, а рыбы словно плавают меж ветвей и парят среди облаков. В воздухе стоит резкий запах овечьего пота: на другом берегу пасется стадо овец; ягнята блеют дискантом, старые овцы — басом; собака согнала их в такую тесную кучу, что кажется, будто они щиплют не траву, а шерсть на спине друг у друга.

Спустившись к плотине, поднявшись с другой стороны через лесок, где уже сгущается сумрак, успею ли я еще раз пройти по фруктовому саду, несмотря на эту первую молнию, зигзагом прорезавшую широкое серое облако? Нет, довольно, пожалуй, пора возвращаться. Я знаю: это мой родной край. Каким бы будничным он ни казался, чего бы мы ни натерпелись в нем от своих родственников —место, где мы открыли глаза на мир, незаменимо. Покинуть его — значит разорвать узы со своим детством, а это становится для нас все труднее и труднее, ибо мы стареем и нам уже не под силу начинать сызнова. Знаю я и другое: я глубоко огорчен неудачей. Я не слишком верил в удачу, я верил в нее недолго; но если вернуться к тем, кто живет во мне, то надо сказать, что во мне упорствовал фанфарон, щеголявший своим положением, но у него, у этого фанфарона, всегда был обездоленный двойник, который не мог примириться со своей участью. Это был не отпрыск семьи Резо — а если он им и был, то в самой малой степени,— это был просто сын, в свою очередь ставший отцом: сначала отцом сына от первого брака, потом отцом дочери и сына от второго, затем отчимом, свекром — словом, отцом, который всегда думал, что вознагражден за прошлое своими собственными детьми, но в какой-то момент стал сомневаться, не было ли все наоборот. Когда через всю жизнь проносишь тайное убеждение, что ты неудачник, ты никогда не упустишь случая опровергнуть это. Бывают поздние призвания... Доказательство: гром грянул не прямо надо мной, он грянул где-то рядом.

Вот и Обэн: он торопится мне навстречу и, поравнявшись со мной, поворачивается и идет рядом. Уже несколько минут гремит гром, но дождя все нет, хотя поднимается ветер, несущий запах клевера и пчел, которые торопятся обратно в свой улей. Я возвращаюсь как раз вовремя, чтобы помочь Бертиль погрузить чемоданы в машину. Сейчас мы поедем, и в эту минуту — с опозданием на пять часов, матушка! — хлынул дождь.

■

Из перуанской поэзии

С испанского

В первой половине нашего столетия перуанская поэзия переживала эпоху своего расцвета, связанную с именами таких крупных литераторов, как Гонсалес Прада, Абраам Вальделомар, Хосе Сантос Чокано (в 20-е годы его даже провозгласили «поэтом двух Америк») и, наконец, Сесар Вальехо, чье творчество получило всемирное признание.

Вполне естественно, что, когда на смену этим прославленным мастерам в пятидесятые годы пришло новое поколение стихотворцев, критика встретила его весьма сдержанно. В то время неоднократно высказывались опасения, что едва начавшийся «золотой век» перуанской поэзии может пресечься периодом эпигонства.

Однако, вопреки мнениям скептиков, литературная молодежь, воспитанная на традициях Хосе Карлоса Мариатеги, замечательного критика-марксиста и основателя коммунистической партии Перу, сумела сказать свое собственное слово. Развитие перуанской поэтической школы продолжалось. Именно поэты середины века впервые в истории Перу сделали свои стихи оружием в борьбе за социальную справедливость.

Вашингтона Дельгадо и Хуана Гонсало Росе, с которыми знакомит читателей настоящая подборка, критика также относит к «поколению пятидесятых годов». Многое совпадает в их судьбах. Они почти одногодки: Дельгадо родился в 1927 г., а Росе — годом позже. Оба печатали первые стихи на страницах журнала «Летрас перуанас» и были удостоены национальной поэтической премии имени Хосе Сантоса Чокано. Оба начинали как поэты лирической исповеди, а позднее пришли к поэзии протеста и революционной борьбы.

«Неужто мы никогда не освободимся?» — восклицал Вашингтон Дельгадо за несколько лет до революционных событий 1968 года, круто изменивших жизнь страны и распахнувших новые горизонты перед народом. В этом риторическом вопросе звучала надежда на то, что родина поэта рано или поздно найдет пути к духовной и социальной свободе. Не менее примечательны и строки Гонсало Росе, в которых он говорит о кровной связи, соединяющей его с миром социализма: «Русская девушка расплетает косу, и пляшущая тень ложится на книгу в моих руках. Когда отворяются шлюзы румынского канала, мое сердце затопляет радость. Если в Берлине юноша пишет стихи, я со спокойной душой оставляю на время перо и выхожу на улицу...»

Вместе с тем их поэтические голоса во многом не похожи друг на друга.

Вашингтон Дельгадо — это мастер спокойного, задумчивого стиха, построенного по законам поэтического силлогизма, где немалую роль играют парадокс и ирония. Критик Х. М. Овьедо пишет о нем: «Дельгадо постепенно вовсе отказался от своих изощренных метафор... предпочтя поэзию мудрую и афористичную. Испанская классика, марксизм и Брехт — вот его маяки в поисках собственного голоса».

И как разительно отличаются от его интонаций стихи Гонсало Росе! Здесь пронзительная лиричность то и дело сменяется порывистой речью трибуна, у которого от волнения перехватывает горло, а в глазах стоят слезы гнева или радости. Уже первую книгу Гонсало Росе видный испанский поэт Леон Фелипе приветствовал словами: «Вот он — самобытный, прометеевский голос большого поэта!»

Говоря о Росе, нельзя не отметить и драматизм многих его стихов. Это вполне понятно: слишком недавно жизнь Перу перестала быть ежедневной трагедией — особенно для тех, кто не только словом, но и делом боролся за лучшую долю для своей родины.

Подпольная работа, связанная с постоянным риском, долгие годы политических гонений, вынужденная эмиграция — все это обострило и без того обнаженно-нервное мировосприятие поэта. В его творчестве заметны порой мотивы жертвенности и ностальгии. Впрочем, это было характерно не только для Росе, но и для многих его соотечественников.

Однако теперь, когда Перу уверенно движется по новой дороге — дороге прогресса и социальной справедливости, Гонсало Росе, как и весь народ этой страны, с надеждой смотрит в будущее:

Завтра грянет весна,
завтра самый несбыточный сон
коснется нас поцелуем.
Знайте:
завтра — это сегодня.
Сфотографируйте на память последних нищих
и выройте под подушкой
могилу своей печали
Чиркните спичкой! Видите?
Ветер изменился и дует
по направлению к человеку!

СЕРГЕЙ ГОНЧАРЕНКО

ВАШИНГТОН ДЕЛЬГАДО

■

Отбирает тебя у меня
каждый голос, который ты слышишь,
каждое лицо, которое ты разглядываешь,
каждое твое движение
в каждой точке пространства,
приемлющей твое тело.

Стать бы мне
светом, тем, что тебя облекает,
которому ты оставляешь
лоскут своей тени.

Стать бы мне
ночью, той, что тебя обяжет
мыслить,
грезить, желать.

Стать бы мне
невесомостью,
ураганом,
что тебя настигает повсюду.

Перестать бы мне
быть самим собою,
тем, у кого тебя сейчас
отбирают.

■

От рассветных лучей ртуть уже поднимается выше,
но тебя я не вижу. Тебя я не вижу.
Сновиденья тасуя, озаренная гибель
с твоих век ниспадает.
Но тебя я не вижу. На вежды упала завеса,
от любви отделяя.

Где же те зеркала, установленные в строгой ночи,
поглотившие жесты твои,
что скользили, как будто перо по бумаге?
Где та ночь, установленная взглядам моим параллелью,
что тебя схоронила под пеплом?

Ничего. Только дерево с подожженною тенью.
Ничего. Только скованные сновиденья с рекою
вдруг, внезапно — таинственный край,
примыкающий к твоим взорам,
край, который познал я слишком поздно.
Слишком поздно познал, что меня покидает вместе с тобою.

Неужто мы никогда не освободимся?

Чтобы стать хорошим, надо работать
на того, кто платит; чтобы стать хорошим,
не надо платить тому, кто работает.
Так мы зарабатываем небесное блаженство.
Не имеющий рук должен работать
ногами, не имеющий ног
должен продавать душу.
Неужто мы никогда не освободимся?

Мы большие, красивые, сильные.
У нас чудные книги и мудрые речи,
свидетельствующие: «Все в порядке».
Неужто мы никогда не освободимся?

Чудеснейшую историю
нам рассказали: мы рабы
богов, святых и героев.
Неужто мы никогда не освободимся?

День сейчас, ночь ли — не понимаю.
Солнце — не солнце, а огромный камень.
Счастье — явление иного мира.
Неужто мы никогда не освободимся?

■

Касаясь одной руки, касаюсь
всех рук, какие есть на свете.
Ничто не похоже на это лицо,
на этот внезапный голос,
а мощь души — это тоже
небесная зарница.

Все любви похожи друг на друга,
и во мне поэтому
неисчислимые толпы со всего света.

Вся любовь на свете — моя с тобою.
Касаясь одной руки, касаюсь
всей красоты мира.

Свою отчизну из слов созидаю,
смотрю на небо, говорю «небо»,
говорю «свет», «вода», «сердце» — а прочим пренебрегаю.
Молчание — бездна, но люблю я высоту.

Глаза мне воспламенили мужчины и женщины,
и мой голос — воздух, которым они дышат.
Смерть не страшна, если дело правое.
Любовь, а не злоба дает мне бессмертье.
Пою среди бойни, пляшу среди битвы
и созидаю
из слов свою отчизну.

Мудрое благоразумие

Когда кто-нибудь заговорит про душу,
хорошенько проверь карманы.
В наши края эта мудрость
пришла из мест, именуемых Западом.

Прежде солнце блистало
сверху, внутри и снаружи,
было мощью дланей,
страстью уст оно было.

Свой дом был у человека,
своя душа, свое дело
и свое, среди других людей, место.

Потом пришли́ племена иные,
имевшие сердце,
но взвешивавшие злато.
Они нас всему обучили.

И зажили мы с казематами,
епископами и солдатами.
И поняли, что одно дело — добро
и совсем другое — зло.

И что му́ка это не му́ка,
а голод — не голод
и что всеобщее равенство
ждет нас в каком-то углу неба.

Сеньор рантье,
сеньор чиновник,
сеньор помещик!
Люди бессмертны,
но вы-то смертны.

Любопытно, что гнить начинают
еще до того, как станут трупом.
Терпите свой смрад, если хотите,
демонстрируйте его понемногу,
но не болтайте.
Выставляйте задницы, сеньоры,
но никогда не рыдайте,
даже для скотов необходимо
кое-какое приличье.
Не забывайте также о небе,
о белых крыльях,
о музыке арф,
сладостно звучащих
под вашими сладостными перстами.
Подумайте о книгах, которые вы листаете,
о заброшенных чахоточных вдовах,
которых спасут ваши золотые трубы.
Подумайте о ваших купюрах,
о лете на пляже, о любовнице-блондинке,
об эфебе-брюнете, о бедняках,
которых вы облобызаете в мире ином,
о земных просторах и о засахаренном
небе.
Подумайте обо всем,
потому что в этом мире
вам пребывать не так уж долго.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

ХУАН ГОНСАЛО РОСЕ

■

В смертный час я хотел бы поле
окровавить своею болью.

Горечь соли с росою рядом
нанизать на травинку сада.

Напоите, пока вы живы,
землю влагой, поющей в жилах!

Знайте: тоже куплена кровью
эта роза моя — в изголовье...

■

Вот грудь моя. Не жалея,
рази ее в сердце, смерть!
Пунцовая орхидея.
Клинка голубая твердь.

Рази же, рази с размаха!
Пусть брызнет зарей струя.
Надежна твоя наваха,
и все ж ты ударишь зря.

Нет в сердце моем печали.
Вся кровь моя — в жилах строк.
А строки те песней стали,
струящейся вдоль дорог...

Стакан

Я знаю, мама, ты не виновата.
Но он упал, чтоб мелко разлететься...
Как он умел, тот мой стакан щербатый,
вместить всю воду, что я выпил в детстве!

Вот так случилось бедствие из бедствий,
по воле рук, таких родных и милых,—
и вся вода расколотого детства,
осиротев, мне душу затопила.

Конечно, это вышло ненароком.
Но в этот миг я вздрогнул на чужбине!
Я умоляю: как зеницу ока
вы берегите детские святыни.

Я замок детства возводил со смехом,
за смех платил слезами... Так ли странно,
что здесь вчера меня настигло эхо
далекого падения стакана?

И осененный вдруг догадкой ве́щей,
я понял — это он судьбою сломан...
И я молю вас: берегите вещи
того, кто нынче далеко от дома!

Ребячьей жажды добрый укротитель!
Я, словно с другом, был с ним откровенен...
Моих друзей старинных оградите,
молю, от роковых прикосновений!

Я сознаю свой тяжкий грех сыновний:
быть столько лет вдали от отчей сени.
Я все прощаю (я, всего виновник!)
и то, что дома предан я забвенью,—

но не стакан... Он мне поранил душу.
От этой боли никуда не деться...
Я б к уху приложил его — и слушал,
как плещет ключ в зеленой роще детства.

Первая песня

Я не придумал ни единой песни.

Но, может быть, тот, кто любил, скажет:
ведь эта песня мне знакома...
А я было совсем позабыл,
как она прекрасна...

И покажется она
первой песней,
которая ему снилась.

Как надо сегодня

Взгляните на меня:
я весь — как пашня.

С тех пор, как я нашел свою звезду,
бросаю щедро песню в борозду —
пускай взойдет клинком для рукопашной!
Глядите! Это сердце — бык бесстрашный,
готовый на победу и беду.
Я словно небосклон,
грозой охваченный.
Тщедушные сомненья хороня —
они отныне навсегда утрачены,—
иду вперед.
Глядите на меня!
Гробы, которые мне были предназначены,
врастают в полночь пальмами огня!

Я даже время превзошел по рангу
с тех пор, как отыскал свою звезду:
оно металось бешеным мустангом
и вот идет за мною в поводу!

Я заменю лампады вам
и свечи
на свет, который ярче, чем заря!
Пускай слова, как молнии, горят,
Америку людей очеловечив!
Наш мудрый век, наш век широкоплечий,
боец и друг, шагает нам навстречу —
век молота, привычного к труду,
и век серпа, светящегося ясно...

С тех пор, как я нашел свою звезду,
я стал солдатом красным,
красным,
красным!

Перевод СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Заметки писателя

ОБЪЯСНЕНИЯ В ЛЮБВИ И ДРУГИЕ ПРИЗНАНИЯ

Так называется эта необычная книга, из которой мы печатаем несколько глав. Выпущенная издательством «Ауфбау» в 1972 году, она содержит короткие заметки, разнообразные по форме и содержанию, но всегда с примесью мягкого юмора — писатели ГДР рассказывают друг о друге. Только одно условие было поставлено перед ее участниками: речь должна идти о близком и дорогом им человеке. В результате возникли эти повествования о товарищах по работе, друзьях, старших наставниках, наполненные словами уважения, благодарности, любви. Авторы известных книг предстают здесь с новой стороны, они становятся намного ближе читателю, который может побывать у них в гостях, узнать об их заботах, увлечениях, об их нелегкой работе. Это знакомство радостное и необходимое. И ему во многом помогают располагающие к себе дружеские шаржи Гаральда Кречмара.

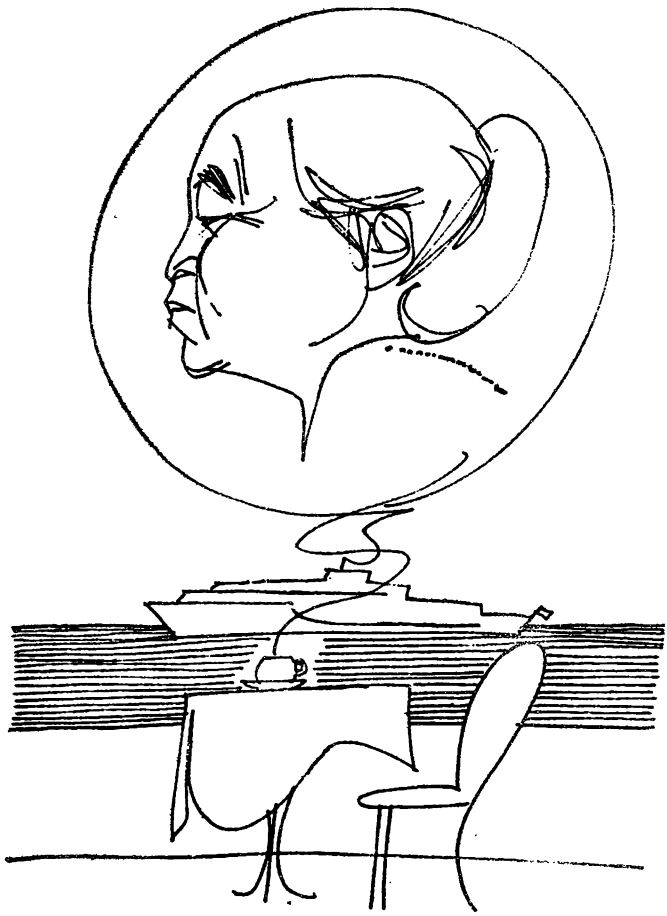
Криста Вольф об Анне Зегерс

Чародейство

Она чарует, очаровывает. Совместимо ли это: чародейство — и наш трезвый век?

Между тем она старается не вникать в то, как это происходит. Упорно гонит от себя даже мысль об этом. Она словно бы все понимает и ничего не понимает, но строго следит за тем, как совершается и длится чародейство, за силой чар, за этим своим пониманием и непониманием. Следит, чтобы соблюдались пропорции и не оскудевала ее чудесная кладовая, чтобы оставались незаметными ее усилия поддержать зыбкое равновесие, чтобы мы поверили ей радостно, без оглядки.

Опытная, ловкая, хитрая — говорят о ней друзья; наивная, простодушная и доверчивая — говорят они в то же вре-



мя. О ней сказано уже немало, но не все она допускает до своего сердца. Нужно ли ей, чтобы мы ее любили? Она, наверно, понимает, что это нужно нам.

А ее имя? Зегерс? «Чистая случайность»,— отвечает она, когда ее спрашивают, но сама об этом не заговаривает. «Ведь еще до «Восстания рыбаков»,— рассказывает она,— я написала и опубликовала маленькие рассказы. Среди них была жуткая история о голландском капитане. Я написала ее от первого лица, так, будто этот капитан был моим дедом. Естественно, мне нужно было дать ему какое-то имя.

В поисках голландского имени я вспомнила о Зегерсе: был такой художник, современник Рембрандта. Вероятно, это имя всплыло в моей памяти благодаря случайному созвучию. А потом нужно было как-то подписать этот рассказ. Вот тут-то мне и пришло в голову, что, как внучка старика, я и себя должна называть Зегерс...»

Чистая случайность? Да, если не знать, что она с самого детства страстно любила море, что ребенком она плакала и буянила, когда ее не везли на побережье, что с малых лет она была знакома с бельгийскими и голландскими рыбаками, что ее диссертация была написана на тему: «Евреи и иудейство в творчестве Рембрандта»... Вот какие это «случайности».

Вы нажали кнопку звонка возле таблички с ее именем, она высовывает голову в окно и оттуда начинает обстоятельно объяснять, как нужно обращаться с этой дверью, чтобы она не выкидывала фокусов. Пусть уж люди лучше посмеются, а не смущаются, так ей приятней. Она возится на кухне, не разрешая помочь себе. «Терпеть не могу,— говорит она,— когда все носятся вокруг как сумасшедшие». Она может перепутать лица гостей, но не их личности. И в конце концов получается так, что она всегда поговорит именно с тем, кто ей нужен,

может ошибиться в имени, но не в человеке.

«Только не трогайте их!» — заклинает она каждого, кто приближается к кафельной печи, на которой висят мексиканские глиняные колокольчики. На книжных полках — книги она дает неохотно — стоят, как в карауле, русские гипсовые статуэтки, все эти куколки и зверушки, которых можно купить в Москве, где-нибудь на улице Горького. Гора газет рядом с софой день ото дня коварно растет, зато кофейный столик всегда гостеприимно накрыт, напоминая о тех кофейных и обеденных столах, которые щедро расставлены на страницах ее книг для всех алчущих.

«Ну, рассказывай!» — всегда поощряет она к разговору. Хотя она знает все, что может случиться с человеком, в ней не угасает отзывчивость и интерес к людям. Над ней не тяготеет проклятие воспринимать свою жизнь и жизнь других людей как «материал» и тем самым портить и то и другое — и жизнь и творчество. Но вторжение вымысла в действительность неизбежно, как неизбежен и трепет перед этим вторжением.

Однажды, после выхода в свет романа «Мертвые остаются молодыми», она получила письмо от женщины, с которой когда-то встречалась, но очень мимолетно. С ней и с ее сыном. Он был расстрелян в самом конце войны, а до этого его отец — оба коммунисты. «Вы, конечно, имели в виду их обоих в своей книге, — писала женщина. — Откуда только Вы так подробно обо всем узнали?»

«Тут у меня прошел мороз по коже», — говорит она, сидя за чашкой кофе.

Впрочем, никакая сила в мире не может заставить ее предпочесть случайность действительного факта — истине, которая рождается у нее в голове. Как-то она попросила одного писателя еще раз рассказать ей один эпизод из его жизни, но прервала после первых же слов: «Послушай-ка, ведь ты забыл сказать в тот раз самое главное: **ты знал**, что твой товарищ был предателем».

«Что это пришло тебе в голову? — возмутился рассказчик. — Конечно же, я этого не знал, иначе разве я мог вести себя так неосмотрительно!»

«Как раз именно поэтому! — настаивает она. — **Знал** и все же не отрекся от него! **Ты должен был это знать!**»

«Что ты, Анна! Уж мне-то лучше известно, как это было!» Она умолкла, явно раздосадованная. Потом принялась настойчиво убеждать собеседника: «Когда ты будешь об этом писать, ты возьмешь мой вариант, хорошо? Иначе люди, чего доброго, не поверят тебе...»

Одна французская писательница говорила о «синих глазах Анны Зегерс». Когда видишь карие глаза Анны, радуешься, что та ошиблась; но вот на них по-новому падает свет, она как-то особенно прищуривает их, и тогда они в самом деле мерцают синевой. Часто взгляд ее полон сомнения, даже недоверчивости — это плата за горечь большого опыта.

Друг, с которым она серьезно поспорила, взывает к ее доброте. Улыбаясь с тем же предостерегающим синим поблескиванием в глазах, она читает ему испанское стихотворение о пистолетах, которые нужно всегда держать при себе, чтобы, если понадобится, выпустить сразу четыре пули. Когда друг сказал: «Не сердись!» — она воскликнула: «А почему, собственно, не сердиться! Ты знаешь притчу о даосах и конфуцианцах, которым велели помириться? Ну зачем, возразили они, если между нами нет ничего общего?» Она провожает надолго уезжающего друга до двери, медлит в нерешительности, смеется, наклоняет его голову к себе и целует.

Она словно не верит самой себе, когда произносит: «Это прекрасно». Колеблется, взвешивает, потом вопрошающе повторяет: «Это прекрасно, не правда ли?» Она радуется встрече с прекрасным: с книгой, которая только что родилась, с человеком, с новым домом, новым краем. Или с любимыми скульптурами в Музее восточноазиатского искусства; она слегка поглаживает изваяния и повторяет: «Это прекрасно...» Однажды, когда на каком-то собрании разгорелась бурная дискуссия о манере письма и, возмущенная суровостью некоторых книг, одна ораторша патетически воскликнула: «А ведь жизнь наша так прекрасна!» — с места, где сидела Анна Зегерс, послышалась тихая реплика: «Прекрасна и сурова!»

Нередко создается впечатление, что она бывает довольна лишь тогда, когда обнаруживает нечто противоположное в явлении, кажущемся простым и однозначным: комическое в трагическом, что-то достойное сочувствия в злом, крупицу эгоизма в добром, обыденное в возвышенном, благодетельную каплю сомнения в несомненном. Однажды, будучи с делегацией в Москве, она опоздала к обеду — задержалась в ГУМе, универсальном магазине на Красной площади. Молча ест она свой суп, но какая-то мысль не дает ей покоя и, наконец, прорывается наружу: «Послушай, думал ли Маркс об этом? — О чем, Анна? — О том, сколько кофточек нужно большим народам! В ГУМ привезли целые горы кофточек...»

Однажды ее спросили о том, когда она впервые услышала об Октябрьской революции. «Это было так удивительно, хотя и просто, — говорит она. — Я сидела на скамейке у реки, у себя дома, в Майнце. А возле меня сидели две женщины и болтали. Речь зашла о ребенке, игравшем здесь же. Его прислала к одной из них родственница из России, где как раз тогда была революция. И женщина удивлялась, до чего заразительны эти идеи. Действуют даже на детей. Этот

ребенок однажды видел, как французские офицеры, стоявшие у нас, дали солдату-негру плитку шоколада, чтобы тот охранял вместо них мост, и мальчик сказал: «Какой глупый, согласился стоять для них на мосту за плитку шоколада!» Впрочем,— добавила она,— по всему складу своего характера я уже тогда была настроена коммунистически...»

Она любит выражение: «Жизнь, заполненная до отказа», и она любит жизнь, заполненную до отказа, такую, как ее собственная, любит радость, которую она от этого получает; она любит людей, разделяющих с ней эту радость искренне, без кокетства. Она любит писать (хотя это, конечно, совсем иная любовь). Особенно в тех местах, где есть настоящие кафе,— где-нибудь в Париже, Марселе, Памье или на острове Мартиника... Никто тобой там не интересуется, даже официант, и все же вокруг тебя люди, и ты можешь смотреть на улицу. Она исписывает неровным почерком свои школьные тетради в линеечку, которые никогда не уничтожает после того, как рукопись переписана: «Зачем же? Вокруг меня все равно полно бумаг! А в общем, все, что я сделала,— пусть не очень много, но и не так уж мало — набралось лишь потому, что я каждый день хоть немного работала...»

И еще она любит путешествовать, больше всего по морю — ведь на корабле так хорошо пишется. Трижды в своей жизни ездила она из Европы в Америку и обратно. В дороге она чувствует себя лучше всего. Быть в пути ей нравится больше, чем приезжать.

«На кораблях,— говорит она,— до сих пор курс определяют по солнцу, луне и звездам.

Чувствуешь себя совсем как дома, когда уже не первый и не второй раз наблюдаешь за молодым матросом, который проходит обучение,— пусть в другое время он неотесан и груб, зато как благоговейно и старательно он каждые четверть часа работает с секстантом. Тут вся наша писательская суета тонет в море... И капитан любезно помогает мне разглядеть похожий на мерцающую звезду спутник — сама я ни за что не нашла бы его. А небо? Южное небо со своим Южным Крестом, словно огромная шапка, медленно сползает за корму, а вместо него восходит другое небо...»

Если долго слушать ее, то потом этот голос звучит со страниц ее книг, хрупкий, спокойный, как будто, рассказывая, она сравнивает удивительную жизнь людей с тем знанием человеческой сущности, которое вложила в нее сама природа. У слушателя или читателя возникает ощущение узнавания, защищенности, даже если люди, с которыми она общается — в жизни или в книгах,— беззащитны.

Она открывает стенной шкаф в углу, вытаскивает папки со своими старыми работами, отдает кому-нибудь и никогда больше не спрашивает о них. Своего издателя она уговаривает внести изменения в ее прежние вещи: «Выброси это! Да, конечно, когда-то я так написала. Но ведь это неверно. Вообще, какая это нелепость — преклонение перед цитатами! Еще школьницей я переиначивала их. Если, например, я считала, что сочинение надо закончить цитатой, то даже слова Шиллера чуточку переделывала по-своему. И никто этого не замечал».

Может быть, это тоже один из ее колдовских приемов: пробуждать в нас желание любить и защищать ее. Но и этот прием служит не ей самой, а другим, он служит нам. Ведь то, что среди нас живет человек совершенно земной и вместе с тем как бы находящийся в контакте с другими мирами, куда имеет доступ далеко не каждый (контакт, который делает ее уверенной в себе и не нуждающейся в защите),— этот факт мог бы иначе испугать и обескуражить нас.

Почти смущенно признается она в том, что видит все насквозь, и виновато улыбается, когда вершит свое колдовство, силу которого она, конечно же, прекрасно сознает.

Что может быть для нас важнее надежды, что мы способны стать такими, какими втайне желаем быть — если только мы действительно хотим этого?

Гельмут Гауптман о Бруно Апице

«В нас была пружина»

Я уже не помню, кто должен был быть главным героем фильма. Учитель? Сапожник? Или бродяга? В моей памяти вырисовывается образ человека без определенных занятий. Но подобных людей, разумеется, при социализме не бывает. Так что, пожалуй, это был просто честный ремесленник. Честный, но знающий толк в жизни, со склонностью пожить в свое удовольствие, которая встречается не так уж редко, но которой не стоит потакать.

Например если человеку выпадет главный выигрыш в лотерее. Наш ремесленник как раз его и получил — уйму денег сразу. Не говоря о том, что он не мог бы у нас вложить эти деньги в эксплуататорское предприятие, «пустить их в оборот», впрочем, подобная старорежимная мысль даже не приходит ему в голову. Ему чужда и банальная идея вложить деньги в «реальные ценности». Но вот несколько приятных деньков он себе устроит! Отправится, например, на Балтийское море и, одетый с иголочки, будет разъезжать в нанятом экипаже по побережью. Я не помню названия этого фильма — работа над ним так и не началась. Но столь отчетливо встают перед глазами отдельные эпизоды, будто их снимали при мне. Фильм в фильме: ДЕФА снимает на прибалтийском курорте картину, в которой воскресают недобрые старые времена, когда все эти господа, «хозяева жизни», рантье с шиком приезжали сюда на летний сезон. И вот происходит то, о чем вы, наверно, уже догадываетесь: наш веселый ремесленник въезжает прямо в снимаемую на натуре сцену. Сам того не подозревая, он начинает играть роль в этом фильме и создает массу комических положений.

Вы усмехаетесь? Устаревший прием? Шутовство?

По-видимому, они-то и насторожили ДЕФА. Ваши усмешки. Жаль, что киностудия дала себя запугать.

Потому что эта идея принадлежала Бруно Апицу и, как мне кажется, была им уже хорошо разработана. Во всех этих запланированных недоразумениях— да-да, согласен, построенных не только по старинным канонам высокой комедии, но, пожалуй, в большей степени на дешевых приемах площадных фарсов и примитивных развлекательных фильмов,— в таких комических сценах, где зрителю по-свойски подмигивают, таилась, на мой взгляд, возможность в веселой форме раскрыть серьезную тему: как изменяется человек в наших условиях жизни, отвергнув старые законы волчьей морали.

Конечно, я могу ошибиться. Но и ДЕФА — тоже. Отклонила же она много лет тому назад — в те времена, когда сам Апиц заведовал сценарным отделом студии,— сценарий его фильма. Правда, он еще не назывался «Голый среди волков» — к тому времени не был написан и сам роман, название которого возникло, лишь когда была закончена его последняя страница. Между прочим, и роман-то был написан после того, как отклонили проект фильма. А ведь тема фильма была та же, и сюжет был тот же, что и у известного теперь всему миру романа, разошедшегося в миллионах экземпляров, переведенного почти на тридцать языков. Мне посчастливилось стать одним из первых читателей романа, еще до опубликования, и выступить в его защиту. Об этом можно прочитать в июльской книжке журнала «Нойе дойче литератур» за 1958 год. Там даны также отдельные штрихи к портрету автора.

Речь сейчас, разумеется, не о том, кто прав и кто ошибался. (Что касается ДЕФА, то она в состоянии исправлять свои ошибки, как это доказывает все-таки осуществленная экранизация романа «Голый среди волков». И то, что студия сейчас не хочет запечатлеть на пленку обладателя счастливого билета, возможно, тоже обернется своей хорошей стороной. Может быть, скорее появится роман о матери, над которым Бруно Апиц сейчас работает?)

Речь идет здесь не просто об интересных идеях.

(Хотя все-таки хорошо, когда они есть. И не только такие, как та, о бравом ремесленнике, или другая, которую Бруно Апиц вынашивает уже в течение долгих лет для своего нового романа: господь бог спускается с неба и, очутившись на земле, становится в образе социал-демократа участником многих событий в Западной Германии; даже когда речь идет только «о фактах, действительно имевших место», например спасении ребенка в концлагере, нужны идеи, нужно умение ими воспользоваться. Последнее особенно важно. И Бруно Апиц в открытом письме высказал свои мысли о том, в каком отношении друг к другу находятся идея, сюжет, тема и в чем заключается ответственность писателя. Письмо это было опубликовано издательством «Миттельдойчер ферлаг» в 1964 году в сборнике «О своей работе».)

Я говорю здесь именно о таких идеях. Речь идет о художественном темпераменте, о вдохновении и, да будет мне позволено сказать, о комедианте Бруно Апице.

Я знаю, я не должен был бы так говорить.

Потому что слово «комедиант» содержит в себе что-то уничижительное. Даже в своем первоначальном, нейтральном смысле «актер» оно приобрело бы в этом контексте еще более двусмысленный оттенок. (Хотя Бруно Апиц в числе многих других профессий испробовал и профессию актера.)

Поэтому мне все же следует пояснить свою мысль. Говоря «комедиант», я не имею в виду актера, исполняющего определенную роль, во всяком случае не только это.

Правда, я никогда не забуду заключенного, роль которого играл Бруно Апиц в своем фильме. Меня глубоко трогает его игра, как и он сам. Да, он сам. Вот что я имею в виду: этот маленький человек на экране, один из массы униженных и забитых, потрясая нас своей неудержимой радостью при спасении ребенка, остается всецело самим собой, Бруно Апицем,— художе-

ственный темперамент отражает его человеческую сущность.

Я убежден, что в этом тождестве не в меньшей мере, чем в легендарном сюжете романа и его художественной выразительности,— секрет большого и длительного успеха книги «Голый среди волков».

Наивный, мудрый, представляющий лучших людей народа, выражающий их настроения, защищающий их интересы, тот, кто сражается и играет,— ведь это тоже связано с понятием «комедиант», об этом-то я как раз и думал.

В музее на Эттерсберге стоит огромный, выше человеческого роста деревянный указатель. Его демонстрируют как работу узников Бухенвальда, которых садистски заставляли насмехаться над собственной участью. Это резная скульптура, изображающая трех мужчин, бредущих под конвоем по своему нелегкому пути. Я видел, как Бруно Апиц, пораженный, остановился перед ней и сказал: «Это сделал я. Это была моя первая работа в лагере».

Этот дорожный указатель, на который нельзя смотреть без волнения, никто не сочтет значительным произведением искусства. И все же: с того дня, как я впервые его увидел, я вспоминаю его всегда, когда думаю о Бруно Апице и его замечательной книге. Так же, как письменный прибор, который он вырезал для коменданта лагеря. Так же, как скрипку, на которой Апиц, конечно же, играет хуже Ойстраха. Так же, как модель планера, которую он помогал мастерить мальчишкам, чтобы они не слонялись без дела. Так же, как прогулки с Сабиной, его пятилетней дочерью, о которых он часто рассказывает, или фантастическое кушанье — «варево», которое он иногда готовит для своей семьи.

В 1947 году, когда мне было девятнадцать лет и я был заядлым читателем газет, в библиотеке за столом напротив меня обычно сидел пожилой человек и тоже читал газеты — товарищ Эшрихт. Я думаю, что теперь его уже нет в живых. У него позади были тяжелые годы заключения в концлагере. Его преступление состояло в том, что он, будучи продавцом газет, собирал средства для «Красной помощи». Он не был озлоблен и никогда не жаловался. Мне он очень нравился Его простота, его юмор привлекали к нему. И я не раз спрашивал себя потом: как люди могли пережить ужасы концлагеря и не сломиться?

При первой встрече с Бруно Апицем я задал ему этот вопрос. И когда он без колебаний ответил: «В нас была пружи-

на»,— я подумал, вот в чем тайна товарища Эшрихта, продавца газет, человека из народа, чье мужество нельзя было уничтожить, чью душу нельзя было ожесточить никаким террором.

Впрочем, не было ли в нем тоже чего-то в хорошем смысле комедиантского, в товарище Эшрихте, которого я вспоминаю все чаще с тех пор, как познакомился с Бруно Апицем?

Герхард Хольц-Баумерт об Эрвине Штриттматтере

Как я видел его работающим

Телефонный пролог

3 февраля 1971 года

— Добрый день, Эва, как идут дела?
— А как они могут идти? Хорошо!
— Так... Прекрасно. Все здоровы?
— В общем—да... Мы с Матти, правда, немножко гриппуем, у Жеки выпал зуб...
— Ну, а как Эрвин?
— О, у него все очень хорошо: работает.

Штриттматтеру хорошо, когда он работает; когда он работает, ему хорошо. Работать для него значит писать. Он работает как одержимый, как монах, с раннего утра возносящий молитву богу, в нем тот же аскетизм и та же радость мученичества. Немецкая любовь к порядку и точности уступает неистовству лужицкого сорба, когда не ладится работа, или Эва говорит «нет», высказывая какое-нибудь сомнение, или когда он сам теряет уверенность в себе. Его немецкая аккуратность привела бы в восторг иностранных журналистов: письменный стол всегда прибран, пишущая машинка и крохотный магнитофон, ставший в последнее время его любимцем и помощником в работе, строго стоят на своих местах, страницы рукописи тщательно сложены, в порядке лежат тетрадки с дневниковыми записями. Его разборчивый почерк тоже истинно немецкий, старинный, не по-писарски каллиграфический, а просто разборчивый. Любую страничку (скажем, какое-нибудь письмецо пионерскому отряду) он выписывает от руки так же старательно, как первую страницу нового романа. Это не ассирийские иероглифы Анны Зегерс, а скорее аккуратно начертанные сообщения Людвига Ренна.

В шкафчике у стены хранятся дневники, наброски, заготовки. В сундуке — старые, порой очень давние рукописи. Все в образцовом порядке, все тщательно продумано, все вокруг, по его желанию, отделано светлым деревом.

Здесь, среди красоты девственных Рейнсбергских лесов и полей, Даниил Гранин мог бы найти то, что ему так понравилось в Калифорнии у Ирвинга Стоуна,— современную организацию писательской работы; чтобы увидеть это, Гранину незачем было ездить в такую даль...

Штриттматтер работает всегда. Многие из тех, кто гостил в его доме — скольких же принял он гостей, скольких людей должна была накормить и занять разговорами Эва, чтобы Штриттматтер мог уединиться и работать! — эти люди говорят, что, когда бы они ни проснулись, в его комнате всегда горит свет. Так слагаются легенды! И мне хотелось бы тоже внести свою лепту: я не знаю никого, кто работал бы больше и организованнее, чем он. Конечно же, он спит, но беспокойно, если в его конюшне должен появиться на свет жеребенок, еще беспокойнее, если что-то не ладится с сюжетом. Впрочем, спит ли он на самом деле? Часок-другой после обеда...

Их дом обычно полон друзей или назойливых, неожиданных посетителей, которые приезжают, чтобы посмотреть на пони и на писателя. Тогда он говорит, спрашивает, но еще охотнее предоставляет это делать Эве. Он быстро надевает нарядную рубашку с подходящим галстуком, и Эва восклицает: «Ну вот, папочка, вы сегодня снова обворожительны...»

Он выслушивает рассказы детей, ставит пластинку Квалтингера и Валентина, прислушивается к тому, о чем рассказывают секретарь районного комитета, и ветеринарный врач, и лесничий, и бывший председатель, и новый председатель, и впечатлительный писатель, и взволнованный хирург, слушает всех, иногда, не часто, и сам вставляет словечко, громко смеется... однако я подозреваю, что и в эти минуты он продолжает работать.

Он мог бы отказаться от всего, на некоторое время, а то и навсегда,— была бы только возможность работать: от своих друзей, от своих кожаных штанов, от своих любимых лошадей... У него можно было бы все это отнять, да он и сам мог бы обойтись без этого. Но вот со своей работой он не расстанется никогда и ни за что. Он мог бы отказаться от многого, потому что никогда не был избалованным маменькиным сыночком, да и сейчас не причисляет себя к

избранным. Для себя ему нужно очень мало, хотя он, разумеется, не настолько примитивен, чтобы возражать против жизненных благ. Он мог бы бродить по родным местам босиком и в изношенных штанах, как бродил когда-то со своим дедом Кулькой, хотя он охотно ходит по Рейнсбергу элегантно одетый и отлично замечает восхищенные взгляды молоденькой саксонки, проводящей здесь свой отпуск... Да, он готов пожертвовать всем, оставалась бы его работа, не только потому, что он не забыл старого деревенского дома, тяжелого труда, усталых грубых рук. Просто работа для него — главное. Он любит эту работу со всем жаром своей души...

Толстой изображает фельдмаршала Кутузова с опущенными, сонными веками; когда Штриттматтер кажется сонным или безучастным и веки у него опущены, будьте начеку, друзья, он все видит, он размышляет, ищет необыкновенные сочетания слов и звуков, новые поэтические образы. Из жизненных наблюдений складываются рассказы. Это известно всем. Этому учат даже в Литературном институте. Однако тебя ошеломляет, когда ты сам становишься тому свидетелем.

Однажды, много лет назад, Штриттматтер посадил меня на коня, на Миху, который ходил весьма резвой рысью. Дело было зимой. Мимо буковых деревьев мы спустились к Кёперницкому озеру, перебрались на противоположную сторону в лес и там скакали взад и вперед. А где-то в снегу лежала молодая сосна...

Штриттматтер знал, с каким трудом я держусь в седле, и давал мне время от времени передохнуть. Вообще он человек тактичный, и вежливость у него не напускная, разве только иногда. Но он может быть и бестактным. «Ну, снова ходишь в ухажерах?» — обращается он к Х., жена которого бледнеет, а сам Х. становится пунцовым от смущения,

Штриттматтер же еще смеется при этом. На представительских заседаниях, на бесполезных семинарах он порой бывает груб, даже агрессивен. И еще он умеет тихо ненавидеть. Горе тому, против кого обращена эта ненависть! В сущности же своей он человек глубоко тактичный, по-настоящему вежливый, но ему просто становится невмоготу, когда с глупой болтовней осматривают его дом, его пони, членов его семьи, его самого и при этом еще хотят получить на память групповой снимок. Со своими друзьями он нежен, как может быть нежен мужчина, если он молчалив. Когда его очень раздражают тягостные разговоры, отнимающие время у работы, тогда идти в атаку приходится Эве, подобно тому как когда-то при Фридрихе II брали на себя главный удар нейруппинские гусары. Но если Штриттматтер все же взрывается, это страшно — настоящее лужицкое буйство!

...Он тактично переводит коня на шаг, чтобы я мог выпрямиться в седле и хоть ненадолго дать отдохнуть бедному животному от незадачливого седока. Во время нашей прогулки я видел поваленную сосну и извилистую тропинку, больше ничего. Штриттматтер увидел еще свой будущий рассказ: он работал.

По этой тропинке ходили пешком или ездили на мопедах лесорубы. Под тяжестью снега надломилась и упала на дорогу сосна, ее приходилось объезжать, чертыхаясь, делать большой крюк, пробираться по глубокому снегу, пока не пришел человек добросовестный и мудрый, который умеет работать, как Штриттматтер. Он слез с коня и кряхтя оттащил в сторону сосну, чтобы тропинка снова стала проходимой и никому не приходилось бы огибать ее или сходить с лошади.

Сидя на разгоряченном коне, двигаясь шагом, чтобы я мог отдохнуть и распрямиться, он рассказал мне историю этого старого честного лесоруба, который не выносил беспорядка, даже если его учиняла сама природа. Следы на снегу, несколько веток многое рассказали Штриттматтеру о том человеке. А я не увидел ничего, и мой конь был в этом не виноват, он покорно шел вперед, просто я не умел видеть — у меня не было штриттматтерской страсти к работе, его поэтической зоркости.

Да, он работает всегда, и работать для него значит выхватывать из сурового мира, в котором мы живем, истории, уметь даже в ветке сосны распознать красоту, печаль и гордость, запечатлевать все это на бумаге и передавать другим. То, что он проделал со мной, было похоже на урок, но это произошло как бы само собой, он терпеть не может поучать — и все же это было уроком.

Эва говорит: «Эрвин, не упрямься, принеси, наконец, магнитофон!»

Штриттматтер медлит. Нам знаком такой вид кокетства, эта скромность, которая паче гордости, но к нему это не относится, потому что Штриттматтер в самом деле боится утомить друзей, наскучить им, опасается, что его работа покажется вдруг неинтересной. В этом нет рисовки — просто его тактичность и неподдельный страх перед слушателями. В конце концов он надевает кожаную кепку с эмблемой клуба велосипедистов «Солидарность» и приносит магнитофон. И вот Штриттматтер как бы раздваивается: он сидит рядом с нами и молчит, а там, на пленке, его голос. Не такой, как у человека, который считает, что он слишком важная персона по сравнению со слушателями. И не такой, как у Томаса Манна, хорошо поставленный, заставляющий благоговеть перед образованностью и ораторским искусством. Штриттматтер читает голосом человека и голосом... фавна. На пленке записана старушечья брань и тишина над лесом. Любительский театр? Да, он играл когда-то на сцене и охотно стал бы клоуном еще разок, хоть на одно представление. Мне кажется, он читает так, как мог бы читать своим актерам Шекспир...

Штриттматтер — Кутузов сидит, прислушиваясь к своему голосу (правда, он стройнее и лучше умеет держаться в седле, нежели русский фельдмаршал), его брови сдвинуты, усы опущены, и он только недовольно поводит плечами, если обрывается старая пленка или Эва говорит: «Здесь что-то не так, это надо убрать!»

Позднее, когда гости уже разошлись, дети заснули, лошади успокоились, он еще читает. Один очень образованный коллега — я, правда, сомневаюсь, знает ли он в оригинале Гомера,— сказал о Штриттматтере: «Провинциал!» Это верно, если иметь в виду место его жительства. Я, во всяком случае, не видел человека, который читал бы больше, чем он. Газеты и журналы, книги друзей и недругов, старые и новые. Хемингуэй и «Вильгельм Мейстер» Гёте, Томас Манн, «Советская литература» на немецком языке, «Берлинер цайтунг» и книги о генетике, статья о загрязнении среды, «Нойе дойче литератур», журналы по собаководству, воспоминания о Пикассо и Фонтане, «Зинн унд форм»... Я бы лично не согласился быть почтальоном в Долгове.

Потом наступает глубокая ночь. Спит ли Штриттматтер? Согласно легенде — никогда. Когда я еще до восхода солнца отправился на рыбалку, я увидел, как светится над лужайкой его окно. Но когда-нибудь он, наверно, все же спит? Разумеется. Но мне кажется, что сон у него очень хрупок и наполнен историями, которые являются ему в виде грез, или воспоминаний, или неожиданных видений — столь ошеломляющих, что он порой даже вскакивает с постели. Я думаю, что и во сне он не перестает работать.

Фред Родриан о Максе Вальтере Шульце

Рюкзак для Шульца Воспоминания и предположения

Писать о пишущем (о том, кто пишет, даже если он как писатель молчит), писать портрет человека, который на основе своих идей и своего опыта вынес такое суждение о литературных портретах: «Мы полагаем, что портрет больше всего соответствует оригиналу в том случае, когда эффект узнавания создается не искусством письма, а вытекает из характера человека. Тот, с кого написан портрет, и те, кто знают его — следовательно, знатоки,— должны с искренним изумлением говорить: «Да, это я. Да, это действительно он»,— так вот, писать о таком пишущем и преподающем человеке — в этом многие согласятся со мной — не только рискованно, но и почти невозможно. Почти. Это он? Он ли это? Сошлюсь на одно высказывание из «Максим и размышлений»: «Мы очень многое узнаем лучше именно тогда, когда совсем не хотим узнать это слишком точно» [1].

Он директор и даже профессор, директор института, о котором спорят; не-

[1] Имеются в виду «Максимы и размышления» Гёте.

которые относятся к нему равнодушно, многие — любят, а кое-кто несколько пренебрежительно называет школой поэтов. Как бы то ни было, институт этот выполнил уже свою функцию — открыл для многих обширный мир марксистской культуры. С тех пор функция этого Литературного института в Лейпциге изменилась, расширилась — ну, как еще сказать,— дополнилась. А тот, кто ныне является его директором, был когда-то, в первые годы существования института, его воспитанником.

В 1957—1959 гг. там собирались вечно молодые авторы, критики без диплома, люди с беспорядочным или устаревшим образованием, жаждущие знаний, нуждающиеся в стипендии. Среди них были и люди сведущие, серьезно думающие, и такие студенты-литераторы, которые в зависимости от темперамента или ситуации то насмешливо, то язвительно-злобно, то добродушно затыкали за пояс того или иного доцента (боже упаси, не всех!). И все-таки все они чему-то вместе учились.

Макс Вальтер Шульц был студентом этого института, он мало пил, редко играл в кости, а за картами я его вообще никогда не видел. В настольном теннисе у него были значительные успехи, и здесь он обнаруживал некоторое честолюбие, а его способности к игре в волейбол оставляли желать лучшего. При всей приветливости и ровности своего характера он не прощал некоторым преподавателям, если они ошибались или допускали неточности. Он читал им наставления, похожие на проповеди, хотя и не без иронии,— длинные, искусно построенные речи с поучительными примерами и взаимоисключающими гипотезами изысканнейшего стиля, с мощным арсеналом иностранных слов. Всегда ровный и заботливый, но не озабоченный, с почти маниакальной склонностью к анализу и доказательствам — и всегда с пятном от табака на верхней губе. Он умел также слушать, хорошо слушать, например, Георга Маурера. Нам, сокурсникам, нравился Макс Вальтер Шульц — нравились его ирония, его суждения и его приветливость. Мы называли его между собой Великим Дефинитором.

Он любил и любит парадоксы и противоречия, и это отразилось, в частности, в шуточной прощальной речи по случаю окончания института, которую мы писали сообща,— у присутствовавших на торжестве почетных гостей и у профессорско-преподавательского состава она вызвала лишь весьма натянутые улыбки. (Позднее он вынес расхождения во мнениях и размолвки с государственными деятелями и писателями на другой форум — дух противоречия в нем остался.)

Разумеется, в то время шли разговоры и о детской литературе. Легко и естественно было вести их с бывшим учителем, с давних пор готовым писать молодым автором (только что это такое?), студентом Литературного института. Результаты этих разговоров оказались скудными. Тогда, в 1958 году, у Макса Вальтера Шульца были весьма упрощенные, казалось бы, противоречащие его сущности, прямо-таки наивные представления о детской книге — конкретно, если память мне не изменяет, о детском кинокружке,— представления, не воплотившиеся даже в завязку сюжета или хотя бы в первую написанную страницу. Об этом, пожалуй, и не столь значительном факте я вспоминаю здесь потому, что из разговоров о детской книге тогда, в 1958 году, у меня сложилось впечатление, что у Шульца были другие замыслы, планы, заготовки, наброски, о которых он не говорил — во всяком случае со мной,— о которых вообще не хотел говорить. Его можно считать каким угодно человеком, но только не разговорчивым и уж, конечно, совсем не болтливым. Его никогда не мучает желание избавиться от сплетни; чувство ответственности — вот что его мучает. То, что он вынашивал тогда в своей голове и что было у него на сердце спустя несколько лет, а именно в 1962 году, стало книгой. Она-то уж отнюдь не была упрощенной или наивной. Она явилась своеобразным синтезом Ремарка — Ренна — Келлера — Гёльдерлина в духе Макса Вальтера Шульца. Она стала — если даже у самого МВШ есть возражения против подобных ярлыков — примером нового социалистического немецкого романа воспитания. Это была книга «Мы не пыль на ветру». Мы хорошо помним Хагедорна, Залигера, Лею, Хильду, глубоко заложенные конфликты, мощную выразительность языка и — «какая бездна образования», как пародировал заключительную фразу книги де Бройн. Рецензии и литературоведческие изыскания о романе могли бы составить внушительную папку. Нам к ним нечего добавить. Мы лучше позволим себе, стараясь не упускать из виду богатую мыслями, изящную и полемическую книгу эссе «Седло и стремя» 1967 года, поставить одну проблему, даже если придется коснуться ее лишь мимоходом. Книга Шульца была воспринята читателями как первый том, который, хотя он и может существовать самостоятельно, таит в себе обещание второго. Прошло уже около десяти лет. В нашей новейшей литературе есть немало подобных обещаний второго тома. Некоторые из них достойно выполнены (хотя и спустя долгий срок), как, например, «Доверие» Анны Зегерс, другие выполнены так, что уж лучше бы обещание оставалось обещанием, третьи — не выполнены, как в случае с «Чудо-

деем II» Штриттматтера[1], продолжение которого его читатели ждут столь же нетерпеливо, сколь и упорно. Именно так, как они ждут и следующий том романа Макса Вальтера Шульца «Мы не пыль на ветру». Для писателя вовсе не стыдно написать лишь одну книгу, она может стать большим событием. Это доказал Апиц. А также Макс Вальтер Шульц. Но как быть с этим обещанием? Ведь необходимость продолжения и завершения вытекает из самого строя книги. Однако ощущает ли сам Шульц эту необходимость — необходимость писать? Не подавил ли в нем деятель культуры и учитель писателя?

Мы должны по этому случаю вспомнить, что у немецких писателей от Гёте до Бехера существует совсем не плохая традиция — активно участвовать в жизни общества и черпать из этих широких связей с жизнью, из своей разносторонней деятельности материал и силу для писательской работы. Напротив, вызывает тревогу, когда некоторые молодые поэты после с трудом выданных на-гора полутора десятков стихотворений всю жизнь пребывают лириками, и **только.** Однако оставим их в стороне. Как обстоит дело с Шульцем? Почему он не пишет? Несколько лет назад, когда он лежал в постели после тяжелого сердечного приступа, мы навестили его и принесли с собой не букет цветов, а шутки и анекдоты о Бехере, Ренне, Вальтере Викторе. Мы смеялись, нам было весело, и оставалось впечатление, что Максу Вальтеру Шульцу этот смех и это веселье были очень нужны... А о втором томе мы и не заговаривали.

Не так давно, раздраженные, мы встретились на каком-то заседании. Неизбежный теперь вопрос, пишет ли он,— и ответ: да, пишу, и первый том висит на мне, как тяжкая ноша, проклятый рюкзак.

Я хочу добавить: первый том — и уйма обязанностей, должностей, речей, которые надо составить и с которыми надо выступить, что действительно отвлекает его от писательской работы, но что, может быть, служит для него и предлогом не писать. Я гнался за ним по телефону и на колесах: товарищ Шульц на заседании. Товарищ директор на совещании руководителей, у профессора лекция. Вице-президент Союза писателей ГДР сопровождает советскую писательскую делегацию Никто не сказал: Макс Вальтер Шульц занят — он пишет. Я-то знаю, что он пишет. (Только не спрашивайте его когда!) И двести страниц — это точно! — у него уже написаны.

Поскольку этот очерк при всех высказанных ранее оговорках все же должен быть литературным портретом, а не общественным судом над писателем Максом Вальтером Шульцем, который задолжал нам второй том[1],— благосклонный, но равно нетерпеливый читатель ожидает, возможно, и каких-то биографических штрихов. На этот случай я могу с чистой совестью рекомендовать Литературную энциклопедию.

Попытаемся лучше вместо этого с помощью личного свидетельства МВШ заглянуть в процесс его литературного становления. Его собственные воспоминания — по крайней мере часть ответа на вопрос, как он пришел в литературу. Вот он, этот текст самого Шульца:

«Сначала через напевность родной речи. Сначала через баюшки-баю, спи, детка, спи, скок-поскок, наездник. Убаюкиваемый на руках матери, скачущий на ее коленях ребенок еще прежде, чем он научится бегать, приобщается к **литературе** — и не на самых отдаленных ее задворках. Мне кажется, счастлив тот, кто в этой школе колыбельных песен и игровых присказок проникся непосредственностью родного языка. Эта школа в еще несознательном возрасте развивает в человеке образное мышление, развивает ритмическое и мелодическое восприятие, и она почти незаменима в том смысле, что в процессе нашего духовного развития литература, искусство и жизнь должны как можно раньше объединиться в одно реально осознанное целое».

Максу Вальтеру Шульцу члену СЕПГ, учителю, теоретику, деятелю культуры, много разъезжающему литературному полпреду и писателю было сорок, когда вышла его первая и до сих пор единственная книга. Ему перевалит за пятьдесят, когда здесь будет напечатан этот очерк; пятьдесят — это, по всей вероятности, **«середина жизни»**. Возможно, в какую-то минуту он спросит себя:

> **А ныне: где я найду**
> **В зимней юдоли цветы — о, где**
> **Свет, и тепло,**
> **И тени земли?**[2]

Может ли его утешить пример Фонтане, потратившего двенадцать лет на свой первый роман и достигшего зрелости к шестидесяти годам? Что мы знаем о себе и о других?

Перевод с немецкого ОЛЬГИ БОБРОВОЙ

[1] Вторая часть романа «Чудодей» вышла в ГДР после опубликования этого очерка, в 1973 году.

[1] Второй том романа под названием «Триптих с семью мостами» вышел в ГДР осенью 1974 года.

[2] Ф. Гёльдерлин. «Середина жизни». Перевод С. Аверинцева.

Критика

ВЛ. ВАВИЛОВ

НОВЫЕ ЦВЕТА ВРЕМЕНИ

Заметки об африканском романе 70-х годов

В небольшом литературно-критическом сборнике «Отражения», изданном в Лагосе в 1962 году, нигерийская поэтесса Мейбл Сегун опубликовала стихотворение с характерным для тех лет названием — «Конфликт». Конфликт — в том, что африканский интеллигент находится в разладе с самим собой, страдая от своеобразного раздвоения личности: наполовину он, впитавший культуру своего народа, принадлежит Африке, наполовину, приобщившийся к культуре Европы, говорящий и пишущий на чужом языке, принадлежит ее миру. «Я устала обретаться где-то посредине,— пишет поэтесса,— но куда мне идти?» Это написано отнюдь не в подражание Т. С. Элиоту, хотя начало стихотворения и общая интонация заставляют его вспомнить. Для творческой интеллигенции Африки этот вопрос и это умонастроение до совсем недавнего времени были весьма характерны. На каком языке создавать произведения — своем или чужом? Отвечает ли жанр романа своеобразию духовного склада африканца, пригоден ли роман для его самовыражения? Кто будет читать роман, для кого писать?— вот подтекст стихотворения М. Сегун.

Жизнь дала ответы на многие вопросы. Литература Африки развивается на языках и европейских, и африканских, на европейских значительно быстрее. Жанр романа явно соответствует духовным потребностям африканца — об этом свидетельствуют успехи молодых литератур. (Кстати, об «уникальности» творческого «я» африканца сейчас уже почти не говорят, предпочитают говорить о своеобразии культурных традиций, привносящих оригинальные черты в произведения африканских авторов.) Для кого писать, есть ли «свой» читатель — и этот вопрос в общем-то прояснился: книги африканских писателей стали лучше расходиться на континенте. Тем не менее взаимосвязь африканского писателя с читателем, его позиция по отношению к читателю образуют характерную черту развития молодых литератур, особенно заметную в романе, четко обозначившуюся на раннем этапе и не исчезнувшую полностью и сейчас.

Как можно заметить, в ряде произведений африканский писатель все же продолжает обращаться явно не к «своему», а к зарубежному, прежде всего европейскому, читателю, в глубине души опасаясь, что в странах Африки, на его родине, низкая грамотность, отсутствие навыков чтения и вкуса к художественной литературе у широких слоев населения обрекут его произведения на безвестность. Эти опасения нетрудно понять. Современная, перестраивающаяся Африка предпочитает книги общеобразовательные или дающие практические знания — да и наивно было бы ожидать, что люди, пробуждающиеся к деятельной, полной острейших проблем жизни, спешащие покончить с отсталостью, первым делом потянутся к ху-

дожественной литературе. В Нигерии, например, более 90 процентов всех покупаемых книг — это учебники, пособия и работы по экономике, истории, культуре.

Есть и другие причины, и сегодня еще побуждающие африканского литератора адресовать свое произведение европейцу,— прежде всего желание показать ему Африку настоящую, подлинную, не такую, какой она выглядит в экзотических романах, которых немало было создано в годы колониализма. Признанный глава африканских прозаиков Ч. Ачебе говорил, например, что первый роман он писал, побуждаемый желанием «опротестовать» «карикатурный», по его словам, образ африканца из романа англичанина Дж. Кери «Мистер Джонсон».

Писатель, задавшийся целью нарисовать достоверную картину Африки, обращается прежде всего к повседневному быту, пространно описывая обычаи, обряды, поверья, как бы говоря при этом: смотрите, вот вам настоящая Африка, вот вам африканец, он не похож на экзотического туземца «колониального» романа. Иногда писатель-«этнограф» получает поддержку критиков, оправдывающих и поощряющих собирание фактов и описательность. В Нигерии, например, некоторые критики рекомендовали учиться у Золя, считая, что его принцип «верности факту» насущно необходим при создании произведений об обществе, которое в колониальный период было столь тенденциозно и искаженно отображено в творчестве европейцев. Африканский писатель получал одобрение и поддержку и у европейских издателей, от которых лет десять—пятнадцать назад зависел полностью. Они тоже подталкивали его к собиранию фактов и описательности — ибо, говорили они, важно показать читателю-европейцу Африку, которую тот не знает,— и африканский писатель создавал нечто вроде пособия по этнографии, где информативная сторона брала верх над художественным обобщением.

Несмотря на пояснения и разъяснения, которых немало в таких произведениях, обращенных к европейской аудитории, направленность романа остается нередко неясной. Пример «чтения с пояснением» являет собой переведенный у нас роман нигерийского прозаика Онуоры Нзекву «Жезл офо» (1961) или произведения его менее известных соотечественников: «Жена бога» (1966) и «Большие пруды» (1969) Элечи Амади и «Иду» (1970) Флоры Нвапы, «Возвращение» (1970) Олу Ибукуна и др.

В «Больших прудах», где речь идет о междоусобице, разгоревшейся между соседними деревнями, Амади подробно рассказывает о боевых доспехах, процедуре переговоров, сопутствующих им обрядах, заклинаниях, воссоздает эпизоды боевых схваток, в которых с натуралистической прямолинейностью описывает изрубленные тела,— но напрасно искать в этом романе хотя бы слабый отголосок недавних событий в Нигерии, протест против ужасов братоубийственной войны. Все описанное в книге представляет для писателя ценность само по себе, в ней, как и в других романах подобного рода, господствует стихия бытописательства, ворвавшаяся туда потому, что писатель широко распахнул двери перед «фактом».

Книги, подобные «Жезлу офо» или «Большим прудам», еще продолжают появляться, но их время прошло — или проходит. Европейского читателя, может быть, еще привлечет произведение, перегруженное, как судно, взявшее выгодный фрахт, этнографическими подробностями,— как, например, «Голоса немых» (1971), первый роман Доминика Мулайшо (Замбия), среди персонажей которого есть колдуны-прорицатели, оборотни и т. п.,— но современного африканского читателя начинает интересовать совсем иное. В произведениях своих писателей он хочет увидеть не патриархальный быт (тем более что хорошо его знает), не экзотику, но Африку современную, перестраивающуюся, он ищет ответа на многие волнующие его проблемы — а таковых в обществе, где яростно противоборствуют «старое» и «новое», великое множество.

■

Большинство африканских романов, написанных в минувшее десятилетие, затрагивает так или иначе тему столкновения «старого» и «нового». При этом одних писателей привлекает возможность порассказать о «старой», то есть о патриархальной, Африке — и в их книгах тема столкновения неизбежно оказывается на втором плане, если не исчезает совсем, как, например, в «Единственном сыне» (1966) нигерийского писателя Джона Мунони или в «Джингале» (1969) писателя из Малави Кайиры Легсона. Другие романисты стремятся создать образ человека, высвобождающегося из цепких объятий патриархальной общины и вступающего в широкий мир, где уже господствуют иные взгляды, где конкуренция рождает борьбу за выживание, и тогда этот «новый» человек, носитель «новой» морали, утверждает в своей практической деятельности трезвый практицизм, холодный расчет, неуступчивость во взаимоотношениях с окружающими, изворотливость и деловую хватку.

Пожалуй, ярче других эту тенденцию — становление буржуазных отношений и формирование буржуазной морали — отразил роман О. Нзекву «Пляска ящериц» (1965), героиня которого в практической повседневной деятельности и в своих рассуждениях выступает поборницей индивидуалистической морали и практицизма. Заметно, что автору романа его героиня нравится, что он видит в ней положительный социальный тип, и следует сказать,

что в условиях такой страны, как, например, Нигерия, то есть в специфических условиях перестраивающегося общества, это в самом деле воплощение действенного начала. По контрасту с полупатриархальными окраинами и районами, где сохранились до сих пор полуфеодальные отношения, во всем сковывающие поведение человека, героиня романа Нзекву — человек, утверждающий себя в таком мире, где его место зависит не от стародавнего обычая или воли старейшин, но от личных качеств: инициативы, дальновидности, ума, энергии.

Появление людей, подобных героине романа «Пляска ящериц», знаменует становление взгляда на жизнь, в основе которого лежит принцип «каждый за себя». Упрочение этой морали заставляет многих писателей Африки все пристальнее приглядываться к «новому», и неудивительно, что безоговорочное его принятие начинает во многих произведениях сменяться серьезными раздумьями о будущем Африки. В хаосе перестройки далеко не все, разумеется, видится отчетливо и контуры возводимого здания не всеми угадываются, тем более что сейчас закладывается фундамент,— но все острее и отчетливее интерес к постоянно возникающему вопросу: какие люди будут жить в этом здании.

Африка переживает, если к ней приложимы слова Б. Пастернака, эпоху «великого перемещенья сроков», бурную общественную перестройку, проходя и повторяя в отдельных чертах то, что другие, развитые страны прошли много лет назад. Когда разламывается старое, перед интеллигенцией любой страны сам собой является вопрос: что впереди, что идет на смену? Историки и экономисты сказали бы: каков путь развития? Ответ на этот вопрос ищут и историки, и экономисты, и писатели.

Африка пробудилась к активной жизни в такую пору, когда два пути — путь капиталистического и путь социалистического развития в своем противоборстве определяют характер современной эпохи, и государствам этого континента, полупатриархального, отсталого, поворачивающегося к новому тяжело и медленно, предстоит решать, на какой путь вступать. Многим африканским писателям (да и не только писателям) казалось и еще продолжает казаться, что коль скоро видны оба пути, то Африка сможет выбирать, более того, она, может статься, пойдет своим, «третьим» путем. Подобные умонастроения определенной части африканской интеллигенции выразил лет пятнадцать назад поэт из Ганы М. Дей-Ананг в стихотворении об Африке, «поднявшей парус» и плывущей к неведомым берегам. От «хижин невзрачных» корабль-Африка отдаляется — к какому берегу он пристанет, поэт не знает, но предостерегает против «дымных трущоб» и «хитрых законов Адама Смита».

Африканская литература последних лет, и роман в первую очередь,— это непрекращающийся разговор о «своем» пути, точнее, спор, притом весьма темпераментный. В нем сталкиваются и наивные упования на то, что у Африки действительно есть особый, «третий» путь, и все более и более глубокое осознание факта, что «свой» путь — это либо красивая мечта, либо заблуждение.

Образ корабля-Африки, идущего одному ему предназначенным курсом, возник, думается, не без влияния идей «африканского социализма» — такого течения общественной мысли, которое во всех его разновидностях предполагает особый путь развития Африки. Идеология «африканского социализма» отражает устремление к справедливому, то есть некапиталистическому, строю, к успешному экономическому развитию, и мало кто из африканских политических лидеров не говорит о социализме. Однако своеобразие общественно-экономической жизни отсталого континента, аграрная структура его экономики, господство крестьянской общинной идеологии и психологии приводят к тому, что в концепциях «африканского социализма» отсутствуют, как якобы не характерные для Африки, понятия классовой борьбы и диктатуры пролетариата.

Идеи «африканского социализма» широко циркулируют в кругах творческой интеллигенции, они определили в последние годы характер и направленность африканской прозы.

Одним из первых в африканской литературе заговорил о патриархальной общине нигерийский писатель Оби Игбуна. Еще в 1965 году он решительно заявил, что «промышленный мир» зашел в тупик и что «белый человек сам себе помочь не может»— ему надо помочь, указать путь, выход. Сделать это может только патриархальная Африка, сохранившая запас жизненных сил и высокие нравственные принципы, потому что люди там живут по законам, подсказанным природой, без борьбы и в добром согласии друг с другом. Эта же мысль легла в основу романа Игбуны «Дело о женитьбе», изданного годом раньше.

Произведение Игбуны построено по модели сентиментального романа, которая сложилась в литературе Европы в XVIII веке, и это типологическое сходство рождено однотипностью мировосприятия Игбуны и сентименталистов. В романах таких писателей, как, например, Ж.-Ж. Руссо, сентиментальный пафос — это особое нравственно-эмоциональное состояние — возникает от умиления своим героем, противопоставленным, как правило, представителю другого социального слоя. У Игбуны, однако, контраст доведен до «межконтинентальных» масштабов: противопоставляются не только героиня романа, бедная девушка Элина и местные богачи, люди «с положением», противопоставляется вся патриархальная Африка всему «промышленному» миру, и сентиментальный пафос рождается именно оттого, что писатель видит Африку, долго томившуюся в цепях колониализма, отсталую, высокомерно третируемую, исполненной такого морального здоровья, что она может даже вывести из тупика гибнущее

человечество. Книга Игбуны переведена на русский язык, и мы рекомендуем познакомиться с этим редким в литературе наших дней явлением — сентиментальным романом, появление которого свидетельствует о своеобразии развития африканских литератур, в которых тоже происходит «великое перемещенье сроков».

Игбуна ратует за сохранение первозданной Африки, живущей в убогой простоте, но сохранившей великие идеи добра и нравственную чистоту. Роман Игбуны, как и другие, подобные ему, не следует понимать дословно: это не трактат на общественно-экономические темы и не иллюстрация взглядов того или иного идеолога. Игбуна не столько верит в возможность спасения заблудшего человечества путем возвращения его «назад к природе», сколько протестует против несправедливости формирующегося в ряде стран Африки буржуазного общества. Но вот то, что его протест принимает форму противопоставления идеализированной патриархальной общины «промышленному миру»,— это, несомненно, прямо связано с идеями «африканского социализма».

Вслед за Игбуной в защиту патриархальной крестьянской общины выступили и другие писатели. Появились произведения, разные по своим достоинствам, которые содержат похожие утопические модели социального устройства, общественной структуры, не знающей антагонизмов, живущей по законам братства, равенства, взаимопомощи. В 1969 году Рене Меду Мвомо (Камерун) издал повесть «Африка ба'а» — повесть, в некотором роде примечательную. Ее герой, африканский интеллигент по имени Камбара, возвращается из города в родную деревню, переживающую трудные годы. Засучив рукава, он с головой уходит в работу по переустройству, и через год трудами жителей деревни, заразившихся энтузиазмом Камбары, деревня преображается. Камбара, выводящий односельчан к новой, счастливой жизни, подчеркивает не раз и не два, что его не интересует, чей опыт он использует, каких стран — социалистических или западных. Успех его деятельности, как он считает, доказывает «возможность преобразования деревень, районов, целых стран без размахивания флагами борющихся в мире идеологий». Эта нарочитая отстраненность от противоборства идеологий — не что иное, как форма утверждения «своего» пути. Недаром повесть названа «Африка ба'а» — на одном из местных языков это означает: «Африка исконная, подлинная».

Преображение деревни происходит в повести Мвомо почти по щучьему велению, легко и просто решаются все экономические вопросы. Но автор не говорит (да и конечно же не может сказать), как будет выглядеть перестройка уже не в масштабах одной деревни, но целой страны и что представляет собой государство, не «размахивающее флагом» идеологии. Он, видимо, как и Игбуна, имеет в виду некую аморфную структуру — «осовремененную» деревенскую общину и с неприязнью относится к городу (недаром город в повести носит название «Некровиль» — мертвый город)...

Еще одна утопическая модель новой Африки создана в повести Бедиако Азаре — писателя, родившегося в Гане, но живущего в Танзании. Его повесть «Непокорный» (1970) направлена против деспотии и произвола, против консерватизма и косности— но, как ни парадоксально, Азаре, может быть сам того не замечая, выступает в защиту стародавней патриархальной общины — правда, перестроенной на новый лад, заимствовавшей некоторые достижения современной научной мысли и некоторые социальные принципы. Так, общинники в его повести обрабатывают землю, которая принадлежит всем. Азаре, в отличие от камерунского писателя, явно не отгораживается от противоборствующих идеологий и даже приветствует уже осуществленную частью человечества идею коллективного владения землей. Но при всем этом и его модель утопична: это «чисто» крестьянское общество — недаром в повести Азаре коммуна свободных земледельцев совершенно изолирована от внешнего мира, она затерялась в дебрях Восточной Африки.

Иной раз модель социального строя встречается в произведении, где ее меньше всего ожидаешь,— скажем, в романе нигерийского писателя С. О. Мезу «За спиной восходящего солнца» (1971). Эта книга подводит нас вплотную к современной Нигерии, где недавно бушевала гражданская война, и яркая красная суперобложка романа как бы напоминает о зареве пожаров и кровопролитных боях. Роман Мезу — повествование о событиях, происходивших в Нигерии в 1967—1971 годах, об отколе Биафры (восходящее солнце — символ Биафры), о ее поражении. О крестьянской общине, о коммуне земледельцев, объединяющей несколько деревень, населенных беженцами, рассказывается только в завершающей главе книги. Крестьяне получают от коммуны кредиты и отрабатывают их; деревни обмениваются рабочей силой, опытом, прогнозами погоды и т. п. Все в общине делается так, как «делалось при пращурах в далекие дни». Жизнь крестьянина и та принадлежит всей общине. «Никто, стало быть, не имел права господствовать над другими, равно как не мог отказаться от своих обязанностей или передоверить их другому». «За спиной восходящего солнца» — роман не об общине, глава о ней выглядит совершенно инородной тканью в повествовании, почти документально точном, по-репортерски суховатом,— и тем нагляднее размах идей преобразования общества на базе крестьянской бесклассовой коммуны...

Роман Мезу — вторая попытка отображения в художественной литературе Африки гражданской войны в Нигерии: в 1971

году Али Мазруи, кенийский журналист, опубликовал повесть «Суд над Кристофером Окигбо». (Окигбо — известный нигерийский поэт, погибший во время боевых действий.) И повесть, и роман нельзя назвать удачными. Очевидно, сказывается то, что оба автора идут по горячим следам, не дав событиям, о которых они пишут, развернуться в стройную картину с главным и вторым планом, с обобщенными образами. Наверно, прав был ганский писатель Кофи Авунор, автор романа «Эта земля, брат мой» (1970), сказавший в одном из своих интервью в 1971 году, что и у самого Ачебе (то есть наиболее крупного писателя Западной Африки) сейчас не получится хорошего произведения о недавних событиях. Действительно, большое видится на расстоянии...

Мезу начинает свой роман с повествования о жизни высокопоставленных представителей Биафры за границей, поистине «сладкой жизни», главным образом во Франции, где они по поручению своего правительства закупают вооружение и продовольствие для отколовшегося района. В их руках огромные суммы — и немалая часть этих денег расходуется на их «личные нужды». Они разъезжают в шикарных автомобилях, живут в дорогих отелях, вообще проводят время в свое удовольствие, не забывая и о близких в Биафре. Самолеты, которые ночью, тайком проникают в Биафру с грузом оружия, везут и сотни килограммов... косметики, запасов продовольствия, по последней моде сшитые платья — для родственников «полномочных представителей». Тон этих глав насмешливо-язвительный, автор создает прекрасную сатиру и на тех, кто представляет Биафру, и на тех, кто воспользовался благоприятными обстоятельствами и беззастенчиво надувает этих самоуверенных, но мало что понимающих в делах людей.

От изображения жизни за границей Мезу переходит к показу осажденной Биафры, тон его повествования меняется, становится почти бесстрастным; повествование о бедствиях людей, бомбежках, голоде ведется в суховатой, почти документальной манере. Становится ясно, что дать оценки событиям автор не умеет или не хочет. Он только протоколирует, взяв на себя роль отрешенного от мира летописца. Можно, правда, иной раз почувствовать его симпатию к людям, пострадавшим от войны, можно понять и их реакцию — ввергнутые в катастрофу сотни тысяч человек вряд ли отдавали себе отчет в причинах происходящего, и неудивительно, что они видели в нигерийских войсках врага. Но Мезу ни слова не говорит ни о том из-за чего идет война, ни о тех, кто стоял за кулисами и руководил событиями,— он повествует бесстрастно и неожиданно завершает роман картиной благоденствующей крестьянской коммуны. Назвать случайным подобное завершение романа нельзя. Картина счастливой жизни деревни контрастирует с ужасами войны, с растущими противоречиями различных социальных групп, которые в конечном счете и привели к гражданской войне в Нигерии. И в этой идиллической картине жизни земледельцев, так сказать, в ее подтексте — настроение глубокого разочарования неблагоприятным положением в стране, более резко проявляющимися социальными контрастами.

■

Настроения разочарования проявились в африканском романе давно, в первые годы независимости. Очень заметным — а для многих писателей, видимо, и неожиданным — было возникновение верхушечного слоя общества, «элиты», обособившейся, рвущейся к власти, неразборчивой в средствах. Разочарование, отражавшее умонастроение части нигерийской интеллигенции в первые годы после провозглашения независимости, заметно в романах Ачебе «Беспокойная жизнь» (1960) и «Стрела бога» (1964), смутно, но присутствует оно и в романе писателя и поэта из Гамбии Ленри Питерса «Второй друг» (1965), в целом ряде других пьес, рассказов, стихотворений.

Так, в одном из немногих романов, созданных в Гане, молодой писатель Квей Арма («Прекрасные еще не родились», 1968) осуждает коррупцию управленческого аппарата в период до 1965 года Его книга получилась мрачной, пессимистичной. Арма вводит в свое произведение явно экзистенциалистский образ «обнаженного человека», принимающего несправедливость как само собой разумеющееся и в отрешении от действительности увидевшего пути к независимости; «обнаженный» — абстракция человеческого естества в суровом и мрачном мире. Основные, часто повторяющиеся образы этого романа — грязь, нечистоты, плоть, торжествующая над духом,—превращаются в символы упадка и застоя в жизни его страны. Сквозь годы бессмысленного, жалкого прозябания влачится герой книги Квея Армы, которому писатель даже не дает имени, но называет просто: человек.

Разочарование ощутимо и в романе молодого и, несомненно, очень одаренного нигерийского писателя Коле Омотосо «Здание» (1971). В первой части повествование ведется от лица героя, рассказывающего о своей студенческой жизни в Лондоне, во второй, переносящей действие в Нигерию, повествователем становится его жена, молодая англичанка. Шутливо-беззаботный тон первой части уступает место невеселому рассказу о жизни в Нигерии, о консерватизме старшего поколения, о беспринципности и карьеризме некоторой части молодых интеллигентов, рвущихся к власти и почестям.

По прочтении этих романов (а также и ряда рассказов, здесь не упомянутых) складывается впечатление, что в развитии африканской прозы намечается новая тенденция, связанная со все более критическим подходом писателей к жизни, с углублением социального анализа. Героем произ-

ведений все чаще становится «маленький человек» — уже не как связующее звено в «описательных романах» и не как некая схематическая фигура, знак тех или иных общественно-политических тенденций,— но человек сам по себе, интересный писателю своим миром чувств и взглядов, своим отношением ко все усложняющейся жизни.

Переориентация литературы на новом уровне самосознания, склонность к интроспекции наиболее полно проявились в романе нигерийского писателя Джона Мунони «Торговец из Обанги» (1971). Мунони отобразил ту сторону общественной жизни Нигерии, которая неразрывно связана прежде всего со все более резко проявляющимся имущественным и социальным неравенством. В поле его зрения попал человек, для которого жизнь есть каждодневная борьба за существование. Мунони своим романом ввел в западноафриканскую литературу тему «бедных людей» — так, как мы ее знаем по классической русской литературе; его книга не претендует на то, чтобы встать в один ряд с произведениями прошлого. Но его заслуга перед литературой Африки велика и неоспорима. И она не ограничивается новаторством в области тематики, хотя само по себе «открытие» столь значительного социального пласта для молодых литератур чрезвычайно важно. Главная заслуга писателя в том, что, поставив в центр внимания человека, его духовный мир, он сделал дальнейший, и притом значительный, шаг на пути освоения жанра романа в молодых литературах. В этом он пошел дальше других нигерийских романистов, включая и «самого Чинуа Ачебе», в книгах которого, при всех их достоинствах, мир человеческих чувств не был в такой мере средоточием внимания писателя.

Герой романа Мунони — тихий и робкий человек, защищающий, однако, свое достоинство,— так, очевидно, надо рассматривать его непреклонное стремление дать детям образование, утвердить себя в них, быть счастливым если не самому, то в своем продолжении — детях. Безответность героя при ближайшем рассмотрении оказывается характерной чертой социальной психологии всего того слоя, к которому принадлежит торговец Джери, она обусловлена его беспомощностью и зависимостью от «сильных мира», то есть тех, кто побогаче. «Сильным мира» в романе отведено немного страниц, но Мунони тем не менее сумел нарисовать картину очень жизненную и яркую. Он показывает, как крепнут буржуазные отношения, как появляются в Нигерии «торговые дома», ведущие прибыльную торговлю с англичанами. Доход же самого Джери — несколько шиллингов в день, а ему надо и долги платить, и содержать семью. Но вот случается непредвиденное и непоправимое: человек, повстречавший Джери на дороге домой, обманом завладевает его велосипедом (взятым в аренду у местного хваткого ростовщика), на котором Джери возит пальмовое масло, и дневной выручкой. Расплатиться с хозяином бедный торговец не может. После всего пережитого рассудок Джери помутился, он впал в тихое помешательство и вскоре умер. «Судьба милостиво обошлась с торговцем из Обанги, лишив его жизни всего несколько месяцев спустя после того, как он потерял рассудок. Джери тихо скончался в своем доме, приклонив голову на руки Онуго своей сестры... Два дерева, растущие одно подле другого, осеняют его простую могилу на деревенском кладбище в Обанге, поблизости от того места, где на много лет раньше упокоилась его жена Марселина». Элегический тон концовки романа показывает, что писатель полон сострадания к своему герою и стремится пробудить это чувство у читателя. Мунони, как можно заметить, свойственна некая созерцательность, мягкая, расплывчатая сострадательность. Он не ищет ответа на вопрос о причинах социального неравенства, хотя и ставит его. Но и это на данном этапе развития литератур стран Африки значит очень многое.

Одновременно с кротким Джери в африканскую литературу пришли совсем другие герои — те же «маленькие люди», но настроенные бунтарски и не скрывающие своего недовольства. Среди почти трех десятков художественных произведений, изданных основанным несколько лет назад Восточноафриканским издательством (Найроби, Кения), обратили на себя внимание два романа молодого кенийца Чарльза Мангуа. В 1971 году он опубликовал небольшой роман «Сын женщины», принесший ему известность столь широкую, что издатели сочли возможным дать дополнительные тиражи в 1972 и 1973 годах — редчайший случай в африканском книгопечатании.

В романе «Сын женщины» его герой, молодой человек из беднейших пригородов Найроби, столицы Кении, повествует о своей полной событиями жизни. Язык повествования нарочито неприхотлив, немалое место занимают натуралистически-грубоватые сцены. Эпизоды из жизни героя, рано осиротевшего ребенка, затем подростка, предоставленного самому себе легкомысленного студента и наконец весьма безответственного служащего, попадающего в тюрьму, образуют занимательную фабулу. Хотя писатель порою уделяет слишком большое внимание эпизодам скорее развлекательным, чем содержательным, в частности, сексуальным сценам, в судьбе героя отразилась одна из очень характерных сторон жизни молодежи Кении.

Во втором романе, название которого по смыслу можно перевести как «В поисках самого себя» (1972)[1], Мангуа представляет читателю в общем-то уже знакомого (и явно полюбившегося самому автору) героя — молодого «сердитого человека», на

[1] В оригинале — «Хвост во рту».

каждом шагу чертыхающегося, сплевывающего под ноги прохожим и не упускающего случая — если деньги позволяют — выпить полдюжины кружек пива. Сохраняются и удающиеся автору приемы повествования, например, перерыв в рассказе, когда действие достигает кульминации, и возвращение в прошлое, а затем продолжение рассказа — в более спокойном тоне, но не менее острое. Умелое ведение повествования и едко-ироническая интонация — основная для этого романа — делают произведение на редкость увлекательным. Мангуа поднимает в этом романе значительные проблемы — среди которых важнейшей является отношение африканской молодежи к тому, какими путями идет развитие общества, ее раздумья над происходящим, нередко рождающие чувство острого и горького разочарования от сознания того, что растет имущественное и социальное неравенство, крепнет индивидуалистическая мораль.

Герою романа суждено пройти через многие испытания, через горькие разочарования, которые заставляют его задаться вопросом: «Что есть жизнь и что есть счастье?» Ответа на свои вопросы он не может найти и приходит к горькому выводу, что он и подобные ему, сами того не сознавая, всю жизнь гоняются за собственным хвостом, а когда наконец им удается его схватить, то тут-то и становится ясно, что все их существование было бессмысленным кружением на месте, бесплодной тратой сил. Отсюда и несколько странное название книги.

Разочарование молодого героя, который боролся против колонизаторов и их прислужников и участвовал в движении «мау-мау», а по возвращении к мирной жизни оказался у разбитого корыта и вынужден подчиняться тем, кто в годы борьбы прислуживал колонизаторам, настолько сильно, что временами, видя преуспевающих дельцов, он испытывает необоримое желание, чтобы огромной силы буря «сбросила бы в Индийский океан и дома, и автомобили, и все эти новые компании, и мэра города, и других». Правда, как и первая книга, роман кончается счастливо — герою, «севшему на мель», неожиданно и почти случайно оказывают помощь старые друзья,— но это не меняет общего настроения романа. «В поисках самого себя» — книга зрелая по настроению и оценкам и, несомненно, заметное явление в африканской литературе.

Вообще 1971 год можно считать удачным и многообещающим для африканской прозы: появилось сразу несколько произведений, знаменующих новый этап развития литературы. Для Восточной Африки он особо примечателен: долгое время она заметно отставала от литератур Западной Африки — и вот сразу несколько удач: помимо романов Мангуа появились и другие, и среди них — весьма примечательная повесть писателя из Уганды Бонни Лубеги, названная «Отверженные». Это произведение о «маленьком человеке», о деревенском пастухе, живущем со своей семьей на окраине богатой деревни. Для поселян пастух — существо, вызывающее презрение или, в лучшем случае, брезгливое снисхождение. «Он нанимался на работу то к одному хозяину, то к другому; он исходил всю страну, переходя от деревни к деревне, он кочевал по всей саванне, пася чужой скот, и заботился о нем так, словно животные были его родными братьями,— но за всю свою жизнь он так и не встретил хорошего хозяина». В изображении судьбы своего героя Лубега более решителен и бескомпромиссен, чем Мунони. Он не только стремится пробудить сострадание к «маленькому человеку», но и склонен признать в нем бунтарские черты, способность к активной защите. Правда, форма его защиты своеобразна: пастух утаивает часть новорожденных телят, переправляет их в далекие кочевья и собирает собственное стадо, что дает ему возможность стать независимым. И когда такой день наступает, его протест против каждодневного унижения вырывается наружу и он открыто, яростно и подчеркнуто издевательски говорит «своим черным господам», что он о них думает,— а затем навсегда уходит из деревни.

Впервые в африканской литературе в словах о «черных господах» так открыто и недвусмысленно раскрывается социальная направленность произведения. Литература Африки еще не исчерпала темы, связанной с «белыми господами», да и сама жизнь еще не сняла этой проблемы с повестки дня: достаточно упомянуть, например, ЮАР,— но наряду с этой острейшей проблематикой в литературу входит и другая, не менее важная проблема социального неравенства в государствах, становящихся на путь капиталистического развития. И эта проблематика начинает привлекать писателей разных и непохожих друг на друга. Упомянем, например, роман известного у нас южноафриканского прозаика Эзекайла Мпахлеле «Скитальцы» (1972), повествующий о судьбах эмигрантов из ЮАР, в котором автор, рассказывая о жизни в вымышленном западноафриканском государстве Ибойору (явно Нигерия), с разочарованием и горечью говорит о появлении новых хозяев, свысока взирающих на тех, кто не богат и не знатен...

Обращаясь к теме социального неравенства, африканские писатели создают нового героя, отстаивающего свои права или терпеливо сносящего все невзгоды. Появился герой-страдалец, появился и бунтарь — у Лубеги, например, или в переведенном у нас романе Воле Шойинки «Интерпретаторы» [1]. Правда, его герои язвительно осуждают некоторые общественные пороки — но далее осмеяния не идут, оставаясь только «созерцателями происходящего», стоящими обособленно, вдали от широких слоев населения, по справедливо-

[1] Роман печатался в журнале «Иностранная литература» № 10, 1970.

му замечанию кенийского прозаика Джеймса Нгуги, автора переведенных на русский язык романов «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно».

В этой связи привлекают внимание слова Чинуа Ачебе, сказанные им в интервью в 1971 году в США в отношении героя его романа «Человек из народа» [1] — Одили Самалу. Как помнят читавшие роман, этот молодой человек вместе со своим другом Максом создал «партию простых людей», противостоящую на выборах реакционному политикану Нанге. Одили — новый для африканского романа герой: это человек, осмысливший свои личные обиды в социальном плане и попытавшийся перевести личную месть в русло социального протеста, причем он стремится опереться при этом на «простых людей». Образ, однако, получился противоречивым, и не случайно в интервью писателю был задан вопрос: не сатирический ли это образ, «уж не пародия ли он»? Нет, ответил Ачебе, «этот молодой человек мне нравится. Он по своей сути честный человек... Он сознавал свои недостатки. Он сознавал и то, что его помыслы не всегда были абсолютно безупречными. Но уже одно это привлекает к нему внимание». И, пожалуй, самое главное в ответе Ачебе — его слова о том, что, «вероятно, он (Одили) вернется — для того чтобы сделать свое дело лучше в следующий раз».

Имел ли в виду писатель, что герой его нового романа будет более зрелым духовно и идейно, более тесно связан с «партией простых людей», куда он, помнится, намеревался принимать «рабочих, кузнецов, плотников»,— сказать трудно. Африканская литература ищет нового героя. И чувствуется, что он будет похож на Одили, а не на Джери. Но каким будет этот новый Одили — можно только догадываться...

[1] Роман печатался в журнале «Иностранная литература» №№ 3—4, 1967.

◆

Критика

И. ГОЛИК

БУРЖУАЗНАЯ КРИТИКА: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРА

Встреча с книгой писателя другой страны — это знакомство и с ее творцом, и с неведомым еще миром художественных образов, и с другим народом. А встреча с книгой советского автора предвещает нечто большее. Ведь наша литература, говорящая на языке социализма, воспринимается как вестница новой правды, мира и дружбы. И эта ее высокая миссия давно уже стала фактом общепризнанным. «Если литература одной страны,— подчеркивал в приветственном слове на V съезде советских писателей Герман Кант,— может сказать о себе, что она помогла гражданам другой страны, других стран вообще, обрести революционное понимание жизни, стала органической частью сознания других народов, это означает, что она блестяще выдержала испытание на интернационализм и сослужила огромную службу делу мира и взаимопонимания».

Несколько лет назад посетители осенней Лейпцигской книжной ярмарки увидели среди множества замечательных изданий сигнальный экземпляр великолепно оформленной книги «Советское государство и его люди». Она привлекала внимание книголюбов из разных стран. Эта своеобразная антология советской литературы вышла в штутгартском издательстве «Бельзер». Невольно возникало сравнение нового издания с другой книгой — «Русской антологией», увидевшей свет в Германии в 1921 году. В предисловии, написанном Томасом Манном, она называлась шкатулкой с драгоценностями. Действительно, в ней были собраны лучшие имена русской литературы — Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов.

В новой антологии опубликованы произведения М. Горького, В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, а также М. Шолохова, Ч. Айтматова, Р. Рождественского и других современных прозаиков и поэтов. Она содержит краткие биографические справки о писателях. Примечательно предпосланное книге обращение к читателю, которое начинается с вопроса: «Что мы знаем о Советском государстве и его людях? Мы должны признаться, что, к сожалению, очень мало. Наши знания оказались замороженными. Наша страна и ее жители отгородились политическим барьером и предрассудками... Октябрьская революция полностью преобразила старую Россию. И отсталая аграрная страна превратилась в великую аграрно-индустриальную державу СССР, успехи которой нашли признание во всем мире».

Советская литература вызывала большой интерес в Германии с первых дней своего существования. Она пришла сюда вслед за нашей классикой, которая давно уже снискала себе в этой стране любовь. Ведь еще в XVIII веке выдающийся памятник свободолюбивой мысли — «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева появился на немецком языке сразу же после издания его в России. То, что в тогдашней Германии увидело свет произведение писателя-революционера, названного напуганной Екатериной II бунтовщиком, который «книгою или иначе хочет исторгнуть скипетр из рук царей»,— не только счастливая случайность.

Лучшие произведения русской литерату-

ры находили путь к немецкому читателю благодаря усилиям прогрессивных писателей и мыслителей Германии. Адельберта Шамиссо взволновало мужество и судьба русских декабристов. Он переводит «Войнаровского» Рылеева и создает поэму, посвященную Бестужеву. Так и соединились эти два произведения в литературном наследии немецкого классика как части дилогии «Изгнанники».

Несколько лет отдала изучению русской литературы Роза Люксембург. В тюрьме она переводит «Историю моего современника» Короленко и предпосылает этой книге статью о путях развития литературы, которая «никогда не отрекалась от социальной ответственности».

В истории германо-русских культурных связей заметный след оставил другой деятель международного рабочего движения — Юлиан Мархлевский. В начале нынешнего столетия он руководил мюнхенским издательством «Славянская и северная литература» и плодотворно сотрудничал с петербургским издательством «Знание», во главе которого стоял М. Горький. Заслуга Ю. Мархлевского, человека глубокой культуры и тонкого художественного вкуса, состоит в том, что многие произведения русских писателей, в том числе и М. Горького, стали достоянием немецкого читателя.

Заметное влияние на развитие прогрессивной литературы Германии оказала молодая советская литература. Интересен, например, отзыв журнала «Ди нойе бюхершау» (1926) о поэте революции Маяковском, тогда уже популярном в кругах передовой немецкой интеллигенции: «Владимир Маяковский, которого иные эстеты вовсе не хотят считать лириком, так как в их представлении понятие лирики еще связано с образом лунной ночи,— знает и уже выполняет программу поэзии будущего. Иоганнес Бехер, близкий Маяковскому по духу и стилю, перевел на немецкий язык его эпос «150 000 000». Ритм речи Ленина, отзвук боевой поступи масс... переданы с такой сдержанной и поэтической силой, что она вырывается за пределы печатных строк».

Кроме периодических изданий, которые публиковали на своих страницах произведения наших писателей, в годы Веймарской республики многое сделали для популяризации молодой советской прозы и поэзии издательства «Малик» и «Литератур унд кунст». В них увидели свет «Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Петр Первый» и «Сестры» А. Толстого, «Города и годы» К. Федина, «Соть» и «Барсуки» Л. Леонова. Позже к произведениям русских писателей прибавилась проза и поэзия Украины и Белоруссии — советская литература стала осознаваться как многонациональная. На немецком языке зазвучали стихотворения П. Тычины и М. Рыльского, Я. Купалы и Я. Коласа. Событием в культурной жизни Веймарской республики было появление на немецком экране фильма С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

Не только рожденная революцией проблематика советской литературы и искусства, но и их высокий художественный уровень, эстетическое богатство красноречиво свидетельствовали о крупных достижениях мастеров социалистической культуры. Это дало право Францу Вайскопфу в короткой, но очень емкой характеристике первого романа Шолохова сделать такой вывод: «Тихий Дон» Шолохова кажется мне исполнением того обещания, которое молодая советская литература дала начавшему внимать ей Западу «Разгромом» Фадеева, «Брусками» Панферова, рассказами и повестями Бабеля и Вс. Иванова; набирает разбег новая литература, сильная своей самобытностью, широкая и необъятная, как русская степь, молодая и неукротимая, как новое поколение там, в Советском Союзе. То, что в известных уже произведениях молодых русских прозаиков часто еще только намечалось, было еще в зародыше — новый угол зрения, обращение к проблеме с совершенно неожиданной стороны, сила художественного отображения,— все это в романе Шолохова получило полное развитие. Величием замысла, проникновенностью воплощения, многогранностью жизни этот роман напоминает «Войну и мир» Льва Толстого».

Несмотря на противодействие сил реакции, за годы существования Веймарской республики на немецком языке было издано около трехсот произведений советской литературы. Более ста прозаиков, поэтов и драматургов страны Великого Октября получили возможность общаться с читательской аудиторией, говорящей на одном из самых распространенных европейских языков. Художественная волна, пришедшая из Советской России, энергично воздействовала на самосознание трудящихся Германии, на развитие ее искусства. Захватившие в 1933 году власть фашисты понимали опасность революционного влияния советской литературы и прибегли к самому варварскому методу борьбы с ней — книги советских авторов, прогрессивных писателей мира вместе с трудами классиков марксизма-ленинизма запылали на кострах.

Но даже в мрачные годы гитлеровского господства в Германии связь немецкой и советской литератур не была прервана полностью. Эту связь поддерживали антифашисты, многие выдающиеся мастера немецкой культуры, нашедшие убежище в Советском Союзе. Эрих Вайнерт переводил новые стихи советских поэтов, Альфред Курелла — произведения русских революционных демократов: Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Жадно впитывал опыт советской литературы Иоганнес Бехер, чье творчество в те годы достигло расцвета.

После разгрома фашизма во второй мировой войне судьба советской литературы по-

---

И. ГОЛИК
БУРЖУАЗНАЯ КРИТИКА: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРА

разному сложилась в двух частях Германии. В Германской Демократической Республике она получила широкий доступ к массовому читателю, сыграла и продолжает играть большую роль в становлении и развитии новой, социалистической культуры. В Западной Германии лишь отдельные книги советских авторов с трудом находили путь к читателю, буржуазная пресса давала искаженную информацию о развитии советского искусства. Но и в такой атмосфере друзьям Советского Союза удавалось знакомить трудящихся ФРГ с лучшими произведениями советской литературы.

И тут прежде всего — заслуга партии коммунистов. В ее периодических изданиях были опубликованы в отрывках признанные уже классическими произведения советских мастеров слова. Наиболее заметные новинки нашей поэзии и прозы находили отклик на страницах коммунистической прессы.

В Федеративной Республике Германии не часто встретишь правдивую информацию о культурной жизни в Советском Союзе. Поэтому особенно хочется отметить специальный номер выходящего в Мюнхене литературного и общественно-политического журнала «Кюрбискерн». Он был приурочен к празднованию 50-летия образования СССР. В номере опубликованы произведения одиннадцати советских поэтов, пяти прозаиков и ряда критиков. Среди них — А. Твардовский, Я. Смеляков, Л. Мартынов, Р. Гамзатов, Д. Кугультинов, К. Симонов, В. Кожевников, И. Авижюс, Т. Мотылева. Журнал рассказывал о советском кино (Г. Чухрай) и о проблемах образования (А. Маркушевич). Вместе с советскими авторами с интересными статьями выступили немецкие критики И. Хаммер, Э. Хёгеман-Ледвон и другие.

Редакционная статья, открывающая номер, обращает внимание читателей на неоправданные трудности в развитии культурного сотрудничества между Федеративной Республикой Германии и Советским Союзом: «В то время как в сферах экономики, политики и дипломатии утверждается реалистическая позиция, складываются новые формы сотрудничества с социалистическими странами Европы, еще не сделано пока ни малейшей попытки наладить толковую информацию об этих странах... Пожалуй, нет ни одной области, которая со стороны буржуазных средств массового воздействия подверглась бы таким изощренным искажениям и фальсификации, как советская культура. Очень искусно эти приемы используются по отношению к литературе».

Среди исследований, которые рисуют объективную картину развития социалистической культуры, выделяется книга Рихарда Хипе «Искусство нового класса». Специалист по марксистской эстетике, автор уже получившей признание работы о немецком искусстве Сопротивления, Р. Хипе задался целью рассказать о художественном творчестве народов Советского Союза, Кубы, ГДР, Вьетнама и других стран. Не все положения автора бесспорны, но важно его стремление дать широкую панораму успехов социалистического искусства, его международного значения.

Все же «толковой информации» о советской литературе и искусстве в ФРГ еще мало. Советская литература чувствует себя в Западной Германии гостьей не очень желанной, хотя степень этой нежелательности была в разное время разной. В первое десятилетие существования ФРГ многие произведения советских писателей даже подвергались государственному запрету. Созданное сторонниками расширения культурных контактов с СССР Общество по изучению советской культуры было тогда ликвидировано.

В конце 50-х годов на Рейне наступил период замораживания духовной жизни и нетерпимости ко всему прогрессивному, период, который можно в чем-то сравнить с далекими кайзеровскими временами, когда свирепствовала цензура и преследовались инакомыслящие. Георг Брандес, выдающийся критик и историк литературы, оставил довольно красноречивое суждение о литературной политике в Германии конца прошлого века. После путешествия по стране, охваченной милитаристским угаром, он писал своему немецкому другу: «Вся жизнь и все учреждения дошли у вас до отвратительного единообразия, и литература задавлена издательством».

Для характеристики атмосферы 50-х годов, когда литература тоже была «задавлена издательством», достаточно вспомнить предписание министерства внутренних дел Баварии, адресованное книготорговцам. Оно гласило: «Проверка, произведенная совместно с компетентными инстанциями, показала, что следует рассматривать как противоречащие закону закупленные вами в советской зоне книги: «Поднятая целина» Шолохова, «Девятый вал» Эренбурга, «Коммунисты» Арагона, «Небесная команда» Вайскопфа, «Ложь» Отто, «Товарищи» Вайнерта, «Тинко» Штриттматтера. Есть также решение ведомственного суда в Ландсхуте от 10/I 1958 г. о конфискации книги «СС в действии», ввезенной из советской зоны оккупации... Настоящим мы категорически обращаем ваше внимание на то, что распространение названных книг, а также хранение их запасов и закупка для продажи — уголовно наказуемы».

Документ этот мало чем отличался от тех «Приложений» к закону «Об охране немецкой расы», который предшествовал сжиганию книг фашистами в 1933 году на площадях немецких городов. Кроме изданий, названных в предписании книготорговцам, запретными в 50-е годы были также «Далеко от Москвы» Ажаева, «Партизаны» Игнатова, «Грач — птица весенняя» Мстиславского и другие произведения. Недаром же Гейнц Брюлигам, западногерманский публицист прогрессивных взглядов, протестуя против такого отношения в ФРГ к литературе социалистических стран, назвал свою

статью «Литература в смирительной рубашке».

Только из плана 1957 года гамбургского издательства «Когге» по требованию судебных властей Федеративной Республики Германии было выброшено 28 названий произведений советских и зарубежных писателей, в том числе роман Фадеева «Разгром».

Издательскую политику ФРГ в значительной мере определяют буржуазные «советологи». Они не только рекомендуют, что надо издавать, но и переводят книги советских авторов, пишут к ним предисловия и послесловия, пишут аннотации и рецензии. Чаще всего их внимание привлекают книги, которые в советской печати получили отзывы, содержавшие разного рода критические замечания. Именно этот факт обычно определяет интерес «советологов» к новому произведению.

Духовными отцами нынешних «советологов» являются буржуазные критики советской литературы, которые дали о себе знать сразу же после Октября 1917 года. Их непосредственные предшественники — так называемые эксперты по делам Востока, верой и правдой служившие политике Гитлера, осуществлению его разбойничьей доктрины «Дранг нах остен». Многие из них с не меньшим рвением продолжают свое черное дело сейчас, в новых условиях. Подвизаются на этом поприще и белоэмигранты, и перебежчики из социалистических стран.

Среди печатных органов, пользующихся кривой оптикой при рассмотрении духовной жизни советского народа, пальма первенства несомненно принадлежит журналу «Остойропа». На его страницах систематически появляются статьи и обзоры советской литературы. Автором их является критик из белоэмигрантских кругов Наталья Тарасова, выступающая под псевдонимом Барбара Боде. Много места измышлениям «советологов» уделяют издания мюнхенского института по исследованию СССР: «Бюллетин», «Зовьетштудиен» и выходящий на русском языке «Вестник», а также журнал «Ойропа-архив», «Остпроблеме» и другие.

В 70-е годы обстановка для советской литературы в ФРГ стала более благоприятной, но в буржуазных издательствах спекулятивный подход к изданию советских книг остался все-таки доминирующим. Чем иначе можно объяснить тот факт, что в рекламный текст на суперобложке «Собора» О. Гончара, вышедшего в 1970 году в гамбургском издательстве «Гофман унд Кампе», была вмонтирована фраза о запрещении романа в Советском Союзе?

Зачем понадобилось наклеивать ярлык «недозволенный» на роман, который, как известно, был опубликован в литературном журнале «Витчизна», а затем в том же, 1968 году дважды вышел отдельной книгой — в «Радяньском письменнике» и в «Днипро»? Причем последнее издательство выпустило произведение тиражом в 100 тысяч экземпляров. В нашей стране литературная критика отметила достоинства и недостатки «Собора», его сложность и неоднородность. А. Л. Новиченко и С. Шаховский назвали его романом итогом и романом-разведчиком. «Собор» остропроблемен и полемичен,— писали они,— художественно-пластическое изображение жизни в нем часто соседствует с темпераментной, образной публицистикой, блещущей то лирическими, то сатирическими красками».

«Советологи» из мюнхенского «Свободного украинского университета», на компетентность которых положились издатели «Собора», поставили «Гофман унд Кампе» в весьма незавидное положение. А может быть, издатели решили придать произведению сенсационную окраску, чтобы получить побольше выручки от тиража?

Погоня за сенсацией нередко отодвигает на задний план заботу о литературной стороне дела, о качестве переводов. Издательство «Ланген-Мюллер» выпустило в 1972 году книгу А. Твардовского «Родина и чужбина», в которой объединило прозу и поэзию. В портрет автора, нарисованный в предисловии к однотомнику, искусно привнесена толика ретуши, и на облик поэта-коммуниста уже легла тень размолвки с советской действительностью. Многие стихотворения выдающегося мастера поэтического слова переведены небрежно, примитивно. Справедливо негодовал по этому поводу известный австрийский поэт и переводчик советской литературы Гуго Гупперт: «Ничего не осталось от Твардовского как великолепного последователя Некрасова, ничего не осталось от его всепроникающей естественности, ничего не осталось от его тонкой, умной, музыкальной поэзии».

Сложны и путаны пути буржуазной литературной политики. Погоня за барышами приводила порой западногерманских издателей к довольно курьезным ситуациям. Мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» еще до перевода их на немецкий язык были ложно истолкованы «советологами». Но после выхода в свет книга советского автора вызвала неожиданную реакцию: профашистские элементы увидели в ней нечто противоположное тому, о чем сообщила реклама, и ответили многочисленными террористическими актами против издательства «Киндлер» и книжных магазинов, где продавали эту книгу.

Само собой разумеется, что в тонком и сложном писательском деле, как и в любом творчестве, никто не застрахован от просчетов. Справедливые замечания нашей критики в адрес отдельных писателей — явление закономерное, и они отнюдь не сковывают их творчество. «Советологам», однако, в любом произведении советской литературы хочется услышать протестующие голоса, узреть призраки оппозиции. Но основную ставку они делают прежде всего на откровенно антисоветские, клеветнические опусы, подобные сочинительству Солженицына.

И. ГОЛИК

БУРЖУАЗНАЯ КРИТИКА: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРА

Один из распространенных приемов «советологов» — попытка оторгнуть советскую литературу от предшествующего художественного опыта, от мировой и русской классики, представить ее неким утилитарным явлением сегодняшнего дня. Этот тезис усердно отстаивает, например, Г. Зандер. В книге «Марксистская идеология и общая теория искусства» (1970), претендующей на теоретическое объяснение важнейших вопросов художественного творчества, он утверждает, что советская литература не связана ни с реализмом Бальзака, Диккенса, Толстого, ни с традицией Золя, Джека Лондона, Горького. У Зандера свои мерки: основоположника литературы социалистического реализма он ухитряется зачислить в натуралисты, хотя сам же признает, что творчество Горького способствовало утверждению нового художественного метода в советской литературе.

Александр Штайнингер, ученик небезызвестного белоэмигрантского теоретика и мистика Федора Супруна, о чем он не без гордости сообщает, под русской литературой понимает только литературу дореволюционную. «Советская литература,— пишет он,— это плод совсем другого рода. Она опирается на совершенно другие предпосылки и должна измеряться другими масштабами. Она не может служить также выражением художественного восприятия внутренних и внешних событий... Советскую литературу поэтому нельзя рассматривать как органическое продолжение русской литературы».

А. Штайнингер, известный своей ненавистью к социализму, к Советскому Союзу, тщится опровергнуть то, что не вызывает сомнения у миллионов читателей разных стран. Можно было бы привести немало высказываний крупных деятелей мировой культуры, которые подчеркивали преемственность русской классики и советской литературы. Генрих Манн, как известно, назвал русскую литературу от Пушкина до Горького революцией перед революцией В завоеваниях Великого Октября он видел воплощение тех идеалов, за которые боролись своим творчеством передовые писатели России. А Стефан Цвейг, характеризуя поступательное развитие литературы в нашей стране как процесс непрерывный, очень верно подчеркнул и то новое, что принесло с собой социалистическое искусство. Сопоставляя творчество Толстого, Достоевского и Тургенева с творчеством Горького, он писал: «У тех великих писателей русское бытие еще умещалось в духовной сфере, мучительное ощущение собственной «широкости», раздвоенности, трагическое сознание надвигающегося поворота мировой истории — все это были грозы растревоженной совести; у Горького же русский человек предстал не в духе, а во плоти, не безвестным, безымянным одиночкой, а человеческой массой, и она стала неоспоримой реальностью... И только читая Горького, будущий историк найдет неопровержимое доказательство тому, что восстание и восхождение России — дело рук самого народа».

Творчество родоначальника социалистического реализма М. Горького, начавшееся в конце прошлого века, резонно воспринимается как своеобразная огромная арка, соединяющая дореволюционную и советскую литературу. Вот так от Пушкина до Горького, Шолохова и Леонова нижутся звенья русской художественной мысли, обогащая наше представление новыми открытиями о жизни человека и общества.

Однако Штайнингер не в состоянии свести концы с концами. С одной стороны, он всячески стремится принизить художественные достоинства советской литературы, а с другой — словно забывая об этом, признает, что советская художественная проза и особенно поэзия оказывают большое воздействие на человеческие сердца Хотя это случается, по Штайнингеру, обычно тогда, когда советская литература якобы сбрасывает с себя «советские одежды».

А. Штайнингер, увязающий в эклектике и софистике, противоречащий самому себе,— типичнейшая фигура реакционного критика, один из тех исследователей, о ком В. И. Ленин говорил: «...*общественное* положение профессоров в буржуазном обществе таково, что пускают на эту должность только тех, кто продает науку на службу интересам капитала, только тех, кто соглашается против социалистов говорить самый невероятный вздор, бессовестнейшие нелепости и чепуху. Буржуазия все это простит профессорам, лишь бы они занимались «уничтожением» социализма» [1].

Желание оторвать советскую литературу и искусство от классического наследия проскальзывает во многих выступлениях буржуазных «советологов» разного ранга. Журнал «Остойропа», один из самых злобных по отношению к советской культуре печатных органов, опубликовал статью Пауля Рота под интригующим названием «Искусство иконы и социалистический реализм». Замысел этой статьи состоит в попытке доказать, что искусство мастеров Палеха в годы советской власти деградирует. Религиозная тематика исчезла, сетует автор, ее место заняло прославление труда, крестьянской жизни или же чисто политические мотивы.

Самобытное искусство Палеха, выросшее на народных традициях, в советское время обогатилось современной тематикой, расширило свой диапазон и достигло больших высот. Именно связь этого искусства с социалистической действительностью и вызывает раздражение Пауля Рота. Он не может с этим примириться и считает, что социалистический реализм якобы отгораживает советское искусство от классических традиций.

Бесплодны попытки «советологов» отлучить искусство социалистического реализма от прогрессивных традиций прошлого. Новая социалистическая литература — и так всегда было в истории искусств — опирается на опыт предшествующей ей литературы, на достижения передовой художествен-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 364.

ной мысли. В этом диалектика прогресса искусства. Вспомним борьбу Белинского, Чернышевского, Добролюбова за революционную реалистическую литературу, борьбу Лессинга за теорию реалистической драмы, за национальный театр. В этой борьбе они брали себе в союзники и современников, и Шекспира, и Аристотеля.

Но литература социалистического реализма не только плодотворно развивает лучшие традиции прошлого. Усвоившая все ценное из предшествующих ей эпох, она впитала в себя окрыляющие идеи самой передовой революционной мысли — марксистской философии.

Буржуазные «советологи» противоречат сами себе тогда, когда они, зачеркивая социалистический реализм как литературное направление, в то же время соглашаются с тем, что литература социалистического реализма стала явлением международным. Не отрицает этого А. Штайнингер, хотя литературы социалистических стран он считает лишенными национального своеобразия, называет их советской литературой на немецком, польском, венгерском и других языках.

Норберт Бауер в статье «В восточном блоке есть теперь и культурная интеграция» подчеркивает, что полувековой юбилей СССР, который совместно отмечали творческие союзы социалистических стран, способствовал укреплению сотрудничества этих стран в области культуры. Но он тут же начинает выискивать аргументы, чтобы представить общие усилия в мрачном свете. «Гастроли этого года показали,— пишет он,— что восприятие русской и советской драматургии, а также советского театрального искусства в ГДР—дело отнюдь не само собой разумеющееся и не без проблем, как это может показаться человеку со стороны». В подтверждение этого своего положения он называет отдельные спектакли, которые недолго продержались на немецкой сцене, и, основываясь на этом факте, скептически высказывается о будущем культурного сотрудничества ГДР с другими странами социализма.

Объектом постоянных нападок «советологов» был и остается образ советского человека в литературе. Этой проблеме посвящены специальные исследования и разделы почти во всех книгах, где разговор идет о советской литературе. Именно этот новый человек и в жизни и в литературе привлекал внимание немецких писателей, которые побывали в Стране Советов в первые годы после Октября. Эту тему развивают в своих очерках К. Цеткин, А. Голичер, Ф. Вайскопф, Э. Киш и многие другие авторы. А замечательный немецкий художник Генрих Фогелер, выпустивший со своими иллюстрациями книгу «Путешествие по России», подзаголовком к ней поставил слова «Рождение нового человека». Несколько позже Ромен Роллан писал в предисловии к французскому переводу романа Н. Островского «Как закалялась сталь»: «Величайшие произведения искусства, созданные революцией,— это люди, порожденные ею».

У «советологов» отправным пунктом в подходе к герою советской литературы остается тезис о неизменности человеческой натуры. Поэтому они утверждают, что за годы советской власти, при социалистическом строе человек отнюдь не изменился, остался тем же, каким был и до революции, что советские люди якобы равнодушны к коммунистической идеологии, к марксистско-ленинскому мировоззрению. «Советологи» подходят к оценке характера и поступков советского человека со старыми мерками. Они измеряют его масштабами мещанина, буржуазного филистера, не желая видеть новые черты, воспитанные в нем за годы строительства социалистического общества.

Буржуазные «советологи» подразделяют героев советской литературы на «ортодоксов» и «надломленных», причем первых они рисуют людьми, во всем следующими партийным директивам, а вторых — самостоятельно мыслящими и потому обычно оппозиционно настроенными.

В 1972 году издательство «Люхтерханд» выпустило повесть В. Быкова «Сотников» под названием «Петля». В печати появились отклики на нее. Книга оценивалась как значительное произведение о войне, ее сравнивали с прозой Хемингуэя. Однако герои повести трактовались нарочито абстрактно. Рецензент газеты «Вельт дес бухес» Шарлотта Шмиц, назвав Сотникова «моралистом с бессмысленной жертвенной смертью», а Рыбака — «пускающимся в бегство прагматиком», пришла к заключению, что оба они терпят фиаско и ничего не меняют в течении событий. Возражая Ш. Шмиц, автор повести называет поведение Сотникова не жертвенностью, а «борьбой на крайнем пределе сил», когда человек платит самой высокой ценой — своей жизнью. «Я не знаю, каковы критерии подвига у Ш. Шмиц,— писал В. Быков,— но для меня Сотников — герой. Да, он не разгромил врага, но он оставался человеком в самой бесчеловечной ситуации. Как подвиг выглядит его стойкость и в глазах тех нескольких десятков людей, которые явились свидетелями его последних минут и на чьих глазах искал свой путь к спасению жизни Рыбак».

С «особыми» критериями подходит к герою нашей литературы и Ксения Гасиоровска. В статье «Новая женщина в советской литературе» она тоже твердит, что «образ как литературной героини, так и окружающего ее мира остается сравнительно неизменным». Критик упрекает советских писателей в том, что они «не окунаются в подсознательное и не обнажают самых затаенных чувств своих героев».

Несмотря на то что ряды «советологов» не убывают и число выпускаемых ими сочинений увеличивается, в Западной Германии все чаще можно услышать трезвые голоса, требующие правдивой информации о

И. ГОЛИК
БУРЖУАЗНАЯ КРИТИКА: ПОЛИТИКА И ЛИТЕРАТУРА

Советском Союзе и усиления обмена в области культуры двух стран.

Еще в конце 50-х годов популярный писатель, автор хорошо известных у нас антифашистских романов «Голуби в траве», «Теплица», «Смерть в Риме», Вольфганг Кёппен заявил: «Нужно знать друг друга, нужно научиться знать друг друга. Культура не должна иметь границ. Нужно также больше переводить русские книги на немецкий язык и немецкие — на русский».

Прогрессивные мастера культуры Западной Германии в борьбе за расширение культурного сотрудничества с Советским Союзом все чаще выступают единым фронтом. Это нашло выражение в недавнем совместном заявлении 46 писателей ФРГ против антисоветизма, в статьях Макса фон дер Грюна, Фридриха Хитцера, Франца Ксавера Крёца, Франца-Йозефа Дегенхардта, Дитера Зюверкрюпа и других. Делают попытки объединить усилия прогрессивные издатели и книготорговцы, чтобы приблизить к широким кругам читателей демократическую, социалистическую литературу. Большой резонанс, например, получила проведенная ими в мае этого года «Неделя книги-74», завоевывает успех «Маленькая библиотека рабочего» — в этой серии вышел и томик советских рассказов 20-х годов.

Разрядка напряженности в Европе, улучшение отношений между ФРГ и СССР медленно, но все же дают о себе знать в области культурного обмена. Уже в этом году ряд издательств ФРГ высказал заинтересованность в публикации книг советских писателей.

Кажется, необходимость «научиться знать друг друга» начинают понимать и некоторые западногерманские буржуазные критики советской литературы. Примечательны в этом отношении последние выступления литературоведа и переводчика Александра Кемпфе. В статье, опубликованной по поводу выхода в свет в мюнхенском издательстве «Хербиг» антологии «Русская проза сегодня», он отмечает как отрадный факт появление книги, в которой представлены Ю. Нагибин, В. Белов, Ф. Искандер, А. Битов, Ю. Трифонов и другие известные прозаики.

Если мы хотим вести равноправный диалог, хотим жить в мире с Советским Союзом, обращается к своим соотечественникам Александр Кемпфе, мы должны знать советскую литературу, которая изображает народ и страну без ложного скепсиса и без прикрас. Превосходство советской литературы перед западной автор видит в ее жизненно важной проблематике. Появление этой антологии Кемпфе называет «поворотным пунктом в культурных отношениях наших двух стран».

Хотелось бы, чтобы за трезвыми голосами последовали новые практические шаги в литературной политике ФРГ.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

ГЛУБИНА ПОД ГЛАДЬЮ ПОТОКА

Давно подмечено, что литературоведческие — равно как, впрочем, и искусствоведческие, да и вообще любые научные проблемы — могут быть очень живучи. Особенно проблемы «простые», основополагающие, в словесной формулировке сводимые к какому-нибудь немудреному афоризму. Исследованные и изученные во всех мыслимых и немыслимых измерениях, высвеченные, казалось бы, до дна яростным огнем давних и недавних дискуссий, они способны внезапно явиться вновь во всей своей первозданной злободневности, открывая взору еще неизведанные глубины и лишний раз напоминая о безграничности задач, стоящих перед человеческим познанием.

Нечто подобное произошло в ГДР с вопросом об отношении к духовному наследию прошлого. Его обсуждают на симпозиумах, конференциях, съездах (один из последних примеров тому— состоявшийся в конце мая в Карл-Маркс-штадте VII съезд Союза художников ГДР, на котором проблема наследия подверглась детальному рассмотрению как в основном докладе, сделанном нынешним президентом Союза, профессором Вилли Зитте, так и в выступлениях делегатов на заседаниях рабочих групп). Этот вопрос стал одной из центральных тем на страницах специальной и массовой печати (так, первый номер журнала «Ваймарер байтреге» за нынешний год более чем наполовину состоит из материалов, посвященных различным теоретическим аспектам этой проблемы; в частности, здесь напечатаны интервью с театральными режиссерами — Альбертом Геттерле, Маттиасом Лангхоффом, Манфредом Векверотом, Бенио Бессоном, а также ряд других статей и рецензий).

Основная проблема, вокруг которой разгорелись споры и дискуссии,— конкретное значение духовного наследия прошлого для современности, для социалистической культуры.

Актуализация именно этого аспекта проблемы не случайна. Во-первых, именно здесь, как выяснилось, находится один из главных участков идеологической борьбы. Об этом говорил в своем докладе на VI пленуме ЦК СЕПГ секретарь ЦК СЕПГ Курт Хагер:

> «Империалистические идеологи в ФРГ в связи с нашими успехами в сохранении и освоении культурного и художественного наследия все в большей мере вынуждены менять свое прежнее отношение к этому наследию. Они пытаются присоединиться к борьбе за освоение лучших культурных традиций немецкого народа и — используя, разумеется, все мыслимые приемы фальсификации — предъявляют права собственности на эти традиции. Культурологи и искусствоведы ФРГ ныне «открывают» даже великие традиции немецкого и международного пролетарско-революционного искусства и литературы».

Во-вторых, как показали некоторые события в культурной жизни самой ГДР, в частности дискуссия вокруг повести У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.», взаимосвязи социалистической культуры с культурным наследием прошлого значи-

тельно тоньше, многограннее и сложнее, чем предполагалось прежде. Что именно наследуется, как наследуется, как и в чем проявляется влияние гуманистических традиций классики — эти проблемы нуждаются во внимательном и глубоком изучении и обсуждении.

Напечатанная в третьем номере журнала «Зинн унд форм» за нынешний год статья «Гладь потока и глубина его», принадлежащая перу его главного редактора, действительного члена Немецкой академии искусств Вильгельма Гирнуса,— новый вклад в эту дискуссию.

Название статьи, перефразирующее одно из высказываний Брехта о Гёте («Рабочий журнал», запись от 10 сентября 1939 года), связано с основной ее темой — специфика искусства и ее роль в восприятии художественных произведений прошлого.

Суть проблемы, по мнению В. Гирнуса, сводится к вопросу о причинах непреходящей ценности шедевров прошлого.

> «Как получается — да и возможно ли это вообще,— спрашивает В. Гирнус,— что произведения искусства, созданные в рамках тех исторических эпох, когда эксплуататорские классы, господствуя политически, духовно и материально, довлели и над культурой, как получается, что эти произведения таят в себе источник наслаждения и для нас, людей социалистического общества, свободного от эксплуатации? Ну хорошо: рабовладельцы в Афинах от души веселились, присутствуя на представлениях «Ахарнян» Аристофана (он сам жил за счет рабов), «Лисистраты» (женщины оставались угнетенными), они испытывали искреннее наслаждение, слыша насмешки над Еврипидом в «Лягушках». Ну а мы? У нас тоже вызывает смех комическое у Аристофана. Но, может быть, мы смеемся не над тем, над чем смеялись античные рабовладельцы? А может, нам доставляют удовольствие те же вещи, что и им? Но во всяком случае — именно удовольствие! И нельзя ли сказать то же самое по поводу нашего отношения к Плавту, Петронию, Лукиану, Рабле, Сервантесу, Мольеру и т. д.? Возможно, эксплуататоры, смеясь, оказывались в плену самообмана? А возможно, это мы обманываемся?
>
> ...Понять и теоретически объяснить, каким образом искусство, некогда служившее эксплуататорским классам, оказывается в состоянии вызывать у человечества, освобожденного от эксплуатации, не только чисто исторический интерес, но и быть для него актуальным источником эстетического наслаждения — было бы подлинным научным достижением».

Возникающие при этом трудности обусловлены, как явствует из самой формулировки проблемы, сложностью вопроса о классовом характере искусства как формы общественного сознания.

Прямолинейное, левацки-догматическое толкование классовости искусства приводит к культурнигилизму, по логике которого сама мысль о возможности эстетического наслаждения искусством прошлого оказывается недопустимой ересью. У этого нигилизма, как показывает В. Гирнус, давняя история: еще в 1910 году на страницах социал-демократической газеты «Форвертс» драматург Герман Хейерманс предрекал неизбежное забвение всем гениям мировой литературы как выразителям «устаревшей» идеологии. Недавние выступления ультралевой молодежи во Франции, Италии, ФРГ (порой искренне убежденной в своей революционности), разгул «культурной революции» в Китае, а также нынешний поход маоистских критиков против европейской культуры, в частности, творений венских классиков — Моцарта, Бетховена, Шуберта — все это говорит о том, что борьба с культурнигилизмом по-прежнему остается на повестке дня.

Тем же нигилизмом оборачивается тезис «официальной» буржуазной науки об эстетическом начале как единственной непреходящей ценности в искусстве. В. Гирнус остроумно выявляет «сохранительный», консервативный смысл этой деидеологизации художественного творчества: в сущности, речь идет о попытках доказать, что иной идеологии, кроме идеологии эксплуататоров, никогда не существовало и существовать не может.

Раскрыть секрет воздействия искусства прошлого буржуазный эстетизм не в состоянии. Он, собственно, и не пытается это сделать, отмахиваясь от проблемы. Т. Адорно, например, сформулировавший аксиому о «надидеологическом» характере искусства, провозгласил также, что наслаждаться им могут лишь «обыватели и невежды». Иными словами, конечный результат тот же, что и у «революционных» экстремистов. Противоположности сходятся, но сходятся в тупике.

Решение проблемы, утверждает В. Гирнус,— в истинно марксистской трактовке искусства как специфической формы общественного сознания. В чем она заключается?

Во-первых, категория классовости проявляется в истинном искусстве совершенно иначе, нежели это представляется левым экстремистам. В. И. Ленин писал о демократической и социалистической идеологии, возникающей в каждой нации под воздействием жизненных условий трудящихся и эксплуатируемых масс. Опираясь на эту мысль

Ленина, В. Гирнус показывает, что в рамках эксплуататорского общества истинное искусство всегда так или иначе связано именно с оппозиционной идеологией:

«В антагонистическом классовом обществе каждая идеология порождает свою контридеологию; идеологии господствующие стремятся оттеснить противостоящие им идеологии, задушить их, однако последние продолжают жить — по меньшей мере нелегально,— ибо эти оппозиционные идеологические представления непрерывно рождаются заново (народ — их творец) в виде народной песни, легенды, мифа, сказки, народного острого слова и пословицы, они — оборона, защита, самозащита, сопротивление, они щит и ширма. Какой художник не черпал из этого источника?»

Во-вторых, искусство выражает это свое содержание только в ему присущей конкретно-чувственной форме — в звуке, в цвете, в линии, в объеме, в слове.

В. Гирнус напоминает таким образом не раз высказывавшуюся в марксистской эстетике мысль о неразрывности формы и содержания в искусстве.

«Мы считаем...— пишет он,— ошибочными, даже просто враждебными искусству те концепции, которые усматривают в таких организующих художественное произведение элементах, как рифма, ритм, мелодия, цвет и др., или исключительно заманчивую добавку к «содержанию», назначение которой — увеличить соблазнительный блеск искусства, или развлекательный усилитель информации...

Поэтическому искусству,— подчеркивает далее В. Гирнус,— куда менее страшны грамматические и орфографические ошибки, нежели промахи в использовании приемов словесно-поэтического выражения. Нередко наблюдаемая снисходительность критиков и историков литературы к упущениям в этой области... вредит развитию искусства. ...Тот, кто принижает значение этих критериев, автоматически присоединяется к той печально знаменитой традиции пуританского недоверия к искусству, которая ведет от Платона и затем от Августина, средневековых схоластов и (даже!) Руссо — к Адорно».

В искусстве все — содержание и все — форма. Поэтому В. Гирнус решительно отвергает самое понятие «плохое искусство», допускающее существование глубоких, содержательных, но по форме неудачных произведений:

«Шкаф — всегда шкаф, пусть он даже отвратительно сделан. Есть шкафы красивые и уродливые, хорошие и плохие; но «плохое искусство»?.. Такого не бывает. Так же как не бывает плохого или хорошего золота. Искусство может быть искусством, только если оно х о р о ш о. Качество — его существеннейшая отличительная черта».

Это не значит, что в искусстве отсутствуют диалектические противоречия. Эти противоречия в нем есть, но проявляются не в столкновении «идейной силы» и «художественной слабости», а в диалектическом взаимодействии поэтической правды и поэтического совершенства, в различии идеологического смысла этих категорий.

Искусство есть отражение реального мира (притом отражение не «зеркально-мертвенное», а живое, эмоционально насыщенное), и как таковое оно правдиво, реалистично. Эта поэтическая правда в нем исторически обусловлена, имеет свои исторические границы, но она всегда остается именно правдой, беспощадно обнажающей самую суть той реальности, в которой оно возникает. Искусство практически лишено права снисходить до комплиментов действительности:

«Порождаемая господством эксплуататоров лесть, выдающая себя за настоящее искусство... постоянно разоблачалась селекционной силой истории... как суррогат, и такое предательство искусства каралось забвением у потомков».

Вместе с тем подлинное искусство совершенно, прекрасно или, точнее, стремится к прекрасному, следуя заложенному в нем, в искусстве, закону «тенденциального совершенства»:

«К а ж д о е и с т и н н о е п р о и з в е д е н и е и с к у с с т в а н е с е т в с е б е м е р у с о б с т в е н н о г о с о в е р ш е н с т в а, даже если оно ее не достигает. В первородный грех, соответственно, искусство впадает не тогда, когда оно не сумело достичь этой меры, а когда оно позволило эту меру не заметить».

Трактовка понятия «совершенное» (или «прекрасное» — В. Гирнус отмечает, что это разные категории, но считает, что в данном случае различие между ними не играет существенной роли) сродни у критика знаменитой формуле Н. Г. Чернышевского — прекрасное есть жизнь. Источник представлений о совершенном — реальный человеческий опыт, меру совершенного человек определяет, открывая гармонию и совершенство явлений природы,— законов движения небесных тел, например. Как выражение этого опыта совершенное столь же исторически обусловлено, сколь и поэтическая

правда. Но функция его остается неизменной: именно оно делает художественное произведение зримым воплощением идеала, наглядной демонстрацией того,

> «на что́ способен человек, чем он при соответствующих условиях мог бы стать».

Столкновение реального и идеального — вот, по мнению В. Гирнуса, основное диалектическое противоречие искусства. Создавая образ мира, реально отражающий его несовершенство, оно одновременно самим совершенством своим творит «противообраз» этого мира, заставляет задумываться, каким этот мир мог бы и должен был стать:

> «Совершенство как необходимое свойство искусства на протяжении всей предшествующей истории являлось одновременно яростным требованием к тому миру, который отражался в художественном произведении. Человек ведь в состоянии создавать совершенное, так почему же мир, в котором он обитает,— им самим созданный мир — не отмечен той же печатью совершенства? Этот волнующий вопрос скрыт в красоте каждого истинного произведения искусства».

В этой диалектике утверждения и отрицания — суть «послания», с которым искусство всегда обращалось к людям. В этом — суть притягательной силы искусства, источник любви и ненависти к нему.

Она, эта диалектика, объясняет, почему так яростно преследовали искусство реакционеры всех мастей — от отцов церкви до современных неофашистов: в самом существовании искусства они чувствовали угрозу. Убийство Виктора Хары, чилийского народного поэта и певца, подчеркивает В. Гирнус, было расправой фашистских путчистов именно над художником, расправой над искусством.

Эта диалектика объясняет также, чем волновало людей искусство: оно было для них призывом к борьбе, призывом к претворению в жизнь своих человеческих идеалов.

Она раскрывает также значение искусства прошлых эпох для социалистического общества: способствуя развитию исторического самосознания граждан социалистического общества, искусство становится одним из важнейших факторов формирования социалистического гуманизма.

В. Гирнус полагает, что его концепция бросает свет на многие важные проблемы. Она, в частности, помогает лучше понять высказывания классиков марксизма-ленинизма о непреходящей ценности искусства. Внимательно анализируя приведенные М. Горьким слова В. И. Ленина о музыке Бетховена, а также известное замечание К. Маркса о значении творчества античных мастеров, критик приходит к выводу, что речь здесь идет именно об антиномии совершенного, прекрасного в произведениях человеческого духа и безобразного, ужасного («грязный ад», по выражению В. И. Ленина) в условиях человеческого бытия.

Ряд замечаний сделан автором по поводу задач литературной и художественной критики. Задача критики, подчеркивает В. Гирнус, раскрывать красоту искусства, научив тем самым любить его, наслаждаться им. И здесь он требует от науки о литературе не только популярности, но и особого обаяния:

> «Литературоведческие труды или литературная критика, которые не в состоянии весело, но тактично научить наслаждаться искусством, просто не нужны».

Как подчеркивает автор, несостоятельность, например, структурализма выявляется именно в том, что, стремясь к созданию некой «грамматики художественной речи», он убивает искусство, лишая его красоты.

Раскрывая сложную проблематику, связанную с идеологическим значением прекрасного, статья В. Гирнуса способствует плодотворному освоению классического наследия прошлого в ГДР.

Д. АЛЕКСАНДРОВ

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

Время от времени Человек испытывает потребность, прервав мысленно свой вечный поход, остановиться, оглядеться вокруг, выверить курс... Quo vadis homo? Идешь ли ты к вершинам культуры или держишь путь в преисподнюю варварства? Как складываются твои отношения с Природой? Что несет тебе Наука и Техника?

Подобные вопросы давно уже утратили всякий налет философско-академического «сектантства» и обнаружили прямое отношение к нашей повседневной жизни. А значит, и стали достоянием обыденного сознания, предметом обсуждения и беспокойства не только самих ученых, но и людей, подчас весьма далеких от науки и техники. Оснований же для беспокойства у рядового гражданина современного буржуазного

общества более чем достаточно. Тут и собственный жизненный опыт, чуть ли не на каждом шагу сталкивающий с отравленной природой, с миром машин, вытесняющих человека, и миром людей, ставших похожими на машины. Тут и сложившиеся в общественном сознании современного Запада образы науки, фиксирующие реальный разрыв между гуманитарным и естественно-научным знанием и подчас служащие почвой для пессимистических выводов о «деградации» Человека, о «виновности» Науки, Техники и породившего их Разума, об их ответственности за те катастрофы и испытания, которые уже пришлось (и кто знает — не придется ли снова) пережить человечеству. Как заметил Джон Бернал, еще не так давно

> «наука была одновременно и благороднейшим цветком человеческого разума, и наиболее многообещающим источником материального благосостояния. Сейчас перед нами вырисовывается совершенно иная картина. Беды нашего времени представляются следствием далеко шагнувшего прогресса».

И все же традиция рассмотрения науки как «благороднейшего цветка» и «многообещающего источника», а научной деятельности — как сугубо гуманистического предприятия никогда не угасала в западноевропейском общественном сознании. Больше того, эта укоренившаяся традиция, выдержанная в духе оптимизма, служила для буржуазных гуманистов источником вдохновения в борьбе как против крайних форм сциентизма, так и против антиинтеллектуалистской реакции на сциентизм. Эта традиция жива и по сей день. Свидетельство тому — последняя книга английского ученого Джэкоба Броновского «Восхождение человека», вышедшая недавно в Англии и США (а первоначально появившаяся в виде серии очерков на страницах английского журнала «Лиснер»).

> «Мне бесконечно горько, когда здесь, на Западе, я вдруг повсюду обнаруживаю ощущение полной утраты мужества, отход от знания — и куда? — в дзенбуддизм; в обладающие ложной глубиной вопросы о том, а не являемся ли мы по своей сути и в самом деле просто животными; в мир сверхчувственных восприятий и таинств».

Понятна горечь Броновского, ибо лично он убежден в том, что

> «мы являем собой уникальный эксперимент природы, в котором рациональный интеллект должен доказать, что он сильнее рефлекса»;

убежден, что вплоть до настоящего времени Разум, наделенный им Человек и созданная человеком Культура развивались в общем итоге по восходящей линии.

> «Человек — существо необыкновенное... Его воображение, его разум, его эмоциональная тонкость и устойчивость позволяют ему не приспосабливаться к окружающей среде, а изменять ее. И та совокупность изобретений, посредством которых человек от столетия к столетию переделывал свою окружающую среду, представляет особую разновидность эволюции — эволюцию не биологическую, а культурную. Я называю эту блестящую цепь культурных вершин Восхождением человека».

Что же сделало возможным это «восхождение», подготовленное миллионами лет предварительной биологической эволюции, но непосредственно свершившееся за каких-нибудь десять-двенадцать тысяч лет? Прежде всего наука, где творческий гений человека сумел раскрыться во всем своем богатстве. Вводя читателя в мир физики, математики, астрономии, биологии, знакомя его с блестящим созвездием ученых, Броновский стремится убедить — ибо верит сам,— что наука смогла сыграть выдающуюся роль в «восхождении» человека именно потому, что гуманна по своей природе и не несет ответственности за действия тех, кто использовал ее достижения во зло человеку.

> «Говорят, что наука дегуманизирует людей и превращает их в номера. Это ложное, трагически ложное утверждение».

Но ведь было... Номера, лагеря, печи, и не таким, как Броновский, напоминать об этих вещах.

> «Вспомните концентрационный лагерь и крематорий в Освенциме, где люди были превращены в номера. Его бассейн был затоплен пеплом примерно четырех миллионов людей. И сделал это не газ. Это сделало высокомерие. Это сделала догма. Это сделало невежество».

Разумеется, не газ. Как разумеется и то, что всякая «догма» имеет конкретное социальное содержание, «высокомерие» — общественную подоплеку, «невежество» — персональных носителей, в числе которых мы видим не только политических деятелей, на которых кивают ученые, но и, увы, самих ученых, на которых кивают политические деятели. Невежество политиков в науке опасно. Но не менее опасно и невежество ученых в политике, особенно сегодня, когда научно-техническая революция набирает темпы и фигура ученого становится поистине вездесущей; опасна поли-

ческая наивность ученых, равно как и высокомерное отношение к политической деятельности как к «грязно-торгашескому» делу, слепая уверенность, что чистая логика научной истины, ее красота способны послужить надежной гарантией использования ее исключительно в гуманистических целях. Броновский вспоминает, как немецкий естествоиспытатель Иоганн Фридрих Блюменбах начал создавать в 1800 году коллекцию черепов. Он был весьма далек от расизма, и его действиями руководил исключительно научный интерес. Но по иронии судьбы именно коллекция гуманиста Блюменбаха была использована гитлеровцами для «обоснования» расистской теории о «превосходстве» нордической расы. Пример с Блюменбахом, разумеется, не единичен. Можно обратиться к «классике» — «делу Галилея».

> «Галилей полагал, что все, что он должен сделать,— это показать, что Коперник прав,— и все его будут слушать. Это была его первая ошибка, ошибка, связанная с наивными представлениями о человеческих побуждениях, которую постоянно совершают ученые... Галилей, как мне кажется, проявлял странную наивность по отношению к миру политики, но более всего эта наивность проявлялась в его представлении, что он способен перехитрить этот мир, ибо умен».

Галилей, впрочем, добился того, что его слушали, и этим слушателем был сам папа Урбан VIII — в прошлом кардинал Маффео Барберини, не раз выказывавший свое почтение к талантам Галилея. Галилей рассчитывал в личной беседе склонить на свою сторону покровителя муз Барберини, пленив его логической красотой своих суждений, но перед ним был политик Урбан VIII, который не только остался глух к речам Галилея, но и по сути дела выступил в роли инициатора судебного процесса. И все же победил именно Галилей.

> «На протяжении двадцати, а то и более лет он шел путем, который неумолимо вел его к осуждению. Нужно было время, чтобы подкопаться под него, но никогда не было никакого сомнения, что Галилея заставят замолчать, ибо расхождение между ним и властями предержащими было абсолютным».

Победа Галилея в том, что его смогли заставить замолчать только тогда, когда он уже все сказал. Это был не просто успех передовой науки, но и победа определенной политики. Более того, это была победа принципа учета политики как фактора прогресса науки и превращения полученного знания в факт общественного сознания.

> «Мы считаем теперь само собой разумеющимся, что наука наделена социальной ответственностью. Эта идея не пришла бы в голову Ньютону или Галилею. Они видели в науке описание мира, каков он есть, и единственная ответственность, какую они признавали, заключалась в том, чтобы говорить правду. Идея о том, что наука — социальное предприятие, возникла в новое время и восходит к эпохе Промышленной Революции».

«Не пришла бы в голову... Галилею». Но именно Галилей был одним из представителей науки и философии нового времени, который — нет, не сформулировал теоретически принцип социальной ответственности, а продемонстрировал его на практике, показав, при каком условии истина может стать фактором социального прогресса, и тем самым сделал для «восхождения» человека бесконечно больше, чем иная дюжина талантливых голов, проявляющих полное безразличие к исторической судьбе своих открытий и изобретений и действующих по принципу: «пусть идет, как идет».

Уместно в этой связи напомнить, что еще лет двадцать назад Джон Бернал предостерегал против узкого определения границ и задач науки, против «ограничения поля ее деятельности более или менее измеримыми физическими величинами». Такой подход неизбежно приводит

> «к исключению из сферы науки не только марксизма, но и вообще всех общественных наук: истории, политической экономии и политики, иначе говоря, отрицает всякое изучение человеческого общества»,

а значит, и неизбежно сужает горизонт видения мира, затрудняет понимание характера взаимосвязи между человеком и природой.

Сегодня предостережение Бернала звучит вполне актуально, свидетельством чему — распространение сциентистского подхода в научных кругах Запада. Да и для книги самого Броновского, которого в общем-то и не упрекнешь в сциентизме, все же характерно суженное понимание науки. Между тем именно в своей интегральной форме, объединяющей гуманитарное и естественно-научное знание, наука только и выступает как важное условие и проявление «восхождения» человека.

Конечно, как бы ни были раздвинуты горизонты науки, она не может претендовать на роль единственного, определяющего импульса или единственной формы проявления «восхождения» человека. Сегодня не грех сказать об этом лишний раз, потому что фетишистское сознание, завороженное успехами научно-технического прогресса, склонно обожествлять науку (и технику), рассматривая ее либо как причину всех бед человеческих, либо как источник всех благ. «Научность» вдруг оказывается

синонимом «истинности», «подлинности»: то, что «ненаучно» — то в лучшем случае подозрительно, а в худшем — и вовсе дурно. При этом ускользает от внимания принципиальное различие между «антинаучным», то есть тем, что направлено *против* науки, и «ненаучным», то есть тем, что просто лежит *за пределами* науки, регулируется своими собственными законами и выражается своим собственным языком. Балет в этом смысле — ненаучен, литература — ненаучна, как, впрочем, и искусство в целом. Вы можете математически рассчитать все движения балерины, выверить алгеброй все ее па, и не исключено, что балет от этого выиграет, но наукой он все равно не станет. Балет останется балетом, а литература — литературой, и так, наверное, будет лучше и для науки, и для искусства, а главное — для самого человека. Поэтому вполне можно понять Броновского, когда он, ученый, предостерегает науку от кичливости, от претензий на обладание абсолютной истиной, на универсальность своего языка и метода.

«Абсолютного знания не существует. И те, кто претендует на него... открывают путь к трагедии».

Зато совместные усилия науки и искусства могут привести к плодотворным результатам. Отличаясь от науки своими законами, языком, способом видения мира, искусство вместе с тем имеет с ней много общего.

«И искусство и наука являются исключительно человеческой сферой деятельности, лежащей за пределами возможностей животного... они ведут свое происхождение от одной и той же человеческой способности: способности представлять себе будущее, предвидеть, что может произойти, и быть готовым заранее отреагировать на это».

Именно благодаря развитию воображения (тесно связанного с трудовой деятельностью) человек поднимался с одной вершины на другую, еще более высокую.

«Люди, которые создавали орудия (труда), и люди, которые создавали рисунки (на стенах пещер), делали одно и то же: предвосхищали будущее, как это может делать только человек, выводя то, что появится, из того, что уже есть. Есть немало способностей, присущих только человеку; но центральной из них, корнем, из которого вырастает всякое знание, является способность заключать из того, что мы видим, о том, чего мы не видим, способность устремлять наш разум в глубины пространства и времени и узнавать самих себя в прошлом, идущими по пути к настоящему».

Наряду с наукой искусство играло исключительно важную роль в процессе «восхождения» человечества. Оно способствовало развитию самой науки и техники. Взять хотя бы промышленную революцию.

«В восхождении человека — это шаг, гигантский шаг, столь же могучий, сколь и Ренессанс. Ренессанс утвердил достоинство человека. Промышленная революция утвердила единство природы.

Это было сделано учеными и поэтами-романтиками, которые видели, что и ветер, и море, и реки, и пар, и уголь — все это создано солнечным теплом, а само тепло — это форма энергии».

Язык образов, созданный и развиваемый литературой, искусством, обнаружил удивительное свойство не столько противостоять языку понятий, развиваемому наукой, сколько дополнять и обогащать его.

«Когда дело касается атомов, то можно пользоваться только таким языком, каким пользуется поэзия. Поэта тоже интересует не столько описание фактов, сколько создание образов».

Возможно, что в этих словах Бора, обращенных к Гейзенбергу, есть известное преувеличение, но в них, конечно, и немалая доля истины: в живом процессе познания, процессе проникновения в неизвестное не существует жесткой границы между образным и понятийным мышлением.

Со своей стороны, искусство развивается, воспринимая творческий импульс от науки, обогащая свой язык, свое понимание мира.

«Физика становится в те годы (в конце XIX — начале XX века.— Э. Б.) величайшим коллективным произведением науки — нет, больше того, великим коллективным произведением искусства XX столетия.

Я говорю «произведением искусства», ибо представление о том, что существует основополагающая структура, мир внутри мира атома, тотчас же захватило воображение художников. Начиная с 1900 года искусство становится непохожим на прежнее, что можно видеть на примере любого оригинального художника нашего времени... Современное искусство возникает в то же время, что и современная физика, поскольку вырастает из тех же самых идей».

Это влияние «физики» на «лирику» Броновский видит прежде всего в изменении языка живописи.

«Со времен ньютоновской «Оптики» художников пленяла цветная поверхность предметов. XX век изменил положение. Словно рентгеновские снимки, картины стремились обнажить кости, скрывающиеся под кожей, и ту глубинную, устойчивую структуру, которая изнутри определяет целостную форму объекта или тела... Совершенно очевидно, что, например, художники-кубисты взяли за основу формы семейств кристаллов».

Впрочем, аналогичные явления, полагает Броновский, мы можем наблюдать и в литературе. Скажем, в романтической поэзии. В период промышленной революции, когда «энергия стала стержневым понятием науки»,

«поэты и художники были внезапно захвачены идеей о том, что природа — источник огромной мощи, различные формы которой суть проявления одной и той же главной силы, а именно, энергии.

И не только природа. Романтическая поэзия совершенно ясно говорит о том, что сам человек является носителем божественной, по крайней мере, естественной энергии. Промышленная революция дала свободу (на практике) людям, которые стремились осуществить то, что они несли в себе,— вещь немыслимая за сто лет до этого. Вместе с тем романтическая мысль толкала этих людей на то, чтобы через эту свободу новыми глазами взглянуть на личность в мире. Лучше всех это выразил величайший из поэтов-романтиков — Уильям Блейк — в очень простых словах: «Энергия — это великое наслаждение».

В принципе, то есть в своем суждении об общих корнях открытий в науке и новаций в литературе и искусстве, автор прав, хотя нельзя при этом не заметить, что связь между наукой и искусством оказывается зачастую не столь прямолинейной, однозначной и бесконфликтной, как это выглядит у Броновского.

К тому же есть искусство и искусство — искусство, которое дает мощный импульс «восхождению» человека, и искусство, которое ведет его к деградации. Причем и та и другая ветви могут вырастать из одного и того же ствола и уходить корнями в одни и те же — в том числе и великие — естественно-научные открытия. О подобных трюизмах приходится напоминать только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что «дорога в ад» может быть вымощена самыми благими намерениями и великими идеями, социальные функции которых далеко не всегда определяются их собственной внутренней природой.

В процессе развития своей культуры человек

«строит планы, делает изобретения, новые открытия, соединяя различные таланты; и его открытия становятся все более тонкими и проницательными по мере того, как он научается комбинировать свои таланты все более сложным и тесным образом. Таким образом, великие открытия различных веков и различных культур в области техники, науки, искусства выражают в своей прогрессии все более богатое и более сложное сочетание человеческих способностей, восходящий ряд его дарований».

Итак, взаимосвязь техники, науки, искусства... Ну, а как обстоит дело с социальными достижениями и открытиями, насколько органично вплетаются они в ткань человеческой культуры? В книге Броновского мы не находим ответа на эти вопросы: «восхождение» на вершины социально-политических и социально-экономических открытий остается по ту сторону его исследовательского интереса. Правда, то тут, то там в книге мелькают острые замечания и меткие суждения социального характера — скажем, о влиянии оседлого образа жизни на ускорение развития материальной и духовной культуры, о взаимосвязи Великой французской буржуазной революции и промышленной революции в Англии. Но все это — этюды, в лучшем случае — фрагменты, которые так и не складываются в целостную картину социально-исторического развития человечества, что в итоге делает картину «отношения человека к природе» ущербной. Как утверждает сам Броновский, культурная эволюция по темпам значительно опережает биологическую, а достижение новых вершин требует все большей интеграции талантов и знаний. Но это ускорение связано не только с успехами физики или биологии, а и с открытиями в области философии и политэкономии, со структурными изменениями в сфере общественных отношений, опосредствующих отношение человека к природе. И кто знает, какой из ингредиентов перевешивал в дни крутых переломов на чаше весов исторического прогресса? Или регресса. Ибо при общей поступательности и непрерывности «восхождения» качество его может быть в иные периоды поставлено под вопрос.

«История, конечно, не стояла на месте в период между кочевьем и Ренессансом. Восхождение человека никогда не прекращалось. Но восхождение молодых, восхождение талантливых, восхождение наделенных воображением — такое восхождение прерывалось в течение данного периода много раз».

«Затмения» случались и впоследствии... Ну, а в будущем? Будущее принесет с собой новые проблемы, но процесс восхождения, уверен Броновский, будет в целом продолжаться — ибо человек наделен даром пластичности разума, пластичности поведения, что поможет ему успешно справиться с проблемами.

> «У лошади и всадника много общего с точки зрения их анатомического строения. Но именно человек сидит верхом на лошади, а не наоборот».

Правда, для того чтобы сохранить столь привилегированное положение, человек должен, как утверждает автор книги, решительно противостоять «интеллектуальному аристократизму».

> «Если мы что-нибудь да значим, у нас должна быть демократия интеллекта. Мы не должны погибать только потому, что у нас существует разрыв между народом и правительством, между народом и властью, что привело к гибели Вавилон, и Египет, и Рим».

А чтобы такого не случилось, нужна, как мы уже знаем, «демократия интеллекта», распространение знаний.

> «Вы можете считать бессмыслицей советовать людям изучить дифференциальные уравнения или пройти курс электроники либо машинного программирования. И все же если через 50 лет понимание происхождения человека, его эволюции, его истории, его прогресса не станет общим местом школьных учебников, мы перестанем существовать».

Что же, овладение достижениями современной науки массой людей есть непременное условие дальнейшего развития человеческого общества и существования демократических порядков. Но будучи необходимым, это условие не является достаточным, ибо структура и характер общественных отношений определяются, как это каждому хорошо известно, не одним только знанием и интеллектом...

Через всю книгу, через все перипетии истории проносит Броновский веру в человеческий разум и воображение. Но, подчеркивая свой оптимизм и убежденность, что встреча грядущих поколений с Будущим произойдет на новых вершинах науки, техники, искусства, автор сомневается только в одном — в том, что эти новые вершины будут взяты... западной цивилизацией:

> «Только пессимист может говорить о западной цивилизации с чувством утраты. Я был столь оптимистичен в отношении восхождения человека: неужели же я собираюсь сдать свои позиции в этом вопросе? Нет, конечно. Восхождение человека будет продолжаться. Но не надо думать, что оно будет продолжаться, держась на западной цивилизации, какой мы ее знаем. Сейчас наше будущее брошено на чашу весов. Если мы сдадимся, следующий шаг будет сделан — но уже не нами. Нам не дано никаких гарантий, как не было их дано Ассирии, Египту и Риму. Нас также ожидает перспектива стать чьим-то прошлым, и это не обязательно будет прошлое нашего будущего. У нас — научная цивилизация, то есть цивилизация, в которой знание и его целостность играют решающую роль. Наука — это всего лишь латинское слово для обозначения знания. Если мы не сделаем следующий шаг в восхождении человека, люди сделают его где-нибудь еще: в Африке, в Китае. Печалит ли меня это? Нет, само по себе нет. Человечество имеет право изменить свой цвет. И все же, связанный прочными узами с цивилизацией, которая вскормила меня, я был бы глубоко этим опечален».

Финал, скажем прямо, довольно неожиданный, если не шокирующий, однако, в сущности, закономерный. Не потому, что в глубине души каждого оптимиста и гуманиста таится сомнение, а потому, что «западная цивилизация, какой мы ее знаем», действительно несет в себе дух самоотрицания. И та грустная перспектива, о которой с нескрываемым чувством горечи (и тайной надеждой, что этого все-таки не произойдет) говорит Броновский,— перспектива, к которой его привела интуиция ученого, на ином языке звучит вполне знакомо: «кризис буржуазного Запада», «кризис современного капитализма».

Конечно, гипотетическая схема движения цивилизаций, контуры которой походя набрасывает Броновский, вполне соответствует бытующей сегодня на Западе моде на «третий мир», на его символы и ценности, но от реального исторического процесса она далека. Реальная, видимая граница смены цивилизаций проходит сегодня по иным рубежам: не по континентам, а прежде всего по рубежам, отделяющим друг от друга различные системы общественных отношений. Будущее «восхождение» человека связано именно с самой прогрессивной системой общественных отношений.

Э. БАТАЛОВ

Публицистика

ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ

СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА

Главы из книги

Перевод с немецкого Г. КОСАРИК

Начало пути

В апреле Мария подарила мне цветную японскую гравюру на дереве Андо Хиросиге (1797—1858) [1] «Канацава в провинции Мусаси ночью». Коса, а может быть, остров? Рассматривая гравюру, я вспоминаю, что мы давно уже собираемся вдвоем отправиться на остров. Да, но на какой? Ведь о Кубе, Англии или Ирландии не может быть и речи. Слишком велики для нас. Значит, вот такой, как у Хиросиге. На гравюре три плана. В центре — восходящая луна, в ярком лунном свете цепочкой тянутся журавли. Краски темно-синих и черных тонов — лес и сопки черные, вода сине-черная. Полоска земли сужается у горизонта. Весельные и парусные лодки неподвижны на воде. Селение, полдюжины крыш, два крутых изогнутых мостика, под которыми без труда проскальзывают джонки, соединяют заливчики. Тишина, на море штиль, только журавли приводят в движение воздух. «Уголок, о котором можно только мечтать и где хотелось бы побыть вдвоем»,— написала Мария на обратной стороне. У нее слабость к дарственным надписям. Трехплановая гравюра Хиросиге — это мимолетное изображение любого обжитого острова: например, Хиддензее, если смотреть на него сверху, с Дорнбуша,— полого спускающаяся, ограниченная водой полоска земли.

Море — это пейзажный материал для художника. Японская цветная гравюра открыла импрессионистам прошлого века глаза на тонкости цветовых нюансов в природе, игру светотени, струй журчащей воды, в то время как живопись классицизма все еще метала громы и молнии проклятий, посылая своих коршунов выклевывать печень прикованному цепями к канонам Академии художеств Прометею, предостерегая тем самым остальных от дурных примеров. Если уж пейзаж, так обязательно с искупающим вину грешником.

Море и природа остаются пейзажным материалом и по сей день. Биеннале прибалтийских стран в отличном выставочном зале Ростока свидетельствует об этом. Берлинский художник Хорст Цикельбайн запечатлел пейзажи Дарса: три ветряка — три искривленных ветром сосны. На Дарсе, говорят художники, краски чище, воздух прозрачнее, а ветры дуют так, что деревья, изгибаясь под их напором, сплетают ветви в причудливые формы. Линия рисунка заложена в самой природе, и нет надобности ее насиловать. Краски подобраны, осталось только выбрать композицию. Без глаза художника краски и линии мертвы, но можно поставить себе задачу не только создавая картину, но и р а с с м а т р и в а я ее. На картине художника Ц. нет людей. Темно-коричневый квадрат в центре картины — возможно, хибара строителей, какими поль-

[1] Андо Хиросиге — японский художник, выдающийся мастер цветной гравюры на дереве.

зуются рабочие на побережье, чтобы хранить там свой инструмент. Рабочие ушли, природа на Дарсе предоставлена самой себе — пусть люди пекутся о причиненном ущербе. Что же осталось? Кусок моря. Дарс осенью. Ну как, нравится картина? Никто не покупает ее, никто не назначает цену. Когда она возвращается с выставок, общество по продаже картин художников задвигает ее в угол. Почему? Разве это не сувенир с Дарса? Из Берлина картина перекочевывает в Дрезден. Однажды серым зимним днем я увидал ее в одной из галерей Дрездена и купил — кусок моря у меня дома, в комнате на пустой стене.

Что в ней, в этой картине? Три серых дерева, исхлестанных ветром,— три блеклых мазка, расплывшихся в глубине у линии горизонта; седое море — размазанное пятно, излучающее свет; материальная субстанция отраженного и отражающего света. Очарование картины в красках — они плывут от обилия света, стекают разводами вниз, повторяя игру рисунка ветвей. Все краски палитры представлены в мельчайших оттенках, сливаясь в мягких переходах с естественным ритмом размахивающих ветвями деревьев. Кусок природы, заключенный в рамку, который можно с собой взять, поехать туда и посмотреть — так ли все на самом деле.

Мы садимся в ночной поезд в Лихтенберге, катим в туннель, вырываемся на простор и едем все дальше, вверх по карте, в Штральзунд, куда мы прибудем ранним утром, еще до того, как город забрезжит огнями, собираясь на работу. Курортный сезон кончился. Проводник спального вагона протирает глаза, мы предлагаем ему сигарету. Он благодарит, отказываясь, да, у него есть два места. По проходу с грохотом катаются пустые пивные бутылки, а сам состав кажется таким длинным, словно тянется от самых Рудных гор. Мы выходим из купе и смотрим в черные окна.

Около трех часов ночи просыпаются дети и тоже хотят к окну. Там ничего не видно. Поезд несколько раз останавливается на разъездах. Мимо с грохотом проносится встречный состав. Прошел дождь. Машины идут по мокрому шоссе. Дети считают огни фар, косматыми пятнами расползающиеся в сыром воздухе. Они сидят на багаже, едят печенье и просят лимонаду. Наши соседи по купе, так же как и мы, год не были в отпуске. Они жадно смотрят в окно, как будто там уже светится, вся в радужных красках, цель их путешествия. Вот они уже хватают свои дорожные сумки с пляжными махровыми халатами, эффективными кремами для загара, надувными матрацами и игрушками для оздоровительных спортивных игр на воде. Штральзунд, смаковал дома наш друг Отто Цестерманн, тоже художник, Рос-с-ток, Рюген — как это звучит! Разломишь такое слово, и оно сразу запахнет смолой, морским песком и соленым ветром. Но вдруг в три часа ночи меня охватывают сомнения: море — оно, конечно, на месте, а вот с пляжами похуже — все многолюднее год от году. Все зло на белом свете, говорит О. Ц., цитируя какого-то философа,— от путешествий.

Он прав, этот старик. Я снова ложусь на потемневший от пота зеленый чехол из кожзаменителя и начинаю думать, что Штральзунд, Балтийское море, Фишланд и Дарс — выдумка О. Ц. Я закрываю глаза: лучше бы я сидел дома и читал бы себе, если бы мучила бессонница, о путешествиях Форстера[1] по южным морям и смотрел бы себе на гравюру Марихен «Канацава ночью». Хиросиге изобразил тишину, о которой я мечтаю, тихий шелест журавлиных крыльев в лунном сиянии.

Морская служба

Там, где начинается море, кончается суша — это яснее ясного. Морская граница, скрытая в дымке, петляет по песчаным косам, но она точно вымерена и обозначена, как и сухопутная, и охраняется от провокаций и нападений — любых нарушений извне.

В поезде, которым мы едем вдоль Балтийского побережья, мы присматриваемся к лицам — не похож ли кто на моряка, что был по увольнительной на берегу? Наденет ли он форму уже в поезде или только на борту корабля? Между Нойбранденбургом и Висмаром садится молодой человек. У него открытое беспечное лицо, коротко остриженные волосы, огромные руки. Парень что надо, думаем мы, балагур за кружкой пива. Поезд трогается, он встает и направляется в вагон-ресторан, предлагая принести пива и на нашу долю. Одна нога тут, другая там. Мы чокаемся бутылочками, начинаются дорожные расспросы: кто откуда и куда. Молодой человек — военный моряк, он хорошо знает морской устав. Поэтому мне ничего не удается узнать о длине и военном снаряжении его канонерки, о маршрутах передвижения и участках караульной службы, или как там это все называется на их морском языке. Кроме того, я очень быстро забываю цифры, а где же, говорю я, чтобы хоть чуть-чуть рассекретить его, враг? Недоверчивый взмах ресниц, секунду он меряет меня взглядом. Вид у меня серьезный, я не дурачу его, и мне не до его моряцких баек («А когда мы в последний раз были на берегу, вот драка была с местными морячками, они только что пришли

[1] Георг Форстер (1754—1794) — немецкий писатель эпохи Просвещения, естествоиспытатель и революционер, участник кругосветного путешествия Кука.

на своей посудине, ну, было дело...»). Враг, повторяет парень, обдумывая дальнейшее, и вдруг сардонически улыбается, как пишут в детективных романах. Правда, скорее это всего лишь легкая ухмылка в ответ на мой идиотский вопрос. Какое-то время, говорит он, мы были всегда начеку, были готовы к провокациям, как только наши корабли сближались с ихними (знак большим пальцем влево, в сторону Западной Германии) на расстояние слышимости голоса, те начинали кричать нам и провоцировать всякими штучками вроде: «Переходите к нам!» — и так далее. Какое-то время, говорит он, наша установка была — хранить гробовое молчание и держаться как можно дальше от борта. Не отвечать. А теперь все иначе, теперь мы понемножку разговариваем с теми, оттуда, и не одни только мы задаем теперь вопросы. Но все это, если мы проходим мимо друг друга на расстоянии слышимости голоса.

Вот как обстоят дела, говорит он, и теперь уже я бегу за пивом, чтобы не остаться в долгу.

Висмар

Тихий провинциальный город? Полный средневековой романтики? Из узких переулков и старинных домов не несется городской шум и гам? С тихой гаванью? Люди здесь ходят степеннее по рыночной площади? Что, Висмар все еще тень Ростока и Штральзунда, весь в проектах и планах? А заходят ли сюда океанские суда? Порт, должно быть, здесь небольшой, потому что каждый младенец знает международный морской порт в Ростоке? А есть ли здесь судоверфь?

Поставим сразу все точки над «i» — в Висмаре все стало иначе, все изменилось с конца 40-х — начала 50-х годов. Судоверфь, носящая имя антифашиста Матиаса Тезена, строит комфортабельные теплоходы для дальних рейсов, удовлетворяя потребности непоседливых пассажиров. Именно здесь сходят со стапелей те пассажирские пароходы, которые ходят вверх и вниз по Волге и Оби и бороздят другие водные просторы. Судоверфь перестраивает сам город. Но это требует пояснений. Для начала — несколько цифр, чтобы завоевать доверие к моим словам. Судостроительная верфь имени Матиаса Тезена, построенная в основном в 1955 году западнее города, вводит в строй в 1957 году второй кабельный кран и начинает строить по заказу Советского Союза пассажирские суда для речных пароходств до 4871 БРТ. Производственная мощность судоверфи ежегодно растет, и она переходит к строительству океанских лайнеров, рыболовных и рефрижераторных судов, плавучих доков и понтонных кранов. В доки верфи ставят на ремонт вышедшие из строя суда. Так, покрытый коркой истории ледокол «Красин» (при этих звуках слышен скрежет ломающегося льда), спасший в 1928 году экспедицию Нобиле, тоже стоял здесь на капитальном ремонте. В 1959 году спущен на воду построенный сверх плана плавучий дом отдыха — теплоход «Фриц Геккерт» (7200 БРТ, 400 отдыхающих на борту, комфорт, как в кино).

Мы обогащаемся информацией — Мария и я — в этом тихом старом городе, где почти нет машин (светлая мысль городских отцов-правителей — пустить основной транспорт в объезд, по новым улицам города, чтобы старинные дома со ступенчатыми фронтонами не подвергались встряске). После судоверфи «Варнов» — столь известной и много раз описанной — верфь имени Матиаса Тезена самая большая в стране. И это имело свои последствия для Висмара. Судоверфь раздвинула границы города, так как приехавшие в Висмар рабочие-специалисты нашли город слишком маленьким и тесным для себя и своих семей, и город стал быстро разрастаться. Вендорф — новый городской район, по существу город-спутник, строится в расчете на 18 000 жителей. Столько человек — говорят сотрудники городского статистического управления — жило во всем Висмаре в 1880 году. К 1975 году в Висмаре хватит места еще для 19 500 жителей.

Ну, а гавань? Не все сразу, в один день. Марихен, когда она была совсем юной, очень хотелось иметь друга-студента, и поэтому она тянет меня к Институту тяжелого машиностроения и электротехники, а я, сопротивляясь, увлекаю ее захватывающими сценами из истории города. «Если ты начнешь сейчас с Адама и Евы...— говорит Мария,— то я лучше уйду». Ганзу мы опустим, соглашаюсь я, о ней мы поразмыслим в Ростоке. Хотя здесь еще в 1259 году возник прообраз будущего союза городов... Мария нетерпеливо отмахивается — ее так напичкали историей в школе, что ей хватит этого запаса на всю жизнь.

Тогда я рассказываю сам себе, что с 1648 года Висмар принадлежал по Вестфальскому миру Швеции. Значительно позднее, в 1803 году герцог Мекленбургский откупает город у шведов, точнее, шведы «закладывают» его за 1 250 000 талеров, сохраняя за собой право вернуть город в течение ближайшего столетия.

Шведам не удалось сделать, что они хотели,— превратить город в крупнейший бастион Европы с 700 пушками вдоль городской стены. Северная война в 1700 году уничтожила их военную игрушку, осажденную датчанами, ганноверцами и пруссаками. Двадцать два поколения висмарцев пережили двенадцать войн — выше средней европейской квоты. Правда, бомбы, когда их изобрели, вели себя довольно безобидно, о чем свидетельствуют строки времен Северной войны:

«31 декабря одна бомба ударила в дом сапожника на Кремерштрассе, разорвалась на чердаке, где в это время была жена сапожника,— та упала на колени, но как только дым рассеялся, встала целой и невредимой на ноги и увидела, что осколки бомбы рассыпались по ее белью, не причинив при этом никакого вреда».

Тишина города нисходит на нас, здесь просто другая поступь времени — союзника того замкнутого пространства, в которое мы попали, как только сошли с поезда. Гостиница «Мекленбургер хоф» встречает нас тишиной. Ни дорожной лихорадки приезжих, пускающих густые сигаретные клубы дыма, ни нервных телефонных звонков дам, оставшихся без номера, в стратегический центр управления гостиницами. Наше появление свершается под слабый удар гонга, который будит администратора, заставляя его подняться нам навстречу,— он немного сутулится, опираясь на руки, словно приветственный поклон без опоры ему уже не под силу. Его медлительный карандаш ищет наши имена в книге приезжих — мы заказывали номер заранее, так как путешествие по Балтийскому побережью без предварительного заказа номера в гостинице оканчивается обычно ночевкой под открытым небом. Все в порядке, говорит администратор, его карандаш находит наши имена, он произносит их несколько нараспев — у фонем здесь другая временная продолжительность, придающая им торжественность звучания. У нас такое чувство, словно мы на чужбине. Швеция до 1803 года.

Когда мы несколько позже спускаемся в ресторан, то понимаем, почему в городе так тихо. Все висмарцы собрались здесь, как в День Ганзы, и заполняют скучнейшие паузы между моментами, когда правая рука несет ко рту кусок, а левая поднимает бокал, обильной информацией. Кто жует молча, тот приехал на отдых, это мы видим сразу и пытаемся правильно сориентироваться. Стараемся не привлекать к себе внимание, словно мы из этого города — ну, я — вахтер у входа в порт, а Мария — девушка, которая разбивает бутылку шампанского при спуске корабля на воду. У нас нет ни фотоаппарата, болтающегося на ремне, ни полевого бинокля на животе (а вдруг все еще идет Северная война?), ни предательского малайского загара на лице. Мария сразу разобралась, кто здесь самый черный — двое молодых людей, как будто они из Ливана или Руанды. Студенты, шепчет Мария, из того самого института. За соседним столиком — в нейлоне и фирменных костюмах из универмага на углу — бригада дояров с острова Пёль. Об этом мы узнаем завтра, когда поедем в автобусе с острова. Потягивая шнапс, они ничего не говорят о молоке. Они чокаются и смеются. Мекленбургский диалект понять не просто. Марихен мажет мне хлеб маслом и говорит — она когда-то жила здесь, на севере,— что они обсуждают марки телевизоров и новостройки, а также своих прошлогодних подружек по отпуску и проблему денег для покупки нового мопеда. Проверить это я не могу. Все мое внимание сосредоточено на глазах-плошках, которые пялит Ливан или Руанда на Марихен. В «Мекленбургер хоф» становится очень весело и шумно, когда мы отправляемся спать, не в силах побороть дорожную усталость.

Утром — полная тишина. Первый взгляд в окно с двойными рамами, завешанное тяжелой гардиной грубого плетения. Не слышны висмарцы, снующие внизу от булочника к колбаснику, над дверями лавок которых в духе средневековой старины висят цеховые знаки их ремесла. В какой уголок Германии мы попали, где жители так любовно украшают свою жизнь резными и рисованными кулисами? Дома напротив с фронтонами, поднимающимися в голубое небо ступеньками, на которых контраста ради хочется увидеть по одну сторону трубочиста, по другую — мекленбургских девушек с толстыми льняными косами, настолько театральны, что кажется невероятным, что они имеют объем и глубину жилых помещений. Они вписались в мир иллюзий, словно декорации на сцене, когда сидишь в партере.

Мы открываем окна и высовываемся наружу, откуда-то слева приближается тяжелая конница короля Густава Адольфа. Жители поспешно закрывают двери домов, а торговцы прячут свои товары в закрома. Горожане наполняют пузатые глиняные сосуды водой, так как победители потребуют прежде всего питьевую воду. Тяжелый топот все нарастает, потом вдруг слабеет и замирает — пневматические тормоза испускают последний вздох, и город медленно отрывается от неподвижных кулис и продвигается на три столетия с лишком вперед — школьники садятся в автобус, водитель привычно ведет свою широкую колымагу по узким улицам старого города.

Говорят, в 1602 году на рыночной площади стоял фонтан с Адамом и Евой: забыв весь мир, они сплелись в объятиях водяных струй, дав пищу пересудам в городе. Играющая вода всегда привлекает внимание и наводит на размышления. Адам и Ева — символ непобедимой природы. Позднее — дата в тумане — струящаяся любовь первого мужчины и женщины шокировала наглухо застегнутые мундиры строгих правителей города. В городской ратуше решили изгнать влюбленную парочку в музей. Музей — чистое, стерильное место, где искусство тихо рассказывает, на чьих свадьбах оно когда-то плясало. Бесплотная рука музейного стража и по сей день обмахивает легким опахалом из птичьих перьев (кажется, это перо чайки) пыль с маленьких, крепких, как яблочко, грудей Евы и всех других спорных частей ее жизнелюбивого тела.

Средневековье и современность связаны здесь так же тесно, как холст и рама. На бывшей рыночной площади Висмара и теперь делается вся политика города, регулируется доставка товаров, которые можно купить в магазинах на площади

и улочках, прилегающих к ней. Здесь же стоят лотки толстых цветочниц, предлагающих покупателю запоздалую весну Балтийского побережья — фиалки и фрезии.

На полпути к порту мы останавливаемся. Суда недосягаемы за серой дымкой горизонта. Окна и фронтоны пакгаузов смотрят слепыми глазами в сторону моря. Благодаря выдвинутому вперед острову Пёль Висмар представляет собой идеальную гавань. Сюда могут заходить суда грузоподъемностью до 15 000 тонн. Порт имеет три назначения — прежде всего для транспортировки стали и пиломатериалов, затем нефти и, наконец, калийных удобрений. С давних пор торговля калием была прописана в Висмаре, теперь весь калий, который экспортирует республика, выходит через эти морские ворота.

Через два дня мы сидим на мягких красных сиденьях автобуса, который везет нас в Росток. Мы открываем бутылку виски. Транзистор нашего соседа плещется сначала у берегов камерного Моцарта, потом попадает под ушат выплеснутых в эфир шлягеров. Но все это не беда — виски что надо, и до Ростока еще далеко.

Отличный город этот Висмар, говорим мы. Как Веймар, говорит Марихен. Но без мемориала, говорю я, а следовательно, намного лучше. Мы не будем рекламировать его, а то все туда бросятся. Это город для нас двоих, говорит Марихен и нюхает цветы. Наши мнения расходятся — необходимо съездить туда еще раз!

Urbem Roztoc. Игра воображения

Ночной город мигает огнями. Мы ориентируемся по расположению уличных фонарей. Там, где особенно светло,— центр города. На следующее утро мы повторяем весь путь по карте, нисколько не удивляясь, что очутились в «лодке». Насколько можно понять, это много раз чиненный, заново оснащенный «баркас», если сравнить с конфигурацией 1625 года. Корма и нос увязли в песках пригородов, по правому борту — вода, там течет Варнов, ворочаются краны, расположились причалы судоверфи; мы охватываем все это сразу, одним взглядом, пока что с балкона. Скрытая пеленой горизонта «ладья» слегка покачивается и набирает ход.

Город нужно исходить пешком, внушаем мы себе. Правда, контур «лодки» оказывается на практике весьма расплывчатым графическим подспорьем, сослужившим бы службу, если б мы неслись над Ростоком на крыльях грифа, изображенного на городском гербе и воспетого поэтом Джоном Бринкманом [1]. На ходу мы расчленяем город на параллели — Крёпелинерштрассе, Лангештрассе, Штрандштрассе, набережные Варнова. В обратной последовательности идут причальные сооружения, склады, пакгаузы, силосные башни, краны по ту сторону портовых заграждений; запах пропитанного нефтью моря, копоть и гарь, различные шумы. Вот тянется Штрандштрассе, прочерченная меж высоких фронтонов уходящих в небо остроконечных крыш; бухты каната в чердачных люках, узкие проходы, злачные портовые притоны, где легко укрыться от посторонних глаз; облупленные фасады с беспорядочными проемами окон, и вдруг аккуратненькие площадки, где раньше стояли дома, пошедшие на слом и вывезенные отсюда как мусор и хлам. На их месте теперь растет травка, в песочницах — детские игрушки и формочки, в красный и зеленый цвет выкрашены рейки детских гимнастических снарядов, у ног воспитательницы детского сада желтый резиновый мячик — она стоит как раз на том самом месте, которое разыгравшееся воображение отвело девицам увеселительных портовых заведений. По улице с шумом идут тяжелые грузовики, из пакгаузов доносятся громкие голоса и крики чаек, в 12 часов дня раздаются гудки сирены — обеденный перерыв, что нисколько не отражается на оживленном уличном движении по соседней, расположенной выше Лангештрассе. Она проходит как раз по килевому брусу воображаемой «лодки». Это — восстановленный после войны Новый Росток. Гостеприимно встречает путешественников следующая параллель — Крёпелинерштрассе. Она полностью во власти пешехода, он может идти куда ему заблагорассудится — ни один светофор не остановит его. Вся улица — это гладко вымощенный, как парадный двор, пассаж с открытым ясным небом вместо крыши над головой. Если бы нас спросили о самом чистом, промытом и продутом ветрами северном городе от Рейкьявика до Риги, то мы бы назвали эту улицу в Ростоке — рыночную площадь времен Ганзы, где торговля и архитектура органично слиты или, что еще точнее,— архитектура города, его внешний облик говорят о том, что торговое дело здесь успешно процветает. Крёпелинерштрассе — голова и чрево города, подводим мы с щедростью гостей итог смотру,— начиная от старинного университета Северной Германии, укрывшегося за памятником Блюхеру (маршал, родившийся в 1742 году, уроженец Ростока), и изделий антикварных магазинов и кончая торговыми рядами с яблоками и жаренными на вертеле курами.

Но мы прибыли сюда затем, чтобы увидеть морской город,— мы спешим к морю. В поисках колорита портового города, который раскинулся, как мы предполагаем, у самой воды, мы перерезаем наши параллели. Поперечные улицы, по ко-

[1] Джон Бринкман (1814—1870) — немецкий писатель, лирик и юморист, уроженец Ростока, писал на мекленбургском диалекте.

торым мы идем, такие как Складская — Лагерштрассе или Литейно-котельная — Грапенгисерштрассе, ведут вниз, причем буквально: многие из них — лестницы, по которым можно спуститься, например, с Лангештрассе вниз, в порт. Вдоль лестницы сбоку узкая асфальтированная дорожка — для детских колясок этого детолюбивого района Ростока. Наконец мы находим то, что искали, но не можем пока понять, указывают ли медные таблички, именные вывески и пожелтевшие от времени фарфоровые вензеля на массивных входных дверях на прошлые или настоящие профессии их владельцев. Воображение рисует за тяжелыми дверями и просторным вестибюлем делового человека, который обозначил на дверях род своих занятий, разбирается в морском и торговом праве (cif и fob) и, кроме всего прочего,— еще в спекулятивных махинациях, страховом мошенничестве и двойном ведении бухгалтерских книг. Поразительно, насколько живучи укоренившиеся представления о том, кто ловит рыбку в мутной водице; так и кажется, что здесь всегда льет проливной дождь и дует промозглый ветер, как в кино в сценах, когда появляется Мэкки-Нож, гроза морей Дженни или местные знаменитости — герои баллад о Клаусе Штёртебекере. Мы еще и еще раз изучаем тяжелые литые вывески — все это конторы и ведомства Ростокского портового хозяйства и народной судоходной компании «Дойче зеередерай». И только приехавшие на Балтийское море курортники упорно ищут среди них романтический кадр для фото.

Даже в приморском городе все началось с реки — та часть, что шагнула на другой берег Варнова и бухты Брайтлинг, дала название городу: Roztoc = р а с т е к а т ь с я, но по суше. К морю Росток выйдет позже.

А ведь море мы, между прочим, так и не видели. Мы слишком возимся с историей города, кроме того, очень часто отвлекаемся от нашей цели. Вот мы стоим на балконе и просматриваем морскую даль чуть ли не до Копенгагена, до которого рукой подать. Ночью в устье Варнова входили суда, ревели сирены, дымили поданные товарные составы. Что это было? Грузовое судно с бананами, мешками сахара или черным перцем? Они курсируют здесь так же часто, как обыкновенные трамваи в других городах.

Мы идем к Старому рынку, где в XIII веке было положено начало городу. Рынок — четырехугольная площадь на холме, возвышающемся в низовье реки Варнов, деревянная церковь возносила его когда-то еще выше. Но рывок в заоблачные выси с помощью этой кирхи и нескольких других, построенных позднее, в общем не удался ростокцам. Шпиль колокольни, вздернутая в небо длань, всегда был прежде всего приметой для мореходов — город там! Сам неф церкви — огромное чрево элеватора; даже строительный материал мало чем отличается от камня мирских сооружений и темного кирпича репрезентативных зданий Ростока.

Широкогрудые, как ганзейские челны, плывут эти кирхи по воздушному океану, возносясь к небесам, а чтобы и внутри было ясно, каких сословий и ремесел были прихожане, в церковных нишах висят модели кораблей, на которых они переправлялись в иной, весьма реальный потусторонний мир. И даже астрономические часы на Мариенкирхе напоминают штурвальное колесо и компасную стрелку — их диск со знаками зодиака указывает на то, что ростокские корабли пересекали тропики.

Город стал набирать силу с 1200 года. Вокруг рыночной площади растет второе и третье кольцо домов, осушаются болота, и город простирает свои права на близлежащие поля и пустоши. Сухопутные жители из Нижней Саксонии и Вестфалии, никогда не видевшие моря, селятся в Ростоке. Они приспосабливаются к новой стихии, уходящей в бесконечную неизвестность, становятся канатчиками и якорных дел мастерами. Но другие города больше. Любек больше, Гамбург становится больше, Копенгаген и Стокгольм на глазах ростокцев превращаются в столицы. Реально осязаемый мир не кончается за дюнами, а тянется дальше, вплоть до Риги и Хельсинок.

Торговый капитал ранней буржуазии Северной Германии вскоре обнаружил общие интересы. На этой почве возникает Ганза — средневековый торговый союз городов с Любеком во главе, который процветал так долго, пока ни один участник «вендской штаб-квартиры» [1] не хотел тянуть свои сети в одиночку и пока никто более сильный в экономическом и военном отношении не мешал их лову. Ганза борется с морскими пиратами. Одновременно она осуществляет господство социального меньшинства над гильдиями ремесленников и цеховыми подмастерьями ганзейских городов. Под одним флагом раздувались паруса судов из Любека, Висмара, Ростока, Штральзунда, Грейфсвальда, Гамбурга, речного порта Люнебурга — временами Ганза насчитывала до 150 городов-союзников — активных и пассивных, как морских, так и речных портов. Кто стоял за разбой на море и господство князей-феодалов вместо дававшей преимущества в торговле Ганзы, тот не понял смену времен. Благодаря Ганзе в Росток хлынул весь свет, некоторые главенствующие торговые дома Ростока утверждали свое привилегированное положение в феодальном обществе, скроив его по собственной мерке и вкусу.

Бочка (принятая сегодня за образец на ростокской судоверфи «Нептун» для проектируемых контейнерных судов) становится самым ходовым товаром ростокских

[1] Висмар, Росток, Штральзунд и Любек находились под управлением вендского отделения Ганзы.

ремесленников. «Ростокская бочка» — эталон меры для подсчета выловленной в Сконе сельди, пока она не перебралась в другие воды, что произошло уже в XVI столетии. Сегодня рыболовецкие суда народного рыбного комбината Росток — Мариенэе ловят макрель в Баренцевом море, у восточных берегов Канады, в Ирландском море и у берегов северо-западной Африки. В ростокских бочках измерялся и перевозился во времена Ганзы другой дар моря — соль, прежде всего морская соль из Бискайского залива, которой засыпали селедку, предохраняя ее от порчи. За селедку и пиво ростокцы выменивали в Ганзейском союзе более благородные яства к господскому столу. На перевалочном пункте в Брюгге в выборе были пряности, рис, оливковое масло, вина. В Стокгольме закупались руда, гранит, известняк, смола, воск... Ростокские торговые фирмы были частными торговыми домами, переходившими по наследству из рода в род. Все, чем велась торговля, например, фландрское сукно, находило высокопоставленных клиентов. Торговая книга Иоганнеса Тельнера — сегодняшний музейный экспонат — регистрирует в качестве покупателей курфюрста и его супругу шведских кровей, аристократические дома — Бюлов, Мольтке, Негенданк. Тот, кто довольствовался оставшимися лоскутами, злобствовал, считая Ганзу блажью привилегированного сословия. Легенды о Клаусе Штёртебекере, имевшие хождение от Гамбурга до Путбуса, говорят о том, что даже в золотые времена Ганзы не всем жилось сладко. В деле Штёртебекера и Гёдеке Михельса не насилие предстало перед законом, а оба бунтаря, пытавшиеся восстановить путем насилия справедливость и закон. Морские анархисты были обезглавлены в Гамбурге в 1404 году. Весна абсолютной свободной торговли близилась к концу. С торговлей в район Балтийского моря проникали и новые подрывные идеи, вести о крестьянском восстании Уота Тайлера, проповеди Джона Уиклифа и Яна Гуса. Но только в Висмаре политическая оппозиция добилась успеха. Ткач Клаус Йезуп сместил в 1428 году продажный Совет и управлял городом два года на благо низших сословий, пока войска патрициата при поддержке герцогини Мекленбургской не разбили его. На Балтийском побережье использовали доставшиеся в наследство разноречивые исторические эпизоды для театрализованного представления.

«Драматическая баллада в шести сценах, с прологом и эпилогом» о жизни Клауса Штёртебекера. Написал эти сцены писатель Куба, а спектакль поставил перед сказочным дворцом в Ральсвике на Рюгене режиссер Г. А. Пертен, и с 1959 года летом раз в две недели для тех, кто проводит здесь свой отпуск, разыгрывается на воде красочный спектакль с горящими торговыми судами, полный нарастающего пафоса во имя идеи добра.

Вечером мы заглянули в «Чайку», откуда видна немножко портовая жизнь причалов старой гавани — пара огней, дым товарняка. В «Чайке» полно народу, уютно, как в дедушкином кинематографе дотелевизионных времен. Тот, кто в кафе и барах Ростока стремится узнать, как живут за морями, за океанами, прежде всего получит от приехавших сюда в отпуск посетителей информацию, как живут в районах и округах родной ему ГДР. Сильный дождь, ливень, хлещет в окна. Мы протискиваемся к столику, а на войлочных кружка́х-подставках уже стоит пиво, хотя мы не успели раскрыть рта и не произнесли ни слова. В течение вечера у нас завязывается разговор с фрау К., приехавшей сюда морем из рыбачьего поселка. После окончания сезона, говорит она, у нее больше времени для себя самой и для прелестей городской жизни. Плохая погода в городе всегда действует на нее возбуждающе. Она из Гамбурга.

Мнение фрау К.

Фрау К. уверяет — она погибнет, если ей придется жить в городе или поселке, со всех сторон окруженном сушей. Она не клянется и не божится, она человек дела, говорит она, но море нужно ей у самого порога — она должна его видеть, слышать, вдыхать. Можно и окунуться, но желательно подальше от старомодных пляжей с купальниками. Фрау К. около шестидесяти по нашим расчетам, она родом из Гамбурга. У нее живые черные глаза, резко очерченный, словно подкрашенный, рот. Она жестикулирует в такт словам, не обращает никакого внимания на пепел, который сыплется с ее сигареты на стол, ей нравится стряхивать его рукой на пол, что не так просто сделать, потому что весь стол заставлен пивными кружками, рюмками, пачками сигарет, сумкой фрау К. Фрау К. очень много курит, курит крепкие сигареты, охотно пьет — крепкие спиртные напитки, говорит она. Но в чистом виде. Крепкий алкоголь, без всяких добавлений. В нескольких словах она обрисовывает нам кульминационные моменты своей жизни. Приехать в город — это значит найти собеседника, чтобы поговорить по душам. Чтобы поговорить с людьми, говорит фрау К. и смахивает со стола пепел. Во время войны это могло стоить головы. Но правду, говорит она, можно было и шепнуть на ушко. Да, кивает она головой, подпольная работа, листовки, прятала преследуемых и кормила чем могла. Арест. В полиции ее били на допросах. Но не смогли ничего доказать. Нужно быть хитрой, говорит она, хитрой в плохие времена. Но чересчур много хитрости притупляет ум. Голова только тогда остается ясной, говорит она,

когда может разобраться в сложившейся ситуации. После сорок пятого она вступила в Гамбурге в КПГ. Опять допросы, но без побоев. Возраст, говорит она, под старость хочется выбраться из подполья, увидеть результаты. Что же там такое, по ту сторону границы? Фрау К. перебирается со всей семьей по другую сторону границы, переезжает в эту страну, в ГДР. Ей предлагают работу — ей, и ее мужу, и дочери. В Тюрингии, в Рудных горах в Саксонии, в Лейпциге, Дрездене, Магдебурге. Но ей там неуютно. Слишком мало ветра. Ей нужен север республики. Они опять переезжают, теперь в район Ростока, на остров, совсем на север, понимаете ли? Ее муж привязан к земле, очень любит крестьянский труд, говорит она, он тихий, положительный человек. Ее дочь возится с овцами местного кооператива, девица что надо, стоит как маяк посреди своих баранов, прямо как маяк у них там, на берегу. Ее сфотографировали вместе со стадом для одного женского журнала (в цвете!). Обычно у меня журнал с собой, говорит фрау К. и роется в своей сумочке. Мы освобождаем местечко на столе от кружек. Летом они все сдают, что у них есть, охотнее всего молодежи, студентам. С ними есть о чем поговорить. Она любит темп, движение — и в мыслях тоже, в юности она мечтала стать характерной танцовщицей и брала уроки у Рудольфа фон Лабана. Мы безоговорочно верим, что она остра на язык. Крестьяне и рыбаки у них на острове, когда они сидят зимой за рюмкой водки, теснее сдвигаются в кружок, как только она появляется в дверях, как бы готовясь отразить нападение. Она любит людей с острова, там хорошо жить, у них на севере, у нее есть все, что ей нужно,— природа и работа, только люди очень молчаливые, проглатывают разное молча, их нужно расшевелить, растормошить и заставить проявить свои желания. Мы пьем чистый шнапс и просим иметь нас в виду на следующий летний сезон в качестве постояльцев.

Нептун в Кабутценхофе

В прошлом сын Сатурна и брат Юпитера Нептун стал северным божеством в Ростоке. Его храм стоит там, где паром на Гельсдорф переправляется через Варнов, соединяя таким образом отдельные части города. Нептун прочесывает небо и море электрифицированным трезубцем, погружает плавучие краны дока в морскую пучину, заставляя их доставать со дна морского все новые и новые доказательства своего могущества. Если смотреть издали, то кажется, что воздвигнутое на сваях царство Нептуна поднимается и опускается с каждым гребнем волны. Нептун строит суда. Город у моря, который не строил бы судов, был бы обречен на созерцание и мессианское ожидание «чего-то» со стороны моря. Спуск на воду каждого нового судна расширяет пределы страны самым реальным образом. Ведь с падением Ганзы Росток оказывается в сильной изоляции. Город замирает, пока в середине XVIII столетия торговля на Балтийском море не оживает вновь и не развивается в сторону Скандинавии, Петербурга и Англии. Благодаря этому налаженное при Ганзе кораблестроение получает новый импульс. Акционерное общество «Нептун — судоверфь и машинное производство», которое здесь часто упоминают, было основано 23 декабря 1890 года. Мы особенно гордимся, подчеркивают сегодняшние нептуновцы, нашими старыми традициями, уходящими корнями как в историю развития техники, так и в историю мекленбургского рабочего движения. Первый построенный в Германии винтовой пароход «Эрцгерцог Фридрих Франц» сошел на воду в Ростокской гавани — огромное морское чудовище: впереди и сзади раздуваются паруса, посредине дымит труба, когда паровая машина в 60 лошадиных сил приходит в движение. Последнее творение народной судоверфи «Нептун» — четких геометрических линий суда с новой погрузо-разгрузочной технологией: судно загружается и разгружается не только вертикально — с помощью кранов, но и горизонтально — груз подается непосредственно с причала на борт и наоборот — с судна на причал.

В 1864 году 119 рабочих судоверфи создали рабочее просветительское общество: незапятнанная репутация была непременным условием для вступления в члены общества. Но только дирекция судоверфи вряд ли смогла бы засвидетельствовать такую репутацию, так как нептуновцы еще с самых ранних классовых столкновений никогда не выходили «незапятнанными» из борьбы. Сокращение рабочего дня, право на демонстрации 1 Мая, стачки солидарности с бастующими, право на собрания — все это завоевывается в борьбе, несмотря на увольнения, локауты, черные списки, рейхсвер. Военная диктатура третьего рейха отменяет завоеванные права рабочих, угрожает каждому фрезеровщику, токарю, судовому слесарю, кузнецу смертью, если он не считает новую милитаристскую программу судоверфи благим делом германской нации. Но дух сопротивления нептуновцев не удалось сломить. Листовки опровергают ложь военной пропаганды. На судоверфи под носом у гестапо печатались продовольственные карточки для советских, польских и французских военнопленных.

Военная машина разбита. Вместе с ней должна бы быть стерта с лица земли и судоверфь, исчезнуть навсегда. Но один из самых первых приказов советской военной администрации решает ее судьбу иначе: с 1 июня 1945 года наступает новая

эра для судоверфи. Работа начинается с уборки развалин и восстановления монтажных цехов, а с единственным средством передвижения, которое еще может держаться на своих четырех колесах,— тягачом — обращаются так бережно, как с волшебной лампой Аладдина. Нептуновцы отдают верфи все, что у них есть. Прежде всего трудолюбие. Материал для новой продукции поставляет Советский Союз. С апреля 1952 года судоверфь уверенно стоит на ногах, советское акционерное общество «Нептун» становится народным предприятием «Нептун», Советский Союз остается основным заказчиком. Свыше ста грузовых судов, суда, предназначенные для плавания во льдах, научно-исследовательские суда, как, например, «Михаил Ломоносов» с 16 лабораториями на борту,— вот заказы, которыми гордится город судостроителей Росток.

В особую главу германо-советских отношений нептуновцев вписана анекдотическая история с обувью, о которой здесь вспоминают до сих пор. Однажды, когда рабочие после смены спешили через заводские ворота домой (кое-кто прихватил с собой немножко угля или дров для холодной, нетопленой печки дома), за ними озабоченно наблюдали у ворот немецкие и советские товарищи. Кое-кого (чье пальто или карман были разорваны, и из дыр торчали унесенные с завода дрова) взяли на заметку. Теперь их неминуемо притянут к ответу, будут задавать нудные вопросы. Попавшие под подозрение не знали о заботах генеральной дирекции, которая закупила обувь: ее было меньше, чем ног у рабочих завода, на всех обуви не хватало. У ворот следили не за дырами в пальто и карманах, а за рваными башмаками. Сегодня рабочий коллектив справляется с этой задачей без труда сам — на Ланге- или Крёпелинерштрассе.

За проходной судоверфь оказывается городом в городе — с главной и боковыми «улицами», газетным киоском, книжным магазином, амбулаторией, зеленым газоном и скамейками вокруг. В глубине видны фасады зданий. Застекленные витрины на главной улице рассказывают о производственных планах судоверфи и знакомят с лучшими «жителями» этого города. Как правило, это воскресные фотографии — гладко причесанные волосы, белые рубашки, галстуки. Неузнаваемые в защитных шлемах и рабочих комбинезонах фотогерои снуют по территории судоверфи. На дверях ремонтных мастерских и монтажных цехов расклеены плакаты — яркие и броские, как цирковая реклама в прокопченных пригородах из английских фильмов о рабочем классе,— они объявляют о спортивных состязаниях команд судоверфи.

В средневековье кораблестроение считалось магическим искусством, в некотором роде таинством. Уметь ходить по воде всегда было привилегией святых. Гость судоверфи ждет от своего посещения чудесного приобщения к этому таинству. Но вся магия гибнет в адском шуме труда фрезеровщиков и котельщиков. Обрабатываемая жесть издает лающие звуки, как на Страшном суде. Листы железа воют и визжат от смеха при мысли, что им предстоит плавать на воде, а все морские черти из царства Нептуна — веселые ребята, смеются (абсолютно беззвучно) вместе с грохочущей сталью, как будто только что видели игру сборной страны по футболу или вернулись с обеда. Предупредительные щиты на перекрестках путей посетитель относит исключительно на свой счет:

ВНИМАНИЕ! ПРЕСС!
БЕРЕГИСЬ! ОГНЕОПАСНО!
ОСТОРОЖНО! КРАН!

В Главном управлении судоверфи — большом салоне карабельных модельеров — мне рассказывают, как строится судно. Это очень просто, говорит инженер-судостроитель, сам в безупречном костюме и с непроницаемой маской бесстрастного математика на лице. Я весь взмок от усердия и внимания и никак не могу себе представить, каким образом Франц Фюман все это понял и даже смог изложить в своей книжке,— все то, что я сейчас слышу и не могу понять. Я старательно все записываю, но из-под шариковой ручки совершенно непроизвольно выплывает пароходик с тремя дымящимися трубами — я принес его детям как сувенир с судоверфи «Нептун».

Спустившись опять вниз к самой воде и стоя у эллинга, где строят суда, я думаю о том, что помимо всех этих автогенов, перфолент и фотоэлементов, о которых так образно говорил инженер, в конце концов все упирается в великий труд людей, здесь, у воды, собирающих все эти части вместе. Для постороннего глаза то, что ждет своей очереди у эллинга,— нечто ржаво-рыжее в живописных зеленых пятнах водяной ряски, как на картинах Джексона Поллока,— скелет динозавра, который превращается у пирса под действием кислородных баллонов из мифического существа в земную реальность. Получившее крещение и приобретшее имя морское чудовище в ту же ночь уплывает, а нептуновцы собирают тем временем новый скелет, и инженеры-проектировщики уже тут как тут с чистыми листами ватмана, чтобы создать следующее детище еще быстрее, проще и рентабельнее.

Вдали, по ту сторону Кабутценхофа, за стальными распорками и решетками, паукообразными кранами и карабкающимися по ним рабочими, лежит город. Я стою на плавучем доке, мне кажется, что меня несет к берегу.

Примеры

Нептуновцы пишут свою литературу. 119 членов старого просветительского кружка породили авторов бригадных дневников. Их строки, как и книги литераторов-профессионалов,— самовыражение их души (с чем никогда не соглашаются авторы), но только бесхитростнее и доступнее. Они вмешиваются в общественную жизнь судоверфи, не требуя разъяснений рецензента по этому поводу. То, что они не обязаны в угоду жанру и стилю называть будни БУДНЯМИ, возводит их литературу в ранг справочного подспорья для будущих историков. Кто построил семивратные Фивы, и что за ошибки имели при этом место, и о чем спорили во время обеда, рассказывается здесь без околичностей — все фиксируется на бумаге. Дневники бригады Лерха из слесарной мастерской судоверфи «Нептун» — одной из лучших бригад среди 223 соревнующихся коллективов — рассказывают о:

рабочем задании бригады;
трудовых показателях;
циркулярах дирекции;
критическом анализе работы каждого отдельного члена бригады;
критике работы всей бригады в целом со стороны членов бригады;
переписке с подшефной школой;
договорах с ростокским театром о шефстве;
высказанных мнениях по позоду театральных постановок;
приветственных адресах;
характеристиках каждого рабочего, включая спортивные увлечения;
поездках за город (с фотографиями);
карнавале;
посещении больных;
принятых бригадой решениях;
взглядах и точке зрения каждого;
членстве в партиях и других организациях;
прибавлении семейства.

Радостное событие: сегодня мы от души поздравили Р. Коля с рождением дочки. Жена и маленькая Симона чувствуют себя отлично...

Объявлено общественное порицание в связи с употреблением алкоголя в ночную смену: звеньевой всегда должен быть хорошим примером для других...

Коллектив под руководством Лерха вышел победителем по производственным и культурно-экономическим показателям в соревновании передовых коллективов в честь двадцатилетия ГДР.

О бригадире: Альберт Лерх был принят на работу в августе 1950 года жестянщиком. Окончил вечерний инженерно-экономический факультет и приобрел специальность инженера-технолога. В его бригаде 13 женщин и 25 мужчин; вот уже в течение многих лет бригада держит первенство в социалистическом соревновании. В начале октября 1969 года А. Л. назначили старшим инженером, бригада преподнесла ему цветы и сочинила стихи в его честь.

Рабочие слесарных мастерских судоверфи «Нептун» приветствуют своих коллег с судоверфи Ленинграда в связи с 50-летием Октябрьской революции!

750 лет городу Ростоку: мы гордимся этой датой и славным городом Ростоком...

Во всем должно проявляться взаимное уважение. Коллега Й. покинула свое рабочее место, потому что коллега К. отдал распоряжение в неподобающей форме... При выяснении дела было решено, что условием любой совместной работы должно быть вежливое обращение друг с другом...

Как обстоят дела с работой у членов Союза свободной немецкой молодежи?

Годовой отчет за 1967 год: плановое рабочее время — 67 000 часов. Отработано— 93 804 часа. Нам приходилось спорить по некоторым вопросам, чтобы выполнить поставленные перед собой задачи. В итоге их выполнения самосознание коллектива окрепло и выросло...

Дорогие шефы! Следопытов нашего класса интересует тема: «Развитие судоверфи «Нептун». Не можете ли вы нам помочь? Ученики и учителя 8 «А»...

Парад

Газета «Остзее» сообщает на странице, отведенной Ростоку: в пятницу в Росток прибудет флотилия. В пятницу в 10 часов утра мы отправляемся из отеля на нижний Варнов, где смотрим на ростокцев, а они — на флотилию. Протиснувшись наконец сквозь толпу возбужденных людей, мы тоже видим флот у пирса в городском порту. Он состоит из кораблей Балтийского Краснознаменного флота. Они пришли на празднование Дня республики — город украшен флагами расцвечивания, цепочки их протянулись от дома к дому по всему городу. Суда на рейде тоже подняли флаги и украсились гирляндами мигающих огней, как карусель в городском парке. Праздник начался с того, что рано, в семь часов утра, перед Домом пароходства раздались мощные

звуки фанфар и барабанная дробь. Мы смотрим на музыкантов сквозь закрытые окна отеля и слышим трансляцию праздника по радио — полный эффект телевизионной стереопередачи.

С моряками Краснознаменного флота ростокцев познакомили заранее — в газете появлялись их лица — маленькие фото, как на документ, без головных уборов. В газете за среду рассказывалось о специалисте 1-го класса Анатолии Викторовиче Чулкове. У него двенадцать благодарностей, сообщила газета, он отличник боевой и политической подготовки. Сейчас у моряков на серых плоских канонерках в низко надвинутых бескозырках нет никаких шансов быть узнанными по тем маленьким фото. Но они форсируют знакомство сами — спускают на берег трапы, по которым первыми карабкаются дети, напутствуемые громкими криками пап и мам, не решающихся последовать за ними. Громкоговорители оповещают собравшихся о наиболее интересных номерах в программе праздничного парада. Настроение у всех приподнятое, как на большом спортивном празднике. Высоко над нами виден город — Дом пароходства, международный отель «Варнов», церкви, возведенные на дальних холмах. Мы продвигаемся туда, куда подталкивает нас толпа и откуда громче всего несется маршевая музыка,— мы ждем, как и все, чего-то необыкновенного. Из того, что сказал громкоговоритель, мы не поняли ни слова и поэтому страшно поражены, когда с неба вдруг падает человек — над нами кружит, оказывается, вертолет, шум которого потонул в общем гуле у причалов. Человек в полном обмундировании водолаза камнем падает в Варнов, а громкоговоритель опять комментирует события. Дети задают вопросы и издают ликующие крики, их родители, прочитавшие до этого газету, знают, в чем тут дело. С неба должны появиться еще водолазы, но что происходит дальше, не видят даже дети, сидящие на плечах у отцов. Водолазы уходят под воду по другую сторону канонерок и исчезают в холодном Варнове — температура воздуха в этот день из-за скандинавского циклона всего 11°. Смысл операции, кажется, в том, чтобы устранить какие-то неполадки или что-то отремонтировать. Моряки не то с подветренной, не то с наветренной стороны видят это лучше нас, наблюдая за пузырями на воде. Немного погодя появляется первый водолаз — совсем в другом месте по сравнению с тем, где он упал в воду,— он торопится скорее выбраться на сушу. Его с восторгом приветствуют те, кому повезло стоять там, поблизости. Он в ярко-желтом костюме. Старшина 1-й статьи Чулков и все советские моряки радуются на палубе быстроте действий их немецкого товарища по оружию. Ведь помимо всего прочего этот парад демонстрирует боевое содружество в районе Балтийского моря, что делает мир реальной и математически точно рассчитанной величиной.

Северные курорты

Море, иногда не знаешь, что
у него на уме.
В иной полдень оно пахнет
семейством, расположившимся у него
на берегу.

Рафаэль Альберти

Полтора миллиона немцев, распределяясь с мая по октябрь, проводят свой отпуск на берегу Балтийского моря. Они сбрасывают все лишнее одеяние, привезенное с собой и на себе, а в особых резервациях скидывают весь текстиль до конца, так что только работников пляжа, да от случая к случаю полицию можно опознать по одежде. Они берут напрокат пляжную корзину — их плетут в Херингсдорфе и доставляют на пляж к началу сезона на лошадях и ручных тележках — и устраиваются в них так, чтобы не потерять из виду солнце. Право на пляжную корзину — священное право каждого, интервентов, посягнувших на него, прогоняют, и вслед им несется недоброе слово. На ночь некоторые корзины запирают на все замки и засовы, так что они имеют вид пляжных уборных. Взломать такой замок и проникнуть туда под силу только изобретательным влюбленным. Другие отдыхающие предпочитают окапываться под натянутым тентом, скрываясь от посторонних взглядов и ветра; самые страстные любители природы строят себе вигвамы — там, где море еще зимой припасло для них строительный материал: гладкие отполированные сучья, ветки кустарника, водоросли и деревянные обломки, смытые с судов и выброшенные на берег терпеливыми волнами. Береговая охрана предусмотрительно позаботилась о том, чтобы не весь песок уносился с пляжа на подошвах, в сандалиях и между пальцами ног. Отгороженные подходы к морю оберегают песчаные дюны, где, охраняемый государством, буйствует нетоптаный овсюг. Минуешь проходы и вдруг — словно раздернулся занавес: показывается море во всей своей наготе. Актеры купального сезона позируют стоя, лежа на песке или погружаясь в море. Новичок задумчиво ковыряет ногой в песке, чего-то ждет и смотрит выжидательно на море. Если он простоит так очень долго, то сделает для себя открытие, поняв тот день, такой же голубой и высокий, в который зародилась жизнь, когда живая материя выкарабкалась, на четырех ногах или больше, из морских пучин на берег, как уверяет нас наука, опираясь на факты. Начало было здесь. На берегу в Варнемюнде Эдвард Мунк запечатлел самую суть райской жизни, перенеся сад Эдем сюда, на берег Балтийского моря. Но история Адама и Евы и здесь имела печальный конец. Слишком уж много материи в образе потомков легло к их ногам. У Мунка были свои неприятно-

сти, ему казалось, что в Варнемюнде его преследует дух Стриндберга, который, превратившись в могучего Ветра, опрокидывает его мольберт.

В зависимости от читаемой на берегу книги, море это способно приобретать любые краски и может превратиться даже в Средиземное, тогда песни Гомера, не понеся потерь от дешевого издания в серии «Reclam», свободно потекут, пока песок не засыплет страницы и не заставит взглянуть поверх них.

Из Ростока мы поехали на море, наконец-то! Светит солнце, но внезапно на длинное гладкое шоссе лег густой туман. Прибыв в Варнемюнде, мы изучаем сводку погоды на морской метеорологической станции. Она — как телеграмма неведомого бога: АНТИЦИКЛОН 1032 МБАР ВЕНГРИЯ ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОХОДИТ СТОРОНОЙ 1025 МБАР ЦЕНТР СЕВЕРНОГО МОРЯ, 1020 МБАР ВОСТОЧНЕЕ ИСЛАНДИИ В НАПРАВЛЕНИИ НА ВОСТОК! ЦИКЛОН 983 МБАР ЮЖНЕЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ ДВИЖЕТСЯ НА ВОСТОК. ЦИКЛОН 1005 МБАР ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ИРЛАНДИИ ПОЧТИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.

Полная абракадабра. Над нами серое небо, у ног черно-зеленая вода. То, что по метеорологическим данным между Баренцевым морем и Ирландией почти без изменений, нас нисколько не касается. Мы обращаемся в бюро путешествий, оно настроено оптимистично. Тогда мы покупаем билеты на морскую экскурсию по гавани. Варнемюнде выдвигается из тумана, как декорации из-за кулис. Вода затопила в акватории порта лес, как написано в путеводителе, Балтийское море литоринового периода опустилось на 20 м, и обнажились меловые берега острова Рюген. Двести лет назад Варнемюнде был ростокской колонией, лишенной всех общинных и цеховых привилегий Ростока. Лишь в середине прошлого столетия ростокцы разрешили его жителям иметь собственные булочные и мясные лавки. Зато Варнемюнде опередил их в другом — он давно уже держал нос по ветру, во всем подражая старинному немецкому курорту Хайлигендамм, с 1793 года облюбованному немецкой аристократией. Говорят, знать въезжала в море на деревянных экипажах, на каких в других странах доставляли на эшафот. В воду спускали маленькую лесенку, так что даже и в воде можно было сохранять свое положение au dessus [1]. Аншлюс с галантной модой удался Варнемюнде лишь наполовину — слишком многочисленны были бюргеры, заполнившие пансионы, богатые виллы на берегу моря — резиденции нуворишей — с большими открытыми верандами, с которых море просматривалось, словно разложенное перед ними на витрине. Варнемюнде мог похвастаться кругленькими суммами: если Росток насчитывает во время экономического кризиса семь тысяч безработных, то Варнемюндские ведомости от 15 июня 1932 года самодовольно сообщают о двадцати девяти тысячах прибывших на летний сезон на курорт Варнемюнде. Отцы семейств изучают на пляже по газетам котировку берлинской биржи, в то время как солнце все так же расточительно погружается на горизонте в воду. На заре тридцатых годов Варнемюнде принадлежит, как и описанный Генрихом Манном Херингсдорф, к «предместьям Берлина». Как Ницца, Биарриц или Сан-Себастьян, Варнемюнде становится fashionable [2] на краткий период пестрых летних карнавалов. Паром, как пунктир, соединяет его с датским городом Гедсер. В отблесках чужого колорита — северной мелсвой пастели, серо-лиловом северном море, ржаво-красной полоске колючих кустов облепихи между песчаным берегом и набережной-променадом, красках Эдварда Мунка — чувствуется влияние богемы Христиании.

Мифологические ветры угодили в этом позднем сезоне в метеорологическую сводку. Утренний туман заслуживает, правда, более сочного определения, чем «густой». Чем глубже в город, тем тише ветер, движения почти нет, улицы прибраны. Фотоателье и маленькие магазинчики мелких галантерейных товаров ни на минуту не забывают о своих фасадных витринах. Репродукции стандартных цветных открыток, рассчитанные на вкус от обывателя и чуть выше,— повсюду предмет торговли живописным прошлым. Старый маяк с кольцами по цоколю держит среди них первое место, а в это время новый Варнемюнде вписывает в небо свою новую, издалека бросающуюся в глаза эмблему — кабельную крановую установку судоверфи «Варнов». Стилизованное двойное WW — Верфь «Варнов»,— на каждом шагу встречающаяся монограмма судостроителей, которой они метят свою собственность в городе — детские сады, спортивные площадки, жилые кварталы. Варновцы — единственные среди курортников, кто имеет круглогодичный доступ к морю, пешком — это небольшая прогулка, на мопеде — всего минута езды.

Туман и сырость прогнали сегодня курортников с моря. Брошены без внимания пляжные корзины, похожие на пустые, разграбленные раковины. Море забросало за ночь весь пляж морскими водорослями. Разбитые ящики, ставшие опять естественным куском дерева, валяются кругом вместе с пластмассовыми упаковками, так и оставшимися пластмассовым мусором. Явные улики присутствия человека на земле, неразличимые детали пляжных атрибутов, как будто разбросанные Ивом Тэнги для своих сюрреалистических натюрмортов. Одинокий купальщик отрешенно смотрит на волны, потом, совершив священный ритуал омовения груди и рук холодной водой, бросается, как одержимый, в ледяную воду. В воздух взмывает цепочка чаек, а гуляющие по набережной поднимают, ежась, воротники и смотрят на удаляющуюся в море точку.

---

[1] Здесь — над другими *(франц.)*.
[2] Модный *(англ.)*.

Люттен-Кляйн

Тот, кто не в отпуске, тот возвращается в это время домой. Домочадцы собираются в кругу семьи на ужин. Люттен-Кляйн, протянувшийся вдоль дороги, зажигает огни. Сто тысяч человек будут иметь здесь свой кров, как только вырастет новый городской район между Ростоком и Варнемюнде. А пока не так уж много народу в дороге в этот час. Автобусы тормозят на остановках, где еще вчера паслись коровы. С сумками и портфелями в руках люди расходятся по улицам, названия которых сулят, с нашей точки зрения, непрерывный отпуск: это известные курортные места Бинц, Засниц, Узедом, остров Рюген. С западной стороны тянется Балтийская аллея. А позади раскинулась огромная, как море, строительная площадка нового района. Росток и Варнемюнде все еще сохраняют обоюдную независимость, Люттен-Кляйн замкнет их навечно, в этом нет никаких сомнений, кроме одного — а как же коровы, которые только что паслись на зеленых лужайках? Для них нашлось место на Дарсе, где осушили для этого болотистые места. Самое большое в стране кормовое хозяйство с длинным названием «Народное предприятие Цингст-Дарс-Фишланд» позаботилось об этом.

Мы договорились о встрече с капитаном «Теодора Шторма» в одной из квартир на Узедомерштрассе. Но мы опоздали, капитан ушел на своем банановом судне в Кито или Иокогаму — для Люттен-Кляйна дальние расстояния не проблема. Вместо него мы застаем радиста со «Шторма» — он в отпуске и сразу посвящает нас в тайны семи морей.

Бананы, yes, бананы

Ганс Андрес — радист с «Теодора Шторма» — окончил школу в Лейпциге и оказался перед выбором: освоить профессию банковского служащего или податься на полуостров Фишланд в мореходное училище в Вустрове. Он выбрал Вустров и основанное там в 1846 году училище. После трех лет учебы А. получает диплом радиста, согласно которому разбирается в тайнописи условного языка своей профессии, а также в английском, русском, французском и испанском языках. На вид ему лет 25, он мог бы произвести впечатление на своих старых школьных товарищей рассказами о случаях в портовых городах, если бы захотел, и детальным перечислением всех марок виски. Он — умелый рассказчик. По-видимому, его самого несколько забавляют его глобальные познания, не являющиеся обыденным жизненным опытом его поколения. У него была японская подружка — он говорит об этом, как о трюке в кино. Мы беседуем о Гаване (тут я могу еще участвовать в разговоре на равных), Иокогаме, Сантьяго, Сантьяго-де-Куба, Сиднее, Вальпараисо, Кито, Мурманске, Санта-Марте в Колумбии, Амстердаме, Ванкувере, Кантоне, Неаполе, Ханое. От Ханоя мы переходим к Сайгону. Есть матросы, говорит он,— шведы, например, и другие тоже,— которые перевозят американское оружие за тройное вознаграждение.

А. знает, что такое ураганы. Тайфунам, говорит он, всегда дают женские имена, вероятно, за их капризный нрав. Об ураганах в Индийском океане он умалчивает, когда пишет домой письма матери в Лейпциг. Пусть дома думают, что мореплавание — это безоблачное синее небо. Бывает и такое. Но не всегда. А.— большой знаток заморских стран, то есть футбольных полей всех портовых городов — бурых в зоне тропиков,— где разыгрываются матчи судовых команд. Встречи организует портовый пастор. На «Шторме» плавает 30—33 человека. И женщины? Жены. Раз в году жену разрешается брать с собой в рейс. А. холост.

Южнее Антильских островов встречаются опасные болезни. Обычно достаточно прививки. У всех на судне медицинское образование, судовой врач полагается только тогда, когда в команде свыше 50 человек. В особо сложных случаях — аппендицит, пищевое отравление (существует, правда, международная служба оповещения, у которой можно проконсультироваться при закупке мяса) — пользуются услугами А., он манипулирует со своими чудо-аппаратами, и на другом конце провода отзывается клиника в Берлине.

У А. узкая профессия, он — специалист по бананам. Но он терпеть не может бананы. Судовой кок не соблазнит команду никакими банановыми деликатесами. «Теодор Шторм» — банановоз народной судоходной компании «Дойче зеередерай» в Ростоке. Устаревшее название для судна, похожего скорее на плавучий холодильник приторно-белого цвета. Запасы краски на борту обновляются так же часто, как и питьевая вода. По мировым стандартам — это одно из самых быстроходных судов своего класса. Образцовое судно международного уровня, говорит А.

Сначала в распоряжении судоходной компании было только угольное грузовое судно «Форвертс» [1], не всегда соответствовавшее своему императивному наименованию. Сегодня оно служит наглядным пособием для юных пионеров Ростока и для гостей, которым хотят продемонстрировать, как выглядит переход в высшую качест-

[1] Вперед *(нем.)*.

венную категорию. С тех пор построено несметное количество судов. А. перечисляет их, что доставляет ему удовольствие, но ни одно из них не идет в сравнение с «Теодором Штормом». «Шторм» всем им даст сто очков вперед. Но такое судно изнашивается, как пара ботинок, говорит он без всякого сожаления. Через десять лет мы заменим его новым. В нашем деле самое главное — темп. Транспортировка бананов — это олимпийский вид спорта. Золотые медали получает вся команда в целом, за счет той фирмы, которая зафрахтовала «Шторм» Стоимость одного рейса составляет примерно 80 000 долларов. Быстрокрылая чайка на вес золота. Тот, кто придет первым, тот первым и разгружается. Например, в Иокогаму идут три банановоза, а разгрузить в порту могут только один. Проблема перевалочных возможностей порта и чувствительности груза к хранению. Ведь бананы, какого бы сорта они ни были, капризны. От Сомали до Неаполя они выдерживают на борту «Шторма» только 18—19 дней. Потом они начинают капризничать. Доставленные на борт за 30 рабочих операций бананы «отправляются на покой», как говорит команда. Но при этом строго выдерживается температура в 12—13°. А. всегда узнает первым, как чувствуют себя бананы у них на борту, потому что он должен ежедневно докладывать об их состоянии своей судоходной компании в Росток. Самочувствие бананов — ежедневная тема для разговоров на судне. Недомогающая принцесса государства Монако вряд ли пользуется большим вниманием на яхте своего супруга-миллионера. Раньше на борту был специалист, который по запаху определял, какие из бананов не перенесут путешествия, и срезал их со связки. У современных контрольных приборов более тонкое обоняние.

Например, в 1968 году, рассказывает А., когда закрыли Суэцкий канал, нам приходилось огибать всю Африку, чтобы доставить наши бананы в Неаполь. «Шторм» все время на стайерской дистанции, в Росток ежедневно поступают победные депеши: «Бананы чувствуют себя нормально, в Неаполь прибудем в срок». Но один ловкий человек в Неаполе, который работает на конкурентов, нанимает до прихода «Шторма» все транспортные и разгрузочные средства вплоть до ишаков. Так он поджидает свое судно, которое прибудет днем позже. На неапольской бирже идет тем временем торг о ценах на бананы, которые везет конкурирующая фирма, и «Шторму» пришлось завернуть и взять курс на Росток.

В какой порт направляются конкурирующие друг с другом банановозы, остается top secret. Но конкуренты переговариваются в эфире, пускают друг другу пыль в глаза, говорит А., тут нужно держать ухо востро и уметь делать соответствующие выводы. А потом выход только один — полный вперед! А. уверяет, что для него — одно удовольствие решать эти кроссворды из эфира. О том, чего он не знает, он может справиться в своего рода международной телефонной книге (несколько страниц из нее мы найдем потом на берегу Хиддензее), в которой суда обозначены шифром, так, «Шторм» — буквами DDWP, что в переводе А. означает: Дельта Дельта Виски Папа. По просьбе капитана или команды А. может наколдовать радиосвязь с любым островом или континентом. В своей побочной роли почтальона команды он сообщает домой на Рюген день прибытия «Шторма», чтобы жены положили ключ от квартиры под коврик и поставили горячий кофе в духовку. Но и эта радиограмма, само собой разумеется, строго секретна, чтобы никто из посторонних не нашел ни жены, ни ключа и не выпил горячий кофе.

Тот, кто отправляется в рейс без своей половины, тот разгоняет скуку книгами, пластинками, магнитофоном. Кухня на «Шторме» что надо, если, конечно, не вмешиваются женщины, что на борту. Их кок, уверяет А., изо всех сил старается опровергнуть матросскую истину, согласно которой чем чище повар, тем хуже соус, и наоборот.

Ганс А., который из каждого рейса привозит домой слайды, чтобы его друзья в Лейпциге могли посмотреть, как работают шлюзы Панамского канала и что такое стриптиз в токийских ночных клубах, не может себе представить лучшей профессии. Романтическая тоска по морю? Едва ли кто из команды «Шторма» родом из Северной Германии, почти все из центральных или южных земель страны, где горы ниже гребня морской волны при сильном шторме.

Между прочим, теперь уже не редкость, если бананы разгружаются в ростокском порту (без козней конкуренции) — там построена холодильная установка для нашей экзотической неженки.

Австралиец

Австралиец прибыл в конце пятидесятых годов, если я не ошибаюсь, чтобы познакомиться с побережьем и людьми. Он прибыл из Берлина, его привезли на «волге» в Росток сразу после окончания конгресса профсоюзов. Австралиец — профсоюзный деятель, больше того, он — председатель профсоюза портовых рабочих. Он напоминает такую легендарную фигуру, как Джо Хилл, или голландца Михеля, если иметь в виду рост. Он разговаривает с высоты по меньшей мере одного метра восьмидесяти восьми сантиметров, не каждый может похвастаться такой высотой,

я, во всяком случае,— нет. У австралийца пышные усы и глаза старика, много и долго смотревшего на море. Этими глазами он смотрит на меня сверху, когда я перевожу ему слова сопровождающего, пытаясь подражать раскатистому австралийскому «а», но мне мешает выражение его глаз, которые снисходительно спрашивают: «Ну что ты там плетешь, малыш?» Конечно, австралиец не говорит на мекленбургском диалекте, но если бы он был немец, то говорил бы только так. Мы, сухопутные крысы, лезем из кожи вон, стараясь объяснить ему, морскому волку, что́ можно посмотреть здесь, на побережье между Висмаром и Аренсхоопом, мы показываем ему разбитую бомбами Лангештрассе в Ростоке и старое корыто «Форвертс», рассказываем о планах строительства океанского порта Росток и о том, что́ здесь должно быть и как через несколько лет вся местность — эти бывшие феодально-юнкерские поместья, задворки Германии, пасынки политики Бисмарка — превратится в высокоразвитый индустриальный район и станет образцово-показательным округом ГДР. Мы верим, что не втираем ему очки, когда вечером за столиком в Доме Столтераа в Варнемюнде продолжаем этот разговор и кормим его цифрами и статистическими данными. Австралиец кивает, он все понимает, только изредка задает вопросы, например: сколько человек размещается в каюте торгового судна? Двое, говорит сопровождающий, и австралиец отвечает: плохо, матросу тоже хочется побыть иногда в четырех стенах одному. В ответ мы объясняем ему, что́ такое коллективное мышление и экономия в постепенно развивающемся торговом флоте. Австралиец закатывается раскатистым хо-хо-хо, он в два-три раза старше нас. Он спрашивает нас, участвовали ли мы когда-нибудь в забастовке. Нет, говорим мы, а сопровождающий, сдавший все свои экзамены в школе имени Фрица Геккерта на «отлично», втягивает его в разговор о политике эмбарго и необходимости устранения всех препятствий с пути. Мне нужно при этом время, пока я разберусь в каждом слове и попытаюсь передать его по-английски. Австралиец неодобрительно смотрит на капитана торгового голландского судна, который в холле гостиницы положил ноги на стол, на один из тех смехотворных столиков-фасолин пятидесятых годов. Что этот тип себе думает, говорит австралиец, где он находится, может, на Суматре?

В начале семидесятых годов, когда я опять сижу в Доме Столтераа за чашечкой послеобеденного кофе и вспоминаю австралийца, никто уже не кладет ноги на стол. Ресторан прибран в ожидании делегации с Кубы или Цейлона, девушки стоят в кружок и расправляют свои коротенькие белоснежные переднички, на столах фарфор, а тюлевые гардины слегка затуманивают то фиолетовое, то черно-синее море. Белые пароходы на горизонте — это те суда, которые мы видели в пятидесятые годы на эллинге судоверфи «Варнов»: старые, проржавленные, дырявые корыта, покрытые зеленью. Сегодня мы могли бы назвать австралийцу совсем другие цифры, более того, сегодня мы просто не нуждались бы в них. Я не уверен даже, смогли бы мы показать ему все, как та благополучная, давно обставившаяся новой мебелью семья, которая лишь в самом начале, только переехав на новую квартиру, показывает гостям каждую тарелку и каждый стул, называя сумму, затраченную на их приобретение,— соответственно выработку в часах, скрытую в том стуле, на котором сидит гость.

С австралийцем я плавал в Швецию, что чуть не стоило мне жизни. Эти мирные воды, оставленные злыми духами стихии в покое, от 20 до 30 саженей глубиной всего (1 сажень = 1,85 м), взволновались так, словно кобольды всех балтийских саг легли на живот и дули что есть мочи на море, казавшееся австралийцу, вероятно, чем-то вроде лужи. Путешественник с берегов Средиземного моря Федерико Гарсиа Санчес, видимо, выбрал другое время года для своего путешествия в Швецию, он пишет: «Поезд ринулся в море, но его подхватил пароход и надежно спрятал в своем трюме. Балтийское море — тихое озеро с зелеными берегами, в спокойных водах отражаются крыши хутсров и кроны кудрявых деревьев». Прибыв в Швецию, Гарсиа Санчес любуется целью своего путешествия — Венерой Севера. Мы же с трудом удерживаем в руках тарелку, в то время как за бортом все пенится и шипит. «Isn't it marvellous?» [1] — говорю я австралийцу, как старая английская леди, падкая на ханжество и лицемерие, говорю именно в тот момент, когда окончательно теряю равновесие и распластываюсь на дощатой палубе. Когда железнодорожный паром «Засниц» прибывает в Треллеборг — на другом конце Балтийского моря,— я не в состоянии любоваться красотами шведского берега, и сообщение капитана, что один из паромов — не то наш, не то шведский — врезался во время шторма в мол и помял его, вызывает во мне чувство злорадного удовлетворения.

Но между Засницем и Треллеборгом мы еще спускались в утробу судна. Осмотры были самоцелью этой поездки. Мы выпустили из рук край стола и отправились по узкой отвесной лестнице вниз — в черную, грохочущую, выпачканную маслом бездну, австралиец впереди, полный пробудившегося в нем энтузиазма, как только он почувствовал ритм машинного отделения, и я, более безучастный, вслед за ним. «O stop that crying honey dear!» [2]

Каждый знает, как выглядит внутри машинное отделение — тесное рабочее помещение, с узкими проходами между машинами и трубопроводами, с двигающими-

[1] Правда, чудесно? *(Англ.)*.
[2] О, хватит рыданий, дорогая! *(Англ.)*.

ся толчками поршнями, в переплетении кабелей. На все это смотришь со страхом и удивлением, как на мачту высокого напряжения, и не знаешь, можно потрогать или нет, действительно это смертельно опасно, когда она такая стройная и ладная стоит среди лесов и полей. За бортом кипело зеленое и белое море — игрушечное Балтийское море, в которое штормы Атлантики проникают через узкий пролив шириной не более 50 километров. Здесь, в машинном отделении, иллюминаторов нет, воды не видно вообще. Труженики моря с сияющими, лоснящимися лицами разглядывают высокого гостя, хотя вопросы, которые он задает, дробят коленчатые валы и гасят шипение вентилей. Да, но у австралийца есть еще, кроме того, десять пальцев. И вот разговор уже бойко налажен, все расстаются наилучшими друзьями. Позже мне объяснили, что кто-то переводил с английского на мекленбургский диалект, потом на немецкий и тем же путем назад — и не было никаких недоразумений. Море, по-видимому, вооружило людей, населяющих его берега от Балтики до Австралии, единым языком, понятным им, как речи Демосфена, упражнявшегося с камешками во рту в шуме морского прибоя.

С той поры я уважаю Балтийское море, приравнивая его к настоящим, и предпочитаю, чтобы другие плавали в Швецию.

Как возникло море

Процессы образования в пермском периоде: 270 миллионов лет назад Тюрингия была покрыта гладким морем, которое испарилось.

Из тетради по географии моей дочери

Как родилось солнце, рассказывает австралийская сказка. Солнце — это журавлиное яйцо. Однажды страус эму и журавль, которые были тогда великанами, заспорили друг с другом, и журавль в сильном гневе забросил яйцо в небо. Оно ударилось о колоду дров, разбилось, желток растекся по дровам, и дерево запылало. Все звери и птицы с удивлением смотрели на небо. Людей тогда еще не было. Загорелся огонь, и наступило утро, дрова полыхали ярким пламенем — настал полдень. Дрова прогорели и лишь слабо тлели — пришел вечер.

Да-а, это про солнышко, говорят дети, а про море? Сначала земля была пустынной и голой, совершенно высохшей и бурой. Солнце смотрело на этот уродливый шар и сердилось. Но вот оно послало вниз петушка, тот отложил два золотых яичка, одно из которых он разбил, и семь могучих рек потекли в разные стороны. Они напитали влагой землю, пробилась трава, и зацвели сады — яблок, груш, фиников и белого хлеба было в изобилии. Только протяни руку. Петушок кукарекал утром и вечером, чтобы люди знали, когда им вставать, а когда ложиться спать. Но от обилия фиников, дынь, белого хлеба, брынзы и слив люди стали чахнуть. А больше всего их беспокоил петушок. Они хотели жить в довольстве без петушиного крика. Тогда они пошли к нему и обвинили его во всех своих бедах. Рассерженный петушок поднялся со своего места и полетел назад к Солнцу. И вот тогда люди нашли в гнезде петушка второе яйцо. Они тотчас же его разбили. Хлынули потоки воды, холодная неприветливая вода затопила землю. Все люди погибли, кроме одного, он был словенец, потому что это — словенская сказка. Он уцепился за виноградную лозу и провисел на ней девять лет, питаясь виноградом. Дьявол помог ему в этом — когда вода поднималась, виноградная лоза тоже тянулась вверх. Конечно, за эту любезность словенец должен был отплатить черту. Меткой стрелой он снял петушка, а черт изжарил его и съел. В награду за услугу черт сделал из винограда вино, словенец сразу заснул, и ему снились страшные сны. Кругом клокотала вода, так навсегда и оставшаяся на земле морем.

Ну, а как оно возникло на самом деле? — спрашивают дети, когда мы лежим на берегу. Что было вначале — море или суша? Понятия не имею, говорю я, что было вначале — яйцо или курица? Факт только, что о море знают, в сущности, меньше, чем о луне. Время от времени естествоиспытатели опускаются в морские глубины, как, например, Жак Пиккар и Дон Уолш в батисфере «Триест» на 10 916 м. Исследователи обещают нам только по несмелым предварительным подсчетам три биллиона тонн урана, меди, никеля, цинка и молибдена — химические элементы, облагораживающие сталь, а также нефть. Пролитая нефть загрязняет море, замутняет его. Выброшенные на берег нефтяные пятна лежат всюду на пляже в Аренсхоопе, как черный деготь. Рабочие пляжа сгребают их за ночь лопатами и уносят прочь, а мы несколько дней бегаем с перемазанными пятками. Свыше 70 морских растений, рассказываю я детям, известных сегодня, годятся в пищу. Японцы нашли способ приготавливать вкусные блюда из морской капусты и морских водорослей. С помощью волшебной палочки морские водоросли превращаются в зубную пасту, антибиотики, цветную пленку и косметику. Из моря можно сделать даже сушу. Однажды, когда Висмар, Росток и Штральзунд окажутся перенаселенными, их продолжат по морю и мы пешком пойдем в Данию или Швецию.

Мы бродим по пляжу, смотрим, что выбросило море. Мы находим пластмассовую коробку для яиц и датский пакет из-под молока. Волны у Хиддензее подарили поэту

Кунерту совсем другие сувениры — канистру темно-красного итальянского корабельного лака, китайскую колоду карт и полфунта пряного порошка керри, по-видимому, еще времен королевы Виктории, потому что, как пишет Кунерт, во всем Лондоне не нашлось второй такой банки керри. Мы же подозреваем, что все эти дары моря заботливо приготовила и разложила на пляже добрая фрау Кунерт, которая знает, что мир — это то, что мы находим. Мы стоим, смотрим и ждем дароносной волны.

Хиддензее

Транзистор передает «Hail, we drive the water, hail, we drive the sky»[1]. Мария натягивает свою кепочку на челку и пританцовывает на месте. Мы складываем свой багаж на причале и ждем. На набережной Штральзунда стайка желающих уехать на острова Рюген и Хиддензее — изгнанные в начале мая в отпуск. Мы пускаем музыку немного громче, семь часов утра, «поп» приводит в движение ожидающих, последний толчок — и весь причал притоптывает. Но вот сбрасывают трап, соединяя море и сушу. Двое молодых ребят в пуловерах продолбывают этот трюк, в то время как капитан — он же штурман, между делом он собирает еще плату за проезд, пока его помощник держит штурвал,— наблюдает со своего мостика за их действиями. Они не торопятся, с олимпийским спокойствием рабочих, которые на ярмарках приводят в движение карусель, подталкивая ее, они делают свое дело. Мы покидаем сушу и ищем на пароходе места получше. О том, какие места лучше, мнения расходятся. На верхней палубе — прекрасный вид. Но опыт подсказывает, что там будет холодно. Ветер. Средняя палуба сулит приличную видимость и надежное укрытие от ветра. В самый низ пойдут те, кто пришел последним,— это все равно что трюм, ниже ватерлинии. Свет на воде отбрасывает блики на потолок. Внизу сидят, тесно прижавшись друг к другу, как на прогулочном катере, до Клостера три часа — целая вечность, как переезд через Атлантику. Путешествия изменяют обычные представления о времени. Оказывается, все возможно, думаем мы вновь, начиная путешествие на остров — узкий серп луны, отражающийся в воде.

Мы сидим на верхней палубе, вооружившись против холодного ветра ростокской водкой, налитой в бутылку из-под виски, и трубкой, чтобы поочередно греть руки. Я смотрю в книгу, Мария смотрит вокруг. До третьей склянки мы не отойдем. Прогревается мотор, пахнет машинным маслом. Над теплоходом с криком носятся чайки, весь порядок они знают лучше нас и уверены в своем ежедневном рационе хлеба и сладостей. Здесь откармливается аристократическая порода чаек, игнорирующая только владельцев моторных лодок, у которых никогда ничего нет для пернатого люда, потому что они боятся отвлечься и сбиться с курса на этом узком водном пути, слева и справа отмеченном вешками. Я не отрываясь смотрю в книгу. Солнце румянит фасады зданий на берегу. Отплытие на пароходе более волнующее событие, чем отъезд поездом. Мы избегаем взглядов друг друга, чтобы не показать, как мы взволнованы. Я смотрю в книгу, хочу отвлечься: я в Одессе, в отеле «Лондонский двор», где Паустовский смотрит на Олешу, а тот с взлохмаченными волосами сидит за столом и пишет что-то в свою тетрадь. 1941 год, одесситам не до парков и запахов южного моря. Мраморные статуи повреждены, загородные виллы заросли бурьяном. Прекрасный город — эта далекая южная Одесса с точки зрения нашего местопребывания, когда в затылок дует холодный северный ветер.

Теплоход отошел. Город отдаляется, уменьшается, принимает одни очертания, потом другие, все меньше и меньше, наконец исчезает совсем, остается изящная миниатюра, которую смывает волна. Чайки. Наставления мамаш своим детям. Капитан ходит среди пассажиров — скупо дарит их улыбкой и поражает воображение безукоризненной капитанской формой. Неужели ему скучно, в то время как мы с трудом подавляем восторженный вздох? Остров уже здесь, хотя его еще и не видно. О его близости говорят песчаные косы, намытые с острова. Морская вода желтеет над ними. Ничейная земля, которую избегает киль судна. Справа тянется берег Рюгена — нескончающаяся полоска земли. Как только она исчезает, не остается ничего, кроме открытого моря и тоски по острову. Внезапно — ощущение такое, словно корабль взлетел на гребень волны,— показывается город, сложенный на воде из белых кубиков. Винета[2], чуть похожая на Тунис. Иллюзию полностью разрушают комментарии пассажиров, которые с борта узнают дом своих хозяев и гостиницу на берегу моря со стандартным для всех ресторанов меню. И называется город иначе, всего-навсего Нойендорф[3]. Чайки перестают нас преследовать и рассаживаются по крышам белого Нойендорфа, растворяясь и сливаясь с чим в одно целое. Теплоход медленно перепахивает фарватер, замедляет ход, корректирует курс, за кормой развертывается широкий белый веер. Трава на берегу — лаковая зелень роскошных

---

[1] Ура, мы мчимся по воде; ура, мы мчимся в небесах *(англ.)*.
[2] Мифический город на берегу Балтийского моря, исчезнувший под водой.
[3] Новая деревня *(нем.)*.

открыток. Суша и судно касаются друг друга. На причале царит радость встречи. Лошади кивают головами, уже грузятся вещи. Мы остаемся на борту. Еще раз отчаливаем от берега, теплоход напружился, как при сильном встречном течении, мы держимся за поручни. Мелкие облачка наморщили небо. Мы смотрим назад — конечно, Винета, кубический город, медленно погружающийся в воду.

В Фитте Мария рассказывает в лицах историю кельнерши. Все началось с воззвания в газете — «Балтийское море зовет!». Для летнего сезона нужны кадры — рабочие пляжа, кельнеры баров и официанты кафе, девушки-буфетчицы для работы в закусочных, продавцы. В летние каникулы Мария приезжает с чемоданчиком в Фитте и устраивается на работу официанткой в пансионате имени Карла Круля. Объединение свободных немецких профсоюзов. Она хорошо считает в уме, может ловко составить все, что умещается на подносе, на стол, она уверена — эта работа ей под силу. Справку от родителей она предъявлять не обязана, потому что ей уже шестнадцать. Шесть недель в разгар сезона. То, что она видит,— это обратная сторона курорта, взгляд в щелочку из-за кулис. Приехавшие на курорт мерят свое время морем и часами, проведенными за столиком в «Круле». Мария, которую коллеги зовут Марленой, должна очень четко распределять свое время, как диспетчер на вокзале. Но у нее нет ручных часов, не может же она привязывать к своему фартучку будильник! Она постоянно в цейтноте, как только будильник разбудит ее рано утром, между пятью и шестью часами утра, в мансарде под крышей, с видом на море. Море за окном? У нее нет времени В семь она уже в «Круле» — они снимают со столов стулья, куда их вечером водворили уборщицы, и расставляют по местам, перевертывая на ножки. Шефиня ходит кругом, как разъяренная львица, рассказывает Мария, и раздает налево и направо замечания. Где столовый прибор для уксуса, горчицы и перца? Марлена приносит с кухни чистые ножи и вилки и раскладывает их согласно этикету — кофейную ложечку справа от кофейной чашки. Свежие цветы. Пепельница. Она забыла сменить скатерть. Значит, еще раз все сначала. Половина восьмого. Первые посетители приходят завтракать. В девять все убирается со столов, теперь они могут позавтракать сами. Смех, шутки. Один час свободного времени. На пляж они не успеют. В одиннадцать часов тарелки и приборы на столы. Первый шквал голодных отдыхающих — в половине двенадцатого. Второй — на час позже. Путь от столов на кухню и обратно такой же, как длина всего острова с севера на юг. Час дня — убрать столы, поесть, помочь на кухне. С двух часов до половины пятого — свобода! Марлена хватает купальник и мчится на пляж загорать. Половина пятого — накрывать столы. Чаевые? Все оплачено заранее. Но во второй половине дня у них кофе, говорит Мария, и тут посетители наверстывают упущенное во время обеда. К счету они добавляют одну марку, просто так, из любезности — ведь посетители одни и те же, даже целые семьи, на тебя смотрят благожелательно, как на старшую дочку. На прощание даже преподносят что-нибудь — коробку конфет, а отец семейства угощает коньяком, который не разрешено пить с посетителями. Но шефиня смотрит в этот момент как раз в другую сторону. К концу месяца скапливается 400 марок. Марлена едет в Штральзунд и на свои первые деньги покупает за 60 марок часы. С часами на руке она уже не так носится и точнее приходит на свидание со своим морячком. Стоп! Свистать всех наверх! Морячку сигнал к отплытию!

Мы сидим в «Круле» — ресторане, большом, как кинозал, и ждем официантку. Мария с профессиональным одобрением наблюдает за движениями, с которыми маленькая толстенькая девочка с косой и белым накрахмаленным бантом пробирается к нашему столику. Начало мая, кухня работает в полсилы. Есть черный хлеб и жареная печенка, пиво. Но у моря любая еда великолепна.

Когда мы выходим, с запада на горизонте ночная гамма сине-голубых тонов. Мы на острове одни. Только тихо бегают на мягких лапах собаки и почему-то не лают. Собаки нашей хозяйки, которые узнают нас с полувзгляда, заглядывают в окна дома № 104 по Визенвег, где она сидит в широком и глубоком вечернем кресле и смотрит не отрываясь в сиреневое свечение вечерней программы. Мы идем дальше. Только некоторые участки огорожены, остальная земля не разбита на мелкие клочки, как будто здесь сохранились первобытные условия общинных наделов. Дробление земли на участки — первородный грех, потому что с первым забором рождаются споры о праве на собственность — школьные воспоминания о философе по имени Руссо. Вдруг мы видим на траве перед домом мерцающее скульптурное изображение — в темноте светится металл: модель земного шара или звездного неба с планетами на проволочных орбитах? Мы остаемся на острове до тех пор, пока растет месяц. Однажды вечером он совсем рядом, словно мы в космосе.

Ночью мы видим сон — мы купили остров, ну, скажем, на год, у входа в порт в Штральзунде мы прибиваем щит: «Посещение Хиддензее в этом году полностью запрещено!» Но, к сожалению, каждый второй, кто провел несколько дней на острове, видит такой или похожий на него сон.

С запасом бисквита, молока и шнапса мы торопимся на пляж. Мы идем, замедляя каждый шаг, чтобы продлить тем самым время пребывания на острове. Наши

вчерашние следы покрывает филигранный рисунок — лапки чаек. Две одинаковые дамы полностью разоблачились в соснах на берегу — право целиком на их стороне: мы на пограничной полосе пляжа для голых, о чем свидетельствует щит с надписью FKK [1].

С колыхающимися грудями они идут к морю и обтираются холодной майской водой. Мы идем дальше и остаемся безучастны к попытке второго рождения былых Афродит. Послеобеденное серое небо закрывает бледно-розовое солнце. Волны выбросили на берег бумагу — международный морской код, азбуку бананового радиста. Мы чертим иероглифы на песке, которые завтра будут разгадывать птицы. Мария опять собирает камушки, ищет, как всегда, куриного бога — камушек с дырочкой посередине,— приносящего счастье. Она продевает в отверстие шнурок и привязывает свое счастье к руке. Мы ложимся на песок, наше счастье с нами.

Суперфосфат и изюм, или Еще раз о море

...и тащить на своем горбу суда.

Рафаэль Альберти

Снова на Крёпелинерштрассе в Ростоке мы рассказываем директору издательства, что мы видели. Когда я пускаюсь в рассуждения о том, как выглядит мир и природа в век телевизионной техники, он знает, чего мы не видели,— ростокский океанский порт. Впрочем, географическая привязанность здесь без надобности — это океанский порт страны, ее морские ворота в мир. То, что мы видели,— случайное отражение нашего внутреннего «я» в зеркале вод, в странствии по жизни, складывающемся в нашем восприятии из маленьких путешествий, из прошлого и настоящего, из книг на эту тему — одним словом, из вторичной действительности, из пробелов, оставшихся незаполненными, но зондированных нами когда тонко, когда грубо, одним словом, то, что мы видели и собрали, говорит директор издательства, это все для нашего удовольствия. А вот океанского порта там нет — начала всех начал для тех, кто стоит на морском берегу и разглагольствует на неопределенные темы. А мы думаем об острове, на котором мы были еще вчера и который зачем-то покинули, хотя он был абсолютно пустынным, о Еленйне — песчаной полоске на юге острова, птичьем заповеднике с его десятью заповедями для непрошеных гостей, мы смотрим из окон на Крёпелинерштрассе, 25, находящийся как памятник старины под охраной государства, но по ту сторону улицы не всплывают очертания Нойендорфа. Ворота в мир! — говорит издатель и набирает нужный номер, пока я выбиваю трубку. Осмотр порта требует подготовки не меньше, чем экспедиция на Северный полюс, ну, не совсем, но все же. Завтра утром в восемь, говорит издатель, точно — и называет имя товарища, который позаботится обо мне.

Итак, у нас есть еще время изучить, водя пальцем по карте, территорию океанского порта Росток. Аккуратно вычерченный кусок суши врезается в голубизну бухты Брайтлинг. Собираю кое-какие данные, чтобы не стоять совершенным болваном перед Воротами мира. Оказывается, вся штука в том, что Балтийское море очень коварно в этом месте — веками оно намывает песок на выходе в открытое море. Росток расположен на 12 км выше устья Варнова. Этого речного фарватера едва хватало для судов с мелкой посадкой, выходящих в открытое море. И вот настало время, когда эта страна — Германская Демократическая Республика,— протянувшаяся от Рудных гор до побережья Балтийского моря, настолько окрепла, что вошла в число крупнейших индустриально развитых стран, и тогда старый порт Росток стал мал как перевалочный пункт для ведения торговли со всем миром. Так, 26 октября 1957 года началась строительная операция, от которой захватывало дух даже у хладнокровных технократов и которая продолжалась два с половиной года.

Ковши экскаваторов вгрызались в десятиметровый слой наносного грунта и мергеля.

Для нового восточного мола доставили из приморских районов 25 000 тонн камней. Когда-то, в 1763 году, прусская государственная палата издала приказ — каждый крестьянин, ехавший на своей повозке в сторону Берлина, обязан взять два камня. Море с тех пор достаточно намыло их опять.

35 000 тонн больших и маленьких валунов и булыжников было собрано и привезено в Росток из всех областей республики по добровольному почину трудящихся.

Самым большим железобетонным блоком закончили в 1958 году в День Республики строительство 350-метрового мола.

Через два года теплоход «Шверин» (10 000 тонн) выгрузил в новом океанском порту свой первый груз.

Многие строители и специалисты из разных частей республики захотели на практике увидеть работу своего детища и остались жить в Ростоке или вблизи него.

В 1972 году обработано 3056 судов более чем из 50 стран, перевалено 12 951 миллион тонн грузов...

---

[1] Freikörperkultur — культура свободного тела *(нем.)*.

56 кранов (с грациозной неповоротливостью цирковых слонов) поднимают из трюмов судов бочки, мешки, тарный груз, контейнеры размером с товарный вагон...

Сравнения напрашиваются при виде фотоматериалов. Сплошные Эйфелевы башни друг за другом на причалах, в кабинах — крановщики в белых шлемах. Нажимая на кнопку, они приводят в движение то, что на снимках запечатлено как пиломатериалы, гофрированный картон, коксовая мелочь, стальные трубы, суперфосфат и изюм. Недавно группа польского телевидения сделала из этого номер, записав соответствующую музыку — пронзительное стаккато, вой и свист в ритме до-мажор.

Первое впечатление — заключенная в геометрическую форму бесконечность, шахматная доска, правил игры на которой я не знаю. Грузовые платформы, рельсы, шоссейные дороги, широкие и не забитые машинами — большой покинутый город. Нет деревьев, но много птиц, их пение слышно со складов, откуда доносятся запахи грейпфрутов и мехов. Может, это заморские птицы, прилетевшие вслед за товарами из своих далеких стран и свившие здесь гнезда в пакгаузах, напоминающих им родину? Я не придерживаюсь геометрических фигур и пересекаю наискось рельсы и дороги, обхожу грузовые платформы на ростокской портовой железной дороге. Вот и первые суда, прижавшиеся раздутыми боками к молу, громады из листовой стали, некоторые выбрались на сушу, других, словно силком, удерживают канаты. Какой-то человек сидит в подвесной люльке с внешней стороны борта и разбрызгивает краску по обшивке. На палубе никого нет, поэтому работа этого одинокого человека кажется вдвойне труднее, чем она есть. Я попал туда, где безлюдные суда стоят на приколе. Увольнительная на берег? На грузовом судне из Цейлона кто-то помогает ребенку — своему? — подняться по трапу на капитанский мостик, и, когда они уже наверху, мужчина что-то объясняет, держа в руках канат. Может, это знаменитый морской узел? Я наблюдаю за его действиями, но отсюда, снизу, я не могу постичь суть дела. Все суда, как театральные декорации, полны необъяснимых отверстий, проходов, лестниц, надстроек, выемок, труб, шестов, колпаков. Вернется команда — и все оживет, из мертвых декораций превратится в реальную действительность.

А где же наши суда? Я присаживаюсь на мол, разворачиваю «Остзее-цайтунг» — бюллетень порта — и ищу страницу с сообщениями о местонахождении судов. Все города республики плавают по морям и океанам. Так где же они? В чужих гаванях: «Эйленбург» в Роттердаме, «Наумбург» в Калькутте, «Лейпциг» в Иокогаме, «Эрфурт» в Гамбурге, «Лаузиц» в Антверпене, «Георг Бюхнер» в Тампико... (Кошмарный сон историка литературы, который никак не может прийти в себя от удивления — когда же Бюхнер был в Тампико?) «Мир» в Бордо...

Я перехожу на другую сторону. Отсюда мне видно, как буксир «Дирков» заводит в порт «Дагестан» из Мурманска — Давид и Голиаф, если смотреть со стороны. Матросы «Дагестана» рассыпались по борту, предоставив все «Диркову», который точно следует геометрическим параметрам порта и идет строго параллельно молу. Как только «Дагестан» пришвартовался, заработали краны — я надеваю выданный мне при входе шлем, так как все аттракционы разыгрывающегося передо мной спектакля занимают все пространство вокруг меня, гиганты-эквилибристы на роликах катятся на меня по железнодорожным путям. Я знаю, сравнения не могут передать испытываемого чувства удивления. Балет роботов? Ну, а хрупкие фигурки людей в стеклянных кабинах, в чьих руках все управление этими махинами? Среди мужчин только одна женщина, и та без шлема. Длинный хвост волос. Учетчица. Она сидит на пирамиде сложенных горкой стальных труб и записывает, что сгружают на пирсе. Раньше были только учетчики, пока не выяснилось, что женщины очень хорошо считают, если не лучше, чем мужчины. От них не ускользает ни один тюк, ни один ящик. То, что у учетчицы суммируется в конце разгрузки, принимается безоговорочно. Ей нельзя возражать — закон порта. У нее профессия абсолютной богини.

Я покидаю опасную зону, снимаю шлем и еще раз прислушиваюсь к пению птиц в пакгаузах: колибри на пакетах с лимонами или коноплянки в благовониях зерен какао — загадки для орнитологов,— и думаю о витринах магазинов на Франкфуртер-аллее в Берлине. Сопоставляю факты, устанавливаю их взаимосвязь, сравниваю и с удовлетворением отмечаю, что тот мир, который входит к нам через ростокские ворота, съедобен. Пища и мышление, утверждает наука, находятся в диалектической взаимосвязи, как работа и покупательная способность. Я набиваю трубку голландским табаком и жду автобуса в город. Автобус набит битком: портовые рабочие, кончившие смену, железнодорожники порта, грузчики, девушка в макинтоше, похожая на учетчицу (усталые глаза), и очень много моряков — хотя и без формы, но их все равно можно узнать по заутюженным складкам брюк, надраенным ботинкам, белым рубашкам и бумажным пакетам интершопа. Когда автобус трогается, в ушах все еще звон и шум, тяжесть во всем теле, как после пересечения воздушного океана между Новым и Старым Светом.

◆

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ

ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

Документальная повесть

Перевод с болгарского Л. Лихачевой

«Мы находимся на скрещении поэзии и политики — и я знаю, что вы мне возразите: Закон о защите государства не ограничивает свободы мысли. Да, это верно, так записано и в конституции. Но вот свежий пример: я был арестован за одну из моих поэм, в которую, по-моему, я вложил немаловажную мысль: отказ от всего, что тяготеет над человеком как кровавый произвол (судьба) неведомых темных стихий, сосредоточенных в некой слепой фикции, именуемой богом. Я попытался в моей поэме передать ужас, который вызывают у человека события, подобные тому, какое стало моей темой, а также веру в возможность иного, лучшего будущего. Но прокурор заводит против моей поэмы дело по статье пятой Закона о защите государства. Почему? Потому что она называется «Сентябрь». Если это слово стало страшным призраком для тех, у кого нечиста совесть, то не я виноват в этом...»

Эти строки взяты из «Открытого письма г. Борису Вазову», написанного Гео Милевым 30 января 1925 года. Поэт уже отдан под суд за поэму «Сентябрь». Много месяцев члены Софийского окружного суда листают конфискованный номер журнала «Пламк», где напечатана поэма, мудруют над дерзкими и необычными строчками. Будь подсудимый замешан в подпольной деятельности или веди он какие-нибудь конкретные антиправительственные действия, все было бы проще простого. Но дело заведено против литературного произведения, и дознание приходится вести не о нелегальных связях, а о направленности поэтической мысли.

Однако тут происходят головокружительные апрельские события, и раздумывать больше некогда. Надо, наконец, объяснить этому самонадеянному поэту, какие цели должно преследовать искусство и в чем состоит его, поэта, прегрешение.

Я читаю обоснование приговора, вынесенного 14 мая Третьим уголовным отделением Софийского суда. И никак не могу освободиться от мысли, что тут не обошлось без вмешательства какого-нибудь услужливого литературного дельца:

«Искусство поэзии не знает ни национальности, ни партийности. Поэт должен петь о чистом искусстве...»

Гео Милев вынужден стоя слушать назидательные сентенции. Из-под нависшей пряди поблескивает глаз, сосредоточенный, изучающий. На судейском столе раскрыта папка с документами по его делу. Члены суда листают номер журнала с опубликованной в нем поэмой, которая не дает покоя стольким людям с нечистой совестью. Листают подшитые под соответствующими входящими номерами статьи, где красным карандашом аккуратно очерчены опасные рассуждения о задачах искусства и призвании писателя. Именно против них направлены глубокомысленные стрелы приговора:

«Поэт может восхвалять или описывать с точки зрения своего искусства как прекрасные, так и мрачные события и случаи реальной жизни, но все это он должен делать, не сходя с высокого трона поэзии, не опускаясь до мелких жизненных дрязг...»

Ах, как ему знаком этот стиль, эти вы-

Окончание Начало в № 9.

сокопарные рассуждения, и поэт напрягает память, пытаясь угадать анонимного автора приговора.

Председатель суда переходит к главному: «...приговаривается к одному году тюремного заключения, штрафу в 20 тысяч левов и лишению политических и гражданских прав сроком на два года...»

Поэт покидает зал суда. К тюремному заключению он приговорен условно. Теперь ему предстоит жить «по-новому» — в соответствии с решением суда.

Власти не дают поэту слишком долго раздумывать над своим положением. Всего лишь один день и одну ночь удалось прожить ему так, как предписано приговором.

На следующий день все утренние газеты пишут о его деле. Лаконичнее всех газета «Зора»: «В Третьем уголовном отделении Софийского окружного суда слушалось дело против писателя Гео Милева по поводу написанной им и помещенной в журнале «Пламк» поэмы «Сентябрь». В соответствии с Законом о защите государства Милев приговорен к году тюремного заключения, штрафу в 20 тысяч левов и лишению политических и гражданских прав сроком на два года».

Заметка газеты «Утро» словно списана с обвинительного заключения. Здесь говорится о «провокаторе Гео Милеве», осужденном за разжигание классовой ненависти в поэме «Сентябрь»...

Это было рано утром 15 мая.

Агент в штатском — по словам жены поэта, смуглый, среднего роста — пригласил поэта зайти в полицию, чтобы дать там небольшую справку. Гео Милев и его родные считают, что это как-то связано с приговором. Поэт спокойно выходит вместе с агентом. У Центрального рынка он достает из кармана пачку сигарет, угощает спутника. Оба ненадолго останавливаются, прикуривают и идут дальше к Львиному мосту.

«Мы с его сестрой,— рассказывала на суде вдова поэта Мила Гео Милева,— целый день бродили вокруг Дирекции полиции и наконец увидели Гео — на самом верху, в третьем от угла окне. Он тоже увидел нас и сделал знак рукой. Показывал, откуда войти...»

«Однажды вечером в середине мая я попал в большую камеру, битком набитую неизвестными мне людьми. Но вскоре я увидел два знакомых лица — Иосиф Хербст и Гео Милев. Я пробрался к ним.

— Привет писателю! — обратился я к Гео Милеву, как, бывало, в мирные времена, когда мы беседовали с ним о книгах и корректурах.

— Привет наборщику! — спокойно ответил Гео Милев...»

И дальше Иордан Милев рассказывает: «Когда и почему тебя задержали? Что слышно о тех-то и тех-то? Правда ли, что Христо Ясенов тоже был здесь? До каких пор будет продолжаться этот полицейский произвол?» — вот вопросы, которые мы задавали друг другу, сидя на твердых досках и прижавшись к закопченной стене.

Чем темнее становилось в камере, тем тревожней сжимались наши сердца... Потому что мы уже знали — около 11 часов, когда город засыпает, перед зданием Дирекции останавливаются полицейские фургоны...

Гео Милев казался спокойным. Ужас смерти не помутил рассудка, не сломил ни его воли, ни его веры. Стиснув губы, он молча смотрел на уже потемневшее окно, в котором не было видно ни единой звездочки.

И вот — ж-ж-ж-ж — первый фургон останавливается у подъезда. Наступает самый ужасный час. Ни у кого больше нет сил смотреть на товарищей. Все, кто чем может, закрывают головы и затихают, обратившись в слух. Когда застучат тяжелые сапоги? Какая заскрипит дверь? Вот открывают камеру в конце коридора. Соседнюю. А теперь, теперь — нашу. Никто не шевелится...

— Встать! — И обреченные выходят, подгоняемые прикладами, упирающимися в самые спины.

К четырем часам утра бледный свет озарил наше закованное в железо окно. Стих шум фургонов. Я открыл лицо. Рядом со мной все еще сидел Гео Милев.

На следующий вечер мы уже не были вместе. Меня снова перевели в другую камеру...»

И вот все написанное Гео Милевым — погребальные колесницы «уродливой прозы», разорванные огненными вспышками ночи восставшего Сентября, мрачные гости, стучащиеся в двери домов, предсмертные хрипы перерезанного горла,— все это опять приходит к нему, схватывает, влечет за собой, но уже не как поэтическое видение, а как страшная действительность.

Я вижу его, не сводящего глаз с забранного решеткой окна. Быть может, в этот час рождались у него новые, полные прозрения, светлые и горестные замыслы? Понимал ли поэт, что и они, эти замыслы, такие же пленники, как он сам, что им тоже суждено погибнуть?

А может, в полумраке майских сумерек он повторял давно написанные строки, вдруг воплотившие в себе суровый смысл жизни:

...Были когда-то лето, весна
и все остальное.
Был когда-то и май...[1]

Когда-то вместе с первым теплым дыханием весеннего моря проносились шумные вереницы ласточек, прилетали влюбленные соловьи — и румяные розы расцветали под каждым окном.

Когда-то...

Никогда!

Никогда не было ни весны, ни мая, ни ласточек, ни влюбленных соловьев, ни роз

[1] Здесь и далее стихи болгарских поэтов даны в переводе Л. Лихачевой. *(Прим. ред.)*

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

под каждым окошком. Не было радости, не было счастья. Никогда...

Нет рая.

Май погиб навсегда.

Или эти его строчки о стоящем под виселицей попе Андрее:

Рядом палач.
Капитан.
Веревка
готова.

Нет, невозможно отделить поэзию от жизни!

Палач-капитан набрасывает на голову поэта заранее приготовленную петлю — чтобы окончательно соединить в неделимый сплав жизнь и поэзию.

Навеки.

На процессе 1954 года председатель суда каждому подсудимому задавал вопрос, не помнит ли тот, кем и когда был удушен Гео Милев. Никто не вспомнил никто не знал.

А я не верю, что никто не помнит и не знает. В облике Гео Милева запоминалось все: и его характерное лицо, и странная прядь волос, спущенная над искусственным глазом и закрывающая почти половину лица. По крайней мере хоть один должен был знать и помнить!

Но разве легко признаться, что ты убийца Гео Милева!

На следующий день после ареста брат поэта отправился к главе болгарской полиции, своему земляку Владимиру Начеву. Тот обещал выяснить где находится Гео Милев. Наутро брат Милева снова пришел к Начеву, на этот раз прямо домой. Начев сказал, что поэта больше нет в Дирекции и что он не знает, куда его отправили. На третий день — попросил подождать, пока придут новые сведения. И лишь на четвертый день сообщил:

— Похоже, что твой брат попал в руки каких-то безответственных элементов, и нужно предполагать самое худшее.

Брат поэта и не подозревал, что Владимир Начев — один из наиболее «безответственных элементов» во всей этой истории. Он как глава полиции каждый день получал от Кочо Стоянова список жертв, намеченных на следующую ночь.

В 1954 году в Илиянском форту была раскопана яма — могила тех, кого убили в казармах Артиллерийского полка,— и на самом дне был найден череп со странным отверстием над правой бровью. На костях черепа налипли клочья грубой мешковины, на шее — остатки веревочной петли. Когда череп поднимали, из него выпал стеклянный голубой глаз.

И все время, пока продолжался процесс, пылал в зале суда глаз поэта. Напрасно убийцы отводили от него взгляд — гневный стальной отблеск находил их лица, обрушивая на них всю силу возмездия за тридцатилетний мрак в глубинах истоптанной, истерзанной, поруганной ими земли.

А через несколько лет греческий поэт Яннис Рицос в краткие мгновения свободы между двумя заточениями превратит луч негасимого ока поэта в строфы песни:

...Я видел глаз.
В зрачке его написана
всей революции история —
голубые картины кровавых годин,
голубые картины в красных знаменах.
Павшие борцы высоко поднимают, несут
день голубой на своих руках.
Глаз, который никогда не закроется,
Глаз — голубую звезду всех ночей...

А молва уже понесла по всем уголкам страны эти ужасающие слова — «пропал без вести». В Дирекции полиции пожимают плечами и показывают родителям и братьям книгу исходящих, в которой против имени каждого задержанного ясно написано, что он «освобожден»,— с датой, подписью начальника канцелярии, печатью.

К министру внутренних дел, министру правосудия, военному министру хлынул поток писем от родственников «освобожденных». Ответ всегда неизменен: «По-видимому, ваш отец (муж, брат) стал жертвой безответственных элементов». Дело доходит до Народного собрания

12 июня созывается заседание Народного собрания для обсуждения запроса депутата Янко Сакызова о судьбе «пропавших без вести» Из-за отсутствия Сакызова его запрос излагает Константин Бозвелиев:

— Мы выражаем наше великое беспокойство по поводу такого большого количества арестов и безвинных жертв, пострадавших из-за доносов. Не будем предаваться иллюзиям, господа!

За министерским столом сидит генерал Вылков, рядом — министр юстиции Русев, тоже генерал. Весь их вид демонстрирует крайнее изумление всякой попыткой выразить какое бы то ни было подозрение по отношению к органам власти.

— В нашем запросе,— продолжает Бозвелиев,— есть и еще один пункт К нам поступают жалобы родственников задержанных, которые ничего не знают о том, где они находятся. Им отвечают, что «вероятно, эти люди, чувствуя себя виновными, постарались где-нибудь скрыться, чтобы второй раз не попасть в руки правосудия...»

Не считает ли нужным правительство обратить внимание на все эти жалобы? Тем более что они отнюдь не анонимны: в них называются имена и конкретные факты, и, значит, у правительства есть нить, которая может помочь им в расследовании. Эти расследования необходимо провести, а их результаты широко опубликовать, чтобы успокоить граждан и доказать всему миру, что у нас царит законность, а не произвол...

Жидкие рукоплескания со скамей социал-демократов сопровождают слова старого социал-демократического деятеля. Но «большинство» вскакивает со своих мест, раздаются язвительные голоса, топот.

Угрожающие реплики доносятся и от министерского стола. Бозвелиев смущен. Он еще раз поднимается на трибуну:

— Мы далеки от мысли обвинять цент-

ральную власть. У нас нет для этого ни желания... ни оснований...

На трибуне генерал Вылков. Военное положение делает его ответственным за все, что происходит в стране. И в который уже раз раздаются знакомые слова о порядке, законности, полной гарантии жизни каждого болгарина. О «пропавших без вести» будет упомянуто только однажды:

— К сожалению, некоторые были задержаны не властями, а частными лицами...

Следовательно, хочет сказать генерал, если и есть пропавшие, то в этом опять-таки виновны все те же «безответственные элементы».

Но разве можно успокоить народ этими наивными объяснениями? Молва подступает к тяжелым дверям Военного министерства, ходят слухи о какой-то тайной военной организации.

Генерал не может вынести подобных обвинений. Его очередной приказ, обращенный «к дорогим офицерам, унтер-офицерам и солдатам», дает отпор всем этим «беспочвенным утверждениям»:

«В некоторых кругах обвиняют офицерство в том, что с тех пор, как в стране введено военное положение — да и раньше,— оно позволяло себе вершить произвол и убивать людей. Я уверен, что наше офицерство не может нести на своей чести такое пятно и никогда не позволит себе подобных действий. Есть люди, которые нарочно распускают такие слухи и таким образом надеются добиться осуществления своих целей.

Во имя Болгарии и чести армии призываю офицеров всегда и во всем быть примером и стоять на страже законов нашей страны...»

Конец приказа особенно патетичен:

«К этому призываю я вас во имя отечества!»

К «возмущенному» голосу военного министра присоединяется целый хор государственного пропагандистского аппарата.

Через два месяца после начала кровавых апрельских событий, когда число удушенных и расстрелянных карательными отрядами достигло чудовищной цифры, военный министр все еще разглагольствует в парламенте о порядке и законности.

— Военное положение крайне необходимо и неизбежно для того, чтобы в стране на законных основаниях могли действовать военно-полевые суды. Количество следователей увеличено в пять раз именно затем, чтобы добиться ускоренной процедуры... Мы хотим показать, что твердо стоим за конституционные свободы наших граждан, что мы всегда за нормальные, законные способы борьбы со своими противниками, даже с теми, кто выступает против нашего государства...

Эти слова сказаны Вылковым в ответ на чье-то робкое предложение об отмене военного положения в стране.

А тысячи напрасно ожидающих, теряющих последние искорки надежды родственников «пропавших без вести» стучатся в двери министерств, засыпают просьбами и отчаянными письмами канцелярии, суды, полицейские ведомства. На улицах София появляется Виола Каравелова, жена Иосифа Хербста В черном платье, прижав к груди портрет своего мужа, проходит она перед Министерством юстиции, Военным министерством, Министерством внутренних дел. «Скажите мне, где мой муж!» — кричит женщина каждому встреченному государственному чиновнику, полицейскому, военному...

Вместо ответа обезумевшие от напрасного ожидания люди слышат одно: ваших близких похитили неизвестные личности. Появляются и возмущенные опровержения «невинно оклеветанных», вроде опубликованного в печати письма Центрального управления Союза офицеров запаса, адресованного премьер-министру и правительству. Вот несколько строк из этого письма:

«Говорят об убийствах, об исчезновениях. Злоумышленники и заинтересованные люди распространяют по улицам и кофейням слух, что якобы офицеры запаса причастны к этим злодеяниям...

Нет, отвечаем мы Деятельность нашего Союза ни в коей мере не дает оснований для подобных обвинений...

Наши товарищи по Союзу стали жертвой бессовестных, подлых подозрении и клеветы...»

В Народном собрании снова ставится вопрос о «пропавших без вести» — на этот раз по инициативе группы Земледельческого союза.

— Мне выпала нелегкая задача от имени парламентской группы БЗНС изложить запрос по поводу всех несчастий, исчезновений многих людей, убийств. После 16 апреля жертв стало бесконечное множество. Невозможно понять, кому и зачем они нужны.

Это говорит депутат Петр Минов. Он предъявляет правительству список деятелей Земледельческого союза, о судьбе которых ничего не известно Рассказывает о письмах, посланных родственниками пропавших и убитых некоторым депутатам.

— Недавно мне была доставлена копия телеграммы, направленной премьер-министру. Читаю дословно:

«Господин премьер-министр!

Вы пришли к власти во имя спасения Болгарии и водворения мира в нашей истерзанной стране. Пустые слова.

Софийский военно-полевой суд 27 июня в справке за номером 3905 признал, что мой муж не подлежит действию Закона о защите государства и должен быть незамедлительно освобожден. Однако Иосиф Хербст до настоящего дня находится неизвестно где, а у меня описывают имущество, подвергают обыскам и преследованиям.

И за весь этот вопиющий произвол тоже отвечают «безответственные элементы»?

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

Я энергичнейшим образом настаиваю на немедленном разоблачении этой недостойной для каждого правового государства игры в прятки и на немедленном освобождении незаконно задержанных.

Господин премьер-министр! Господа депутаты! Вы дали себе отдых (имеются в виду парламентские каникулы), и мы, жены тех, кого беззаконно скрывают неизвестно где, тоже нуждаемся в отдыхе и успокоении».

Виола Каравелова-Хербст».

— Только что,— продолжает Минов,— я, а также, наверно, другие депутаты получили письмо от господина Мильо Касабова, Анастасии Касабовой и Милы Гео Милевой из Старой Загоры... Гео Милев... насколько я знаю, лицо не политическое. Он также исчез...

На этот раз ответ на запрос земледельческих депутатов дает сам премьер-министр. Это длинная, несвязная речь, полная душераздирающих воплей и театральных жестов. Вот один из характерных ее пассажей:

— «Ваш режим, режим теперешнего правительства,— реакционный и кровавый режим, он ведет Болгарию к пропасти, к гибели. Болгария гибнет!» Так восклицает господин Минов. Это последний пункт его запроса. «Жалкая политика теперешнего правительства! Реакционная, кровавая...» Неужели им не надоело повторять одно и то же. Я теперь глух ко всему этому, мои слуховые нервы очерствели, и я уж больше не в состоянии прислушиваться ко всем этим разговорам и характеристикам...

Премьер-министр Цанков действительно глух. Горы полученных им писем взывают сотнями, тысячами голосов, но он ничего не слышит.

Без ответа остается и письмо Виолы Каравеловой-Хербст. Но потомок рода Каравеловых, дочь Петко Каравелова, сестра Лоры Яворовой не собирается оставлять в покое виновников исчезновения ее мужа. Не получив от Народного собрания ответа на свое письмо, она передает для публикации в печати другое — «Открытое письмо председателю Народного собрания г. Кулеву и премьер-министру г. Цанкову».

Назревает публичный скандал — нечто, серьезно обеспокоившее правительство. В конце концов оно вынуждено дать хоть какой-нибудь ответ.

Эту задачу берет на себя газета Цанкова «Демократически сговор». Цель ее не успокоить встревоженную женщину — все равно для нее слова уже потеряли всякое значение,— а еще раз внушить общественности, что в стране сохраняется порядок и законность. Обрушившись на газеты, опубликовавшие письмо Каравеловой-Хербст, в котором спрашивается «Почему ее муж с 16 апреля до настоящего времени скрыт неизвестно где, кем и за что», «Демократически сговор» рекомендует:

«В нашей стране есть установленный порядок, в соответствии с которым госпожа Каравелова-Хербст может получить ответ и удовлетворение. Этот порядок указан в Законе об уголовном судопроизводстве. Вместо того чтобы рассылать по газетам «открытые письма», она должна была обратиться к соответствующим органам судебной власти и изложить им обстановку, при которой произошло задержание ее мужа, а также все прочие факты и свои подозрения».

Но и этого показалось мало журналистам Цанкова. Они сочли нужным добавить следующее:

«Болгарские суды дали достаточно доказательств своей независимости и строгого исполнения законов. Госпожа может быть уверена, что и в данном случае они выполнят свой долг».

Прочитав эти невероятные строки, я испытал глубокое сожаление, что процесс 1954 года не призвал к ответу журналистов тогдашней фашистской прессы. Они были бы достойной компанией ловким героям петли.

Сколько времени продолжалась деятельность карательных отрядов Кочо Стоянова? Обвиняемые на процессе 1954 года отвечают: «Месяц-два...» Срок очень произвольный, с тем же успехом можно было бы сказать «три-четыре месяца». Если верить книге в канцелярии Дирекции полиции, задержанные «освобождались», чтобы потом пропасть без вести, все лето и осень 1925 года. А если заглянуть в периодический бюллетень Дирекции полиции, то мы увидим, что рубрика «пропавшие без вести» сохранялась в нем до конца года и известное время после этого.

Тяжкое молчание опустилось на болгарскую землю. Слово народа задушено пластами земли, замуровано в толстых каменных стенах тюрем. Над теми, кто остался «на свободе», угрожающе свистят тугие петли, готовые захлестнуть каждую высоко поднятую голову. Лед отчаяния сковывает бег мыслей. «Не могу петь, когда горит Рим». В этих словах Асена Златарова заключена вся драма человеческого духа, оцепеневшего и онемевшего перед слепой лавиной мрака.

Все ниже сгибается высокая фигура Антона Страшимирова. Пули милостиво его пощадили, конопляная петля только просвистела в ушах... Писатель уцелел — словно бы затем, чтобы увидеть и пережить все.

Перед его взглядом проходит колонна героев-мучеников. Он прощается со всеми и с каждым, а они, уходя, оставляют ему по прощальному подарку — кровоточащую рану в сердце.

Последним уходит от него Христо Ясенов. Самый близкий из близких. В начале мая он все еще был в Дирекции полиции. Потом его переводят в гимназию имени Фотинова. Снова возвращают в Дирекцию. Неведомыми путями приходят к Страшимирову вести, посланные из сумрачных камер

«Я жив!» Жена Страшимирова несколько раз передавала Ясенову еду и тоже узнавала кое-что: «Он сейчас на пятом этаже...», «Встретились с ним в коридоре...»

Однажды в Дирекции отказались принять передачу. Страшимирову объяснили:

— Этого лица у нас нет.

Через несколько дней — тот же ответ:

— В наших списках такого нет. Освобожден.

...Его увезли июньской ночью. Выходя из камеры, он тихо, но отчетливо произнес простые, скромные слова: «До свиданья, товарищи!» И ушел. Это отчетливо помнит свидетель обвинения Драган Бачев, несколько дней проведший в одной камере с Ясеновым. На вопрос председателя суда, кто уводил поэта, Бачев ответил: «Черный Павле».

Представляю себе хрупкую фигуру поэта рядом с большеголовым, толстым и неповоротливым кочегаром-убийцей Черным Павле. Оба идут по длинным каменным коридорам. Один — озаренный, чистый. Другой — с несгибающейся от жира шеей, низким лбом и мутным взглядом, человек, прославившийся как самый жестокий мучитель в Дирекции полиции.

На улице они расстаются. Черный Павле подталкивает поэта к группе людей в низко нахлобученных шляпах, к фургону... Подталкивает и скрывается в темном подъезде.

А поэт, внезапно освещенный лунным светом, жадно глотая прохладный ночной воздух, вступает на свой путь, круто и стремительно уводящий в сырой казарменный подвал, в братскую могилу...

И оттуда — к чистейшим высотам народной памяти.

Его объявляют «пропавшим без вести». Рушится последняя надежда. Когда весть об этом доходит до Антона Страшимирова, он запирается в комнате, где столько раз встречал тихого и обаятельного гостя — Христо Ясенова. Наступают и уходят послеобеденные, предназначенные для прогулки часы, закат золотит створку открытого окна, веет вечерней прохладой... Писатель все так же сидит за своим столом, подперев рукой голову, погруженный в бушующую реку воспоминаний.

Ясенов... Светлое и нежное — как душа поэта — имя.

Три года на фронтах войны, возвращение поэта-офицера... Грудь его украшена крестами, полученными за храбрость, рука простреляна. Первые признаки туберкулеза... И первые лучи алого сияния, встающего над русской землей...

Страшимиров закрывает дневник. Нет, это еще не все. Где-то у него хранится и то ясеновское письмо «Во все адреса», которое в свое время так разгневало убийц. И писатель ищет в шкафах сохранившиеся номера газет «АБВ» и «Развигор».

Вот сообщение о первой высылке поэта в Горна-Джумаю в 1924 году: «20 марта в 7 часов утра органами общественной безопасности арестован поэт Христо Ясенов. На следующий день его выслали неизвестно куда и за что. Ясенов — не политический деятель. Министерство внутренних дел должно дать объяснения по поводу такого обращения с одним из лучших наших поэтов. Культурная Болгария непременно должна знать, делается ли это по «высшим государственным соображениям» (и каким) или это всего-навсего произвол неких «безответственных элементов». Долг Союза писателей предпринять решительные шаги для освобождения арестованного поэта».

В следующем номере «Развигора» опубликован протест группы болгарских писателей: «До сих пор никто из ответственных представителей власти не объяснил причины посягательства на личную свободу поэта, далекого от политической деятельности. Может быть, его преступление состоит в том, что он является членом Комитета помощи жертвам сентябрьских событий? Неужели мы уже дошли до того, что гуманность и человечность стали у нас чем-то недозволенным!

У Христо Ясенова слабое здоровье и нет никаких материальных средств.

Мы — группа писателей и друзей Ясенова — протестуем против ареста одного из наших лучших поэтов и настоятельно требуем его освобождения и возвращения в Софию!

Подписали: Теодор Траянов, Антон Страшимиров, Николай Хрелков, Гео Милев, Иван Грозев, И. М. Даниэл, Д. Б. Митов, Георгий Бакалов, Людмил Стоянов, Боян Дановски, Ст. Б. Митов, Георгий Цанев, Г. Стефанов, Александр Жендов, Асен Разцветников, Георгий Константинов, Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев, Крум Пенев, Никола Балабанов, Тодор Боров».

Властям приходится уступить. Христо Ясенов освобожден и возвращается в Софию. Страшимиров помнит тот день: поэт, как всегда скромный и застенчивый, появился на пороге его дома. Тот же ласковый, мягкий взгляд. Тот же — и все же другой! От проницательного Страшимирова не могут укрыться дерзкие огоньки, вспыхивающие в глазах поэта, в самой их глубине...

Те самые непримиримые огоньки, от которых вспыхнуло пламя его открытого письма.

«Во все адреса» — так озаглавил Ясенов свое письмо, переданное для публикации в печати:

«Выйдя на свободу, я благодарю всех своих друзей, знакомых и сочувствующих, а также редакции всех газет, выразивших возмущение и протест против моей беспричинной и незаконной высылки, результата партийного фанатизма и беззастенчивого политического террора. Выражаю также признательность гражданам Горна-Джумаи, оказавшим мне неоценимую помощь и сочувствие; о них, об их человечности и искренней дружбе я навсегда сохраню светлое воспоминание. Но для тех, кто думает,

---

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

что им не придется ответить за произвол, для безответственных, я никогда не стану «хорошим гражданином», и никому не советую совершить эту подлость.

Христо Ясенов».

Письмо действительно попало во все адреса. В том числе и в адрес тех «безответственных личностей», которым на этот раз приходится проглотить публичное оскорбление. С трудом дождались они той глухой апрельской ночи, когда смогли предать его мраку, холодной темнице земли...

Люди с нечистой совестью не забывают оглушительных пощечин правды.

Путь поэта и коммуниста пройден до конца. Такова строгая логика борьбы. Таков закон человеческого достоинства, превозмогающий даже страх смерти, заложенный в нас природой.

Логично — и невыносимо для разума. Ушел человек! Человек, сотканный из самой чувствительной ткани, светильник, пылавший поэтическим огнем...

Все мысленные построения рушатся от этой нелогичной, невозможной правды.

И Страшимиров лихорадочно хватается за перо, чтобы выплеснуть на белое пространство бумаги все, что накопилось в его потрясенной, рыдающей душе:

«Угасла еще одна яркая большая звезда нашего небосклона.

Плачьте, если еще не высох источник ваших слез. Никто не может его заменить!»

А за окном уже глубокая ночь. Писатель подходит к открытому окну, и полуночная тишина заполняет его мысли, приводит в порядок их хаос.

И взгляд его вычерчивает на черном небе слова, словно вырванные из недр обезумевшей земли:

«Нас, болгар, горстка — довольно жертв!»

А вереницы мучеников все прибывают, заполняют горизонт, вздымаются до звездных высот...

И прежде чем слова хлынут на белую страницу, чтобы оттуда полететь к людям, раскаленная мысль писателя высекает их на онемевшем небе планеты:

«Этот кровавый столб сверкающих имен ужаснет многие поколения!»

НЕДРЕМЛЮЩАЯ СОВЕСТЬ

Когда палачи затягивали петли на шеях своих жертв, у них был могущественный союзник — слепая ночь. Когда плотно, одно к одному, забивали ямы телами убитых, они доверялись другому своему союзнику — бессловесной земле. Днем они обедали в кругу семьи, затем предавались глубокой, безмятежной дремоте, и дети на цыпочках ходили вокруг них... А ночью, собираясь в подвалах казарм, они жаловались друг другу на боли в суставах, в пояснице...

Они полностью доверяли своим сообщникам — земле и мраку. Но больше всего рассчитывали на третьего, будущего союзника — время и на забвение, которым порастают его следы.

Сейчас мы знаем, как обманчива была эта их уверенность. Я имею в виду не только возмездие, пришедшее на процессе 1954 года — и, по правде говоря, с большим опозданием: к этому времени подсудимые прожили, в общем-то никем не потревоженные, большую часть своей жизни.

Я имею в виду те невидимые излучения, которые в дни народных потрясений электризуют воздух планеты. Задыхающиеся в петле голоса разносятся повсюду, словно сигналы бедствия, взывая к недремлющей совести человечества. И тогда, в 1925 году, над планетой протянулись нити великого братства, ослепительным огнем осветившего темные дела палачей.

16 мая 1925 года Советскую страну покрыли траурные знамена. Этот день стал днем памяти жертв террора в Болгарии. Делегации московских рабочих посещали посольства западных государств и вручали дипломатам письма протеста против поддержки режима Цанкова.

Газета «Правда» в этот день вышла с передовицей «Софийские виселицы говорят». В том же номере под статьей, посвященной героям болгарской революции, я увидел имя Михаила Кольцова, блестящего писателя и публициста, неутомимого и вездесущего, который неизменно оказывался повсюду, где шли битвы, где было мужество и страдания. «Москва — София» — так озаглавлена статья Кольцова в «Правде».

В тот же самый день — 16 мая — по улицам Москвы прошли колонны траурной процессии в память жертв политического террора в Болгарии. А на следующий день московские рабочие собрались на грандиозный митинг протеста. Прошли митинги и в Ленинграде, и во всех крупных городах Советской страны.

В эти дни заседал Первый Всесоюзный съезд МОПРа (Международной организации помощи революционерам) в Москве. После речи Васила Коларова, посвященной драматической борьбе болгарского народа против террора и действий цанковского правительства, делегаты поднялись и запели «Интернационал». Потом перед бушующим залом встал Анатолий Луначарский, народный комиссар просвещения, человек, выступавший от имени советской культуры и искусства:

— Слово «Болгария» мы теперь повторяем с глубоко болезненным чувством... Истребляются все передовые элементы рабочего класса и крестьянства до самых основ. Мы видим страдания жертв, слышим их стоны. Но... как в повести Гоголя, мы можем только сказать: «Видим... Слышим...»

И тут член советского правительства умолк. Но слушатели прекрасно поняли все недосказанное в его речи. Несколько мгновений тишины — и гневный зал снова взрывается великой песней интернационального братства.

Да, советские люди не в состоянии протянуть руку помощи своим болгарским братьям. Единственное, чем они могут их

поддержать,— это передать им всю свою боль, сочувствие и солидарность.

В эти дни Михаил Светлов пишет свое стихотворение «Болгария».

Все газеты кипят гневом советских людей против палачей Болгарии. Сквозь блокаду фашистского мрака проникают лучи трагической истины о судьбе болгарских борцов. Единственный, кто мог хоть что-то сказать, Марко Фридман спокойно и мужественно защищает на суде правоту своих идей. Его слова проникают и в советскую печать. Фридман становится представителем тысяч смелых болгарских борцов, у которых отнята и свобода, и возможность говорить, но которые кровью своей пишут все те же слова...

Весть о казни Фридмана и его товарищей волной боли прокатывается по Советской стране. Образ болгарского революционера наполняет горем и драматизмом строфы Светлова. В конце мая поэт уже передал свое стихотворение в редакцию «Правды», и через несколько дней оно было опубликовано:

Фридман!
Ты не был последним,
Много еще других.
Церковь служила обедню,
Площадь казнила троих.
Болгария!
Жди подарков
За каторжный труд палача.
Голос товарища Марко
Не перестанет звучать,
Пусть за тобою не видно
Новых больших дорог—
Мертвый товарищ Фридман
Сердцем огни зажег.
Смертью его не испуганы,
Ружья начнут разговаривать.
Спи, товарищ обугленный,
В этом последнем зареве.

Создавая эти строки, Светлов находился под сильным влиянием Маяковского. И это роднит его с болгарским поклонником Маяковского — Гео Милевым. В одну из тех ночей, когда Светлов бродил по московским улицам, вырывая из мрака строфы своего стихотворения, болгарский поэт встал перед хмурыми палачами в подземельях софийских артиллерийских казарм.

«Международный пролетариат поможет болгарским друзьям». Когда Эрнст Тельман опубликовал эту статью в московской газете «Известия», он уже был председателем Центрального Комитета Коммунистической партии Германии. Гневная публицистика вождя немецкой революции вызывает у меня неизбежные исторические параллели. В памятном для болгарского народа 1923 году Тельман руководил восстанием гамбургских рабочих. В 1925 году он организовал движение немецкого пролетариата в защиту болгарских революционеров. Восемь лет спустя фашисты отнимут у него депутатский мандат и бросят его в тюрьму. И на знаменах международной антифашистской солидарности его имя встанет рядом с именем болгарина Димитрова. А когда Димитров с триумфом вырвется из гитлеровской тюрьмы, ступит на московскую землю и глотнет опьяняющий воздух свободы, первыми его словами будут:

— А теперь — спасем Тельмана!

«Поможем болгарским братьям! — пишет Тельман в 1925 году.— И продолжает: — «Революция выдохлась» — торжествует буржуазия. «Революция выдохлась» — именно поэтому выносятся смертные приговоры... именно поэтому в Болгарии казнят тысячи людей...

Ответ на это, ответ заводов, профсоюзов, рабочих — это тот ответ, который мы выдвигаем в своей пропаганде:

«Революция жива!»

Она жива в красном боевом флаге всех эксплуатируемых и угнетенных».

17 мая берлинские рабочие собрались на митинге в поддержку болгарских антифашистов. Говорит писатель Э. Гумбель, который уже собирает материалы для книги, разоблачающей террористическую власть Цанкова.

Митинги протеста и демонстрации прокатываются по всем крупнейшим городам Германии: Дюссельдорф, Кёльн, Дрезден... Вот строки из резолюции протеста немецких рабочих: «Спешим оказать помощь своим болгарским товарищам по классу...» «Мы солидарны с болгарскими товарищами». «Выражаем глубокое презрение к классовому правосудию болгарского правительства...»

Анри Барбюс ступил на болгарскую землю в первые дни декабря.

На улицах Софии холодно и безлюдно. Писателю, по его собственным словам, кажется, что он движется вдоль окопов линии фронта. Двери министерств и центральных ведомств раскрываются перед ним крайне неохотно. Документы, которые ему предлагают, чтобы ознакомиться с положением в стране, или мало существенны, или фальсифицированы. Когда он посещает дома «пропавших без вести», за ним на почтительном расстоянии движутся фигуры полицейских агентов, разъяренных своим бессилием помешать этому высокому человеку с тонким, одухотворенным лицом совершить то, ради чего он проехал столько километров.

Очень уж велико уважение, которым окружено имя всемирно известного писателя.

Его принимает главный секретарь Министерства иностранных дел Кисимов. О характере этой встречи можно судить по словам самого Барбюса:

— Господин Кисимов, полномочный министр и главный секретарь Министерства иностранных дел, принял меня вместо отсутствующего министра. Объяснения г. Кисимова оказались более чем туманны. Единственным его аргументом было: «Некоторые люди, жившие до известного времени в бедности, неожиданно начали тратить много денег. Таким образом власти поняли, что эти люди подкуплены Москвой». Я утвер-

---

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

ждаю, что главный секретарь Министерства иностранных дел не сказал мне ничего другого о вине коммунистической партии.

Едва ли те, кому было поручено следить за деятельностью Анри Барбюса в Болгарии, подозревали, что этот больной, задыхающийся от приступов кашля француз за время своего краткого пребывания в стране сумеет собрать так много ярких, изобличающих фактов. Смелые и готовые на риск болгары, действовавшие по всем правилам конспирации, снабжали Барбюса необходимыми данными, списками, рассказами очевидцев...

В руки Барбюса попала даже копия того самого секретного приказа генерала Вылкова, который обрек на гибель стольких людей. Она-то и дала ключ к разгадке сути разыгравшейся трагедии. Поистине достойны восхищения люди, помогшие Барбюсу столь глубоко проникнуть в суть борьбы болгарских революционеров. Сам писатель предусмотрительно не называет никаких источников — ведь это означало бы бросить в руки карателей новые жертвы.

И напрасно власти спрашивают себя, что же, в сущности, увезет с собой французский писатель. Когда Барбюс уезжал из Софии, те, кому было поручено за ним следить, наверно, вздохнули с облегчением. Они видели, как он помахал рукой из окна вагона. Кому? Пустынному перрону? Нет. Великий писатель прощался с теми, с кем он не мог встретиться, но кто неизменно был в его мыслях и его сердце,— со своими закованными братьями по духу и мужеству.

Полицейские агенты осматривают хвостовые вагоны и несут своим начальникам радостную весть: «Уехал!» А Барбюс раскрывает свой блокнот, чтобы записать слова, прозвучавшие всего несколько минут назад,— последние слова, услышанные на болгарской земле:

— Они не могут уничтожить нас всех до последнего. Следовательно, они обречены. В любом случае останется несколько человек, которые поднимут других!

Как он выглядел, этот человек, который вдруг появился в его купе и торопливо на правильном французском языке прошептал ему эти слова? Барбюс помнит только его глаза — горящие внутренней силой, решительные, прекрасные... Быть может, студент? Все равно — это один из тех, оставшихся в живых, которые несут в себе будущее своего народа.

Барбюс поясняет слова неизвестного болгарина: «Так мне сказал один эмигрант...» Пусть террористы Цанкова и Вылкова ломают голову, стараясь угадать, кто этот человек, исполненный такой ненависти к их обреченной власти. И такой веры...

И Барбюс торопится записать свои мысли, выводы, порожденные этой неожиданной встречей:

«Вера этих оставшихся в живых выкована страданием, она сильнее ударов.

Их надежда страшна!»

Таковы последние слова, записанные Барбюсом на болгарской земле.

Все остальное он напишет у себя, в родной Франции, где вскоре появится книга с категорическим, как приговор, заглавием — «Палачи».

И снова парижский вокзал, взволнованные лица встречающих, родные, друзья, журналисты. Объятия, протянутые руки. На мгновение воцаряется напряженная тишина — наверно, Барбюс что-нибудь скажет. Да, он хочет поделиться, но не впечатлениями от дальней поездки — это он сделает в своей книге,— а лишь одной-единственной мыслью, отложившейся в его сознании после всего виденного и пережитого:

— Если бы я не был революционером, то, соприкоснувшись с трагическим хаосом на юге Европы, наверняка стал бы им.

Лицо его темнеет:

— Мне хочется громко кричать!

Люди вокруг потрясены — это слова, вырвавшиеся из самого сердца.

Слышен голос:

— Значит, все это правда?

Писатель глухо отвечает:

— Правда еще страшнее.

31 декабря, в последний день 1925 года, Анри Барбюс обращается к болгарскому народу:

— Я был среди вас, пожимал руки рабочих, крестьян, мужчин, женщин, юношей. Картина вашей Голгофы стоит у меня перед глазами. Удары ваших сердец укрепляют мою волю.

Ваша страна — это вы. Пролетариат — неделимая часть своей страны, так же как каждая страна — неделимая часть материземли...

Мы предчувствуем будущее. Но пока мы его ждем, льется ваша кровь, и мы с трепетом каждый день узнаем о дани, которую вы платите священной классовой борьбе. И боль, которую мы испытываем, все еще, увы, только крик возмущения.

Но ваши усилия не напрасны, даже если вы отступили, даже если оказались бессильными на какое-то время.

Для нас это великий пример. Ваше непреклонное упорство мучеников, готовых пожертвовать собой, укрепляет нашу веру и вдохновляет наши действия.

Оно ускоряет историческую развязку.

Кажется, сказано все. Нет! Накопившееся за эти дни до сих пор нестерпимой болью отдается в мыслях, в сердце, и писатель ищет новые слова, высокие и единственные, слова, говорящие о великом примере борющихся болгар:

— Я приехал к вам увидеть могилы и узнать количество погибших — а приобрел высокое сознание нашего жизненного долга. Я почувствовал, как при столкновении с такими уроками народ получает еще более ясное представление о своей силе.

Но пока Барбюс сказал только несколько слов. Впереди самое важное — книга, приговор и призыв к совести всего человечества.

Барбюс пишет торопливо, круглые сутки. Надо поскорее дать ее в руки миллионов

читателей. Он хочет быть строго документальным: языком цифр и фактов должен заставить людей поверить в невероятное.

Писатель уединяется на своей вилле «Вижилия» на берегу моря у Мирабара. День за днем в течение трех месяцев Барбюс пишет свою необычную книгу. Это не роман, хотя и герои, и описываемые события вполне достойны широкого эпического полотна, и не документальный отчет о выполненной гуманной миссии — слишком глубокие борозды проложила эта поездка в мыслях и сердце писателя, чтобы он мог оставаться беспристрастным регистратором фактов. Это, как было сказано позже в одной из рецензий,— «евангелие народных страстей, книга о надеждах угнетенных».

Окно виллы «Вижилия» светит до поздней ночи. Свет, льющийся из комнаты Барбюса, служит маяком местным жителям, ушедшим на ночную ловлю. Уже за полночь писатель слышит под своим окном шаги и приглушенные голоса возвращающихся домой рыбаков. Для него это сигнал, что пора отдохнуть.

Ранней весной 1926 года Барбюс заканчивает свою книгу. В начале июня она выходит из печати и тут же включается в битву — бесстрашный воин истины.

Нелегко пересказывать эту книгу. Она плотна, лаконична, строга. Она сама словно бы пересказ бесконечной цепи событий, народных судеб, вместившихся в тесное пространство ее страниц.

Первые же ее строки вступают в спор с «доброжелателями» балканских стран, затрагивающими самую чувствительную струну в сознании каждого народа — его достоинство. Они утверждают, что разоблачения Барбюса дискредитируют страны и народы, которые тот посетил. «Нет,— отвечает писатель,— я никогда не упускал случая выразить свое восхищение, уважение к болгарскому народу, другим народам, среди которых мне пришлось быть». И рассказывает о встреченных им людях — честных, высокосознательных, о которых он «сохранит глубокое воспоминание».

«Народ,— голос Барбюса становится громким и беспощадным,— не несет ответственности за действия и поведение разместившихся в столице паразитических властей».

Тема народа, по духу, морали и прозорливости стоящего неизмеримо выше своих фашистских правителей, красной нитью проходит через всю книгу Барбюса. Он с восхищением говорит о встреченных им выдающихся людях, представителях интеллигенции, культура которых «не ниже, а часто выше культуры интеллигенции Запада».

Опровергнув несправедливые обвинения в «дискредитации» балканских народов, Барбюс переходит к главному — выявлению подлинных виновников трагических событий в Болгарии и на Балканах. «В Болгарии правительство г. Цанкова и военного министра генерала Вылкова (они неразлучны) не имеет никаких глубоких корней». Писатель раскрывает и двуличную роль царя Бориса, посвятив ему полные иронии строки: «Он удовлетворяется тем, что отказывается утверждать смертные приговоры, вынесенные по политическим соображениям, но... это всего лишь призрачная щепетильность, так как правительство не постесняется подослать убийц к тем, кого он пожелал бы помиловать».

Количество убитых? На этот вопрос едва ли когда-нибудь будет дан точный ответ. Барбюс перечисляет высказывания болгарских правителей, называющих самые разные, но во всех случаях неполные цифры. Царь Борис публично признался, что жертвы исчисляются тысячами, Цанков сообщил о сотне убитых учителей, министр иностранных дел Калфов признался, что лишь в сентябре 1923 года было убито 5 тысяч человек, а главный секретарь Министерства иностранных дел уверял Барбюса, что после прихода к власти правительства Цанкова число жертв не превышает трех с половиной тысяч. Скромнее всех генерал Вылков: по его словам, убито всего... двадцать пять революционеров.

«Каким неприкрытым цинизмом звучат эти слова!» — восклицает Барбюс.

А великие державы? Какова их позиция? «Они сеют междоусобицу на Балканах и являются соучастницами кровавого балканского хаоса... Разве не поразительно то благожелательное отношение, с которым правительства западных стран взирают на поведение разбойничьих правительств?» Для Барбюса нет существенной разницы между европейскими правительствами — все они одинаково лицемерны и на словах, и на деле. «В своих громких декларациях наши правители только и твердят о мире и порядке. Цанков и Вылков также говорят об этом и в тех же выражениях. Цанков, профессор-мясник, не допускает и мысли, что его правительство может считаться реакционным. «Это, говорит он, слухи, которые распускают «Юманите» и другие коммунистические газеты. В действительности, уверяет он, его правительство самое либеральное».

Я отмечаю лишь наиболее характерные места из книги Барбюса и вспоминаю характеристику, данную ему Лениным: «Это великий голос!» Книга Барбюса дает толчок движению международной солидарности с болгарскими революционерами. Достаточно привести пример Альберта Эйнштейна, который поднял свой голос в защиту героев нашей революции, узнав о них из книги Барбюса.

Но Анри Барбюс владеет не только силой художественного слова. Он блестяще пользуется и еще одним оружием — оружием организованной борьбы. Уже во время работы над книгой он сумел осуществить еще один свой замысел: создание Комитета защиты жертв белого террора в Болгарии и на Балканах. В этот возглавленный им комитет вошли писатели Ромен Роллан, Виктор Маргеритт, Поль Луи, Жорж Дюамель, Жан-Ришар Блок, ученый Ланжевен, общественные деятели Поль Вайян-Кутюрье, Жак

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ
ПО СЛЕДАМ «ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ»

Дюкло, Марсель Вилар... Всего 53 человека. Создание французского комитета послужило толчком для возникновения подобных комитетов и организаций в Вене, Лондоне, Женеве, Берлине...

Я думаю об Анри Барбюсе.

Его голос в защиту борющегося болгарского народа долго еще звучит над планетой. Место сраженных революционеров занимают другие, фашисты отчаянными усилиями пытаются сломить волю народа, но это лишь укрепляет его непримиримость. «Я удивляюсь,— восклицает Барбюс, — неописуемой храбрости этой пролетарской элиты, городской и сельской, которую все еще продолжают угнетать, убивать — и не могут уничтожить, которая со все большим упорством продолжает лелеять свою мечту о свободе и человеческом достоинстве. Ваш пример, болгары, не будет забыт! Он — неоценимый вклад в общее великое дело всего мира!»

ВТОРАЯ ТРУБА

Кажется, сказано все.

Все — и так мало! Из моих записных книжек рвутся голоса стольких еще людей, событий, судеб! И даже если всех их перенести на страницы этой книги, главная, большая правда все равно останется нераскрытой. Потому что мы, те, что живем сейчас, можем лишь ладонью прикоснуться к следам минувшего. Живое дыхание, жар человеческих чувств, сияние мысли — все это навсегда застыло в своем времени.

Гео Милев погиб в тридцать лет, Христо Ясенов — в тридцать шесть. Сергей Румянцев не дожил до двадцати девяти, Георгию Шейтанову только что исполнилось двадцать восемь...

Революционные поэты Болгарии умирают молодыми. Прекрасно, но невыносимо жестоко.

Сколько еще мог бы написать Гео Милев? Я вижу поэму «Сентябрь» — заревое начало устремленного ввысь пути — первой вершиной в бессмертном ряду творений, возносящихся в поэтическое небо Болгарии... А Христо Ясенов, талантливый каждым ударом своего сердца! А какими плодотворными для крестьянской жизненной силы Сергея Румянцева могли бы стать мудрость и революционные ветры не прожитых им десятилетий!

Вопросы, на которые никогда не будет ответа.

Одной из мало кому известных жертв апреля 1925 года был офицер-коммунист Иван Минков. Он тоже погиб непростительно молодым. Я с удивлением узнал, что ему принадлежит мелодия «Убитых» — великой болгарской песни, слившегося воедино таинства музыки и стиха, песни, которую каждый болгарин носит в своем сердце...

Какие не рожденные еще созвучия были простреляны пулей 20 апреля 1925 года?

Время молчит.

А вся эта ослепительная вереница лучших людей народа, «самых смелых и способных» среди болгар? Один за другим, вырванные из жизни, они тоже погибли молодыми. Какие свершения остались неосуществленными? Какие сверкающие имена задушила свистящая петля палачей?

Сердце молчит.

Молчит и разум. Потому что там, куда напрасно стремятся проникнуть его лучи, царит глубокий, бездонный мрак.

В день, когда последние страницы этой книги прошелестели в моих пальцах и впервые не принесли мне радости, охватывающей каждого автора в конце работы, я решил посетить места, где когда-то покоились погибшие. Свернув с шумной магистрали, я шел вдоль почти высохшей, изгрызенной зубами бульдозеров речки. От братских могил не осталось и следа — люди постарались уничтожить следы этого невиданного преступления.

А в ушах у меня звучала тихая, пронизанная скорбным сиянием мелодия капитана Ивана Минкова. И я понял — эта песня о них, о тех, кто мученической смертью пал за болгарскую правду. Стихи Вазова рыдали над теми, кто, по-братски обнявшись, спал в священной болгарской земле:

Убитые, в иной вас полк послали,
Нет отпуска, не слышен зов борьбы.
Легли, по-братски руки сжали,
Друг другу доброй ночи пожелали
до той — второй — трубы...

Я шел по осыпающимся обрывам, по сухой переплетающейся траве, там, где грядущее поколение воздвигнет павшим памятники-святилища — ведь срок давности не существует для памяти народа, и ветер пел у меня в ушах всеми голосами свободы...

Тот самый ветер, который ликующим сентябрьским утром разорвал прогнившие петли удушенных, развеял прах, покрывающий их очи, и прошептал — всем и каждому:

— Восстаньте! Звучит вторая труба!

1969—1971

◆

Наши гости

НА ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ

Метин Эльоглу — в редакции «Иностранной литературы»

Эта картина висела в доме О. Танселя — сказочника, поэта и председателя профсоюза учителей в Конье, древней сельджукской столице, расположенной в самом центре Турции.

Две тяжелые, словно налитые земляной силой крестьянские фигуры сидят среди поля тюльпанов, поджав под себя ноги. Мужчина бережно положил пудовую руку на плечо своей подруги. Другая рука в огромном, точно вынесенном вперед к зрителю, за пределы картины кулаке, с трудом удерживая в корявых пальцах тонкий стебель, подносит ей яркий, как пламень, невиданный цветок. Были в этой картине такая мощь, и такая нежность, и такой трагизм, что она никого не оставляла равнодушным. Написал ее Метин Эльоглу.

Я знал его как талантливого поэта. Знал, что он учился в Академии художеств и уделяет живописи не меньше времени и труда, чем поэзии. Но эта картина обнажила для меня корни его творчества, стала образом его поэзии. Три десятилетия он трудится в литературе, с терпеливой нежностью выращивая, подобно своему отцу-садовнику, невиданные, не существовавшие доселе поэтические цветы, чтобы вручить их своему народу, помочь ему заново увидеть красоту и трагизм жизни.

Приехав в Москву гостем Союза писателей СССР, Метин Эльоглу начал беседу в редакции «Иностранной литературы» со стихов. И слушая его глуховатый, застенчивый голос, следя за его исполненным иронии рассказом о собственной литературной судьбе, за его по-мастеровому деловыми суждениями об искусстве, я думал о том, как, в сущности, интимны истоки его поэзии. Подобно всякому сильному и глубокому чувству, они выливаются в неожиданные формы, но наполняют собой каждый шаг, каждый поворот, каждое слово, стесняясь открытого пафоса, страшась крикливости. Должно быть, чем поверхностней чувство, тем легче оно себя называет, чем ниже уровень искусства, тем с большим пафосом говорят о его высоком предназначении.

А Метин Эльоглу читал стихи:

К этой бутылке горькой
нужна бы баранья печенка — раз,
нужен салат из редиски — два,
нужна бы и миска йогурта — три.

Но для справедливости, для свободы и равенства
нужно только храброе сердце.

Это стихотворение — из первой книги его стихов, названной «Кастрюля со свистком». Она вышла в 1951 году, на седьмой год его поэтической карьеры и несет на себе явный след так называемого нового направления в турецкой поэзии.

— Мне очень повезло,— рассказывает поэт,— в том смысле, что, едва начав писать, я познакомился с выдающимися мастерами и среди них — с Орханом Вели, Мелихом Джевдетом, Октаем Рифатом.

Объединившись в «Треножник», эти поэты и положили начало тому течению в поэзии, которое впоследствии было названо «новым». По их собственным словам, они прежде всего стремились «избавить поэзию от казенных штампов, бейского пафоса и барских забав». Искали новые поэтические средства, очищая стих от, так сказать, архитектурных излишеств, которыми на протяжении многих веков истории отечественной литературы он оброс настолько, что под ними стали трещать несущие конструкции смысла. В полемическом запале они отнесли к излишествам сравнение, гиперболу, даже сам образ, а также размер и рифму. Ограничивая себя, они возвращали, однако, поэзию к ее незамутненным истокам — поэтической мысли.

Метин Эльоглу с первых шагов примкнул к новому поэтическому движению. Он тоже писал стихи без рифм и разме-

ров, без сравнений, гипербол и метафор. Но не повторял своих старших собратьев по поэзии.

Они сосредоточили огонь отрицания — особенно вначале — на традиционной поэтической форме, чему в немалой степени содействовало содержание общественной жизни Турции тех лет.

Метин Эльоглу, обратившись в стихах к фактам каждодневного быта, к простым, обыденным словам, с первых своих шагов сочетал новые формы с острой социальной критикой. Одним из первых поэтов новой волны он обратился к городскому жаргону, к просторечию. Ирония стала на какое-то время едва ли не главным его поэтическим оружием. Все это сразу же придало его стихам самобытность и способствовало дальнейшей эволюции его старших товарищей к народности и демократизму не только в области формы, но также и содержания.

— Если обо мне как человеке,— замечает Метин Эльоглу,— вряд ли можно сказать, что я обладаю большим чувством юмора, то в своих стихах я всегда старался прибегать к народной шутке, присущему стамбульцам острословию. Так сложилась первая книга, с тех пор не раз переиздававшаяся, в которой я высмеиваю пороки общества, его несправедливость.

Поэт делает это спокойно, как бы сохраняя полную объективность и лишь констатируя факты, нигде не возвышая голоса, не утешая и не впадая в отчаяние, но с чувством большого внутреннего достоинства. И его стихи рождают у читателя ощущение превосходства над мраком, грязью и несвободой. Этого-то и не могли простить ему те, для кого мысль о том, что человеческое достоинство не сводится к деньгам, чинам и власти, равносильна оскорблению личности.

За убеждение, высказанное в кофейне, в кругу знакомых, тихим, ровным голосом, но противоречащее общеобязательному в те годы в Турции единомыслию, ему пришлось провести два месяца в застенках управления безопасности, а затем он был навсегда вычеркнут из списков Академии художеств.

Призванный в армию, поэт протестовал против унизительной муштры и был осужден на два месяца заключения в военной тюрьме, а затем на пять лет солдатчины.

С трудом устроившись на место писаря в садоводстве бывшего султанского дворца, где еще помнили его отца, он не стал угождать начальству и вскоре был уволен.

За одноактную комедию «Демократическая семья» был осужден — на сей раз по обвинению «в подстрекательстве к разрушению института брака». За вторую книгу стихов «Королевский тунец» — снова приговорен к тюремному заключению.

Назым Хикмет, проведший в тюрьмах свыше семнадцати лет, говорил, что в Турции долгими годами тюрьмы никого не удивишь. И Метин Эльоглу не любит рассказывать об этой стороне своей жизни. Но ни долгие годы безработицы, ни материальные лишения, ни преследования не изменили ни его характера, ни его взглядов на искусство.

— Просто так получалось,— говорит поэт,— что я всегда почему-то шел против течения, все у меня выходило наоборот. Большинство турецких писателей, например, начинало со стихов, а потом переходило к прозе. Я же начал сочинять и печатать рассказы, а потом стихи. В Турции, как вы знаете, многоженство запрещено уже полвека, но у меня по-прежнему две «жены» — живопись и поэзия. Причем первая из них, вопреки всем установлениям, меня еще кормит...

Шестидесятые годы характеризовались в Турции бурным общественным движением. После свержения профашистского режима были созданы демократические организации, в том числе и Рабочая партия Турции— первая легальная партия, провозгласившая своей целью социализм, выходили левые журналы и газеты, стали легально издаваться марксистские книги.

Всякая волна, однако, несет на себе пену. Социализм и революция сделались модой. Наряду с серьезными стихами и рассказами начали во множестве появляться в печати рифмованные и нерифмованные декларации на темы свободы и революции, претендовавшие на звание произведений искусства.

В эти годы М. Эльоглу выпустил пять книг стихов и в каждой остался верен себе.

— В любой стране,— говорит наш гость,— на определенный момент существует литературная мода, и, если писать в соответствии с этой модой, можно легко достигнуть популярности. Мои последние книги были подвергнуты критике на том основании, что я, мол, стал писать абстрактные стихи, мало, дескать, уделяю места общественным проблемам. Я думаю, что настоящие стихи могут выйти из-под пера поэта, только когда он пишет о том, чем живет сам. Быть может, мой жизненный уклад сложился так, что я стою несколько в стороне от активной общественной деятельности. Но поскольку я живу в этой стране, ее общественная жизнь, независимо от того, чем я занимаюсь, мимо меня не может пройти и, конечно, сказывается на моем творчестве. Я полагаю, что поэзия, подобно архитектуре,— труднейшее из искусств, но ее единственным материалом является слово. В слова, которые я говорю, я стремлюсь вложить значительную мысль. Те же, кто меня обвиняет, по-моему, недостаточно владеют турецким языком и поэтому не в состоянии понять, что я хочу сказать, а все, им непонятное, именуют абстракцией...

Когда общественно значимым словам начала угрожать инфляция, когда смысл их от чрезмерно частого употребления стал стираться, как на старой монете стирается ее достоинство, Метин Эльоглу устремился в глубь слова, чтобы освободить скрытую энергию, заложенную в нем историей развития языка, а следовательно, и историей народа. Задача эта, достаточно сложная

Аффанди. Рыбак

ИЗ РАБОТ ИНДОНЕЗИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ АФФАНДИ И КАРТИКИ

Аффанди. Маски

Картика. Пейзаж

Картика. Старая лошадь

Картина. Лодка

Картика. Праздник

сама по себе, для турецкого поэта сложна вдвойне.

Дело в том, что литературный турецкий язык все еще находится в процессе бурного становления. Каждое десятилетие приносит новый лексический пласт. Стихи, написанные каких-нибудь сорок лет назад, нынешний читатель вынужден читать со словарем. Наиболее значительные произведения национальной литературы конца прошлого — начала нынешнего века выходят новыми изданиями, в переводе на современный литературный язык.

— В отличие от русского поэта или, скажем, французского,— утверждает Метин Эльоглу,— положение поэта, пишущего по-турецки, таково, что, создавая свои произведения, он одновременно должен участвовать и в создании языка поэзии. Несмотря на то, что, по-моему, стихи в общем непереводимы, я вместо отвлеченных рассуждений все же позволю себе, чтобы вы могли судить, правы ли мои критики, прочесть одно из моих последних стихотворений:

Что-то горит,
прежде запаха слышу тепло,
тонкое-тонкое, точно надежда,
острое-острое, точно тоска.

Вьется, дымится, клубится,
что-то горит корневое.

Крупные зерна граната в глазах,
кудри развеянных ветром волос,
то ли роз лепестки, то ли кружева
бабушек наших,
то ли дожди моросящие,
то ли сверкающий свет честной жизни,
то ли мечта благородная рода людского.
Да, горит.

Горит, чем шире зима разрастается.
Горит, чем уже лето сжимается.
Неужто еще вы не слышите?
Все вокруг занялось.

Название последней книги Метина Эльоглу, куда вошло это стихотворение, буквально может быть переведено «По-поэтски», то есть — на языке поэта. Их восприятие, как видно из примера, зависит от того, кто их будет читать. Но, по мысли Метина Эльоглу, они и рассчитаны на это. Прямая конкретизация поэтического текста, по его мнению, лишает читателя возможности сотворчества.

— Самим названием книги я хотел подчеркнуть, что нужно понимать язык поэзии, как и язык любого другого искусства, нужно ему учиться, как учатся музыке, живописи, грамоте, в конце концов.

Разговор заходит о последних событиях в литературной жизни Турции. По мнению поэта, несмотря на контрнаступление, которое предприняла реакция в начале семидесятых годов, когда были закрыты левые газеты, крупнейшие центры страны объявлены на военном положении, процесс демократизации, в особенности в интеллектуальной жизни, носит необратимый характер. Не могло не сказаться на литературном развитии и посмертное возвращение Назыма Хикмета. Все написанное им вышло, выходят его письма, книги о его творчестве. Он продолжает оставаться одним из наиболее читаемых и актуальных поэтов. Кроме того, возвращены литературе около десятка поэтов, которые прежде преследовались, не издавались, близких к Назыму Хикмету по взглядам на роль искусства в обществе. Созданное ими ныне оценивается так, как оно того заслуживает. Подвергались ли в последние годы поэты преследованиям? Да, но не за стихи, а за общественную деятельность. По крайней мере к стихам у нынешних властей нет такой аллергии, как прежде.

— Многие стихи турецких поэтов издаются в переводе на иностранные языки, в том числе на русский,— говорит в заключение М. Эльоглу.— Вошли в литературу молодые талантливые поэты, сборник их стихов, как мне сказали, готовит ваше молодежное издательство. Все это не может не радовать меня как турецкого поэта.

Прощаясь, Метин Эльоглу подарил редакции свои рисунки и нигде не публиковавшееся ранее стихотворение. Им мне и хочется закончить рассказ о встрече с одним из оригинальнейших мастеров современного турецкого искусства:

Сороконожка — это вид насекомого.
Львиный зев — это вид цветка.
Орел-стервятник — вид птицы.
Голубая акула — вид рыбы.

Свободная личность — вид человека.

РАДИЙ ФИШ

◆

Среди книг

Издано в СССР

«МНОГОЗВУЧЬЕ НАШЕГО СТОЛЕТЬЯ»

Поэзия ГДР. Перевод с немецкого. Составление и критико-биографические заметки об авторах Г. Раттауза. Предисловие и редакция переводов Л. Гинзбурга. Москва, «Молодая гвардия», 1973. 480 стр.

Слияние разных, неповторимых индивидуальных голосов в едином потоке социалистической поэзии нашло яркое воплощение в этой книге. Состав ее определяется четкой и продуманной концепцией: убедительно показать и сегодняшний день, и историю поэзии ГДР. Поэтому читатель встречается здесь со стихами 40-х, 30-х годов и даже 1919 года — наследие революционно-пролетарской и антифашистской поэзии остается неотъемлемой частью современной литературы ГДР.

В первые годы существования молодой республики Иоганнес Бехер отметил в своих «Опытах»: «Проблемы поэтического искусства заключаются не в том, в чем их обычно усматривают, они не в овладении стихотворной техникой, а в жизни, в мировоззрении, в становлении человеческой личности. Новое искусство никогда не начинается с новых форм, новое искусство всегда рождается вместе с новым человеком». В этих словах не только высказано кредо художника-коммуниста, но и предвосхищена политическая и этическая программа поэзии и всей литературы ГДР.

Во имя нового человека творили И. Бехер, Б. Брехт, Э. Вайнерт, Л. Фюрнберг, Куба. Во имя будущего создавали стихи вернувшиеся из эмиграции С. Хермлин, Э. Арендт, Р. Леонгардт, М. Циммеринг и освобожденные из концлагерей и тюрем К. Шног, Г. Лорбеер. Поэзия стала действенным средством созидания свободной жизни на свободной земле. Стихи, посвященные прошлому, обличающие фашистскую скверну, также служили грядущему торжеству мира и справедливости. Так, у С. Хермлина пепел Биркенау падает семенами прозрения в души немцев.

Чтоб внукам в предостереженье
Посев тот однажды взошел,
Чтоб легок он был, как забвенье,
Как память людская, тяжел.

Чтоб, глядя на эти всходы,
Миллионы людей земли
Во имя любви и свободы
От гибели мир берегли.

(«Пепел Биркенау», перевод Л. Гинзбурга)

Поэзия ГДР рождалась в гуще труда. Стоит открыть «Рассказ о начале» Г. Мюллера — и со страниц антологии заговорит суровая правда послевоенных лет. И это будет правда об упорстве терпеливых разборщиков руин, о воплощающихся надеждах строителей.

В строках, ярко и точно переданных В. Левиком, разворачивается лирический парафраз на властно вошедшую в поэзию тему: «Кто был ничем...»

Смело углубляясь в жизнь, вырастая из насущных проблем своей страны, поэзия звала к действию и созиданию:

Мы зло уничтожим,
мы счастье умножим,
посевы взрастим и взлелеем цветы,
чтоб легче дышалось
и чтоб возвышалось
великое зданье Земной Красоты!

(Куба. «Песнь созидания», перевод Л. Гинзбурга)

Поэзия ГДР несла в себе и осмысление закономерности революционных перемен, происходящих в мире. В одах Э. Арендта Октябрь 1917-го словно протягивает руку Октябрю 1949-го, и в этой перекличке времен поэт видит символ преображения планеты:

Земля с железом
резца истории в сердце
уже содрогнулась
от перелома времен,
окаменелость и косность
расколоты, о гнев,
о пламя! — «Аврора»
возвещает заветный день,
век могущества
человека.

(«Ода IX», перевод В. Куприянова)

Поэзия возвещала новое в жизни, пристально вглядывалась в современника и постигала богатство человеческой натуры, искала новые формы и слова,

чтобы выразить всю нашу суть, чтобы
не просто
обитать, низвергнув господ, но и большее
слышать,
чем рокот моторов, и чувствовать
большее,
чем жар плавильных печей...

(Г. Маурер. «Все наше», перевод В. Куприянова)

В книге раскрывается, как в процессе формирования нового общества и нового человека менялся и облик самой поэзии. Она не только звала к действию — она сама становилась «поэзией действия»; она не только внедряла в умы и сердца новое сознание, но и сама обретала высокое достоинство «поэзии мысли». Уходили в прошлое болезни роста — риторика и декларативность, шире и разнообразнее становился диалог с эпохой, с современниками и потомками:

...В ширь и в глубину
истории мы проникаем взглядом.
А потому, Герой наш, будь достоин
своей эпохи! Умести в груди
и солнца свет, и непокой погоды,
и многозвучье нашего столетья.

(П. Хакс. «Пролог к открытию возрожденного немецкого театра», перевод Б. Пчелинцева)

Черпая содержание в новой действительности, обогащаясь опытом и борьбой людей социалистической формации, поэзия сама становилась новым искусством в полном смысле бехеровского предвидения. В лирическом восприятии нескольких поколений вырисовывается стремительное время, и это движение поэзии вместе с историей наглядно передано в книге.

Свыше 400 произведений 57 авторов представляют в антологии поэзию ГДР в ее прошлом и настоящем. Перед читателем четко вырисовывается преемственность поколений поэтов, особенно заметная в развитии гражданской публицистической лирики. Страстная убежденность борцов-антифашистов, характерная для зачинателей поэзии ГДР, свойственна стихам К. Альтен и И. Герлаха. Пафоса самоотверженного труда во имя новой жизни, воплощенного в произведениях Кубы, исполнены стихи Ф. Брауна, М. Ендришика. Г. Калау и К. Барч продолжают и развивают традиции антибуржуазной сатиры, заложенные Э. Вайнертом и Б. Брехтом. Открывая эти связи и параллели, читатель воспринимает поэзию ГДР в присущей ей динамике.

И еще одно важное качество поэзии ГДР запечатлено в книге: многогранные проявления интернационализма — и в стихах, посвященных Ленину, и в песнях об Октябрьской революции, и в памяти о том, что

...ворота тюрьмы без страха
распахнул советский солдат.
Мне, замерзшему, ватник отдал,
мне, голодному, хлеб свой дал...

(П. Винс. «Баллада моей жизни», перевод В. Корнилова)

Музыка чеха Дворжака звучит в стихах Фюрнберга, пейзажи России и Литвы органично входят в своеобразный поэтический мир И. Бобровского.

В антологии обращают на себя внимание переводы новых для советского читателя произведений классиков немецкой социалистической поэзии. Удачно перевел В. Микушевич «Лагерное помещение» Бехера. С одним из лучших лирических стихотворений поэта «Не время было для любви» читатель познакомится в тонко воссоздающем оригинал переводе И. Грицковой. Благодаря переводам Д. Самойлова и Г. Ратгауза новыми гранями открывается творчество Л. Фюрнберга и Э. Арендта. Радует успех и многих молодых переводчиков.

Новая антология ярко, разнообразно и достойно представляет поэзию братской страны.

Д. ИГНАТЬЕВ

СОВСЕМ НЕ РЕЦЕНЗИЯ

Яннис Рицос. Избранное. Перевод с греческого под редакцией Мориса Ваксмахера. Составитель и автор предисловия С. Ильинская. Москва. «Прогресс». 1973. 426 стр.

Я пришла к поэту в гости
Ровно в полдень. Воскресенье.

Анна Ахматова

Сегодня вторник, третий день нашего пребывания в Афинах. Я пришла к поэту в гости. Этот поэт — Яннис Рицос. У него красивое лицо, раскованные, свободные движения. «Раскованные», корень этого слова — «оковы». Они тоже связаны с моим представлением о Рицосе. Его стихи, глубоко поэтичные, выст-

раданные, я прочла недавно в Москве. Вот одно из них:

КАСТАНЬЯ

Их было сорок, расстрелянных там,
наверху.
Двадцать лет миновало. Никто не назвал
их имен.
Ты понимаешь. Ты знаешь, как мы живем
Каждый год в этот день под тополями
находят
разбитый кирпич, погасшие угли,
немного ладана,
корзину с гроздьями винограда да свечку
с черным кончиком фитиля. Как ему
здесь разгореться?
Ветер сразу погасит. Поэтому вечерами
старухи сидят у дверей, подобные
древним иконам,
и у детей такие большие глаза, и псы
наши делают вид,
будто смотрят куда-то в сторону,
когда мимо идут жандармы.

(Перевод С. Ильинской)

Жандармы и в тот день были возле дома Рицоса: он под домашним арестом. Всю жизнь не может смириться с тем, что ветер гасит огонь надежды.

Вспоминаю названия его стихов: «Обыск», «Следственные кабинеты», «Пересыльная тюрьма в Пирее».

— Прочтите вашу «Грецию» или что хотите,— прошу я.

В ответ он ставит пластинку, звучит его мягкий голос, стихи переходят в песню, вступают сильные, темпераментные голоса греческих певцов. Я не понимаю слов, но мне представляется Греция в ее прошлом и в ее сложном сегодня.

Рицос любит Пушкина, Гоголя, Чехова, посвятил стихи Маяковскому:

Зачем ты ушел, Владимир? Ты был нам
нужен, товарищ,
даже в странной желтой рубахе,
которую сшил ты из ткани,
пропитанной солнцем первого дня
Советов.

(«Здравствуй, Владимир Маяковский!» Перевод В. Шора)

Часто у писателей стоят на виду их книги. Ищу глазами книжки Рицоса, не вижу их. Во время разговора ему понадобился один из его сборников, он отдергивает узкую шторку, закрывающую две длинные полки с книгами — вот где скромно стоят переводы его стихов на многие языки мира. И я дарю Рицосу книгу его стихов, недавно изданных в Москве в переводах наших отличных поэтов.

Прощаясь, Рицос говорит, что у него есть приглашение приехать в нашу страну.

В передней, в шкафчике за стеклом, на полках разложены камни. «Моя коллекция»,— показывает Рицос.

На небольших плоских камнях он высекает портреты, деревья, горы.

Он еще и художник. На том овальном плоском камне, который он дарит мне, лицо женщины с удлиненными глазами. Оно может быть лицом и богини, и современной гречанки. Как возникла эта коллекция? В ссылке на острове Лерос, где Рицос написал свой цикл «Камни»? Там он стал вырезать и рисовать на камнях? Нет, вряд ли там давали ему в руки режущие предметы...

АГНИЯ БАРТО

Май 1974 г.

САБАС ХАУРЕГИ И ЕГО СЫНОВЬЯ

Рамиро Пинилья. Слепые муравьи. Роман. Перевод с испанского и предисловие М. Былинкиной. Москва, «Молодая гвардия», 1973. 256 стр.

Обращаясь к судьбам современной испанской литературы, невольно вспоминаешь крылатую фразу Герцена: «У народа, лишенного общественной свободы, литература — единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик возмущения и своей совести».

Литературу нельзя убить, нельзя задушить, ибо она, по словам Белинского,— «сознание народа, цвет и плод его духовной жизни». И вот, несмотря на действующую в Испании современно оснащенную машину духовного порабощения — официозную прессу, радио, кино, телевидение,— испанская литература существует и борется. Роман-свидетельство — одна из форм этой напряженной борьбы, роман, раскрывающий душу испанского народа, его подспудные чаяния и надежды.

«Слепые муравьи» Рамиро Пинильи — именно такая книга.

В Бискайском заливе, у северных берегов Испании, на прибрежные скалы Ла Галеи штормом выброшено груженное углем английское судно. Трюмы корабля разбиты, и уголь стал добычей моря. «Спасибо тебе, господи, что ты послал к берегам нашим это судно с углем,— бормочет в радостном исступлении старая бабушка Хауреги.— Я все время молюсь, чтобы мы не мерзли нынешней зимой. Я просто боюсь закричать от радости, что наконец-то святая дева меня услышала!»

Радость старухи Хауреги разделяют все в баскском поселке Альгорта — несмотря на бушующий ураган, жители бросаются на берег с тачками, повозками и мешками. Там же, конечно, и Сабас Хауреги и четверо его сыновей: «Кто откажется идти—трус и не сын мне. Нам сегодня нужны все мужские руки!»

Но недостаточно отнять уголь у моря, его нужно уберечь от беспощадных глаз карабинеров, охраняющих священные права частной собственности. В неравной схватке закон одерживает победу: шторм еще не стих, а уголь, с нечеловеческим трудом и риском для жизни отвоеванный у моря жителями Альгорты, конфискован карабинерами и ссыпан черной горой во дворе жандармского участка. Он должен быть возвращен владельцам.

Сабасу Хауреги благодаря его воле и уму дольше других удается продержаться в поединке с карабинерами. Пять суток он прячет и перепрятывает три тонны угля, за которые заплатил морю жизнью одного из своих сыновей. Но и Сабас в конце концов побежден — уголь найден и отнят, до последнего мешка, до последней горсти. В заключение Сабас Хауреги сам является в участок, к лейтенанту Гарсии. «Он нагнулся, с трудом развязал левой рукой башмак и стащил с ноги; снова выпрямился и, перевернув башмак, стал трясти его над столом. Из башмака посыпались мелкие кусочки угля, застрявшие в нем».

Поступок Сабаса глубоко символичен. Несколько граммов угля, чернеющие на столе, как бы утверждают без слов: «Нет, ты не победил, лейтенант! У тебя сила, тебе принадлежит власть, но ты не волен над моей душой, над моим сознанием!»

Центральная фигура романа Сабас Хауреги — наибольшая удача автора. В характере Сабаса собрано, сфокусировано все лучшее, что живет в народе басков,— мужество, трудолюбие, стремление к независимости, высокая нравственность, которую не могут поколебать ни долгие годы нужды, ни ярость стихий, ни гнет режима.

Характер Сабаса Хауреги напоминает тугo сжатую пружину — когда-нибудь она развернется! Всем, что Сабас имеет в жизни, он обязан только самому себе. Он независим и горд, он никому не кланяется и ни у кого не просит ни помощи, ни снисхождения. Равнина на вершине Ла Галеи «была местом диким и нетронутым, словно со дня сотворения мира. Любой плуг ломался там на первой борозде... А отец пришел и расчистил участок... Работал, как дьявол, все праздники и воскресенья, а иногда и ночи напролет».

Это о Сабасе в Альгорте говорят: «Он ни о чем не думает, кроме своей работы. Он и смеяться-то разучился, если когда и умел... Работает всегда как проклятый, будто в жизни и делать больше нечего». И жена Сабаса Хосефа присоединяет к этому хору свой голос: «Проклятая работа! Будь проклята эта работа Сабаса!» Хосефа словно забывает о том, что только работой и мужественным упорством Сабаса живет семья.

Работа действительно дорога Сабасу Хауреги, но она дорога ему прежде всего тем, что дает ему независимость и веру в завтрашний день, поддерживает его чувство собственного достоинства. Он глубоко убежден, что «надо все уметь делать своими руками». Он и сыновей учит: «Наша награда — это работа, которой мы завтра должны отдавать еще больше сил, чем сегодня. Да, работа — наша награда!»

Но не стоит торопиться с выводами, не надо думать, что Сабас — «слепой муравей». Его зоркий глаз отчетливо и остро видит все: и несправедливость навязанного народу государственного строя, и несчастье тех, кто, подобно ему самому, вынужден влачить жизнь, полную нужды и лишений, работать только ради куска хлеба.

В памятную ураганную ночь Сабас Хауреги говорит своим сыновьям: «А «их», многих людей во всех концах света, труд страшит. «Они» испокон веков старались влезть на что-нибудь повыше, дабы лучше приглядывать за теми, кто работает. Когда-то, давным-давно «они» для этого взбирались просто на высокий камень, а теперь влезли еще выше: расселись под вывеской «Компания» за огромным столом с десятками пепельниц и назвались акционерами, советниками и прочими дельцами».

Нет, Сабас Хауреги — не «слепой муравей», он видит корни социального зла, опутавшего стальными тенетами его страну, он имеет полное право говорить от имени страны «по праву разделенного страданья». И даже потерпев поражение в схватке с законом, с карабинерами, Сабас не падает духом. Вот что говорит он любимому своему сыну Исмаэлю после того, как они нанесли символический визит лейтенанту Гарсии:

«...ты думаешь не только о них, но и о том споре, который все время ведешь сам с собой, о той непосильной страшной борьбе, которую приходится вести, чтобы отстоять свои взгляды, отгородиться от тех слов и мыслей, которыми стараются отравить твое сознание книги, газеты, радиопередачи и всякие говоруны. Они хотят убить в тебе все твое...»

Нельзя не отметить еще одну сторону романа. Фанатически веровавшая в бога жена Сабаса после гибели сына неумолимо приходит к крушению всех своих верований, она не может верить в того, кто бессмысленно и ненужно отнимает у нее сына. «Она отреклась от бога, чтобы, ринувшись в сражение, иметь возможность влиять на его исход, а не полагаться только на волю божью». В споре со священником Хосефа с отчаянием восклицает: «Это был мой сын. Понимаете, падре? А господь бог допустил...» И то же отчаяние вырывает из уст потерявшей бога женщины кощунственные слова: «Теперь я тоже

желаю смерти своему сыну... Раз этого пожелал сам господь бог».

Для самого же Сабаса Хауреги его счеты с богом закончились давным-давно, еще в юности, когда он на вопрос того же падре ответил: «Я верю только в свой труд».

Своеобразное звучание придает страницам романа легенда о Черном — огромном угре, живущем в Бискайском заливе. «Вера в существование Черного вошла в плоть и кровь моих односельчан и, переходя из поколения в поколение, жила в нас. Призрачный и вместе с тем реальный образ витал над нами чуть ли не с колыбели». Этот свободолюбивый, неуловимый Черный как бы олицетворял для баскских рыбаков их неутоленную мечту о свободе, о независимости, о силе. Многие на словах хотели бы заполучить Черного в свои сети, но это только слова. «Они врут, когда жалуются, что не смогли его поймать,— говорит Сабас Исмаэлю.— Если его и удалось бы поймать, нам бы досталось только его тело. Мы попользовались бы только его мясом, а он потерял бы то, что дороже всего для каждого живого существа».

Читатель закрывает книгу Рамиро Пинильи с верой, что недалек день, когда сабасы хауреги обретут свободу, как это только что произошло в соседней с Испанией Португалии, и сами будут распоряжаться своей судьбой.

Роман «Слепые муравьи» за свои художественные достоинства был удостоен премии Надаля, одной из крупнейших литературных премий Испании, учрежденной либеральным барселонским издательством «Дестино».

Перевод романа, сделанный Маргаритой Былинкиной, по-моему, очень хорош, книга читается с волнением и интересом и дает возможность понять многое из того, что происходит по ту сторону Пиренеев.

АРСЕНИЙ РУТЬКО

ВСТРЕЧА С НАРОДНЫМ ЮМОРОМ

Высокоученый Куинь и другие забавные истории. Перевод с вьетнамского, предисловие и примечания Н. И. Никулина. Москва, «Наука», 1974. 120 стр.

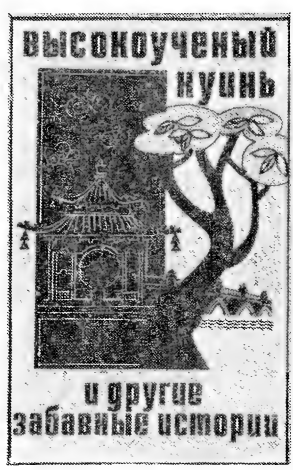
С самого раннего детства каждый вьетнамец слышит веселые анекдоты, шутки Высокоученого Куиня, народные побасенки, устные забавные истории. Сила народного юмора в том, что он выражает существо самой жизни народа, создавшего его, умение критически, со стороны увидеть те или иные социальные явления, предстающие благодаря этому в ярком свете.

Почти треть книги занимает цикл о Куине, удостоенном в памяти народной наивысшей в феодальном Вьетнаме ученой степени «Высокоученого». Это один из самых знаменитых героев вьетнамского фольклора, который «с малых лет прославился умом и умением подшутить над людьми». Исследователи находят для него реальный прототип — весельчака и балагура Нгуен Куиня, жившего, по свидетельству семейной хроники рода Нгуенов, в XVIII веке в области Тханьхоа, откуда происходит и сам Высокоученый. Цикл забавных рассказов о Куине в совокупности своей составляет жизнеописание хитроумного героя, его веселых приключений и далеко не всегда безобидных шуток над правителями, повелителями и даже божествами. В большинстве этих историй о Высокоученом Куине подчеркиваются его патриотические и свободолюбивые устремления, непризнание морального права деспотов распоряжаться судьбами людей.

«Посольская эпопея» Высокоученого Куиня, при всей анекдотической неправдоподобности обрисованных ситуаций, отражает существо нелегких взаимоотношений небольшого государства — Вьетнама — с правителями феодального Китая, смешными в своих великодержавных амбициях и спесивой самовлюбленности. Переодетый стражником Высокоученый Куинь ударяет ручкой опахала вельможного посла Поднебесной по лысине, и тот, забыв о своем величии и погнавшись за обидчиком, мигом проскакивает «Ворота страны Великого Юга», куда он только что высокомерно отказывался войти, поскольку не признавал в мире ничего великого, кроме Китайской империи.

В цикле историй о Высокоученом Куине отчетливо проявляется сложность поэтики вьетнамского устного юмористического рассказа, который представляет собою сплав весьма различных элементов, начиная с переосмысленных сказочных сюжетов и кончая заимствованиями из «высокой» литературы, однако заимствованиями демократизированными и даже пародируемыми в устных историях.

Юмор Куиня предназначен для всех: он



понятен не только образованным людям, но и людям из городских низов и крестьянам.

Наследником, даже чуть ли не правнуком Куиня считается Почтенный Сиен, вокруг личности которого во Вьетнаме родилось множество анекдотов. Он жил, как предполагают, во второй половине XIX века и отличался таким же свободолюбием, умом и острословием, как и Куинь. Великолепна пародия на чинопочитание в анекдоте «Как Сиен правителя округа принимал», а французские колонизаторы, которые в то время вели войну за установление своего господства на вьетнамской земле, высмеиваются в истории «Тяжкие недуги государства».

Относительно новыми являются записи анекдотов о Старом Птицелове — Почтенном О, популярном на Юге Вьетнама. Этот человек из народа исключительно изобретателен и находчив. Судьба сталкивает его с государем и чиновниками, но из самых сложных переделок Старый Птицелов выходит живым и невредимым, в простоватых своих сентенциях вынося обличительный приговор трусливому императору и своре его прихлебателей, не способных противостоять иноземному вторжению и защитить страну («Диковинные рассказы о стольном граде Хюе»).

В особом разделе этой интересной и веселой книги представлены «Разные забавные истории», объединенные по темам.

Достается в них и местным властям, и военачальнику, и богачам, и скупцам. В отличие от русского фольклорного образа смекалистого бывалого солдата, вьетнамские солдаты феодальной армии, исполнявшие преимущественно полицейские функции, сочувствием и почетом в народе не пользовались. В анекдотах они показаны глупыми, неумелыми («Себя потерял», «Шесть ног» и др.) В то же время поучительная история про батрака и богача напоминает пушкинскую «Сказку о попе и о работнике его Балде».

В книге «Высокоученый Куинь и другие забавные истории» представлен весь спектр смеха: юмор, ирония, сатира и сарказм. При всей оригинальности, подчас даже эндемичности, эти рассказы вновь подтверждают вывод о наличии типологических универсалий, общих закономерностей в развитии искусства художественного слова, в частности фольклора. Вьетнамский народ, как русский и любой другой, искал правду и справедливость и, сочиняя эти истории, стремился выразить свою извечную мечту о лучшем будущем.

Во Вьетнаме анекдоты и забавные рассказы стали появляться в печати со второй половины XIX века. Они пользуются огромной популярностью и в наши дни. Книга о Высокоученом Куине в переводе Н. И. Никулина расширяет наше представление о вьетнамском фольклоре [1]. Обстоятельное предисловие помогает читателю многое узнать о вьетнамской народной юмористической литературе.

В этой книге успешно продолжена формирующаяся у нас традиция перевода вьетнамского фольклора, знакомство с которым эстетически обогащает и нашу литературу. Переводчику удалось стилистическими средствами показать ту эволюцию, которую проделал жанр вьетнамского народного анекдота: ранние его образцы переданы в более архаичной манере, более поздние близки к современной разговорной речи. Переводчик не стремился «подладиться» под язык русской сказки. Бережно сохраняя фактуру оригинала, он находит свой особый стиль, который позволяет ему, по сути дела, творчески воссоздать каждую миниатюру на русском языке.

Нет сомнения, что эта небольшая книжка вьетнамских забавных историй многим доставит радость встречи с неведомым ранее миром вьетнамского народного юмора.

В. МАКАРЕНКО

[1] В переводе Н. И. Никулина на русском языке изданы также «Сказки народов Вьетнама» («Наука», 1970) и «Сказания вьетнамских гор» («Художественная литература», 1970).

Издано за рубежом

РОМАН ОБ ОДНОМ НАРОДЕ И ОДНОМ ВРЕМЕНИ

Mihailo Lalić. Ratna sreća. Beograd, Nolit, 1973.

В разносторонних и плодотворных творческих поисках Михаило Лалич неизменно сохраняет в качестве отличительных особенностей своей поэтики две главные черты: Черногория является постоянной темой его творчества, а реализм — его основополагающим направлением. В романе «Военное счастье», вызвавшем живую дискуссию среди читателей прежде всего в Черногории, писатель показал новые стороны, новые глубины своего мастерства.

Роман посвящен драматически напряженным событиям в Черногории накануне второй мировой войны и революции. Главное внимание Лалич обращает на исторические, социальные и классовые столкновения, причем его герой выступает как участник событий и в то же время как их толкователь. Писатель более занят судьбой политических движений, партий и групп в Черногории в

начале нашего века и до конца его третьего десятилетия, нежели судьбами отдельных героев. Однако это вовсе не означает, что трагические коллизии в их жизни отошли на второй план и не получили надлежащего места на широком полотне политической трагедии черногорского народа. Напротив, радости и страдания отдельных персонажей выявляют с еще большей яркостью идею этого сложного литературного повествования. На фоне борьбы народа против деспотизма черногорского князя и короля Николы I, последнего государя династии Петровичей, разыгрываются события романа и раскрываются волнующие судьбы его героев.

Социалистическая революция была в то время единственной реальной возможностью разрешения исторических, общественных и классовых противоречий буржуазного государства. И быстрый крах старой Югославии в 1941 году явился напоминанием о том, что исчезновение монархии с государственной сцены неминуемо и что гибель этого скороспелого государства означает также крах определенной государственной системы, пережившей самое себя. Жизнь Черногории в предреволюционные годы описана в романе Лалича точно и глубоко.

Для решения своей задачи писатель использует прием создания романа внутри романа. Его книга как бы представляет первую тетрадь дневника главного героя Пейо Груйовича, а три остальные тетради лишь упомянуты автором. Вот что говорит об этом сам писатель: «Один из основателей организации черногорской университетской молодежи в Белграде и знаменитого некогда Клуба периода 1905—1910 годов, Пейо Груйович оставил четыре тетради записей, в которых воспоминания, порою относящиеся к его детству, перемежаются дневниковыми заметками, сделанными пятьдесят лет спустя. Это — первая из тетрадей.

Была совершена попытка выделить лишь мемуарную часть как наиболее ценную, но пришлось от этого отказаться по причинам, которые читатель поймет сам».

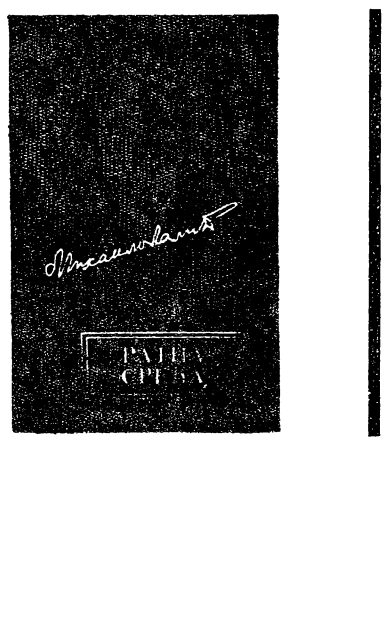
Этот авторский комментарий объясняет, как возникла идея романа-мемуаров, подчеркивает субъективность повествования и, наконец, говорит о намерении писателя создать обширный прозаический цикл, тетралогию, которая охватила бы жизнь страны в пространстве и времени.

Материал предвоенного времени дает возможность писателю показать бескомпромиссную борьбу его лучших соотечественников в их стремлении утвердить свое достоинство, веру в себя, в существование подлинных моральных ценностей. В «Военном счастье» система общественных отношений изображена в момент ее распада и крушения вместе с режимом, породившим и культивировавшим ее. Стремясь передать в самой композиции романа тенденции развития событий, Лалич первой части своего повествования дает заголовок «Как начался праздник гибели», а второй — «И как он закончился». Это расчлененная надвое мысль в целом точно выражает самую суть романа.

Обращаясь к аллегории, Лалич начинает роман описанием приема в доме вождя племени брзаков, который и стал одним из главных его персонажей. Уже в первой главе книги создается впечатляющая картина эгоизма, местничества, племенного шовинизма и склонности к автаркии. В этом таилась причина гибели старой Черногории, и в книге обнажены корни племенной разобщенности.

Лалич проводит линию раздела между частной жизнью Пейо Груйовича и жизнью племени брзаков и державы черногорской. Личные воспоминания Пейо Груйовича и его многолетняя политическая деятельность перемежаются на протяжении всей книги. И поэтому мемуарный характер романа не сохраняется последовательно, но как бы варьируется в широком диапазоне от сентиментально-лирического повествования до детальной хроники общественной жизни Черногории за тридцать пять лет; размышления о судьбах людей в круговороте истории сменяются картинами жизни Черногории в эпоху зарождения буржуазного государства. Пейо Груйович является в романе как бы посредником писателя, он выступает в двоякой роли. С одной стороны, Груйович — классический рассказчик, с другой — герой романа. Преломляя события в личности хрониста, автор в то же время вторгается в повествование, подтверждая их достоверность.

В отношении к историческому материалу Лалич выступает как последовательный реалист. Он стремится оживить краски ушедшего, как бы воскресить минувшее, восстановить подлинные мысли и слова героев, передать высокий накал политических столкновений и трагизм существования невинных жертв суровой эпохи. При этом он проявляет незаурядное знание фактов новейшей черногорской истории. В центре его внимания — годы правления черногорского государя Николы I Петровича, его расправа с оппозицией и молодой интеллигенцией, со всеми, кто пытался ограничить его самовластие. Лалич изображает цетиньский и



белградский королевские дворы, армию, полицию, племенных вождей и устаревшие институты племенной организации, недавно сформировавшийся класс буржуазии, систему современного буржуазного государства со всей свойственной ей жестокостью, моральной извращенностью, макиавеллиевским лицемерием. Но Лалич идет дальше. Он до основания разоблачает самомнение и квазигероизм молодого поколения буржуазии, его шовинизм, утверждает новые общественные ценности.

В «Военном счастье» перед читателем проходит множество персонажей, начиная от известных истории деятелей до безымянных людей из народа. Князь, а позже король Никола, его генералы и приближенные, дворцовая камарилья, племенные вожди и политические противники двора, заговорщики, беглецы и изгнанники, каторжники и дезертиры, бродяги, шпионы и провокаторы, выскочки и опустившиеся баре, действительные и мнимые герои, хищники, безумцы, любовники, мечтатели, политические комбинаторы, убийцы и грабители — короче, и «сливки», и отбросы общества, а поверх всего — народ как единственная здоровая, неиссякающая сила нации.

Герои этого романа Лалича существуют в более широкой социальной сфере, нежели герои прежних его книг. Поначалу включая в себя лишь проблемы, вставшие перед племенем брзаков, повествование затем непрерывно расширяется, захватывая все больше пространства, читатель переносится в Одессу, Цетинье, Дубровник, Загреб, Белград.

В романе точно обозначены нижняя и верхняя временные границы — 1905 и 1941 годы, но события внутри этих рамок располагаются свободно, непринужденно, движутся по воле автора в любом направлении. Это придает определенную многогранность и ощутимую весомость проблеме времени в романе. В столкновении времени исторического и времени, субъективно воспринимаемого героями романа, возникают трагические недоразумения, рождающие непонимание между личностью и обществом, отсутствие гармонии между субъективными желаниями, стремлениями героев и объективными историческими возможностями.

Это понимание времени помогает Лаличу поведать правду о жизни Черногории тех лет и ее людях.

Роман «Военное счастье» — многозначное и многоплановое произведение. Его объемность, композиционно-структурная широта, его стиль, пластичная психологическая индивидуализация образов, свободная пространственная и временная завершенность, историческая, социальная и классовая определенность позволяют назвать Лалича одним из самых интересных писателей в югославской литературе. Роман «Военное счастье» представляет собой пролог к новому циклу произведений Лалича.

ВОИСЛАВ МИНИЧ

г. Титоград

«ТАКОЙ БЫЛА НАША ЛЮБОВЬ...»

Marie Susini. C'était cela notre amour. Paris Editions du Seuil. 1973.

В прошлом году в Париже массовым изданием вышел роман Мари Сюзини «Такой была наша любовь». Это роман о любви, о второй мировой войне, о мае 68-го. Книга эта, впервые опубликованная в 1970 году, получила в печати самую высокую оценку.

О немецкой оккупации и движении Сопротивления во Франции написано множество книг. Количество их не перестает увеличиваться и по сей день. Но чем больше лет отделяет нас от той трагической и героической эпохи, тем с большими трудностями сталкивается художник — нелегко писать о Сопротивлении после известных документальных произведений конца 40-х годов, созданных его участниками и очевидцами Жаном Лаффитом и Жоржем Коньо, великолепных романов 50—60-х годов Л. Арагона, А. Лану. Необходимо найти свой, свежий взгляд на то, что было, прочитать прошлое новыми глазами. Это удалось сделать Мари Сюзини, которая сочетала в своем романе опыт Сопротивления и уроки мая 1968 года.

Мари Сюзини — не новичок в литературе. В ее первых романах «Жаркое солнце», «Фиера», «Шаг человека», «С закрытыми глазами», повести «Первый взгляд», в пьесе «Корвара, или Проклятие» действие развертывается на родной для писательницы земле Корсики. В дальнейшем Сюзини свой кругозор расширяет. Столица Франции — место действия романа «Такой была наша любовь».

Книга эта заканчивается ответом Фабии на вопрос ее мужа Франсуа, откуда она пришла так поздно: «Толком не знаю... Издалека». Действительно, Фабия пришла издалека. За этот майский вечер ей пришлось пережить свою жизнь сызнова. Детство и юность в Алжире. Занятия в Сорбонне в годы оккупации. Любовь к Венсану, схваченному немцами, депортированному в Бухенвальд. Великая радость освобождения. Бои в Париже в памятные дни августа сорок четвертого. Именно в те дни — под обстрелом — и происходит первая встреча Фабии с Матье. «Ухватившись за твой поясной ремень, прижавшись щекой к мягкой фланели, которая пахла солдатом, табаком и дорогой, тогда-то я и привязалась к тебе всем сердцем. Я даже не видела твоего лица, не знала твоего имени, но поняла раз и навсегда, что ты спас мне жизнь». Фабия полюбит Матье, но десять лет совместной жизни не принесут счастья. Матье любит Фабию, но изменяет ей. Она уходит. И вот теперь, жена крупного предпринимателя, мать семейства, она снова, на том же месте, что и много лет тому назад,

между Сеной и Сорбонной, и также под аккомпанемент пуль встречается с Матье. Она любит его с прежней силой, он разделяет ее чувство. Но она снова уходит от него. Утраченное можно обрести на страницах романа, но не в жизни. Чувство оживает для того, чтобы умереть. Эпиграф, принадлежащий греческому поэту Сефериcу, гласит:

Такой была наша любовь...
Всего лишь очень глубокое желание
Сделать в нашем бегстве передышку...

Тема неумирающей любви, классическая для французской литературы от «Береники» Расина до «Орельена» Арагона, получает под пером Мари Сюзини собственное, оригинальное воплощение. В романе «Такой была наша любовь» тема эта, по всей видимости, глубоко автобиографична. «Тебе» — пронзительное посвящение книги. Эта повесть о любви разворачивается в драматической атмосфере, мастерски переданной Мари Сюзини. Веришь психологической правде ее интонации, ее боль, ее тревога близки читателю, который переносится в тревожную обстановку тех далеких и близких лет.

Оккупация. Облавы, аресты, казни. Немцы ведут осужденного. «Вокруг него возникает пустота, словно он разгоняет все на своем пути. Кажется, что по мере того как он идет, улица расширяется». Отрывистая немецкая речь. Кругом воцаряется страх, «страх совсем голый». Примечательно, что автор сосредоточивает внимание не столько на самом фашистском терроре, сколько на его психологических последствиях. «Ад состоит прежде всего в том, что ты не уверен в своем лучшем друге, в соседке по комнате, в человеке, который пьет свой ячменный кофе рядом с тобой в кафе «Ла Сурс» и который заводит с тобой разговор обо всем и ни о чем».

Поначалу Фабия имеет весьма смутное представление о происходящем и все-таки невольно втягивается в Сопротивление. Сама того не зная, она разносит коммунистические листовки. А эти листовки, случайно к ней попавшие, забирает ее возлюбленный Венсан, который активно участвует в антифашистской борьбе. И недаром Венсан сразу же находит общий язык с командиром партизанского отряда, в который попадают он и Фабия.

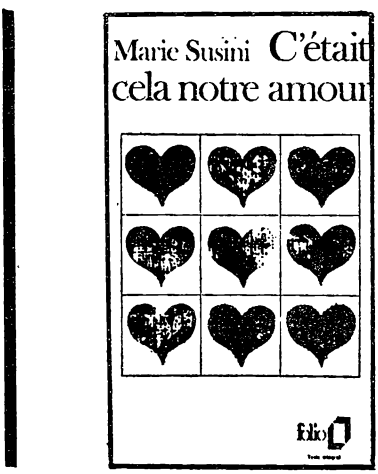
Великолепные, эмоциональные страницы посвящены освобождению Парижа. И на их фоне показаны события мая 1968-го. Но если в те далекие годы и цели и задачи были совершенно ясными, то мятежные студенты, мечтающие «о новом мире, о новом обществе, действительно построенном на справедливости», далеко не всегда отчетливо представляют, за что они борются. И хотя к их громким, чересчур громким голосам писательница прислушивается с известной долей настороженности, она решительно не приемлет то старое общество, против которого поднялись учащиеся Сорбонны. Типичный представитель этого общества — Франсуа, муж Фабии. Он обладает всеми мещанскими добродетелями. «Он думает о порядке, он против всяких нарушений порядка — дома и вне дома». Сейчас, когда забастовщики установили пикеты вокруг завода, а «поджигательские» элементы захватили его кабинет генерального директора, он не ограничивается злобными антикоммунистическими филиппиками. Он активно действует, борется против рабочих, студентов, всех инакомыслящих. И становится окончательно чуждым своей жене.

Книга Мари Сюзини написана в крепких традициях французского психологического романа. Писатель-реалист, она умеет двумя-тремя штрихами создавать совершенно живые, запечатлевающиеся в памяти образы и картины. Таков, например, рассказ о том, как в Алжире мать Фабии родила дочку, отправившись на речку с корзиной белья на голове. И вернулась домой с той же корзиной на голове. «Только шла она медленно: на руках ребенка было труднее нести, чем в животе».

Мастерство зримого воссоздания материального мира органически сочетается у Сюзини с филигранным психологическим анализом. Объективное авторское повествование от третьего лица сменяется взволнованным рассказом от первого лица — воспоминаниями Фабии. Пользуясь гибким оружием внутреннего монолога, автор помогает читателю не только отчетливо увидеть описываемое, но и активно сопереживать героям, принимать участие в их судьбе. Порывистый, нервный ритм повествования, «стремительный в частностях,— по словам известного критика Альбера Бегена,— оставляет вместе с тем впечатление медлительной созерцательности, которая присуща истинной поэзии человеческого».

И сегодня, в тридцатую годовщину освобождения Парижа, радостно обратиться к роману Мари Сюзини «Такой была наша любовь».

Ф. НАРКИРЬЕР

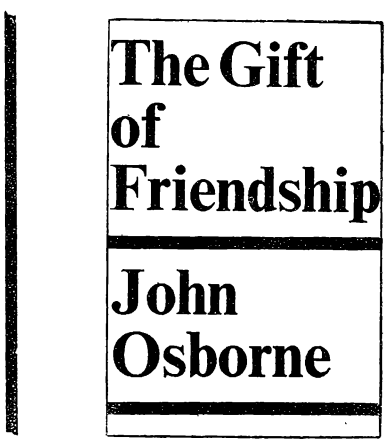


ДЖОН ОСБОРН — РАЗДУМЬЯ И СОМНЕНИЯ

John Osborne. The Gift of Friendship. London, Faber, 1972.
John Osborne. A Sense of Detachment. London, Faber, 1973.

Работы по современной английской драматургии чаще всего начинают с упоминания одной даты — 8 мая 1956 года, дня постановки пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе». И это, в общем, справедливо. Справедливо, потому что с появлением этой пьесы связывают начало новой главы в истории английской литературы XX века, и драматургии в частности. Справедливо, потому что новые голоса, возвестившие о себе вслед за премьерой осборновской пьесы, были действительно голосами смелыми, ни на что не похожими, выбивающимися из всех привычных рамок и традиций. Но с тех пор прошло почти двадцать лет. Очень немногие из тех, кто вместе с Осборном пробудил английский театр от респектабельной спячки, работают сегодня на этом поприще. Отошли от театра Роберт Болт, Шейла Дилени; интересные пьесы таких драматургов, как, скажем, Пинтер и Симпсон, не привлекают былого внимания критики. Теперь пишут и говорят о других — о Стоппарде и Бонде, Стори и Хэмптоне... И лишь сам Осборн, патриарх — в свои сорок четыре года — движения «рассерженных» в английской драматургии, его зачинатель, по-прежнему работает для театра и по-прежнему вызывает интерес режиссеров, актеров, широкой публики.

Эволюция художественных и политических взглядов драматурга шла постепенно — в пьесах 1968 года «Отель в Амстердаме» и «Время — настоящее» она уже ощущается вполне определенно. Герои ранних пьес Осборна «Оглянись во гневе», «Лютер» (1960) были людьми увлеченными, одержимыми одной идеей, одной страстью, которая определяла и стиль их жизни, и образ мышления. Им на смену пришли совсем иные персонажи — потерянные, трагически одинокие. Таков старый писатель Джилман из пьесы 1971 года «К западу от Суэца» — ищущий спасения от тягот «цивилизации», наступающего «века прогресса» на маленьком, заброшенном в океане острове. Осборн не видит для своего героя места в сегодняшней жизни, прекрасно передает то его состояние, которое впоследствии он назовет «чувством отрешенности», и потому приводит его к трагическому финалу: Джилмана убивают местные жители.



Годом позже Осборн пишет пьесу «Дар дружбы», в которой он продолжает свои размышления о роли литературы, о творчестве... Скажем сразу: действия в пьесе почти нет — на всем ее протяжении два писателя, Джослин Брум и Билл Уэйкли, ведут диалог-спор — при схожести творческих позиций своих героев Осборн как бы демонстрирует две возможные линии поведения писателя. Вот Билл вслух размышляет: «Я говорил уже, почему писатели никому теперь не интересны... Они озабочены проблемами вчерашнего дня или даже позавчерашнего... Будущее все больше утрачивает свое значение. Становится несущественным...» Полемически высказывая эту мысль устами одного из героев пьесы, Осборн продолжает по-прежнему вторгаться в самую гущу жизни, его влечет настоящее и будущее, хотя он ощущает их зыбкость и нестабильность. Но интонация его все же меняется: на смену страстному проповеднику приходит усталый аналитик.

Билл Уэйкли продолжает: «...некоторые люди полагают — да и я подчас склоняюсь к этому выводу,— что наша страна превращается постепенно в полоску суши, состоящую из бетона и громыхающего зловония». Фраза довольно неуклюжая, но мысль Билла (а вместе с ним, думается, и автора пьесы) понятна: не вытесняют ли компьютеры, всяческие технические ухищрения человеческое в человеке? И где оно вообще — это человеческое: утрачено, забыто, выброшено за ненадобностью? И снова говорит Билл Уэйкли: «Иногда мы сами разрушаем все то, что любим и чем гордимся,— и это ради удовольствия еще раз констатировать, что все разрушено». За кажущейся легкостью, с которой англичане расстаются с уходящей в прошлое «доброй старой Англией», подлинная горечь — именно об этом говорит Осборн.

Характерная деталь: в доме Джослина Брума нет телевизора, этого непременного спутника жизни современного человека. Есть, правда, телефон — но и тот Бруму не нужен, ибо связи его с внешним миром фактически прерваны, он поглощен перебиранием старых бумаг, фотографий, дневников. Вот надпись на его книге, которую он в свое время подарил Биллу,— цитата из американского поэта Джеймса Расселла Лоуэлла: «Новые времена диктуют новые задачи?» Возможно. Но «старинные добродетели с годами становятся никому не нуж-

ными». Что ж, увидим». Эта надпись была сделана Брумом в 1938 году — когда писатель был в зените славы, был «счастливчиком». А в финале пьесы, когда Билл будет разбирать бумаги Брума, он найдет в них одну, в которой слова Лоуэлла будут уже перефразированы: «Время не властно над старинными добродетелями».

Повествуя о духовном кризисе своего героя, о его непоправимом разладе с окружающей действительностью, Осборн подчеркивает сохранившуюся в нем способность по-детски наивно и светло воспринимать прекрасное. Брум прислушивается к пению птиц, любуется старинным портретом на стене, пейзажем за окном... Последнее, о чем он говорит Биллу, это: «Я никому не верю. Хотя это и печальное признание. Как печальна утрата веры или милосердия». А затем Брум умирает — тихо, неслышно ускользает в небытие, завершая свой земной путь. Но остаются его книги, в названии каждой из них — наименование одного из «смертных грехов»: гнев, зависть, похоть, чревоугодие, жадность, гордыня, лень. Бороться с ними (и в этом Осборн солидарен со своим героем) — вот высокое предназначение писателя. Больше всего Брума волновала лень — как состояние душевной апатии, застылости, оцепенелости, безразличия. И тем не менее именно это состояние было свойственно Бруму в последние годы его жизни, но никакого выхода из него Брум не видел, ни в чем, кроме смерти, не находя избавления от ставшей ненужной собственной жизни.

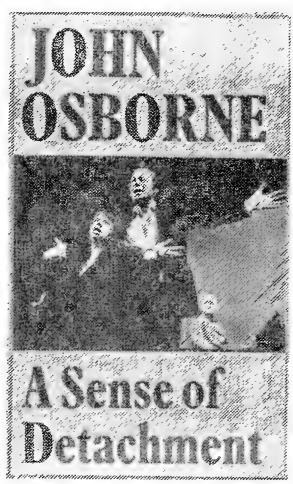
Осборн, несомненно, симпатизирует своему герою — в Бруме его привлекает спокойная усталая мудрость, подчеркнутая антидекларативность. Но при всем том Осборн с особенной, почти болезненной чуткостью ощущает оторванность Брума от насущных проблем сегодняшней жизни, его замкнутость в пресловутой «башне из слоновой кости», его одиночество и неприкаянность.

Бездеятельности, душевному упадку Джослина Брума Осборн противопоставляет активное отношение к жизни Билла Уэйкли. Сам Билл называет себя — «странствующий торговец культурой». Итак, если писатель активен, если он не уходит от жизни, то он превращается в своеобразного «коммивояжера», продающего случайным покупателям свои товары, профанирующего искусство слова и высокое предназначение писателя.

Рассказывая о двух возможных для писателя путях, Осборн дает понять, что сам он находится в поисках третьего.

Пьеса «Чувство отрешенности» была поставлена в декабре 1972 года лондонским театром «Роял Корт», этой своеобразной лабораторией английской «новой драмы». Необычность ее мы начинаем ощущать буквально с первой же страницы — со списка действующих лиц. Да, в пьесе этой участвуют именно «действующие лица» — не герои, не персонажи. У них даже нет имен: Осборн представляет их нам как Деда, Старуху, Председателя, Парня, Девушку. Действующие лица безлики, и лишь образ автора, незримо присутствующий на страницах пьесы, интересен и важен для нас. Таким образом, Осборн вполне успешно осваивает новый для себя жанр — драму без сюжета, без героев. И чувствует себя вполне непринужденно в этой непривычной для него стихии.

О собственной ненужности, потерянности, заброшенности в пьесе «Дар дружбы» лишь говорили — в «Чувстве отрешенности» Осборн делает эту заброшенность и ненужность главным героем пьесы, определяющим все отношения ее действующих лиц. В «Даре дружбы» мы внимательно следили за диалогом двух писателей, насыщенным жизнью, страданием, болью,— в «Чувстве отрешенности» персонажи ведут бессмысленный, никому не нужный разговор, танцуют вышедшие из моды танцы, поют устаревшие песенки. Жизнь проходит — а они ее не замечают, о ней не задумываются. Они много говорят — но и их речи, взаимоотношения сумбурны, непонятны им самим. «Все мы — плагиаторы»,— говорит Председатель. Симптоматичное признание: действующие лица пьесы заимствуют «модели» чужой жизни, чужие мысли, чувства, эмоции.



В пьесе есть одно действующее лицо, которое требует, пожалуй, больше внимания, чем другие. Это Прерывающий — символ обывателя, мещанина. Вот он рассуждает о проблеме насилия и жестокости: «Я не верю в жестокость и насилие. Но я не понимаю также, почему надо сидеть и слушать, как тебя оскорбляют. Вполне достаточно молчаливо выразить свой протест». Итак, дальше «молчаливого протеста» обыватель пойти не может, не хочет, не способен... Эта тема — обывателя — проходит через многие пьесы современных английских драматургов, назовем лишь «Пляску сержанта Макгрейва» Джона Ардена, «Человека на все времена» Роберта Болта, «Узкую дорожку на дальний Север» Эдварда Бонда. Действующие лица «Чувства отрешенно-

сти» — это та неразличимая человеческая толпа, которая встречается повсюду: на улице, в театре, в метро...

Наиболее интересен второй акт пьесы. В нем три основных «потока»: Парень рассказывает о женщинах, с которыми он был знаком в своей жизни, Старуха читает рекламы новых порнографических фильмов, остальные по очереди декламируют стихи. Эти три стихии должны, по мысли автора, заполнить ту зияющую пустоту, которая царит в отношениях между действующими лицами пьесы. «Потоки» эти идут параллельно, никоим образом не перекрещиваются, но перекличка их несомненна: под аккомпанемент прекрасных стихов, созданных английскими поэтами, мы слушаем то глупые, бессмысленные речи Парня, то гротескное бормотание Старухи. (И вспоминаются старухи из «Горе от ума» — Хлестова, Княгиня, Графиня-бабушка,— доводящие до трагического кошмара ситуацию, возникшую вокруг Чацкого.) А вслед за «рассказами» Старухи и Парня звучит одинокий голос Прерывающего: «Будет ли этому конец?» Голос, на этот раз авторский, с трудом, но все же различимый в сложной полифонии этой пьесы.

Своеобразную черту авторским размышлениям подводит в пьесе «Чувство отрешенности» финальный монолог Девушки. Монолог этот обращен прямо в зал. В нем Осборн вновь высказывает свой страх перед наступающим веком всеобщей «механизации», веком, когда любовь, нежность, поэзия становятся лишь атрибутами соответствующей отрасли «науки». Веком, в котором всем правит «деловитость», веком, в котором «рацио» берет верх над чувством, движениями души... Больше нет наций, народов — со своей неповторимостью, со своей индивидуальностью, своим искусством, культурой, традициями... Есть лишь некий безликий и могущественный «Экономический Союз», подчинивший себе все и выдающий «на гора» некое среднее арифметическое.

«Мы на пороге века Прогресса»,— с горькой иронией замечает драматург. И от этого «прогресса» не ускользнет ничто — даже язык, прекрасный, богатый оттенками язык, на котором говорят сейчас Осборн и его соотечественники, язык, на котором написаны изумительные стихи, даже он превратится, согласно предвидению Осборна, в некую «лингву», лишенную правды жизни, но зато сугубо «научную». Осборн даже перечисляет слова, которые останутся в этом «языке»: среда (в смысле — обстановка, окружение), профанация, проблема... Этими тремя «научными» словами ограничится сфера мышления и словарь человека «индустриального общества». Итак, если в «Даре дружбы» Осборн писал об ответственности писателя перед своей страной и своей эпохой, о том, сколь пагубен уход от жизни, то в «Чувстве отрешенности» он проводит мысль — в которой, быть может, еще сам себе не отдает отчета — о том, что литература, писатели просто никому не нужны, им нет места в окружающей их «новой» жизни, они беспомощны и безоружны перед лицом надвигающегося «века прогресса».

В финале «Чувства отрешенности» Председатель обращается в зрительный зал, как бы подводя итог всему сказанному: «Итак, вот в чем ваш удел. Наш общий удел».

В чем же видит Осборн «удел» своей страны — в наступлении «века прогресса», в упадке искусств, во всеобщем безразличии и апатии, в глубоком кризисе мысли, в отсутствии стабильности жизни, в неуверенности в завтрашнем дне?..

Глубокие изменения в духовном климате страны привели некогда столь звонкого драматурга к таким печальным размышлениям. Быть может, эта печаль временна, быть может, в дальнейших произведениях Осборна она исчезнет... Но пока драматург обуреваем тягостными раздумьями и сомнениями — именно о них и написаны эти две пьесы.

Ю. ФРИДШТЕЙН

◆

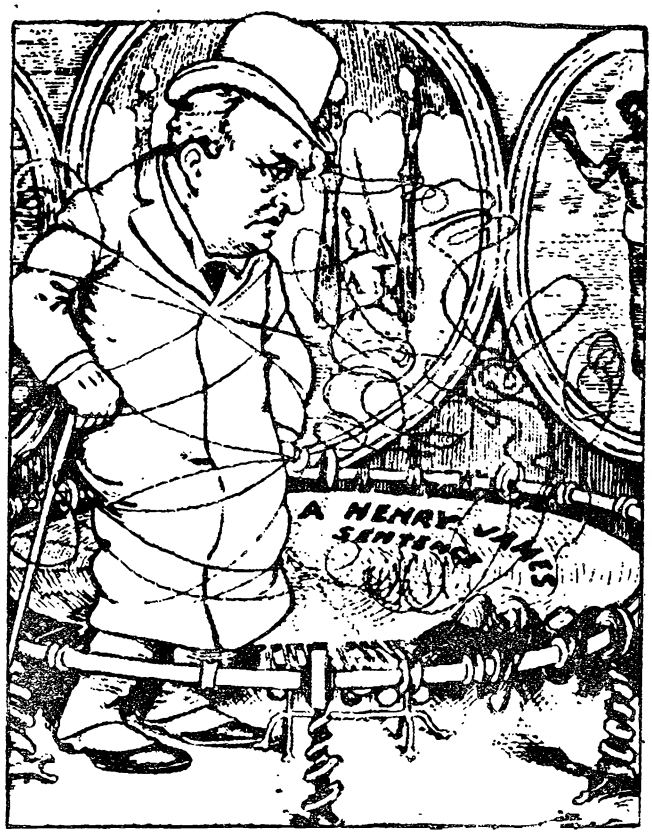
Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

Карикатура «Фраза Генри Джеймса» — одна из 130 иллюстраций, вошедших в книгу «Генри Джеймс и его мир», которую недавно выпустило английское издательство «Темз энд Гудзон» в серии «Живописные биографии».

(Еженедельник «Таймс литерари саппламент»)

МАРГАРЕТ ДРЭББЛ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК



Известная английская писательница Маргарет Дрэббл, в основном пишущая о положении и судьбе своей современницы — молодой англичанки, опубликовала фундаментальное исследование о творчестве английского реалиста Арнольда Беннетта (1867—1931), произведения которого были переведены на русский язык и получили высокую оценку советской критики. Английская критика с большим интересом отнеслась к этой монографии. По ее мнению, интерес представляет не только материал, собранный Маргарет Дрэббл, но и сам объект исследования.

Как пишет обозреватель журнала «Кэркес», литературная история сделала любопытный круг. В начале века «блумсберийская группа» английских писателей, и в частности Вирджиния Вулф, яростно нападала именно на Арнольда Беннетта, обвиняя его во всех смертных литературных грехах: скуке, искажении правды жизни в его художественных произведениях. Теперь Маргарет Дрэббл, представительница другого поколения, которое

давно обогнало «блумсберийскую группу» в новаторском ниспровергательстве традиционных литературных норм, обращается к творчеству Арнольда Беннетта и предлагает английским романистам учиться у него правде социального и психологического анализа жизни.

Английские критики воспринимают монографию Маргарет Дрэббл как еще одно свидетельство глубокого и серьезного интереса со стороны молодых британских писателей к творческим заветам английского реализма. По их мнению, это не парадокс литературного процесса, а закономерность, требующая внимательного изучения.

БОЛГАРИЯ

СОЗДАН СОЮЗ ПЕРЕВОДЧИКОВ БОЛГАРИИ

Состоялся учредительный съезд Союза переводчиков Болгарии. С докладом от организационного комитета о состоянии переводческого дела в стране, необходимости создания Союза переводчиков как творческо-профессиональной организации и его задачах выступил поэт и переводчик А. Тодоров.

Сегодняшний этап нашей культурной жизни, отметил он, ставит новые, ответственные задачи перед всеми деятелями культуры. Это в полной мере относится и к переводчикам. Несколько тысяч болгарских переводчиков принимают участие в работе съезда, понимая огромное значение той деятельности, которой они себя посвятили. Это трудное и ответственное дело не может развиваться стихийно, а требует целенаправленной организации.

«Объединенные в свой Союз,— сказал А. Тодоров,— мы организованно приложим все усилия, чтобы самоотверженно трудиться во имя процветания переводческого дела в Болгарии. Следуя лучшим традициям нашей литературы, публицистики, науки и культуры, мы будем стремиться все больше приобщать наш народ к достижениям мировой прогрессивной культуры во главе с советской культурой и будем способствовать пропаганде болгарской культуры за рубежом. В своих действиях мы неизменно будем руководствоваться указаниями Болгарской коммунистической партии и правительства Народной Республики Болгарии».

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает о принятии устава Союза переводчиков Болгарии, который объединяет переводчиков художественной, политической и научной литературы, а также синхронных переводчиков.

Председателем Союза избран Ангел Тодоров, заместителями — Божидар Божилов, Милен Маринов, Цеко Торбов, Любомир Огнянов-Ризор, главным секретарем — Нино Николов.

БРАЗИЛИЯ

МАСТЕР ИЗ ОРУ-ПРЕТУ

В бразильском штате Минас-Жераис есть небольшой город Ору-Прету, что в переводе означает «Черное золото». В прошлом веке там добывали золото, драгоценные и полудрагоценные камни. Люди приезжают туда, чтобы взглянуть на работы знаменитого скульптора XVIII века Антониу Франсиско Лисбоа, по прозвищу Алейжадинью (Уродец), поскольку он был обезображен проказой.

Группа специалистов из тридцати человек под руководством Жаира Алфонсу Масиу в настоящее время занимается поисками забытых и утерянных шедевров Алейжадинью, их реставрацией. Она обнаружила и спасла от гибели немало творений скульптора. «Большинство его работ,— говорит Ж. А. Масиу,— спрятано в церквах. Часто их скрывают из-за предрассудков. Недавно я услышал, что в старой деревеиской церкви есть статуя святого Франсиско в человеческий рост. Но ее прячут, ибо, по преданию, если ее открыть, то на жителей обрушится страшная беда. Однажды ночью я пробрался в церковь и обнаружил там за покрывалом изумительно выполненную скульптуру. Это была работа Алейжадинью».

Лисбоа в основном создавал работы на религиозные темы. Но в изображениях святых и мучеников мы находим черты реальных людей. Скульптуры отличаются психологической достоверностью, тонким пониманием душевных переживаний. Специалисты называют эти произведения «смелыми и бунтарскими».

Группе Ж. А. Масиу удалось также отыскать и реставрировать в маленьком городе Конгоньясе двенадцать статуй работы Алейжадинью.

ВЕНГРИЯ

АКТЕРЫ О ПИСАТЕЛЯХ

Под таким заголовком венгерский журнал «Фильм, синхаз, мюжика» публикует выступления известных венгерских актеров, посвященные тем писателям, чьи драматургические произведения сыграли значительную роль в их творчестве.

«С каждым днем,— говорится на страницах журнала,— все больше появляется произведений, принадлежащих перу актеров, в которых они делятся своими мыслями, впечатлениями, высказывают интересные суждения о драматическом искусстве».

Ветеран сцены, народный артист ВНР, дважды лауреат Государственной премии Кошута Ференц Бешенеи пишет об одном из видных прозаиков и драматургов современности Ласло Немете. Он отмечает, что Ласло Немет является для него самым близким по своему мироощущению и художественному почерку писателем, несущим в своем творчестве заряд душевной энергии, дающим необозримый простор для размышлений. Перед актером стоит задача не просто сыграть на сцене ге-

Актеры Петер Хусти и Ева Алмаши на репетиции пьесы Э. Иллеша «Окрашенные небеса» вместе с автором пьесы.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

роя Немета, но и показать историческую и общественную эволюцию его сознания. Актер восхищается тонким и прекрасным языком неметовских пьес, естественной простотой и в то же время отточенностью каждой фразы.

«Я с гордостью могу сказать, что считаю себя учеником Ласло Немета»,— говорит Бешенеи.

Заслуженному артисту ВНР, лауреату Государственной премии Кошута Имре Шинковичу глубоко созвучно творчество известного венгерского писателя среднего поколения Кароя Сакони.

Актер считает, что незаурядное мастерство Саконивеллиста проявляется и в его драматургии, которая поднимает актуальные проблемы современной духовной жизни, волнующие как зрителя, так и актера.

Заслуженная артистка ВНР Хеди Варади делится воспоминаниями о писателе и драматурге Имре Шаркади. Ей близка пьеса «Потерянный рай», в которой она уже много лет исполняет роль Миры. «Эта роль является воплощением чистоты, искренности, веры в человека, символом гуманизма с большой буквы»,— говорит актриса.

Молодому актеру Петеру Хусти больше всего нравится известный современный писатель и драматург Эндре Иллеш. «Произведения Эндре Иллеша,— пишет Хусти,— вызывают у меня всегда радостное предчувствие встречи с героями, у которых я черпаю силы и стремлюсь походить на них.

Произведения Эндре Иллеша, будь то пьесы, письма, статьи, выступления на страницах газеты,— для меня всегда хорошая жизненная школа. И я бесконечно счастлив, что могу быть на сцене коллегой писателя».

По признанию актрисы Ильдико Пирош, она особенно ценит творчество писателя Арона Тамаши. Она считает, что его пьеса «Птичка певчая» (Ильдико исполняет в ней роль Магды) отразила насущные проблемы народа, показала душевный мир ее автора.

ВЕНЕСУЭЛА

ДАР ПИСАТЕЛЯ

Венесуэльскому писателю Эктору Малавэ Мате за книгу эссе «Историческая формация антиразвития Венесуэлы» была присуждена в нынешнем году первая премия на латиноамериканском литературном конкурсе «Каса де лас Америкас» в Гаване.

Эктор Малавэ Мата передал денежную часть премии Чилийскому комитету солидарности с антифашистским сопротивлением.

Венесуэльский писатель заявил, что он вручает Чилийскому комитету полученную им сумму «в знак революционного интернационализма и неизменной солидарности с сопротивлением, которое чилийский народ героически оказывает фашистской тирании». От имени народа Чили президент Чилийского комитета солидарности Франсиско Фернандес выразил благодарность венесуэльскому писателю. Выступившая на этой церемонии член Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы, директор «Каса де лас Америкас» Айде Сантамария поздравила Малавэ Мату и отметила,

что его решение имеет особое значение в кампании помощи чилийским антифашистам.

ГДР

«ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ»

Так называется последняя, четвертая часть тетралогии Герберта Иобста «Нелегкая жизнь Адама Пробста» (о Герберте Иобсте см. «ИЛ» № 7, 1960, № 4, 1964, № 1, 1968, № 11, 1972). Книги Иобста хорошо известны и немецким и советским читателям. Первые части тетралогии — «Подкидыш» и «Воспитанник» — были переведены на русский язык.

Адам Пробст прошел разные этапы своей действительно «нелегкой жизни», ему около тридцати лет, впервые в жизни у него есть свой дом, он женился (хотя и неудачно — в конце романа он расходится с женой), у него хорошая работа, которую он любит и с которой справляется. Пробст — бригадир на разработках висмута. Сдав экзамены, он становится штейгером.

Однажды он выступил в печати, и его статья на производственную тему заслужила всеобщее одобрение. Пробст все больше и больше ощущает в себе потребность писать.

Иобст покидает своего героя — теперь уже окончательно — на пороге нового пути: Адам Пробст хочет стать писателем, хотя впереди у него много трудностей.

Рецензент «Литератур-74» отмечает, что роман написан живо, с большим юмором. «Автор хорошо изучил быт людей, о которых он пишет, он хорошо знает то, что называется повседневностью, буднями. Эта книга будет читаться с большим интересом, она не оставит читателя равнодушным».

НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ

На берегу Балтийского моря в конце сезона встречаются два человека: врач Ганна Штайнбах и учитель Курт Земброк. Оба уже не очень молоды, оба много пережили в жизни, у обоих — чувство разочарованности, усталости. Их общее настроение, дождливая, грустная природа, приближающаяся осень — вот тот фон, на котором разворачивается действие в новом телевизионном фильме Карла Георга Эгеля «Поздний сезон» (режиссер фильма Эдгар Кауфман).

Случайное знакомство перерастает в серьезную любовь, а затем и в решение начать новую жизнь, создать семью. Много трудностей на пути этих людей, нелегко сложившимся характерам приспосабливаться друг к другу. И у Ганны и у Курта своя работа, которая заполняет их жизнь, у каждого — свои проблемы.

В трех частях этого фильма Карлу Георгу Эгелю вместе с режиссером Эдгаром Кауфманом и актерским коллективом удалось показать многообразную картину современности, людей самых разных профессий: врачей, учителей, журналистов, рассказать о том, что их волнует.

«Этот телевизионный фильм ставит вопросы взаимоотношений личности и коллектива, взаимоотношений людей между собой,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Авторы фильма не уходят от конфликтов, они стремятся показать, что конфликты эти разрешимы. Фильм «Поздний сезон» с полным правом можно назвать оптимистическим».

Валентина Тилова и Отто Меллис в главных ролях в фильме «Поздний сезон».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ФРГ

РЕНЕССАНС ТВОРЧЕСТВА МАРИЛУИЗЫ ФЛЯЙСЕР

Повторное открытие и признание немецкой писательницы и драматурга Марилуизы Фляйсер, начавшееся в конце шестидесятых годов, продолжается и поныне. Еще два западногерманских театра показали премьеру спектакля «Сильное племя»: в Кёльне в постановке Ангелики Хурвиц и в Бамберге — Христа Ментцеля. Наиболее удачным, по мнению рецензента журнала «Театер хойте», выходящего в Ганновере, является кёльнская постановка комедии, комедии горькой и злой, вызывающей смех, но не приносящей радости.

Марилуизе Фляйсер не довелось увидеть эти спектакли. Она скончалась 2 февраля 1974 г. на семьдесят третьем году жизни в бавар-

Сцена из спектакля «Сильное племя» в кёльнском театре «Каммершпиле». В главных ролях — Кристиана Мюллер и Лотар Остерман.

(Журнал «Театер хойте»)

ском провинциальном городе Ингольштадт, с которым тесно связано все ее творчество.

Окончив монастырскую школу в Ингольштадте, М. Фляйсер переехала в Мюнхен, где изучала историю и теорию театрального искусства. Там же судьба свела ее с Лионом Фейхтвангером и Бертольтом Брехтом, знакомство с первым и дружба со вторым побудили ее обратиться к литературной деятельности.

С большим гражданским мужеством и поразительной силой предвидения были написаны ею пьесы «Чистилище в Ингольштадте» и «Пионеры в Ингольштадте», впервые поставленные в Берлине в 1926 и 1929 гг. при содействии Б. Брехта. Обе пьесы являли собой «социограмму» общества, уже зараженного бациллами фашизма. Наряду с восторженными откликами литературных критиков спектакль «Пионеры в Ингольштадте» вызвал в ту пору взрыв возмущения благонамеренных обывателей, и в первую очередь жителей Ингольштадта. Писательнице угрожали физической расправой, бургомистр Ингольштадта подал высшим властям жалобу на «подлую стряпню» Фляйсер, пресса страны и города обливала ее грязью, родной отец выгнал ее из дому.

С приходом к власти нацистов книги М. Фляйсер были преданы огню, а их автору запретили заниматься литературным трудом. Изнурительная работа в лавке мужа в Ингольштадте, куда М. Фляйсер вернулась в 1930 г., продолжающаяся травля писательницы, трудовая повинность военного времени и, наконец, арест не могли не подорвать здоровья М. Фляйсер. И тем не менее эта измученная, но стойкая женщина находит в себе силы закончить в 1944 г. работу над пьесой «Сильное племя».

Впервые пьеса была поставлена в 1950 г. в Мюнхене, имела большой успех, затем ее увидели жители Ингольштадта и позднее — Берлина. Дальнейшего распространения пьеса не имела, поскольку была написана на трудном для исполнения и восприятия баварском диалекте. От забвения ее спас новый вариант, написанный автором на языке, близком к литературному.

В послевоенные годы творчество М. Фляйсер было отмечено рядом премий, но настоящий успех пришел к ней в 1968 г., когда в обработке и постановке Р. Б. Фасбиндера в Мюнхене была показана пьеса «Пионеры в Ингольштадте». По выражению западногерманского драматурга и сценариста Мартина Шпеера, «ренессанс Фляйсер наступил поздно, но все же наступил». Ее пьесы с успехом идут в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Вуппертале, Бамберге, Кёльне и Цюрихе. В 1973 г. в издательстве «Зуркамп» вышло собрание сочинений М. Фляйсер в трех томах.

ИНДИЯ

СОПРИЧАСТНОСТЬ БОРЬБЕ

Сборник стихов на языке хинди «Парабола» современного поэта Раджендры Джасманы опубликован недавно в делийском издательстве «Шаши пракашан». В книгу вошли произведения, созданные автором в период 1964—1972 гг.

Точны и глубоки нанесенные поэтом «хирургические надрезы», вскрывающие социальные, политические и экономические язвы современного общества. В его произведениях выражен протест против духовной коррозии, лицемерия человеческих отношений, безучастности людей, фальши и многого другого — всего того, что в этом «сверхцивилизованном обществе» противоречит самому существованию человека.

В стихотворении «Гонки» и ряде других поэт разоблачает слепую жажду успеха, стремление любой ценой перегнать друг друга в «крысиных гонках», подвергает сомнению те средства, которыми пользуются для достижения своих целей. В поэме

«Успех» автор беспощадно критикует социальную систему, где настоящий писатель вынужден продавать свой талант ради возможности элементарно существовать. Гневно пишет Дхасмана о монополистической прессе современного капиталистического общества, на ее порочную деятельность он обрушивается сатирой «Профессиональная луна».

Индийская критика отмечает актуальность и злободневность поэзии Дхасманы.

ИРАК

НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В последнее время министерство информации Ирака наряду с произведениями иракских писателей все чаще публикует книги писателей и поэтов из других арабских стран, способствуя тем самым популяризации произведений прогрессивной арабской литературы.

Среди книг, которые уже выпущены или будут опубликованы в самое ближайшее время министерством информации Ирака,— сборник рассказов алжирского писателя Ат-Тахира Ваттара «Павшие герои возвратятся на этой неделе», посвященный борьбе алжирского народа за независимость и свободу, роман молодого египетского писателя Суналлы Ибрахима «Августовская звезда», сборник рассказов для детей «Деревянный меч» известного сирийского новеллиста Адилия Абу Шанаба и сборник стихов сирийского поэта Мухаммеда Умрана «Гавань новых воспоминаний».

ИРЛАНДИЯ

«АББИ-ТИЭТР» СТАВИТ БРЕНДАНА БИЭНА

В наследии известного ирландского драматурга Брендана Биэна, умершего в 1964 г., осталось несколько незаконченных произведений. Одним из них является пьеса «Деревянная нога Ричарда», поставленная дублинским «Абби-тиэтр» лишь в этом году.

У пьесы интересная история. Брендан Биэн начал работать над ней в 1964 г., в год своей смерти. Болезнь и семейные обстоятельства помешали ему завершить пьесу. В 1968 г. Алан Симпсон, художественный руководитель «Абби-тиэтр», обратился с просьбой к группе ирландских драматургов закончить пьесу по оставшимся заметкам Брендана Биэна. Однако никто не осмелился взяться за столь сложную задачу.

В 1971 г. Алан Симпсон решил поставить отрывок из этой пьесы в Театре одного актера в Дублине. Во время репетиций Алан Симпсон попросил вдову Брендана Биэна Беатрису Биэн посмотреть, не осталось ли в черновиках мужа какого-нибудь добавочного материала, который помог бы понять конечный замысел драматурга. Однако ничего существенного не обнаружилось, нашлись только некоторые указания к концовке пьесы: один из главных героев должен погибнуть.

Определить жанр пьесы, как пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент», довольно трудно. Скорее всего это политический мюзикл. Действие происходит на дублинском кладбище, где встречается типичный для всех пьес Брендана Биэна люд: проститутки, «бывшие люди», военные герои, ирландские патриоты. Сюжета как такового не существует, хотя в пьесе гремят два выстрела, происходит одно обольщение и схватка между сторонниками разных политических платформ: борцом за Испанскую республику и пособниками Франко. Но самым важным в пьесе, как единодушно отмечают критики, является блестящий диалог и острые политические песни. Текст полон злых шуток, анекдотов. Особого упоминания заслуживает реалистический фон, на котором разворачивается действие пьесы.

И все же, как пишет обозреватель «Таймс литерари сапплмент», Симпсону не удалось до конца выдержать

Сцена из спектакля по пьесе Брендана Биэна «Деревянная нога Ричарда», поставленная в Дублине в «Абби-тиэтр».

(Еженедельник «Плейз энд плейерз»)

тональность, в которой написаны драмы Брендана Бихэна. Ему не хватает остроты и трагической иронии драматурга. Именно поэтому смерть главного героя в конце пьесы воспринимается как насилие над всем остальным текстом.

Однако, несмотря на многие недостатки, пьеса остается значительным явлением в литературной жизни Ирландии.

ИСПАНИЯ

НОВЫЙ ФИЛЬМ БУНЮЭЛЯ

Живущий во Франции знаменитый испанский кинорежиссер Луис Бунюэль, несмотря на свои 74 года и неоднократно высказываемое им намерение оставить работу в кино, продолжает ставить новые фильмы. Вслед за социальной сатирой «Тайное очарование буржуазии» Бунюэль снимает на парижской студии «Бийанкур» комедию «Призрак свободы».

По свидетельству печати, новый фильм Бунюэля будет проникнут характерным для большинства его лент антибуржуазным духом, это «комедия с социальным содержанием».

Сценарий фильма написан самим Бунюэлем вместе с Жаном-Клодом Каррье.

В фильме снимаются французские актеры Жан-Клод Бриали и Мишель Пикколи, а женские роли исполняют итальянские актрисы Моника Витти и Адриана Асти.

Представляя по парижскому телевидению Асти, гораздо менее известную, чем Моника Витти, Бунюэль сказал, что она — «одна из немногих актрис, еще обладающих чувством иронии и тонким ароматом таинственности».

В числе кандидаток на роль, которую режиссер доверил этой сравнительно молодой актрисе театра и кино, были куда более популярные — Анни Жирардо, Гленда Джексон, Ширли Маклейн.

Адриана Асти в новом фильме Бунюэля «Призрак свободы».

(Газета «Унита»)

КНИГА О ТРЕХ ПАБЛО

Вышла в свет книга «Пикассо, Неруда, Касальс — бессмертные имена» Хосе Мануэля Алонсо.

«Хосе Мануэль Алонсо написал интересную книгу о жизни, творчестве и смерти трех Пабло: Пикассо, Неруды и Касальса, ушедших, но навсегда оставшихся с нами»,— пишет в предисловии к книге искусствовед Сантьяго Амон.

Помимо авторского текста книга содержит стихи, посвященные трем Пабло, высказывания критиков о творчестве выдающихся художников.

ИТАЛИЯ

«ФОНД БЕППЕ ФЕНОЛЬО»

Беппе Фенольо умер в 1963 году, когда ему едва исполнилось сорок лет. Участник Сопротивления, он был верен этой главной теме всего своего творчества. Судьба его удивительна: конечно, и при жизни он пользовался уважением и признанием, но лишь после смерти Фенольо, когда были изданы не публиковавшиеся раньше романы, критика и читатели отдали себе полностью отчет в масштабах таланта безвременно скончавшегося Фенольо.

Был создан «Фонд Фенольо», началась серьезная работа по разбору его архива, и вот в издательстве «Эйнауди» вышел первый том литературного наследия писателя. Материалы, включенные в этот том, неравноценны: наряду с беглыми набросками, эскизами, черновиками есть вещи, написанные отчасти по-итальянски, отчасти по-английски. В опубликованном после смерти романе «Партизан Джонни» тоже было много английского текста, но в этом не чувствовалось никакой нарочитости.

Особый интерес представляет включенный в том незаконченный роман «Предпоследние», произведение полностью автобиографическое. Это история семьи Фенольо, его деда, родителей, старших братьев. Период — первая мировая война. Лейтмотив — отвращение к войне, активное неприятие ее. Помимо романа в том включен рассказ «Отпуск» и отрывок «Фенольо во время первой мировой войны». Герой этого отрывка, молодой человек, призванный в армию, говорит: «Италия будет воевать с Австрией. Ну так вот, я едва знаю Италию и совершенно не знаю Австрию, поэтому я не хочу в это ввязываться. Если они сумасшедшие, то я не сумасшедший». Заканчивается отрывок тем, что юноша дезертирует.

Итальянская критика живо откликнулась на опубликование тома. Еще при жиз-

ни Фенольо был очевиден автобиографический характер всех его книг, и он подтверждается новыми материалами. Но при этом Фенольо никогда не впадал в «интимизм», что подчеркивается в статье Дель Джудиче, помещенной в «Паэзе сера»: «В центре повествования неизменно находятся его родные места, его семья, его антифашистский опыт. Но лучше, чем кто бы то ни было другой, он умеет объективизировать этот личный материал: когда он говорит «я», имеются в виду другие; когда он называет места и людей их подлинными именами, они превращаются под его пером в характерные, объективно существующие и универсальные элементы нашей жизни».

КУБА

ПОЧЕТНЫЙ ТИТУЛ НИКОЛАСУ ГИЛЬЕНУ

Национальному поэту Кубы Николасу Гильену, как сообщает газета «Гранма», ученый совет Гаванского университета присудил степень доктора «honoris causa» по испанскому языку и литературе.

В решении ученого совета отмечается, что эта степень присуждается Николасу Гильену за его большие литературные заслуги, высокое художественное мастерство и гражданственность позиции замечательного деятеля культуры.

МАРОККО

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ТАХАРА БЕНА ЖЕЛЛУНА

Парижское издательство «Деноэль» выпустило в свет роман «Харруда». Его автор, молодой марокканец Тахар Бен Желлун, дебютировал в литературе в конце 60-х годов как поэт. Стихи Бена Желлуна печатались в журнале «Суль», затем вышли сборником в касабланкском издательстве «Атлант». Два года назад издательство «Масперо» выпустило еще один сборник его стихов—«Шрамы поэм». «Харруда» — первое большое прозаическое произведение Бена Желлуна. Как считает рецензент журнала «Жён Африк», этот роман опровергает распространившееся в последнее время среди литературных критиков мнение о том, что магрибинский роман, основанный на материале национального фольклора, но написанный на французском языке, агонизирует. Книга Тахара Бена Желлуна, по словам рецензента, «счастливо лавирует между мифом и реальностью». Харруда, реальный в начале произведения персонаж, постепенно принимает очертания фантастического образа. Автор видит в нем то ребенка, то самого себя, то свою мать.

В том же номере «Жён Африк» поместил беседу с молодым писателем. Бен Желлун сказал корреспонденту, что дети в его книге символизируют ту силу, которая призвана изменить жизнь марокканского общества. Он отметил, что, к сожалению, молодежь Марокко, даже та ее часть, которая считает себя революционной, не поднимает на должную высоту вопрос об освобождении женщины. Женщина, по мнению писателя, станет свободной только в ходе классовой борьбы.

МОНГОЛИЯ

«ВЕРШИНА» ЛОДОНГИЙНА ТУДЭВА

Вот уже на протяжении года внимание читателей и критики приковано к сборнику стихов и поэтических рассказов «Вершина» писателя Лодонгийна Тудэва. Это плод 22-летней творческой деятельности писателя. В сборник включены произведения, созданные за период с 1950 по 1972 год. Каждая страница проникнута любовью писателя к родине, его знанием жизни народа и времени.

В сборник вошло около шестидесяти лирических стихотворений, поэм, баллад и поэтических рассказов. Сборник начинается поэмой Л. Тудэва «Человек родился» — о человеке нового поколения. В своих произведениях, как пишет рецензент газеты «Унэн» Л. Гомбожанв, Л. Тудэв подходит к оценке событий с классовых, партийных позиций. В сборнике помещен ряд произведений о героических подвигах советских людей. В него вошли также стихи, созданные после поездок в зарубежные страны. Сборник «Вершина» показал, что Л. Тудэв не только прозаик, но и талантливый поэт. Художественно-документальная повесть Л. Тудэва о вожде народной революции Сухэ-Баторе «За Полярной звездой» издана на русском, узбекском, тувинском, бурятском языках.

Советским читателям также знаком роман писателя «Горный поток», который был издан на русском, белорусском и казахском языках. Л. Тудэв является автором и литературоведческих книг.

В 1971 году писатель получил звание лауреата Государственной премии МНР за роман «Горный поток» и «Кочевья». В настоящее время Л. Тудэв возглавляет Союз монгольских писателей.

НОРВЕГИЯ

ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА

В институте анатомии университета в Осло недавно обнаружена рукопись на французском языке, принадлежащая перу выдающегося шведского писателя Августа Стриндберга. Это оригинальный текст романа «Исповедь безумца», который Стриндберг писал в 1887—1888 гг. в Париже и который в конце XIX века издавал на различных языках, но только не в первоначальном варианте.

Предполагают, что эту рукопись Стриндберг передал на хранение своему другу — норвежскому художнику Эдварду Мунку, от которого она могла перейти к тогдашнему директору института анатомии.

ПОЛЬША

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ ЗА 1974 ГОД

В честь Тридцатилетия Польской Народной Республики были присуждены Государственные премии деятелям литературы и искусства.

Первой премии были удостоены в области литературы Мария Кунцевич, Анджей Кусневич, Мариан Брандыс. Вторую премию получили Тадеуш Новак, Ежи Лисовский и Збигнев Залусский.

Марии Кунцевич присуждена премия за творчество в целом. Ее книги «Лесничий», «Иностранка», «Тристан-46», «Дон Кихот и няньки», «Фантомы» известны не только в Польше, но и за рубежом. Особое внимание критики привлекла ее книга «Фантомы». Эта книга эссе по существу является ключом ко всему творчеству писательницы. «Фантомы», как отмечал в своей рецензии в журнале «Польская литература» Войцех Жукровский,— одна из самых прекрасных книг, знакомящая нас с незаурядной личностью ее автора.

Узнав о присуждении премии, Мария Кунцевич сказала: «Эту высокую награду я принимаю с великой радостью. Особенно ценно для меня то, что эта премия присуждена мне за все мое творчество в целом — и за предвоенное и послевоенное. Это доказательство того, что мои пути не расходятся с путями читателей, мы попрежнему понимаем друг друга».

Мариан Брандыс — автор многих книг для юношества, исторических хроник и репортажей. Премия присуждена писателю за цикл исторических эссе «Конец мира кавалеристов», получивших особую популярность у читателей. Этот труд, составляющий несколько томов, повествует о закате польской кавалерии, которая в составе блестящего гвардейского полка находилась в армии Наполеона. Писатель рассказывает о крушении надежд поляков, связанных с Наполеоном, о конце наполеоновской легенды и о том, как по-разному сложились судьбы поляков в ту бурную историческую эпоху. В основу книги легли воспоминания современников, семейные хроники, письма.

«Мой исторический цикл еще не закончен,— сказал Мариан Брандыс.— Высокая награда, полученная мною, вдохновляет меня на дальнейшую работу над ним. История меня интересовала всегда. В течение многих лет, занимаясь репортажем, я урывал время для исторических исследований. Теперь я целиком посвящу себя любимой работе».

Анджей Кусневич — автор широкоизвестных книг «Коррупция», «Эроика», «По дороге к Коринфу», «Король обеих Сицилий», «Зоны», «Состояние невесомости» — награжден первой премией за творчество в целом.

«Я не буду скрывать,— сказал писатель,— что эта награда для меня событие огромной важности, она является доказательством того, что мое творчество представляет какую-то ценность, что кто-то относится с одобрением к тому, что я делаю, и хочет, чтобы я продолжал мою работу. После написания каждой книги мне кажется, что я больше ничего не напишу. Потом непрошено приходит замысел, я сажусь и работаю. Теперь же всеобщее признание будет способствовать рождению новых замыслов».

Второй премии удостоен Тадеуш Новак за роман «Дьяволы» и сборник стихов «Псалмы».

Творчество Тадеуша Новака широко известно польскому читателю. В своих произведениях он обращается к фольклору, используя в своем творчестве народные традиции и реалии деревенской жизни.

«Тадеуш Новак, поэт и прозаик среднего поколения,— одна из самых интересных индивидуальностей в современной польской литературе,— говорит о писателе критик Вацлав Садковский.— Он является наиболее смелым и вместе с тем наиболее зрелым в художественном отношении писателем, широко пользующимся элементами народной культуры для развития и обогащения общенационального литературного достояния».

Второй государственной премией отмечены публицистические книги Збигнева Залусского «Семь главных польских грехов».

Полковник Збигнев Залусский, в прошлом боевой офицер, участник второй мировой войны, награжденный многими боевыми наградами за личное мужество, известен своей острой публицистикой. Кроме книги «Семь главных польских грехов», большой популярностью пользуются его книги «Пропуск в историю» и «Сорок четвертый».

Впервые Государственная премия присуждена за переводы. Ее удостоен выдающийся переводчик польской поэзии на французский язык и французской — на польский Ежи Лисовский. Своей «Антологией французской поэзии», получившей широкий отклик в печати, он внес огромный вклад в укрепление культурных связей между Польшей и Францией.

«Я НЕ БУДУ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ!»

Под таким названием вышел на экраны польских кинотеатров новый фильм Януша Насфетера, поставленный по сценарию Терезы и Януша Насфетер.

Главная героиня фильма, двенадцатилетняя девочка, переживает большую трагедию: ее отец алкоголик. Девочка пытается это скрыть, ей стыдно за отца перед товарищами, перед учителями, перед соседями. Она изо всех сил борется с несчастьем, обрушившимся на семью, стараясь защитить достоинство отца. Но он опускается все ниже и ниже, и,

Кадр из фильма «Я не буду тебя любить!».

(Газета «Жиче Варшавы»)

когда ее усилия ни к чему не приводят, она в отчаянии кричит ему: «Я не буду тебя любить!»

«Фильм этот, — говорит Януш Насфетер,— адресуется и взрослым, потому что речь в основном идет о взрослом человеке, все поступки которого в результате оборачиваются против ребенка. Фильм этот посвящен тяжелой проблеме алкоголизма, того «малого» алкоголизма, когда пьют от случая к случаю, а потом приходят к запою».

Рецензент газеты «Жиче Варшавы» отмечает важность проблемы, которой посвящен фильм Насфетера.

Роль маленькой героини исполняет Гражына Михальска, уже снимавшаяся в предыдущем фильме Насфетера «Мотыльки». Роль ее матери исполняет журналистка из Зеленой Гуры — Хенрика Добош, роль отца — Тадеуш Янчар.

ПЕРЕПИСКА ВЫДАЮЩИХСЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Вышел из печати том переписки Леопольда Стаффа и Юлиана Тувима, которая длилась долгие годы — с 1911 по 1958 г. Газета «Трибуна люду» отмечает, что книга является не только литературным, но и ценным психологическим документом. В сборник вошли также некоторые неизвестные стихи Юлиана Тувима.

РУМЫНИЯ

БЛИЖЕ К ЖИЗНИ

В решении Секретариата ЦК РКП об улучшении работы прессы и рациональном использовании бумаги намечены задачи и профиль наиболее важных литературных и общественно-литературных изданий.

«Контемпоранул» становится официальным органом Комитета по культуре и социалистическому воспитанию СРР, его назначение — пропаганда в широких массах марксистско-ленинского учения. Еженедельник «Флакэра» теперь — иллюстрированный журнал Фронта социалистического единства, так же как и журнал «Магазин».

Еженедельнику «Лучафэрул» вменено в обязанность более активно группировать вокруг себя молодых писателей и критиков, оказывать действенную помощь в воспитании начинающих художников слова.

Ежемесячник «Вяца ромыняскэ», структура которого значительно упрощена за счет сокращения ряда рубрик, ставит себе целью, по словам нового главного редактора Иоаникия Олтяну, последовательное отражение современной литературной жизни. «Мы будем стремиться прежде всего улавливать пульс литературной жизни, выявлять и объяснять характерные тенденции развития литературы, критически оценивать и поддерживать все ценное в ней...» Признавая многообразие литературных стилей, редакция будет отдавать предпочтение произведениям преимущественно реалистического характера, свойственного румынской литературе, с ее стремлением правдиво отражать эпоху и жизнь современного человека, участвовать в воспитании масс и утверждении новых нравственных ценностей.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОМИССАР ОБВИНЯЕТ»

Этот фильм, рассказывает режиссер Серджу Николаеску, снят по настоянию зрителей. Это своего рода запоздалый пролог к серии картин о «чистых руках», поставленных С. Николаеску и посвященных борьбе с силами реакции в первые послевоенные годы.

Действие фильма посвящено трагическим событиям осени 1940 г., когда фашисты-легионеры развернули в стране кровавый террор. Комиссар Молдован получает задание выявить авторов массового убийства узников одной из тюрем Румынии. Неопровержимые улики показывают, что погром учинен железногвардейцами. Однако в условиях фашистского режима правосудие бессильно. И комиссар Молдован, человек честный, неподкупный и бесстрашный, решает сам покарать убийц. «Разумеется,— отмечает рецензент «Контемпоранул» К. Кэлиман,— одинокий борец за правду был обречен на

Артисты Амза Пелли и Серджу Николаеску в главных ролях в фильме «Полицейский комиссар обвиняет».

(Еженедельник «Контемпоранул»)

гибель, ибо действие фильма разворачивается в эпоху мрачную и тяжелую и карающие выстрелы комиссара не могли остаться без ответа...» Но эта обреченность, как показано в картине, была прежде всего обусловлена тем, что герой фильма так и не смог постичь исторический смысл происходивших событий, необходимость целенаправленной борьбы объединенных прогрессивных сил, руководимых коммунистами.

Особой удачей отмечена игра самого С. Николаеску в роли комиссара Молдована, а также А. Пелли — в роли рабочего-коммуниста.

СЕНЕГАЛ

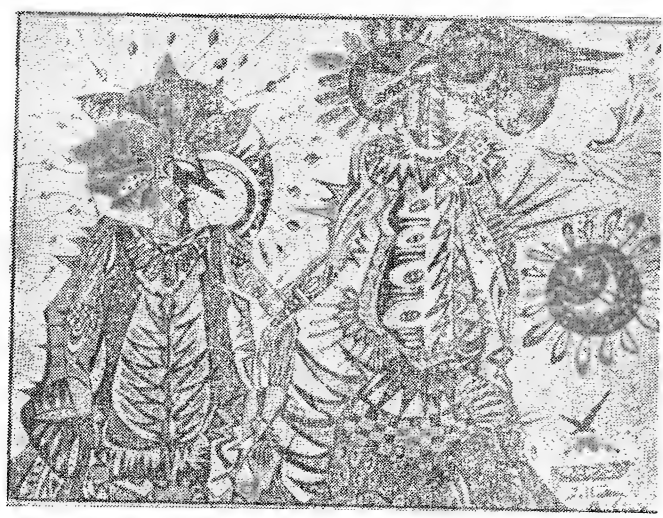
СМОТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сто сорок четыре произведения тридцати четырех мастеров изобразительного

йскусства Сенегала с конца апреля по конец июня экспонировались в парижском «Гран Палэ». Впервые Франция принимала у себя

Работа Ибу Дьюф «Ночь и день».

(Журнал «Жён Африк»)



в столице большую художественную выставку этого африканского государства. В «Гран Палэ» были представлены живопись, скульптура, графика, коллаж. В выставке участвовали художники с мировым именем — Папа Ибра Таль, Усман Фай — и талантливая молодежь, в частности интересная художница Юнусса Сей. Самым старшим из сенегальских художников, приславших свои работы в Париж, оказался семидесятипятилетний Альфа В. Диалло.

Как пишет рецензент журнала «Жён Африк», выставка привлекла большое внимание знатоков изобразительного искусства и художественной критики. Он замечает, что перед художниками освободившейся Африки стоит двойная задача — «найти новый художественный язык и не растерять традиции».

СИРИЯ

«СОЛНЦЕ В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ»

Сирийское министерство культуры опубликовало новый роман известного

писателя Ханны Мины «Солнце в пасмурный день». Как пишет сирийская писательница и критик Наджах Аттар в предисловии к роману, главная его тема — социальная борьба, борьба нового со старым в современном сирийском обществе.

«Солнце в пасмурный день» — четвертый роман Ханны Мины, опубликовавшего до этого «Синие лампы», «Парус и буря» и «Снег входит в окно». Первых два переведены в Советском Союзе на русский язык.

США

РОМАН О ЛЮБВИ

Вышедший недавно роман Джеймса Болдуина «Если бы Бил-стрит могла говорить» ознаменовал возвращение писателя к художественной прозе. Предыдущий роман «Скажи, когда ушел этот поезд?» был опубликован в 1968 г. В последующие годы писатель занимался исключительно публицистикой.

В своей новой книге Болдуин вновь обращается к извечной теме американской негритянской литературы, которой был посвящен и роман «Скажи, когда ушел этот поезд?»,— негр и американский закон.

Действие романа «Если бы Бил-стрит могла говорить» происходит в нью-йоркских трущобах, рассказ ведется от лица девятнадцатилетней девушки. Ее жениху, юному скульптору, предъявлено ложное обвинение в изнасиловании белой женщины. Как полагает рецензент книги американская писательница Дж. К. Оутс, по своему настроению эта книга могла быть написана в 50-е годы — в ней нет и следа общественных драматических событий 60-х годов. Герои романа — люди угнетенные и нищие, политически совершенно беззащитные. Но бесправие и нищета героев, пишет Оутс в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью», дают Болдуину возможность с особой силой раскрыть красоту любви, любви преданной и жертвенной, помогающей выжить не только двоим, но и всей семье. Как указывает Оутс, книги о любви в семье друг к другу встречаются в современной американской литературе очень редко: «Роман написан изящно, подобная скупость художественных средств присуща обычно поэзии. Он может быть воспринят и как аллегория, как отрицание насилия и прославление наиболее человечных сторон нашей жизни».

Доверив повествование молодой девушке, Болдуин взял на себя трудную задачу. Однако, как полагает Оутс, «ее голос звучит убедительно даже в размышлениях о столь сложных проблемах, как взаимоотношения любящих или отношения белых и черных». По мнению Оутс, главная задача писателя — показать в романе роль чувства в жизни человека: любви, ненависти, страха, показать, как один человек остается в живых, потому что его любят, а другой — гибнет, не имея в жизни этой могучей опоры. Характеры обрисованы мастерски, во всей своей социальной и психологической сложности. Болдуин показывает, как на фоне разрушающегося общества все больший вес обретает маленькая социальная единица — семья. Несмотря на весь трагизм событий, описанных в книге, вопреки всем тяготам жизни ее героев — финал романа звучит оптимистически, потому что люди, о которых пишет Болдуин, знают минуты настоящего человеческого счастья.

«Если бы Бил-стрит могла говорить» — волнующая, ранящая книга,— пишет в заключение Оутс.— Это классическая история о любви, способной противостоять уродству окружающей нас действительности. Роман пронзает вас ощущением «вечного» искусства, которое ни в малейшей степени не нуждается в каких-либо эстетических трюках и еще менее — в столь модных сейчас апокалипсических крайностях».

«КОМУ НУЖЕН ШЕКСПИР?»

Незадолго до смерти крупного критика-марксиста Сиднея Финкельстайна прогрессивное издательство «Интернэшнл паблишерз» опубликовало последнюю его книгу «Кому нужен Шекспир?», которая сразу привлекла внимание американской прессы. В частности, Филлип Боноски выступил с подробным разбором труда Сиднея Финкельстайна, дав ему высокую оценку.

Филлип Боноски считает обращение Финкельстайна к такой трудной проблеме, как творчество великого елизаветинца, весьма симптоматичным. Эта монография как бы подводит итог творческому пути критика, демонстрирует постоянную эволюцию его критической мысли. В монографии о Шекспире, пишет Филлип Боноски, как бы слились воедино разные стороны творческой индивидуальности Сиднея Финкельстайна, философа, эстетика, искусствоведа, историка, литературоведа.

По мнению американских рецензентов, наибольший интерес представляют те главы книги, где Сидней Финкельстайн обращается к анализу проблемы народа, национального английского характера, к осмыслению его социального положения в период важных исторических свершений XVI—XVII вв., к нравственно-философской проблематике шекспировских пьес.

Отвечая на вопрос, звучащий в заглавии книги: «Кому нужен Шекспир?»— Сидней Финкельстайн пишет: «Шекспир нужен нам всем, но не как писатель-мистик, уводящий нас от реальности в мир грез и фантазий, не как драматург, создававший свои произведения на потребу публике. Шекспир нам нужен как художник, в произведениях которого содержится глубоко актуальная для нашего времени критика капитализма, как писатель, наиболее полно воплотивший в своих драмах лучшие гуманистические чаяния человечества».

ПЬЕСА О ЛЕГЕНДАРНОМ АДВОКАТЕ

Сообщая о премьере спектакля по пьесе Дэвида Ринтелса «Кларенс Дарроу», написанной для одного актера, американская газета «Крисчен сайенс монитор» подчеркивает, что фигура знаменитого американского адвоката Кларенса Дарроу (1857—1938) продолжает привлекать внимание писателей, драматургов, сценаристов, а книги о нем пользуются у читателей неизменной популярностью. На основе ряда процессов, приобретших общенациональное звучание, на которых Кларенс Дарроу выступал защитником, было снято несколько фильмов. Самым известным из них был фильм Стенли Крамера «Пожнешь бурю» — о знаменитом «обезьяньем процессе».

Кларенс Дарроу прославился как страстный защитник прав рабочих и всех угнетенных, к которому не раз обращались профсоюзы американских трудящихся. Как пишет «Крисчен сайенс монитор»: «Сегодня Кларенс Дарроу стал легендой, почти народным героем... потому что Америка очень нуждается в таких людях».

Дэвид Ринтелс использовал для своей пьесы биографию Дарроу, написанную Ирвингом Стоуном «От защиты — Кларенс Дарроу».

Генри Фонда в роли адвоката Кларенса Дарроу в пьесе Дэвида Ринтелса.

(Газета «Крисчен сайенс монитор»)

Режиссер спектакля — Джон Хаусмен. Спектакль идет два часа. Газета называет игру Генри Фонды, исполняющего роль легендарного адвоката, «олимпийским подвигом». «На протяжении двух часов Генри Фонда один создает яркий драматический портрет... Он рассуждает, допрашивает свидетелей, обращается к присяжным, строит предположения...» Газета называет спектакль прекрасным образцом современного документального театра.

ФРАНЦИЯ

ПАМЯТИ ПЬЕРА АБРААМА

В прогрессивной французской печати появился ряд статей в связи с кончиной Пьера Абраама (1892—1974). Это был разносторонне одаренный и образованный человек. Окончив Высшую политехническую школу, он участвовал в первой мировой войне в качестве летчика. После войны он переменил ряд профессий: был инженером, актером, книгоиздателем, журналистом. В годы второй мировой войны вел подпольную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами в рядах Сопротивления.

Первыми шагами Пьера Абраама в литературной и общественной жизни руководил его старший брат, известный писатель Жан-Ришар Блок. Писательская деятельность обоих братьев была тесно связана с журналом «Эроп», основанным в 1923 г. под руководством Ромена Роллана. С 1949 г. и до своей кончины Пьер Абраам был главным редактором «Эропа». Этот журнал приобрел широкую международную популярность, объединил вокруг себя большой круг авторов. Абраам ввел в практику «Эропа» выпуск тематических номеров, посвященных крупным деятелям французской или мировой культуры (Мольеру, Флоберу, Бетховену) или литературе той или иной страны (Вьетнама, Кубы). Ряд номеров «Эропа», выпущенных под редакцией Пьера Абраама, посвящен великим русским писателям — Толстому, Достоевскому, Горькому. П. Абраам многое сделал, чтобы познакомить французских читателей с литературами стран социализма, в частности с литературой ГДР; он был в числе первых французских переводчиков Брехта.

Собственное литературное наследие Пьера Абраама включает ряд книг по литературоведению, монографию о Бальзаке и Прусте; роман «Держись крепче!», посвященный борьбе французских докеров за мир, книгу воспоминаний «Три брата» (см. рецензию в «ИЛ» № 3, 1972). Он оставил во французской литературе не менее значительный след и как редактор, организатор, руководитель ряда коллективных трудов, в частности многотомной «Литературной истории Франции».

Авторы статей о Пьере Абрааме единодушно отмечают его неистощимую энергию, колоссальное трудолюбие, глубокую преданность делу коммунизма.

НОВЫЙ РОМАН АРАГОНА

Публикация совместного собрания сочинений Луи Арагона и Эльзы Триоле, состоящего из 42 томов (издательства «Клуб книги Дидро», Робера Лаффона и Галлимара), завершилась выходом в свет нового романа Арагона «Театр/Роман», занимающего два последних тома.

«Театр/Роман» — значительное событие в литературной жизни Франции — вызвал многочисленные и взволнованные отклики в прессе. Вышел специальный номер журнала «Магазен литтерер», посвященный творчеству Арагона, одного из крупнейших писателей нашего времени.

Арагону сейчас 77 лет. «Театр/Роман» он называет своим последним романом. В интервью газете «Монд» Арагон дал ряд пояснений к своему произведению, важных для его понимания. Он

начал писать его в 1967 г. После событий мая 1968 г. во Франции особую важность для писателя приобрел вопрос о молодежи. «И для автора, и, конечно, для его персонажей проблема молодежи — это, пожалуй, главная проблема нашего времени»,— говорит Арагон. Он останавливается и на том, что в романе многое связано с образом Эльзы Триоле, с последними годами ее жизни.

Главных персонажей в романе только два, хотя есть и другие фигуры. Это сорокалетний актер Ромен Рафаэль и семидесятилетний романист Пьер Удри. Актер рассказывает романисту о своей молодости. В романе охвачены все возрасты человеческой жизни. Оба вспоминают о пережитых ими войнах. Удри — о первой мировой, Ромен — о второй. «Это память Арагона, отраженная в разных зеркалах»,— пишет Юбер Жюен в «Магазен литтерер». Арагон признает, что эти персонажи, воплощая в себе противоположные черты характера, в то же время в чем-то схожи и в какой-то мере являются двойниками автора.

Клод Прево в «Франс нувель» в статье «Незыблемые права воображения» рассматривает роман Арагона как произведение значительное и новаторское.

Анализ романа критик начинает с его названия. Что означают два слова — Театр/Роман, разделенные косой чертой, как в лингвистических трактатах? Конечно, это не роман о театре. «Театр/Роман» значит, что жизнь — это, быть может, всего лишь театр,— Театр с большой буквы. Роман же создается не для того, чтобы отразить театр жизни, а для более высокой цели — создания «внутреннего театра». Для Арагона роман — неукротимый поток слов, формирующий персонажей, повествование и тут же обнаруживающий фиктивность вымысла.

Роман написан от первого лица, но кто это «первое лицо», это «Я»? Сорокалетний Ромен Рафаэль (актер, он же — Дени), или Пьер Удри, семидесятилетний писатель (он же Старик), который, может быть, всего лишь плод фантазии Ромена, или сам Арагон? На эти вопросы нет однозначного ответа. «Театр/Роман» — огромный монолог, состоящий из многих голосов. О чем же говорят эти голоса? О реальности? И да и нет. «Да» — потому что по ходу действия мы узнаем и вехи современной истории: Народный фронт, освобождение Франции, Дьен-Бьен-Фу, 1956 г., война в Алжире, май 1968 г. и приметы нового времени. «Нет» — потому что эта реальность не просто «воспроизведена», а лишь узнается в «фиктивной реальности» повествования.

По мнению Клода Прево и многих других критиков, в «Театр/Романе» развита и завершена теоретическая концепция романа, которая разрабатывалась Арагоном в таких произведениях, как «Страстная неделя», «Гибель всерьез», «Бланш, или Забвение», «Анри Матисс», и других.

Клод Боннфуа в «Нувель литтерер» называет «Театр/Роман» самым сложным, самым богатым, самым изобретательным из всех романов Арагона. Для самого Арагона — это завершение всего его творчества, а для тех, кто придет после него,— начало нового этапа в литературе. В этом романе он охватывает всю современную историю, свидетелем и участником которой он был. По мнению Матье Галея в «Экспресс», особенно прекрасны в «Театр/Романе» стихи.

Событием является также и выход из печати первого тома «Собрания поэтических произведений Арагона» (издво «Клуб книги Дидро»). За ним должно последовать издание еще четырнадцати томов, которое завершится к 1975 г. В него войдут все поэтические произведения Арагона, а также некоторые прозаические, отнесенные самим поэтом к жанру поэмы в прозе,— например, «Парижский крестьянин». В «Собрание поэтических произведений» войдут многие неопубликованные или ставшие библиографической редкостью тексты. Большое место займут в нем пояснения, комментарии и критические статьи Арагона.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПЕРВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В СТРАНУ ЛЕНИНА»

Под таким названием в издательстве «Праце» вышел сборник очерков, наблюдений и заметок чешских писателей, первыми посетивших Советскую Россию после Октябрьской революции.

Богумир Шмераль и Иван Ольбрахт были участниками IX съезда РКП(б) и III Всероссийского съезда профсоюзов весной 1920 года. Мария Майерова приехала первый раз в Советский Союз в 1924 году.

В их статьях, очерках и репортажах впервые прозвучало в буржуазной Чехословакии правдивое слово о молодой Республике Советов. И не случайно Богумир Шмераль так и назвал свою книжку «Правда о Советской России» (1920). Одновременно печатались и репортажи Ивана Ольбрахта «Картины современной России», переизданные позднее под заголовком «Путешествие за познанием». В 1967 году книга была переведена на русский язык.

Результатом поездки Марии Майеровой была ее книжка «День после революции» (1925).

Важнейшие выдержки из этих книг и составили содержание сборника. Составитель Вилем Кун пишет в предисловии: «Пусть напомнит эта книга, особенно молодым, в какое тяжелое время рождалось Советское государство, в каких условиях рабочие и крестьяне России начали строить социализм.

Пусть она снова воскресит героизм людей, которые во имя пролетарской революции приносили величайшие жертвы и, несмотря на невообразимые препятствия и трудности, были уверены в своей победе, потому что знали, что начинают осуществлять благороднейшую идею человеческой истории».

В Чехословакии вышел новый фильм режиссера Ярослава Балика по сценарию Яна Отченашека «Влюбленные первого года». Исполнители главных ролей — Марта Ванчурова и Виктор Прейс.

(Еженедельник «Творба»)

Приветствуя появление сборника, газета «Руде право» отмечает плодотворное воздействие его «не только на молодежь, но и на тех, кто в этих страницах не раз черпал силу в самые тяжелые минуты своей жизни».

ШВЕЙЦАРИЯ

ОТЧАЯНИЕ ПЕТЕРА АЛЬБИССЕРА

Действие нового романа известного швейцарского писателя Адольфа Мушга «Довод Альбиссера» начинается с преступления: сорокалетний доктор философии Петер Альбиссер, бывший преподаватель гимназии, бывший обер-лейтенант швейцарской армии, стреляет в некоего Зерута, графолога и психоаналитика. Обстоятельства этого, вначале кажущегося беспричинным, поступка постепенно проясняются из следственных протоколов, бесед, снов, воспоминаний.

Читатель узнает о трудной жизни главного героя. Ему не везет в дружбе, он несчастливо женат; ему всегда хотелось чего-то большего, чем могла предложить ему жизнь. После неудачной попытки самоубийства Альбиссер обращается к психоаналитику Зеруту. На какой-то момент герою начинает казаться, что беседы с этим человеком, «умеющим слушать долго, провокационно», способны помочь ему начать новую жизнь. Он отказывается от воинского звания, за что положена тюрьма. При поддержке своих учеников он пробует внедрить новые методы преподавания в гимназии, но усилия его разбиваются о косность швейцарской школьной системы. Он пытается примкнуть к «ультралевому» движению учащихся, однако и тут его ждет разочарование.

«Самоосвобождение», обещанное Зерутом, оказывается ложным; в порыве отчаяния Альбиссер стреляет в несостоятельного учителя.

Несмотря на это финал романа звучит все же оптимистически. Автор дает понять, что именно теперь, после столь драматического перелома, герой начинает сознавать необходимость и возможность действительно нового пути. «Это,— замечает рецензент швейцарского еженедельника «Вельтвохе»,— путь от эгоизма, от психологической путаницы к общественной жизни, к жизни, проникнутой социальной ответственностью».

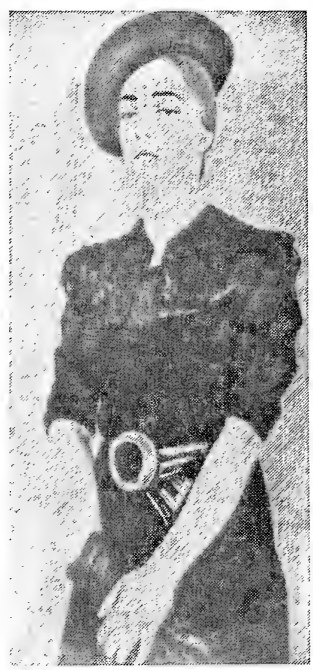
По мнению рецензента, в новом романе проявились лучшие стороны прозы Мушга: серьезность замысла, точность анализа, лаконизм художественных средств.

ЮГОСЛАВИЯ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПЕТАРА ДОБРОВИЧА

В Белграде состоялось торжественное открытие музея крупнейшего сербского художника XX века Петара Добровича (1890—1942). В доме, где прошли последние годы его жизни, по инициативе скупщины Белграда и многочисленных друзей и почитателей его таланта, размещено около двухсот полотен, рисунков, пастелей замечательного живописца, созданных им в различные периоды творчества. Открытию музея предшествовала большая ретроспективная выставка работ П. Добровича, собранных из

Работа Петара Добровича «Портрет жены».



галерей и частных собраний Югославии.

П. Добрович вошел в сербское и югославское искусство в канун первой мировой войны на волне известного увлечения Сезанном и кубизмом — в тот период его картины отличал подчеркнутый интерес к проблемам формы, стремление с максимальной пластичностью выразить все особенности структуры и конструкции предмета. В дальнейшем художника все в возрастающей степени начинают интересовать возможности цвета. Он создает целый ряд поэтичных, реалистически насыщенных пейзажей, где находят великолепное гармоническое разрешение и чисто живописные проблемы и проблемы содержания. И по сей день непревзойденными по колориту и гармонии красок в сербской живописи остаются написанные им замечательные портреты, в частности писателей М. Крлежи, М. Ристича, галерея женских портретов, отмеченных тонким проникновением во внутренний мир человека. Выдающийся художник-реалист, П. Добрович принимал активное участие и в политической борьбе своего народа против сил реакции. Участник первой мировой войны, он в 1918—1919 годах был организатором солдатского восстания в частях австро-венгерской армии, участвовал в провозглашении «маленькой» советской республики в области Баранья. П. Добрович был широко известен в европейских странах, где часто устраивались его выставки, однако всю свою жизнь он оставался неразрывно связан с судьбами своей страны и своего народа.

«ЧИЛИ-73»

В столице социалистической Македонии Скопле вышел сборник «Чили-73», составленный из материалов, опубликованных югославской печатью в связи с трагическими событиями сентября прошлого года в этой стране. Известные публицисты, политические и общественные деятели, журналисты Югославии предоставили свои работы редакторам издательства «Нова Македония», рабочие типографии этой газеты во внеурочное время набрали их и напечатали на бумаге, бесплатно предоставленной коллективом фабрики в Кочанах, а химики комбината им. Наума Наумовского-Борче выделили необходимое для оформления переплета количество целлюлозы. Наряду со статьями, очерками, репортажами, корреспонденциями в книге напечатаны телеграммы президента Тито супруге убитого Сальвадора Альенде, заявление Исполкома президиума Союза коммунистов Югославии, а также «Последняя песнь» Пабло Неруды, написанная поэтом сразу после фашистского переворота.

Всю прибыль от сборника «Чили-73», выпущенного на македонском и сербско-хорватском языках, предполагается передать народу Чили, в фонд его борцов за свободу.

ЮНЕСКО

ГОД НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

В 1650 году население земного шара составляло 550 миллионов человек, в настоящее время оно уже превысило 3,5 миллиарда. По расчетам специалистов, к концу XX века эта цифра, возможно, удвоится. Проблеме народонаселения, и в частности, демографическому «взрыву» в странах Юго-Восточной Азии, посвящен фильм «Надо предвидеть», который сделан ЮНЕСКО по случаю Международного года народонаселения — 1974 года.

Этой же проблеме посвящает свой фильм один из виднейших представителей итальянского неореализма — Роберто Росселини, в котором будет рассказано о демографических проблемах в разных странах мира и поисках путей разрешения этих проблем.

ЯПОНИЯ

Фильм «Память возвращает молодость» — дебют в режиссуре видного кинооператора Тоитиро Нарусима. Фильм получил высокую оценку критики, он награжден «Голубой лентой» и отмечен на ежегодно проводимом газетой «Майнити» конкурсе лучших фильмов.

Кадр из фильма «Память возвращает молодость». В роли матери — известная актриса театра «Хайюдза» Ацуко Каку, которая после восьмилетнего перерыва вновь начала сниматься в кино.

(Газета «Майнити»)

Авторы этого номера

В подборке рассказов, взятых из книги «Первый миг свободы» («Der erste Augenblick der Freiheit», Rostock, Hinstorff, 1970) представлены писатели Германской Демократической Республики. Рассказы эти войдут в книгу, которая будет выпущена в 1975 г. издательством «Художественная литература».

ЭГОН РИХТЕР — EGON RICHTER (род. в 1932 г.).

Немецкий писатель, журналист. Сын рабочего. С 1955 г. сотрудничал в еженедельнике «Зоннтаг», писал для телевидения. Первая книга — сборник стихов «Каникулы у костра» («Ferien am Feuer») — появилась в 1966 г. Затем вышли роман «Свидетельствуют трое» («Zeugnis zu dritt», 1968), сборник очерков «Тоска по солнцу» («Sehnsucht nach Sonne», 1972) и другие произведения.

■

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО — WOLFGANG JOHO (род. в 1908 г.).

Немецкий писатель, литературный критик, публицист. Доктор философии. С 1929 г.— член Коммунистической партии Германии. В период фашизма был арестован гестапо и заключен в концлагерь. Познал штрафной батальон и английский плен. По возвращении на родину стал активным участником строительства новой Германии. Его книги начали появляться в конце сороковых годов. Наибольший успех имел роман «Жанна Пейрутон» («Jeanne Peyrouton», 1949). Затем вышли романы «Дюжина и два» («Ein Dutzend und zwei», 1950), «Путь из одиночества» («Der Weg aus der Einsamkeit», 1953), «Перелом» («Die Wendemarke», 1957) — о пути буржуазной интеллигенции к социализму. В последние годы писатель опубликовал романы «Встреча однокашников» («Das Klassentreffen», 1968), «Каштан» («Die Kastanie», 1971).

Литературное творчество Вольфганга Йохо отмечено Национальной премией, премиями имени Т. Фонтане, Г. Манна и др.

■

ГЕРМАН КАНТ — HERMANN KANT (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель, публицист, заместитель председателя Правления Союза писателей ГДР, лауреат Национальной премии, премий имени Г. Гейне, Г. Манна и других литературных премий.

«Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством Г. Канта, опубликовав его романы «Актовый зал» (№ 1—3, 1968) и «Выходные данные» (№ 3—5, 1974).

■

ГАНС-ГЕОРГ ЛИЦ — HANS-GEORG LIETZ (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель. Учился на рабфаке и в Институте транспорта в Ростоке, затем в Литературном институте имени Иоганнеса Бехера. Автор сборника рассказов «Бесконечные улицы» («Endlose Straßen», 1964), романов «Последняя гавань» («Der letzte Hafen», 1964), «Смертельная спираль» («Die Todesspirale», 1970) и других произведений.

■

ЮРИЙ БРЕЗАН — JURIJ BRĚZAN (род. в 1916 г.).

Лужицко-сербский и немецкий писатель (принадлежит к нацменьшинству, издавна проживающему в Германии). Пишет на лужицко-сербском и немецком языках. Лауреат Национальной премии.

В «Иностранной литературе» напечатана его повесть «История одной любви» (№ 9, 1963).

■

ГЮНТЕР ДАЙКЕ — GÜNTHER DEICKE (род. в 1922 г.).

Немецкий поэт и прозаик. В годы второй мировой войны был морским офицером; вернувшись из английского плена, поселился в Западной Германии, вскоре переехал в ГДР. Автор поэтических книг «Любовь в наши дни» («Liebe in unseren Tagen», 1954), «Мечта о счастливом годе» («Traum vom glücklichen Jahr», 1959), «Облака» («Die Wolken», 1964), поэмы «Законы» («Die Gesetze», 1958). Вместе с Уве Бергером составил антологию поэзии ГДР (1970). Многие его стихи положены на музыку.

Гюнтер Дайке удостоен Национальной премии и премии имени Г. Гейне.

■

УВЕ БЕРГЕР — UWE BERGER (род. в 1928 г.).

Немецкий поэт (ГДР). О нем и его творчестве — в предисловии Л. Гинзбурга.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Хижины у реки» («Hütten am Strom», 1961), «Южная страна» («Mittagsland», 1967), «Лица» («Gesichter», 1968), «Метаморфозы» («Bilder der Verwandlung», 1971) и из «Альманаха немецкой литературы» («Almanach für deutsche Literatur», 1967).

■

АЙ ЦИН (род. в 1910 г.).

Китайский поэт, критик, теоретик поэзии. Первую книгу стихов «Даяньхэ» выпустил в свет в 1936 г. Затем публикует сборники

«К солнцу» (1938), «Он умер во второй раз» (1939), «Факел» (1940) и др. После победы китайской революции Ай Цин выпускает сборники стихов «Радостный клич» (1953), «Рубиновые звезды» (1953), «Весна» (1956).

Стихи и поэмы Ай Цина неоднократно переводились на русский язык.

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Север» (1946) и «Избранные стихотворения» (1955).

■

ТЯНЬ ЦЗЯНЬ (род. в 1916 г.).

Китайский поэт. Первый сборник стихов «Перед рассветом» выпустил в 1935 г. Затем вышли поэмы «Китай. Деревенская история» (1936), «Ее песня» (1938), «Возница» (1946), сборники «Тем, кто сражается» (1938), «Мои избранные короткие стихотворения» (1954), «Клятва» (1954) — из последнего взяты публикуемые стихотворения.

Стихи и поэмы Тянь Цзяня переводились на русский язык.

■

ЦЗАН КЭ-ЦЗЯ (род. в 1905 г.).

Китайский поэт, автор поэмы «Автопортрет» (1936), поэтических сборников «Клеймо» (1934), «Преступные черные руки» (1934), «Канал» (1936), «Нулевой градус жизни» (1947), а также многих книг, изданных после образования КНР. Стихотворение «Плеть» взято из сборника «Избранное Цзан Кэ-цзя» (1954).

■

ЮАНЬ ШУЙ-ПО (род. в 1916 г.).

Китайский поэт. Автор сборников «Народ», «Подсолнечник», «Горные песни Ма Фань-то», «Сорок стихотворений» (1954) и др.

Стихотворение «Гвозди» взято из сборника «Бурное время» (1947).

■

ЛИ ГУАН-ТЯНЬ (род. в 1907 г.).

Китайский поэт. Стихотворение «Тоска по родине» взято из сборника «Сады Китая» (1936).

■

БЯНЬ ЧЖИ-ЛИНЬ (род. в 1910 г.).

Китайский поэт, переводчик, теоретик поэзии. Автор сборников «Рыбий глаз» (1940), «Стихи за десять лет» (1942).

■

ХЭ ЦИ-ФАН (род. в 1911 г.).

Китайский поэт, критик, литературовед. Первую книгу стихов «Пророчество» опубликовал в 1945 г. Сборник «Песни ночи» (1945) в последующие годы в дополненном виде неоднократно переиздавался под названием «Песни ночи и песни дня». В этих сборниках были напечатаны публикуемые стихотворения.

■

ВАШИНГТОН ДЕЛЬГАДО — WÁSHINGTON DELGADO (род. в 1927 г.).

Перуанский поэт. Публикуемые стихи взяты из книги «Разделенный мир» («Un mundo dividido», Lima, 1970).

■

ХУАН ГОНСАЛО РОСЕ — JUAN GONZALO ROSE (род. в 1928 г.).

Перуанский поэт. Стихи взяты из книг — «Вооруженный свет» («La luz armada», 1954), «Простая песня» («Simple canción», 1961), из антологий — «Революционная поэзия Перу» («Poesía revolucionaria del Perú», 1965) и «Новая перуанская поэзия» («Nueva poesía peruana», Barcelona, 1970).

О Вашингтоне Дельгадо и Хуане Гонсало Росе см. вступление С. Гончаренко.

■

Публикуемые очерки писателей — Кристы Вольф, Гельмута Гауптмана, Герхарда Хольц-Баумерта и Фреда Родриана — были напечатаны в книге «Объяснения в любви и другие признания» («Liebes und andere Erklärungen», Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag), вышедшей в 1972 г.

КРИСТА ВОЛЬФ — CHRISTA WOLF (род. в 1929 г.).

Немецкая писательница (ГДР), лауреат Национальной премии. Автор книги «Московская повесть» («Moskauer Novelle», 1961), романа «Расколотое небо», за который писательнице была присуждена премия имени Генриха Манна. Советским читателям он знаком по переводу, напечатанному «Иностранной литературой» (№ 1, 1964). Затем Криста Вольф опубликовала повесть «Размышления о Кристе Т.» («Nachdenken über Christa T.», 1968), сборник статей и заметок «Читать и писать» («Lesen und Schreiben», 1972).

■

ГЕЛЬМУТ ГАУПТМАН — HELMUT HAUPTMANN (род. в 1928 г.).

Немецкий писатель, очеркист и эссеист (ГДР), лауреат литературных премий имени Генриха Манна и Свободных немецких профсоюзов. Сын рабочего-металлиста, он окончил Литературный институт имени Иоганнеса Бехера. Печататься начал в 1950 г. Ему принадлежит ряд репортажей о социалистическом строительстве в ГДР, о молодом поколении немцев, книга очерков о Георгии Димитрове, романы «В кругу семьи» («Der Kreis der Familie», 1964), «Иви» («Ivi», 1969). В 1970 г. вышел сборник репортажей («DDR—Reportagen»).

■

ГЕРХАРД ХОЛЬЦ-БАУМЕРТ — GERHARD HOLTZ-BAUMERT (род. в 1927 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Окончил Литературный институт имени Иоганнеса Бехе-

ра. Был главным редактором нескольких журналов для детей. В настоящее время — главный редактор серии «Книги для детей и юношества». Юным советским читателям знаком по переведенным Детгизом книгам «Злоключения озорника», «Маленький барабанщик и его друг», книжкам-картинкам.

■

ФРЕД РОДРИАН — FRED RODRIAN (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Из рабочей семьи. Окончил Литературный институт имени Иоганнеса Бехера. Автор сценариев фильмов для детей. Главный редактор Издательства детской книги в Берлине. Юным советским читателям знаком по переведенным Детгизом книгам «Кристина-ласточка», «Феликс и голубь», по рассказам «Овечка-облачко», «Сказочная белая лошадь» в сборнике «Дети мира» и др. В 1971 г. вышел его сборник рассказов «Каштаны Цоделя» («Kastanien von Zodel»).

■

ФРИЦ РУДОЛЬФ ФРИЗ — FRITZ RUDOLF FRIES (род. в 1935 г.).

Немецкий писатель, очеркист, переводчик (ГДР). Учился в Лейпциге, изучал англистику. Известность получил сборник рассказов «Телевизионная война» («Fernsehkrieg»). В журнале «Нойе дойче литератур» (с № 7, 1974 г.) публикуются его репортажи «Чилийские беседы» («Chilenische Gespräche»).

Мы печатаем отрывки из книги «Северная мозаика» («Seestücke», Rostock, Hinstorff Verlag, 1973).

■

ВОИСЛАВ МИНИЧ (род. в 1937 г.).

Югославский критик, литературовед, магистр филологии, лауреат студенческой Октябрьской премии. Автор статей и рецензий о современной литературе народов Югославии.

Статья «Роман об одном народе и одном времени» написана для «Иностранной литературы».

■

ВАВИЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1935 г.).

Советский литературный критик, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького АН СССР. Автор книги «Проза Нигерии» (1974) и ряда статей о литературах стран Африки (Ганы, Сьерра-Леоне, Кении).

■

ГОЛИК ИВАН ЕФРЕМОВИЧ (род. в 1929 г.).

Советский литературовед, кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Советская литература» (на иностранных языках), автор статей по вопросам литературы и искусства.

■

АФФАНДИ (род. в 1910 г.).

Один из наиболее популярных индонезийских художников. В своем творчестве обращается к образам бедняков, нищих, выбитых жизнью из колеи людей, изображая их внутренний мир. Его герои проходят нелегкий путь. Но есть на картинах Аффанди и яркие образы молодости и счастья.

■

КАРТИКА

Индонезийская художница, дочь Аффанди. Обучалась живописи в Индонезии, Индии и Европе. Ее кисти принадлежат портреты и пейзажи. Индонезийская печать высоко отзывается о ее творчестве, особенно в связи с недавней персональной выставкой картин в Джакарте.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 2/VIII 1974 г. А 10215. Подписано к печати 11/IX 1974 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,32.
Тираж 560.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.). Зак. 2642.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394